

Джером К. Джером

**Книжка праздных мыслей  
праздного человека**



# Джером Клапка Джером Книжка праздных мыслей праздного человека

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8521327](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8521327)

## Аннотация

«Так как некоторые из моих немногих друзей, которым я показывал эти очерки в рукописи, нашли их недурными, а некоторые из моих многочисленных знакомых, которые были несостоятельнее, обещали поддержать меня покупкой моей книги, если я выпущу ее в свет, то я и почувствовал себя не вправе задерживать дольше ее издание. Не будь данных обстоятельств, т. е. не будь этого, так сказать, публичного поощрения, я никогда не решился бы предложить читателям свои «праздные мысли» в качестве духовной пищи. Ведь читатели требуют от книги, чтобы она их улучшала, поучала и возвышала, а эта книга не в состоянии возвысить даже... корову. Вообще я не могу рекомендовать свою книгу ни с какой полезной целью. Все, на что я могу рассчитывать, это только то, что, когда вам надоедят книги «лучшей марки», вы возьмете в руки на полчаса и мою книгу. Это все-таки принесет вам некоторую пользу, хотя бы даже одним тем, что послужит для вас переменой в чтении...»

# Содержание

Первая книжка праздных мыслей праздного человека	6
Предисловие	7
I	8
II	19
III	28
IV	42
V	54
VI	67
VII	82
VIII	99
IX	123
X	139
XI	154
XII	170
XIII	183
XIV	198
Вторая книжка праздных мыслей праздного человека	218
I	218
II	240
III	258
IV	281

V	305
VI	320
VII	340
VIII	359
IX	377
X	402
XI	414
Третья книжка праздных мыслей праздного человека	430
I. Так ли мы интересны, как думаем о себе?	430
II	444
III	452
IV	466
V	477
VI	485
VII	499
VIII	512
IX	523
X	538
XI	551
XII	561
XIII	573
XIV	586
XV	595
XVI	607
XVII	618



# Джером Клапка Джером Книжка праздных мыслей праздного человека

## Первая книжка праздных мыслей праздного человека

*Этот маленький томик с любовью и признательностью посвящается моему истинно-дорогому и искренно любимому другу моих добрых и злых дней; другу, который в начале нашего ближайшего знакомства хотя и бывал частенько не в ладах со мною, но с течением времени сделался моим лучшим товарищем; другу, который никогда не возмущался тем, что мне то и дело приходилось покидать его, и (по миновании этого неприятного времени) никогда не оплачивал мне никакими огорчениями; другу, который, встречая со стороны моих домашних женского пола особ только неприязненную холодность, а со стороны моего верного пса – недружелюбную подозрительность, да и с моей стороны получая с каждым днем все больше и больше разных неза заслуженных огорчений, за все это лишь сильнее и сильнее сгущал вокруг меня атмосферу своей преданности; другу, который никогда не упрекает меня в моих*

*недостатках, никогда не занимает у меня денег и никогда не мнит о себе; товарищу моих праздных часов, утешителю моих горестей, поверенному моих радостей и надежд, – моей старой и выдержанной трубке.*

## Предисловие

Так как некоторые из моих немногих друзей, которым я показывал эти очерки в рукописи, нашли их недурными, а некоторые из моих многочисленных знакомых, которые были несостоятельнее, обещали поддержать меня покупкой моей книги, если я выпущу ее в свет, то я и почувствовал себя не вправе задерживать дольше ее издание.

Не будь данных обстоятельств, т. е. не будь этого, так сказать, публичного поощрения, я никогда не решился бы предложить читателям свои «праздные мысли» в качестве духовной пищи. Ведь читатели требуют от книги, чтобы она их улучшала, поучала и возвышала, а эта книга не в состоянии возвысить даже... корову.

Вообще я не могу рекомендовать свою книгу ни с какой полезной целью. Все, на что я могу рассчитывать, это только то, что, когда вам надоедят книги «лучшей марки», вы возьмете в руки на полчаса и мою книгу. Это все-таки принесет вам некоторую пользу, хотя бы даже одним тем, что послужит для вас переменой в чтении.

# I

## О том, как бывают в стесненных обстоятельствах

Это иногда случается. Я сел за письменный стол с благим намерением написать что-нибудь хорошее и оригинальное, но оказалось, что, хоть убейте меня, я положительно не в состоянии придумать ровно ничего хорошего и оригинального, по крайней мере в данную минуту. Единственно, о чем я могу думать именно в эту минуту, это лишь о том, что значит находиться в стесненных обстоятельствах.

Мне думается, что на такие мысли навело меня то положение, что я уселся к столу, опустив руки в карманы. Я всегда сижу так, когда бываю один и думаю; исключение бывает только в то время, когда я нахожусь в обществе моих сестер, теток или их дочерей. Эти дамы каждый раз, когда я по привычке запикиваю руки в карманы, смотрят такими подавленными, что я поневоле скорее вытаскиваю свои руки из карманов. Когда я спрашивал своих дам, почему так угнетающе действует на них моя манера держать в карманах руки, дамы хором отвечали, что эта привычка неджентльменская.

Никак не могу понять, в чем тут заключается «неджентльменность». Совать свои руки в чужие карманы, особенно в дамские, это действительно не по-джентльменски, но почему



не по-джентльменски держать руки в собственных карманах, это для меня положительно непостижимо.

Впрочем, мне приходилось слышать брюзгливую воркотню на эту манеру и со стороны мужчин, но только пожилых. Мы же, молодежь, никак не можем осуждать друг у друга то, без чего чувствуем себя, так сказать, «не в своей тарелке». Невозможность держать руки в карманах, когда нечего ими делать и некуда их больше девать, всегда сильно стесняет, угнетает и раздражает нас. Ведь не имеют же многие дамы ничего против обыкновения настоящих джентльменов держать руки в карманах, когда в последних звучит презренный металл? Странно, очень странно!

Положим, часто не знаешь, что делать с руками и в карманах, когда в последних пусто. Много лет тому назад, когда весь мой капитал зачастую заключался в нескольких несчастных серебряных монетах, я охотно готов был пожертвовать один шиллинг, лишь бы выменять побольше звенящих медяков. Вы чувствуете себя гораздо лучше, когда у вас гремят в кармане одиннадцать медяков, нежели когда там уныло перекатывается из угла в угол одинокий серебряный шиллинг. Да, во дни золотой, хотя и безденежной юности, над которой мы в зрелые годы так беспощадно иронизируем, я не прочь был и каждый пенни разменять на два полупенни.

Что касается вообще вопроса о стесненных обстоятельствах, то я смело могу считать себя в нем авторитетным. В доказательство этого достаточно сказать, что я был провин-

циальным актером. Если же читатели найдут это доказательство недостаточно веским, то могу добавить, что одно время был «прикосновенен» и к денной прессе в качестве... репортера. Мне приходилось существовать по целым неделям на пятнадцать шиллингов, даже иногда и на десять, а однажды я вынужден был прожить полмесяца и еще на меньшую сумму, вырученную от продажи старого костюма.

Необходимость обходиться пятнадцатью шиллингами в неделю удивительно хорошо знакомит нас с законами, так сказать, домашней экономии. Вы узнаете, что при таком бюджете нужно быть очень осторожным в трате даже полупенни; что стакан пива и проезд в трамвае могут при данных условиях быть удовольствиями для вас недоступными; что бумажные воротнички можно менять только раз в четыре дня и что о каких бы то ни было приобретениях для обновления или пополнения туалетных статей нельзя и мечтать.

Советую вам испытать это положение пред тем, как жениться, а также заставить вашего сына и наследника попрактиковаться в такой экономии пред тем, как отправить его в школу; тогда он не будет очень требовательным насчет карманных денег и вполне удовольствуется тем, что вы станете давать ему.

Для некоторых юношей эта практика будет спасением. Подразумеваю тех деланных неженков, которые воображают, что не могут пить другого кларета, кроме высшей марки, и сочтут личным оскорблением, если предложить им кусок

простой жареной баранины. Ведь изредка и в действительности встречаются такие жалкие субъекты, хотя, к чести человечества, надо сказать, что по большей части они существуют лишь в воображении женщин-бытописательниц.

Попадались и мне на моем жизненном пути такие, и каждый раз, видя их задумавшимися над самым разнообразным «меню», я чувствовал почти непреодолимое желание схватить их за шиворот и потащить в какой-нибудь «бар» на городской окраине, чтобы хотя только посмотреть, как питаются там люди. А еще лучше заставить такого матушкина сынка самого попробовать там мясного пудинга на четыре пенса, картофеля на пенни и полпинты портера в ту же цену. Воспоминание об этом и живое впечатление, полученное от смешанного запаха плохого табака, кислого пива и кухонных испарений, могли бы внушить ему желание глядеть немножко вперед, а не только себе под ноги.

В подобных уроках нуждаются и те, которые, к великому удовольствию попрошайек и торговцев в разнос сладостями и т. п., очень щедро разбрасывают деньги, но никогда не платят долгов. «Я всегда даю на чай не меньше шиллинга и представить себе не могу, как можно давать меньше!» – хвалился мне однажды один мелкий правительственный чиновник, с которым я иногда встречался за столом в ресторане, на Риджент-стрит. Я согласился с ним, что именно в таких фешенебельных ресторанах неловко давать служащему меньше шиллинга, но в то же время дал себе слово свести его как-ни-

будь в харчевню на Ковент-Гарден, где «услужаящие», ради удобства, бегают в одних жилетах, а рубашки меняют только раз в месяц.

Много смешного и наговорено и написано о лишениях. Но одно дело письменно или изустно острить над чем-нибудь, а другое – испытать на себе то самое, над чем смеешься, когда видишь, как подвергаются этому другие. Могу по собственному опыту уверить вас, что вовсе не смешно казаться скредным и безжалостным; не смешно и быть одетым во все поношенное и чувствовать себя пристыженным, когда является необходимость сказать свой адрес. Право, для бедняка положительно нет ничего смешного в бедности. Скажу больше: это для человека мало-мальски щепетильного настоящий ад. Не мало я знаю мужественных людей, которые не дрогнули бы пред подвигами Геркулеса, но не были в силах вынести постоянных мелких уколов самолюбию, сопряженных с бедностью.

Трудно переносить не самые лишения, а глумления над ними. Велика важность бедность сама по себе, если только она не доходит до такой крайности, когда совсем уж нечего есть и нечем прикрыть свою наготу. Если бы все дело ограничивалось одними лишениями лично для себя, то многие и не охнули бы. Неужели Робинзон Крузо мог огорчаться заплаткой на своей одежде? Да и была ли у него там, на необитаемом острове, вообще какая бы то ни было одежда? Очень может быть, что ему там в ней и надобности не было. Но пред-

положим, что была, – так неужели Робинзон, будучи один на всем острове, стал бы страдать от того, что у него отваливаются подошвы от сапог и приходится связывать их веревочками, или от того, что у него не изящный шелковый дождевой зонт, а простой, самодельный, из козьей шкуры, лишь бы этот зонт мог служить ему? Нет, все это нисколько не могло тревожить Робинзона, потому что вокруг него не было «друзей», которые могли бы смеяться над его обтрепанностью.

Быть бедным не страшно. Весь ужас положения в том, что нельзя скрыть свою бедность от других. Не от ощущения холода бежит во всю прыть бедняк, лишенный теплой одежды, и не от стыда краснеет он, когда спешит уверить вас при встрече, что считает вредным для своего здоровья одеваться «слишком тепло», а от того, как вы взглянете на это.

Бедность – не порок. Будь это пороком, тогда никому и в голову не пришло бы стыдиться своей бедности. Нет, бедность – недостаток и как таковой и наказуется. Человек бедный презирается во всем мире; презирается и первым богачом, и последним нищим; и никакая прописная мораль, которой так щедро угощают молодежь школьного возраста, не заставит уважать бедняка.

Люди ценят одну видимость. Вы открыто пройдете по многолюдным улицам Лондона под руку с самым отъявленным негодяем, лишь бы он был хорошо одет, но спрячетесь в темный угол, если у вас явится необходимость перемолвиться парой слов с самой добродетелью в поношенной одежде.

Добродетель в потрепанном платье отлично знает это, поэтому и сама старается не встречаться с вами, чтобы не оскорбить вас своим видом.

Не стесняйтесь скорее отвести глаза в сторону, если нечаянно заметите на улице знакомого, который прежде пользовался благосостоянием, а потом пришел в упадок и теперь свидетельствует об этом всей своей внешностью. Поверьте, он и сам только того и желает, чтобы остаться незамеченным вами. Не бойтесь и того, что он может обратиться к вам с просьбой о помощи: он пуще вас боится, как бы вам самому не вздумалось предложить ему эту помощь.

Привыкают к стесненным обстоятельствам тем же путем, каким вообще привыкают ко всему, т. е. благодаря стараниям того чудодейственного врача-гомеопата, имя которому Время. Опытный взгляд сразу улавливает разницу между новичком в бедности и уже освоившимся с нею; между закаленным в многолетней борьбе с нуждой и в конце концов как бы сдружившимся с ней и злополучным новоиспеченным бедняком, всячески усиливающимся скрыть свою только что начавшуюся нужду.

Эта разница особенно сказывается в манере закладывать свои вещи. Не напрасно сказано каким-то наблюдателем: «Уменьше закладывать вещи является делом искусства, а не случая». Одни идут к «благодетелям» с тем же спокойным и полным достоинства видом, с каким ходят к своему портному, приняв даже еще более независимую мину.

Привлеченный самоуверенностью такого джентльмена, приемщик немедленно его обслуживает, к немалому негодованию дамы, более близкой к очереди и не без иронии замечающей вслух, что она, так уж и быть, готова подождать ради «постоянного клиента». Привычный глаз этой дамы не ошибся: это действительно «постоянный» клиент.

Но сколько труда и мучений тому, кто в первый раз несет «на отдых» свои часы. Отвечающий первый трудный урок ученик гораздо спокойнее и смелее такого новичка. Прежде чем вступить в святилище заклада, несчастный новичок так долго и с такой мучительной нерешительностью заглядывает в его окна, что, в конце концов, собирает вокруг себя толпу уличных зевак и возбуждает полное бдительной подозрительности внимание ближайшего постового полисмена. И только тут, видя себя предметом общего напряженного любопытства, новичок начинает показывать вид, что желает приобрести по сходной цене золотую сигарочницу или что-нибудь в этом роде из массы выставленных в окнах предметов, и, разыгрывая более или менее удачно человека, вполне обеспеченного, но, тем не менее, соблюдающего, где можно, разумную экономию, он направляется ко входу в святилище.

Вступив вовнутрь «благотельного» учреждения, новичок так тихо делает нужные ему расспросы, что его приходится несколько раз переспрашивать и просить говорить погромче. Услыхав наконец от него, что его «больной приятель просил получить ссуду под часы», ему указывают пройти во

двор, в первую дверь направо, за углом. Получив это указание, новичок спешит удалиться с таким пылающим лицом, что если бы к нему приложить спичку, то она загорелась бы. Убежденный, что теперь уже весь Лондон догадался о его тайне и собрался побить его камнями, он бегом направляется в указанное место.

Очутившись там пред стойкой приемщика, он вдруг забывает свое имя и место жительства; а когда ему строгим голосом предлагается вопрос, откуда он взял «эту вещь», он начинает запинаться, заикаться и нести такую околесицу, что только каким-то чудом удерживается соврать, что украл часы. Тем не менее он одним своим смущением доводит приемщика до заявления, что «здесь такими делами не занимаются», и что ему, ради безопасности, лучше скорее убираться отсюда.

Получив такую отповедь, новый неудачный клиент ломбарда выскакивает оттуда как ошпаренный и без оглядки мчится на противоположный край города, почти не сознавая, что делает и где находится.

Кроме таких чисто нравственных мучений, проистекающих от необходимости заложить часы, сколько еще неприятностей, когда без собственных часов человек становится вынужденным распределять свое время по трактирным или церковным часам. Но первые обыкновенно идут слишком медленно, а последние всегда спешат. Увидеть время на трактирных часах через окно часто не удастся. Если же



вы осмеливаетесь приотворить с этой целью дверь, то рискуете быть принятым за попрошайку или даже за кое-кого похуже. Во всяком случае появление вашей головы в полураскрытой двери вызывает в трактире тревогу. Заметив произведенное вами неблагоприятное впечатление, вы сконфуженно удаляетесь и утешаете себя надеждой, что, быть может, будете счастливее в следующей попутной пивной.

Но там окна оказываются настолько высоко, что вы должны подпрыгивать, чтобы увидеть что-нибудь в них. Возле вас тотчас же группируется местная уличная молодежь; она принимает вас за странствующего музыканта или фигляра и очень разочаровывается, когда убеждается, что при вас нет никаких соответствующих инструментов и приспособлений.

Затем еще одно неудобство. По какому-то странному капризу судьбы, когда вы только что поместили свои часы в «верные руки», почти вслед за тем непременно кто-нибудь из встреченных на улице попросит вас сказать, который час. Когда же ваши часы бывают при вас, этого почти никогда не случается.

Добрые старые джентльмены и леди, которым никогда не приходилось быть в стесненных обстоятельствах, — да и дай им Бог так с тем и покончить своевременно свое земное поприще! — смотрят на залог вещей как на последнюю степень падения; но люди новых поколений, в первый раз загнанные нуждой в ломбард или тому подобные учреждения, встречают там такую массу клиентов, что оказываются в положе-

нии того мальчика, который, попав в рай, удивлялся, что там «видимо-невидимо и старых и молодых мальчиков».

Мое же личное мнение таково, что знаться с учреждениями для заклада вещей все-таки приличнее, чем прибегать к услугам друзей и знакомых. Это мнение я всегда и стараюсь внушать тем из моих знакомых, которые начинают намекать на свое желание занять у меня два-три фунтика (стерлингов, конечно), «до послезавтра». К сожалению, не все с этим соглашаются. Один даже заметил мне, что в этом отношении он «принципиально» расходится со мной во мнении. Было бы ближе к истине, если бы он сказал, что не соглашается со мной только потому, что это ему выгоднее. Конечно, гораздо выгоднее занимать без процентов, нежели платить в закладных кассах двадцать пять за сто.

Есть своя постепенность и в стесненных обстоятельствах. Ведь мы, в сущности, все находимся в стесненных обстоятельствах, – один больше, другой меньше. Одни стеснены неимением тысячи фунтов, другие – отсутствием в кармане нужного шиллинга. Каждый стеснен по своему положению.

## II

### О том, как бывают не в духе

С меланхолией можно еще примириться. На дне ее даже скрывается некоторого рода удовольствие; быть меланхоликом, – да ведь это нечто незаурядное! Но быть просто не в духе – это уж совсем другое, сортом гораздо ниже. Каждый бывает не в духе, часто сам не сознавая почему именно. От этого состояния вы ровно ничем не гарантированы. Вы можете быть не в духе на другой день после получения большого наследства так же легко, как и после того, когда спохватились, что забыли в вагоне трамвая свой шелковый дождевой зонт.

Ощущения, сопряженные с бытием не в духе, отчасти напоминают те, которые вызываются одновременными приступами зубной боли, несварения желудка и жестокого насморка. Вы становитесь несообразительным, раздражительным и беспокойным; грубым к незнакомым и опасным для своих друзей; угрюмым, брюзгливым и придирчивым – словом, в тягость самому себе и всем окружающим вас.

Пока вы не в духе, вы не в силах ни думать о чем-либо дельном, ни, тем более, делать что-либо нужное, хотя бы даже и по обязанности. И вы отлично сознаете это, но сладить с собой не можете. Не будучи в состоянии усидеть на месте, вы схватываете шляпу и отправляетесь гулять. Но не успели вы

добраться до первого угла улицы, как уж начинаете досадовать, зачем вышли из дому, и поворачиваете назад. Очутившись снова у себя в кабинете, вы берете в руки книгу и собираетесь читать. Но Шекспир вам кажется пошлым и плоским, Диккенс – тяжелым и чересчур прозаичным, Теккерей – скучным, а Карлейль – не в меру сентиментальным. Перебрав чуть не всю свою библиотеку знаменитых авторов, вы с негодованием швыряете последнюю книгу в угол и браните оптом всю пишущую братию.

Возле ваших ног трется кошка; вы выталкиваете ее за дверь, которую затем запираете на ключ. Тут вам приходит в голову, что не мешало бы написать два-три письма. Беретесь за перо, но, написав что-нибудь вроде следующего: «Дорогая тетушка! Улучив пять минут свободного времени, спешу воспользоваться ими, чтобы написать вам», – вам уж больше не удастся выжать из своего подавленного мозга ни одной фразы. Чуть не изжевав или измяв в зубах – смотря по материалу – ручку пера, вы бросаете ее куда попало, рвете начатое письмо на мельчайшие клочья и вскакиваете с кресла с твердым намерением развлечься посещением ваших добрых знакомых Томпсонов. Но пока вы надеваете перчатки, вам начинает казаться, что Томпсоны – люди очень глупые, что, если вы пойдете к ним, вам придется понянчиться с их последним отпрыском и что, вдобавок, у них никогда не бывает ужина. Вы проклинаете Томпсонов и решаетесь остаться дома.

В это время вы чувствуете себя совершенно разбитым. Вам хотелось бы умереть и попасть в рай. И вот вы начинаете представлять себя лежащим на смертном одре, окруженном всеми вашими родными, друзьями и знакомыми, проливающими ручьи слез. Мысленно вы благословляете их всех, в особенности тех из знакомых дам, которые помоложе и прекраснее. Вы говорите себе, что все эти люди оценят вас, когда вас уже не будет на свете, и с горечью сопоставляете их предполагаемые будущие добрые чувства к вам с тем равнодушием, которое они до сих пор питали к вашей особе, прикрываясь лишь маской лицемерия.

Все-таки мысль, что вас будут оплакивать хоть мертвого, на минуту утешает вас, но вслед за тем вы обзываете себя дураком за то, что могли хоть на одно мгновение вообразить себе, что даже ваша смерть в состоянии будет огорчить кого-нибудь. Вообще никому нет дела до вас, хотя бы вас повесили, расстреляли, взорвали или если бы вы даже женились. Никогда никому вы не были милы и дороги; никто никогда не воздавал вам даже должного, и вообще вам с самой колыбели не сладко жилось на свете; следовательно, не сладко будет умирать, – с полной логичностью заключаете вы.

В итоге этих и тому подобных размышлений вы доходите до степени белого каления в ненависти ко всему миру вообще, а в частности к собственной особе, которую вам, за неимением под рукой другого подходящего субъекта, очень хотелось бы даже хорошенько отдуть, если бы этому не ме-

шали, так сказать, анатомические условия.

Кое-как вы дотягиваете до того времени, когда привыкли ложиться спать. Окрыленные надеждой, что хоть сон даст вам облегчение, вы опрометью мчитесь в спальню, срываете с себя и разбрасываете по всему полу свою одежду, поспешно тушите свечу и с таким ожесточением бросаетесь на постель, что она вся трещит и дребезжит.

Но и сон недружелюбен к вам и упорно бежит от вас. Вы ворчите, стонете, ворочаетесь с боку на бок, то раскрываетесь, потому что вам кажется нестерпимо жарко, то вновь закутываетесь одеялом, дрожа от ощущения холода. Когда-то, когда-то вам, наконец, удастся забыться в тяжелом, тревожном сне с кошмарными видениями, от которых тщетно стараетесь избавиться, глухо крича что-то и размахивая руками. Просыпаетесь вы поздно, и все в том же «не в духе».

Так обстоит дело с нами, холостяками. У людей семейных картина немного видоизменяется. Будучи не в духе, они шпыняют своих жен, капризничают за столом, среди дня посылают спать своих детей, вообще приводят в расстройство весь дом. Возбужденные ими шум, суета и беспорядок доставляют им некоторого рода облегчение, потому что тогда они страдают не одни, а в компании.

Наружные признаки того состояния, которое определяется словами «быть не в духе», приблизительно одни и те же, но внутренние ощущения при этом бывают различны, в зависимости от личных свойств каждого субъекта. Поэтому

каждый человек различно характеризует свое, так сказать, душевное недомогание. Одни в это время говорят о себе, что на них напала страшная беспричинная тоска; другие жалуются: «решительно не могу понять, что это сегодня делается со мной: все опротивело!»; третьи, встретив вас где-нибудь в собрании, выражают особенную радость видеть вас, потому что надеются с вами «отвести душу». «Что же касается меня лично, – добавляют они, – то я чувствую себя так, точно не доживу до следующего утра».

У многих такое состояние бывает только по вечерам, когда затихают шум и суэта делового дня, не дававшие вам время почувствовать то, что делается внутри вас. Во всяком случае днем у вас есть возможность тем или другим способом отделаться от скребущих у вас на сердце кошек, но вечером, когда вы одиноки и настолько обеспечены, что не нуждаетесь в добавочных вечерних трудах, вы вполне во власти своего «нутра».

Угнетенное состояние духа вызывается у нас не действительностью; она слишком груба, чтобы допускать расплывчатость чувств. Мы можем проливать слезы над трогательной картиной, но если бы мы встретили такую же картину в живых лицах, то поспешили бы отвернуться от нее. В истинной нужде нет ничего патетического, как нет наслаждения в настоящей горести. Мы не играем острыми мечами и по доброй воле не прижимаем к сердцу змею. Когда кто-нибудь демонстративно предается своим горестям и, видимо,

усиливается разжигать их в себе, это значит, что он не испытывает действительных страданий. Сначала, действительно, могло быть и настоящее страдание, но с течением времени оно побледнело, от него осталось одно воспоминание, которое и доставляет своего рода удовольствие.

Я знаю, что меня назовут циником многие старые дамы, ежедневно погруженные в созерцание крохотных поношенных башмачков, хранящихся у них на дне душистых ящичков, и плачущие при мысли о тех маленьких ножках, которые когда-то бегали в этих башмачках, а потом вдруг навеки замерли. Не жду я иной аттестации и от тех девиц, которые кладут себе под подушку черную или светлую прядь кудрей, украшавших голову прекрасного юноши, зацелованного до смерти солеными морскими волнами. Но я уверен, что, если бы спросить этих дам и девиц, мучительны ли им такие воспоминания, они ответили бы отрицательно.

Для некоторых лиц слезы так же приятны, как смех. Вошедший в поговорку англичанин, описанный нам старым летописцем Фруассаром, печально воспринимал все удовольствия, английская же женщина идет еще дальше; она находит удовольствие в самой печали.

Я не с насмешкой пишу это и вовсе не расположен насмеяться над чем бы то ни было, что может еще смягчить сердца в этом жестоком мире. Я рад, что еще есть мягкие сердца у женщин. Довольно того, что сами-то мы, мужчины, холодны и рассудительны: похожих на нас женщин нам вовсе не нуж-



но. Нет, нет, дорогие дамы, не пугайтесь моих слов. Оставайтесь чувствительными и мягкосердечными; будьте смягчающим маслом к нашему сухому насущному хлебу.

Чувствительность для женщины – то же самое, что наклонность ко всякого рода забавам и потехам у нас. Ведь женщины не мешают же нам в наших удовольствиях, так зачем же мы будем попрекать их склонностью к постоянному искусственному переживанию былых горестей? И чем же, наконец, это их удовольствие хуже наших? Почему мы должны предполагать, что вздувшаяся от натуги грудь, судорожно искривленное красное лицо и широко разинутый рот, испускающий раздирающий уши смех, указывают на более разумную степень испытываемого данным субъектом удовольствия, нежели задумчивое женское лицо, опущенное на белую руку, и пара затуманенных слезами глаз, глядящих назад, в погибшее прошлое?

Нет, я положительно радуюсь, когда вижу, что женщина подружилась с печалью; радуюсь, потому что знаю, что в этом случае печаль уже утратила свою первоначальную мучительную остроту и горечь. Бывает ведь это и у нас. И нам самим может казаться прекрасным лицо печали, когда оно лишилось своего жала; тогда и мы с некоторым наслаждением можем прижаться губами к ее бледному челу.

Мало ли ран наносится беспощадной жизнью и нашему мужскому сердцу. Когда всеисцеляющее время затянет эти раны, мы спокойно можем созерцать в своем воспоминании

то, что нас ранило и заставило тяжело страдать. Не тяжела нам больше свалившаяся с наших плеч ноша, когда мы, подобно Тому и Меджи Тюливерам, получившим возможность пойти рука об руку, видим ее лишь в прошедшем.

Том и Меджи привели мне на память одно изречение мистрис Джордж Элиот. Где-то в одном из своих романов она говорит о «печали летнего вечера». Все хорошо, что выходило из-под золотого пера этой писательницы; бесподобно хорошо и это выражение. Действительно, кто не испытывал чарующей печали медлительного солнечного заката? Кто не чувствовал, что в это время мир находится во власти самой богини Печали, этой прекрасной девы с задумчивым лицом и бездонно глубокими глазами, избегающей дневного блеска? Она показывается только тогда, когда, по словам поэта, «меркнет свет и ворон летит на ночлег на лесистый утес». Ее дворец скрыт в сумерках, Вы можете увидеть ее стоящей в серой мгле. Она приветливо берет вас за руку и ведет по своим таинственным туманным владениям. Вы лишь смутно различаете ее формы, но ясно слышите шелест ее крыльев.

Она может встретиться вам даже в столичном шуме и суете. Ведь и там, на каждой длинной мрачной улице, чувствуется присутствие печали, а темная река призрачно переливается под черными арками и как бы несет в своих мутных водах какую-то тяжелую и тоже печальную тайну.

В сельской же тишине, где деревья и живые изгороди в спутанных и туманных очертаниях вырисовываются на фо-

не тонущего в сумерках неба, где вокруг нас шумят крылья летучих мышей и где так глухо разносится по молчаливым вечерним полям жалобный крик коростеля, – чары печали особенно сильно охватывают сердце. В это время нам кажется, что мы стоим у чьего-то незримого смертного ложа, и в шелесте древесных ветвей нам слышатся вздохи умирающего дня...

Мы невольно чувствуем, что здесь всюду царит великая грусть. Торжественное безмолвие окружает нас. В этот час все наши дневные заботы кажутся нам такими мелкими и жалкими, а насущный хлеб с ломтем сыра, даже и... поцелуи теряют всякую цену в наших глазах. Мысли в нашем мозгу не оформляются, но лишь смутно намечаются и тут же гибнут непризнанными. Стоя одиноко среди поля, под темнеющим сводом неба, мы сознаем, что в нас заключено нечто более великое, чем наша бедная жизнь. Мир, со всех сторон закрываемый сотканными из серых теней занавесами, превращается для нас из обыденной мастерской в величавый храм, куда нас тянет молиться и где, в этой таинственной мгле, наши распростертые вперед руки касаются Самого Бога...

### III

## О суете и тщеславии

Все суета, и каждый человек суетен. Суетны женщины. Суетны мужчины, и, пожалуй, еще более, если это возможно. Суетны дети, и даже преимущественно дети. В настоящий момент, когда я пишу эти строки, маленький ребенок из всех силенок барабанит своими крохотными ручонками по моим коленям. Этот ребенок – женского пола и требует, чтобы я высказал свое мнение насчет только что надетых на его ножки новых башмачков. По совести я бы должен сказать, что эти башмачки мне вовсе не нравятся. Они кажутся слишком плоскими, неуклюжими и дурной формы. Впрочем, это дурное впечатление может зависеть и от того, что башмаки надеты оба не на ту ногу. Но ведь девочка ждет от меня не порицания, а похвалы, и я хотя и чувствую всю унижительность лжи, но поневоле разливаюсь в красноречивых похвалах башмачкам своей маленькой племянницы. Ведь я знаю, что ничем другим не могу удовлетворить суетному тщеславию этого ясноглазого, светловолосого и розоволицего херувимчика. Я уже пробовал в одном случае говорить ему правду по совести, но не имел успеха. Дело было в том, что девочка желала знать, не нахожу ли я, что она особенная «паинька» и очень ли я ее за это «любю». Я было обрадовался этому случаю, как вполне подходящему к тому, чтобы сде-

лать маленькой шалунье несколько поучительных разъяснений относительно настоящего характера ее поведения за последние дни. Заявив, что вовсе не нахожу свою племянницу «паинькой», почему и не могу ее очень любить, я напомнил ей все те шалости, которые она проделала не дальше как в течение утра настоящего дня, и принялся объяснять, что несправедливо ждать очень горячей любви от старого мудрого дяди маленькой девочки. Разве не она в 5 часов утра своим неистовым ревом перебудила и подняла на ноги весь дом, в 7 опрокинула ведро с водой на лестнице и сама чуть не расшибла себе при этом голову, скувырнувшись с той же лестницы, в 8 захотела выкупать кошку в молоке, а в 9 с половиной превратила в блин шляпу своего отца, усевшись на ней?

И что же, вы думаете, получилось в результате? Была ли моя племянница признательна мне за то, что я так откровенно высказал ей правду? Прониклась ли она моими словами и почувствовала ли на основании этих слов потребность исправиться и в будущем вести себя степеннее и разумнее?

Как бы не так! Напротив, не дослушав их, она разревелась еще хуже, чем утром. Наревевшись всласть, она с гневом крикнула мне:

– Адкий... очень адкий дядяка! нехоосий дядяка!.. зьой стаикаска!.. Я сказу маме... позауюсь ей!

И стремглав убежала к маме, которой действительно нажаловалась на меня, так что мне же потом пришлось оправ-

дываться.

С тех пор я тщательно храню про себя свое истинное мнение и всегда, когда того требует моя тщеславная племянница, выражаю безграничное восхищение всеми ее шалостями и вещами. Выслушав меня с радостно блестящими глазенками и вполне сочувственными кивками своей светлокудрой головки, она, громко топоча ножками, весело бежит оповестить всех домашних о том, что «тепей дядя очень умный и добрый» и «очень юбит» ее. Делается это оповещение, между прочим, и с утилитарной целью, судя по тому, что каждый раз девочка добавляет: «Дядя скажай, – паиньке нужно дать койфеток».

Добившись и на этот раз от меня похвалы своим башмачкам, она удаляется в виде воплощенного торжествующего тщеславия. Даже несвойственная, казалось бы, ее нежному возрасту гордость рисуется на ее личике, словно похвала ее обуви относится к ее собственным действительным достоинствам.

Все дети таковы. Однажды, когда я сидел в одном саду в окрестностях Лондона, вечерняя тишина вдруг нарушилась звонким детским голоском, пронзительно кричавшим в соседнем саду: «Гамма, Гамма! Представь себе, ведь мама подарила мне праздничную курточку Боба! Он из нее вырос... Ах, как я рад, как я рад!» И действительно, слышно было, как кричавший мальчуган захлебывался от радости.

Даже животные суетны и тщеславны. Мне пришлось ви-

деть, как большой ньюфаундлендский пес с великим самоуслаждением любовался на свое изображение в зеркале. Это было в блестящем модном магазине на одной из самых оживленных улиц Лондона, и не я один видел этого влюбленного в свою особу пса.

Как-то раз я присутствовал на одном сельском празднестве, имевшем отношение к домашнему скоту. После совершения разных церемоний перед собранным на лугу коровьим стадом на одну из представительниц этого стада был возложен венок из полевых цветов. Поверите ли? Эта четвероногая особа весь день потом ходила точь-в-точь с таким же напыщенным видом, с каким ходят дети в новом нарядном платье. Вечером, когда наступило время доения и венок был с коровы снят, она выразила признаки крайнего неудовольствия, начала брыкаться, чего раньше никогда не делала, и успокоилась лишь после того, когда венок снова был водворен на ее рога. Это не анекдот, а правдивая картина из жизни.

Кошки своим тщеславием еще ближе подходят к человеку. Я знал кошку, которая демонстративно уходила, когда слышала неодобрительные отзывы о своем племени; маленький же комплимент, отпущенный ей, заставлял ее долго мурлыкать от удовольствия.

Я люблю кошек. Они так бессознательно забавны. Сколько в них комического достоинства, сколько умения придавать себе такой вид, с которым она яснее всяких слов гово-

рит: «Как ты смеешь! Пошел, не трогай меня!» В собаках нет такой высокомерности. Они всегда готовы подружиться с кем угодно. Встречаясь со знакомым псом, я глажу его рукой по голове, говорю ему несколько нежных слов и опрокидываю его на спину. Нисколько не обидевшись, он катается предо мной на земле, шутливо разевает пасть и протягивает мне все свои лапы.

Попробуйте поступить так бесцеремонно с кошкой, и она никогда больше не станет «разговаривать» с вами. Чтобы расположить к себе кошку, вам следует действовать очень осторожно, с тонким расчетом. Знакомство с кошкой вам лучше всего начать со слов: «Бедная киска!» – и немного спустя добавить тоном сердечного сочувствия: «Славная киска!» Это так подействует на ее сердце, в особенности если у вас приличный вид и внушающие доверие манеры, что кошка сделает «спинку» и начнет тереться о вас носом. Раз вами достигнут этот успех, вы можете потрепать ее по шее и почесать у нее за ушками; это уже приведет к такой растроганности киску, что она, в виде особенной ласки, довольно чувствительно впустит вам в ноги свои когти, и тогда у вас с ней будет закреплена та дружба, которая описана поэтом следующими словами:

«Я люблю свою киску. У ней такая мягкая шубка, и, если не раздражать киску, она очень мила. Я ласково треплю и глажу ее рукой; сытно кормлю ее, и она меня любит за то, что я добр к ней».



Последние слова дают полное понятие о том, что именно кошка представляет себе под человеческой добротой: кто погладит и потреплет ее по спинке и притом досыта кормит, тот и добр в ее глазах. Впрочем, такой узкий взгляд на добродетель свойствен не одним кошкам; ведь и сами мы, люди, в большинстве случаев оцениваем друг друга с той же утилитарной точки зрения. Добрым человеком мы называем того, кто добр именно лично к нам, а злым – того, кто не делает для нас того, чего мы от него ожидаем.

В самом деле, по совести, мы должны сознаться в существующем у нас врожденном убеждении, что весь мир со всем в нем находящимся создан лишь как необходимое дополнение к нам; а все люди существуют только для того, чтобы доставлять нам всякие удовольствия и удобства, между прочим, и с той целью, чтобы было кому восхищаться нами.

Каждый из нас совершенно серьезно считает себя мировым центром. Под этим углом зрения смотрим друг на друга и мы с вами, любезный читатель. Вы, по-моему, сотворены заботливым Провидением единственно для того, чтобы читать мои произведения и платить мне за это удовольствие, а я, по-вашему, послан в мир именно с той миссией, чтобы я забавлял вас своими писаниями.

Звезды – как мы называем те мириады других миров, которые кружатся вокруг нас в вечном безмолвии, – считаются нами устроенными специально ради того, чтобы украшать для нас ночное небо. А луна с ее темными тайнами и то и де-

ло скрываемым лицом не имеет другого назначения, как служить нам удобным приспособлением для любовного флирта – опять-таки, разумеется, с нашей точки зрения.

Очевидно, что почти все мы похожи на того петуха, который воображал, что солнце каждое утро восходит лишь для того, чтобы слышать его кукареку. Недаром сказано: «Мир движется тщеславием». Не думаю, чтобы был хоть один человек, свободный от тщеславия. Если же и существует такое исключение из общего правила, то с ним будет крайне неудобно иметь дело. Человек нетщеславный может быть очень хорошим человеком, заслуживающим нашего полного уважения; он может быть таким образцом всех добродетелей, что смело мог бы жить в хрустальном доме, весь напоказ, может быть достойным пьедестала и служить для всех образцом. Да, он может быть предметом всеобщего почитания, но не любви. Не от такого человека мы можем ожидать братской помощи...

Кажется, что уж может быть лучше ангелов, но для нас, простых смертных, очень далеких от совершенства, их общество было бы очень тяжело. Ведь даже постоянное присутствие среди нас людей с мало-мальски выдающимися нравственными качествами угнетает нас. Не добродетели наши, а недостатки заставляют нас симпатизировать друг другу и сходиться. Во всем же, что есть в нас лучшего, мы сильно расходимся. Мы солидарны лишь в наших сумасбродствах. Некоторые из нас отличаются благочестием, другие – вели-

кодушием, третьи – сравнительной честностью, а некоторые, в меньшинстве, достойны даже во всех отношениях полного доверия. Однако между всеми этими людьми очень мало объединяющего. Вполне нас объединяют только тщеславие да разные слабости.

Тщеславие – это та сила, которая родственными узами связывает все человечество. Ведь, в сущности, нет никакой разницы между индейским воином, гордящимся своим поясом из волос вражьих черепов, и европейским генералом, который чванится покрывающими его грудь орденами и медалями; между китайцем, хвастающимся длиной своего «крысиного хвоста» на затылке, и профессиональной красавицей наших больших городов, подвергающейся самоистязанию, лишь бы у нее талия была перетянута «в рюмочку»; между бедной поденщицей с захлюстанным подолом, но с важным видом защищающей свое лицо от солнечных лучей обтрепанным зонтиком, и княжной, обметающей полы своих комнат четырехаршинным шлейфом; между деревенским зубоскалом, непристойными шутками вызывающим одобрительное ржание своих товарищей, и публичным оратором на трибуне какого-нибудь видного общественного учреждения, с жадностью упивающимся овациями слушателей в честь его звучных фраз; между темнокожим африканцем, променивающим драгоценные продукты своей страны на нитку пестрых стеклянных бус, которой он может украсить свою шею, и европейской девушкой, продающей свое прекрасное белое

тело ради нескольких блестящих камешков и громкого титула. Между всеми этими людьми и их действиями нет никакой существенной разницы, потому что общим их двигателем служит простое тщеславие. Ради тщеславия происходит вся борьба на земле; ради него проливается столько крови, ради него приносится столько жертв.

Да, главной двигательной силой человечества является тщеславие, а лесть – смазкой колес этого двигателя. Если вы желаете добиться чего-нибудь в мире, то должны льстить тем, от которых могут зависеть ваши успехи. Впрочем, еще лучше, если вы будете льстить направо и налево, всем кому попало: высоким и низким, богатым и бедным, умным и глупым, – тогда ваша жизнь потечет как по маслу. Хвалите добродетели этого человека и пороки – того. Хвалите у всех все, в особенности то, что у них дурно. Льстиво пойте безобразным об их красоте, дуракам – об их поражающем уме, грубиянам – о тонкости их манер. Тогда вас будут превозносить до небес за верность ваших суждений, за ваш проницательный ум и обходительность.

Каждого человека можно взять лестью. Существует фраза: «опоясанный граф». Я не знаю, что это значит: может быть, существуют графы, которые носят пояса вместо помочей. Я нахожу эту привычку очень неудобной: чтобы пояс мог исполнять службу помочей, нужно стягивать его как можно туже, а это, воля ваша, крайне стеснительно. Зато я хорошо знаю, что, каков бы ни был, в общем, «опоясанный

граф», и он должен быть доступен лести, нисколько не менее других людей, начиная с герцогини и кончая судомойкой или начиная с батрака и кончая поэтом. Впрочем, поэты чувствительнее батраков к лести, на том простом основании, что масло сильнее поглощается мягким пшеничным хлебом, нежели твердыми овсяными лепешками.

Любовь – так та положительно не может существовать без лести. «Наполните кого-нибудь любовью к самому себе, тогда излишек достанется вам на долю», – сказал один остроумный и правдивый француз, имя которого не могу припомнить. (Такой уж у меня рок: я никогда не могу припомнить нужных имен.) Напевайте любой девушке, что она сущий ангел, даже – сверхангел; или еще лучше, что она – богиня, только еще величавее, лучезарнее и утонченнее всех мифологических богинь; что она прекраснее Венеры, воздушнее Титании, очаровательнее Партенопы, – вообще несравненно лучше их всех, вместе взятых, – и поверьте, что этим вы произведете самое благоприятное для вас впечатление на ее бедное сердечко. Бедняжка! Она поверит каждому вашему слову. Этим путем можно повлиять на каждую женщину.

Не верьте женщине, когда она говорит, что ненавидит лесть. Скажите ей на это что-нибудь вроде следующего: «То, что я говорю вам, сударыня, – не лесть, а сущая правда. Вы, без всякого преувеличения, самая прелестная, добрая, умная, милая, грациозная, очаровательная, совершенная, божественная из всех женщин на свете», – и вы увидите, что

она сначала благодарно улыбнется вам, а потом склонится головкой к вашему плечу и пролепечет, что вы – милый и хороший.

Но представьте себе теперь человека, который будет строить свое ухаживанье на принципах самой строгой правды и не станет говорить пустых комплиментов или преувеличений; который будет нашептывать женщине, что она несколько не хуже ее подруг; который, рассматривая ее руку, откровенно бухнет, что эта рука немножко... красновата; который, наконец, прижимая к сердцу свою возлюбленную, заметит, что ее вздернутый носик вовсе не так уж дурен, а глаза – вполне удовлетворительны в качестве приспособлений для глядения!

Ну скажите по совести: можно ли такому правдолюбцу тягаться с соперником, который стал бы уверять ту же женщину, что лицо ее подобно только что распустившейся розе, волосы походят на странствующие солнечные лучи, плененные ее чарующей улыбкой, а глаза – на пару вечерних звездочек?

Способы лести многообразны, и человек неглупый всегда сумеет выбирать их в соответствии с положением и характером того лица, относительно которого эти способы должны быть пускаемы в ход. Некоторые любят, чтобы фимиам воскуривался им целыми тучами, и это, разумеется, не требует никакого искусства; другие же переваривают лесть не иначе как в самом деликатном виде – не слов, а тонких внушений. А есть такие люди, которые любят лесть лишь в форме гру-

бостей, вроде, например, следующей: «Ну, ты уж известный безумец! Готов отдать свой последний грош первому попавшемуся бродяге». Встречаются и такие чудачки, которые принимают лесть только через посредство третьего лица, так что если вам нужно расположить в свою пользу, скажем, некоего мистера А., то всего лучше наговорить о нем целый короб похвал его приятелю, мистеру Б., с просьбой не передавать ваших слов мистеру А., «чтобы не смущать его деликатности». И будьте уверены, в этом случае вам вполне можно надеяться на то, что Б. исполнит ваше тайное желание, хотя во всех других случаях он едва ли выполнит даже явное.

Всего же легче льстить тем господам, которые всегда твердят, что уж от них-то никакой лестью ничего не добьешься; хвалите за отсутствие тщеславия, и вы достигнете своей цели.

В сущности, тщеславие – и достоинство и порок. Нетрудно наполнить целый том рассуждениями о греховности тщеславия, но по справедливости нужно сказать и то, что это такая страсть, которая может подвинуть нас и на добро и на зло. Честолюбие, например, ведь не что иное, как облагороженное тщеславие. Разве не честолюбие или не жажда славы – что одно и то же – подталкивают нас писать бессмертные произведения, рисовать умопомрачающие картины, сочинять, петь и перелагать на музыку хватающие за сердце мотивы, делать великие открытия и изобретения, не исключая и таких, при которых ежеминутно приходится рисковать

своей жизнью?

Мы ищем богатства не ради одного комфорта, который вполне доступен при скромном годовом доходе в 200 фунтов стерлингов, но для того, чтобы наш дом был обширнее и пышнее убран, нежели у нашего соседа; чтобы у нас было большее количество и более лучшего качества лошадей и слуг; чтобы мы могли одевать жену и дочерей, хотя и в нелепые, но самые модные и по возможности дорогие наряды; чтобы, наконец, мы были в состоянии давать обеды, стоящие безумных денег, хотя бы при этих обедах мы сами оставались голодными и портили желудок, потому что наш желудок требует самой простой, только чисто и вкусно приготовленной пищи. И ради всего этого, нам лично вовсе не нужного, мы надрываем все свои духовные и телесные силы в общей мировой работе, ведущей к распространению торговли и промышленности среди всех народов земли, а вместе с тем и к развитию культуры и цивилизации. В итоге, следовательно, выходит вполне «прилично», а это для нас главное.

Вся беда в том, что мы обыкновенно злоупотребляем тщеславием, вместо того чтобы пользоваться им с рассудительностью. Самое чувство чести – также только видоизменение тщеславия. Вообще следует помнить, что между тщеславием петуха и тщеславием орла – большая разница. Тщеславны фаты, но тщеславны и герои. И бойтесь же слова «тщеславие», молодые друзья мои. Соединимте наши руки, чтобы взаимно помогать друг другу увеличивать наше тщеславие,



но не для того, чтобы ограничивать его формой прически или покроем одежды, а чтобы отличаться смелостью в опасностях, чистотой нравов и помыслов, трудолюбием и честностью. Будем настолько тщеславны, чтобы не останавливаться на чем-нибудь низком и нечистом; чтобы быть выше мелкого себялюбия и неблагородной зависти; чтобы не быть способными сказать, а тем более сделать что-либо дурное. Пусть мы будем тщеславиться тем, что среди толпы нехороших людей имеем мужество быть истинными джентльменами по нашим влечениям и делам. Будем питать нашу гордость высокими помыслами, великими подвигами и чистотой всей своей жизни.

## IV

### Об успехах в жизни

Это, вам, пожалуй, покажется совсем неподходящей темой для размышлений со стороны праздного человека, любезный читатель? Но разве вы не знаете, что гораздо лучше наблюдать игру со стороны, чем самому участвовать в ней? Так и мне, сидящему в четырех стенах своей одинокой, но уютной комнаты, раскуривающему «трубку довольства» и жующему «листья лотуса праздности», очень удобно предаваться поучительным размышлениям над тем пестрым человеческим потоком, который бешено несется мимо меня по широкому руслу жизни.

Бесконечен этот поток. День и ночь не прекращается гулкий топот бесчисленного множества ног, то бегущих во всю прыть, то выступающих медленными, размеренными шагами, то быстрых и твердых, то тихих, неуверенных, прихрамывающих, еле плетущихся. Но все эти ноги, и быстрые и медленные, спешат, каждый по-своему; все стремятся с лихорадочным жаром к общей цели – к успеху, ради которого по дороге разбрасываются ум, сердце, душа, когда эти предметы оказываются лишней тяжестью, стесняющей движение вперед.

Вглядитесь в этот волнующийся поток, состоящий из мужчин и женщин, старых и молодых, благородных и низко-

родных, богатых и бедных, веселых и печальных, и посмотрите, как все они перемешиваются, толкаются, скользят, падают и все спешат, спешат, чтобы не только не отстать от других, но непременно, по возможности, обогнать многих. Сильный сталкивает в сторону слабого; глупый, но нахальный опережает умного, но скромного; задние толкают передних, и без того уже выбивающихся из сил от быстроты бега.

Вглядитесь еще пристальнее – и вы различите отдельные части живого бурлящего потока. Вот плетется дряхлый, задыхающийся старик, а сзади его догоняет молодая девушка со смущенным видом, подталкиваемая суровой матроной с резкими чертами лица и острым взглядом; вот движется любознательный юноша, держащий в руках книгу под заглавием «Как иметь успех в мире» и углубленный в нее, то и дело спотыкается и пропускает мимо себя целые толпы своих соискателей; вот уныло смотрящий человек, подталкиваемый под локоть молодой, нарядно одетой женщиной. Тут и молодой парень, со вздохом вспоминающий покинутые им залитые солнцем родные поля, которых, быть может, он никогда больше не увидит; и полный достоинства средних лет человек, высокий и широкоплечий, самоуверенно движущийся к манящей его светлой цели; и тонкий, нежнолицый юноша, ловко лавирующий среди теснящей его со всех сторон толпы; и старый хитрец с устремленными себе под ноги глазами, беспрерывно переходящий с одной стороны пути на другую и воображающий, что идет вперед. А вот и молодой мечта-

тель с прекрасным благородным лицом, каждый раз содрогающийся и колеблющийся, когда переводит взгляд с далекой сияющей цели на грязь, по которой он должен пробираться к этой цели. За хорошенькой девушкой, личико которой с каждым шагом становится все более и более измученным, несетя человек с судорожно искривленным ртом и блуждающими глазами, а рядом с ним – полный надежд и упований юноша.

Пестр и разнообразен этот поток. Богатые и нищие, святые и грешные, сильные и слабые, здоровые и больные, молодые и старые – все сливаются в одно целое. Бок о бок с государственным сановником в парике и мантии – еврейский торговец старым платьем, голова которого прикрыта старой засаленной ермолкой; солдат в красном мундире и мальчик для посылок в шляпе с лентой и грязных бумажных перчатках; заплесневевший ученый, перебирающий листы пожелтевшей и пыльной рукописи, и театральный артист, небрежно позванивающий целым пучком блестящих брелочков. Рядом с шумным политическим деятелем, громогласно выкрикивающим свою программу, которую он считает панацеей против всех социальных зол, мчится шарлатан, не менее крикливо предлагающий «универсальное» средство против всех телесных недугов. Вот упитанный капиталист, а возле него иссохший в непосильных трудах рабочий; представитель величавой науки и чистильщик сапог; поэт и сборщик налога на водопроводы; министр и балетный танцов-

щик. Далее – красноносый трактирщик, выхваляющий свое пиво, и проповедник трезвости, только что хвативший стаканчик «для храбрости»; судья и мошенник; священник и игрок. Еще далее – изящная, милостиво улыбающаяся герцогиня, содержательница номеров, и накрашенная, претенциозно разодетая уличная фея.

Все эти резкие противоположности пробиваются вперед в создаваемом ими же хаосе криков, стонов, проклятий, смеха и слез. Стремительность погонщиков за успехом никогда не ослабевает, гонка никогда не прекращается. Для несчастных состязателей нет ни привалов под тенистой зеленью, ни времени освежиться глотком чистой воды. Вперед, все только вперед несутся они по удушливой жаре и пыли в тесноте и давке! Вперед, иначе они будут сбиты с ног и затоптаны соперниками! Вперед, хотя члены дрожат, а в голове стучит как молотами! Вперед, пока не потемнеет в глазах, пока не лопнет от чрезмерного напряжения бедное сердце, и человек, извергая с клокотаньем струи крови из хрипящего горла, не падет, давая дорогу другим! Вперед, вперед!.. И невзирая на убийственность бешеной гонки и каменистость пути, кто же решится уклониться от участия в этом общем состязании, кроме разве отъявленных тупиц и лентяев? Кто – подобно тому запоздавшему путнику, который загляделся на пир русалок и не мог устоять от искушения осушить поднесенный ему одной из очаровательниц кубок с волшебным напитком, а потом стремглав бросился в ревущий водоворот, –

может остаться равнодушным зрителем этой гонки и не быть втянутым в нее? Не могу быть таким зрителем и я. Я очень люблю придорожный отдых в тени, «трубку довольства» и «листья лотуса праздности» – эти благозвучные и философские иносказания; но в действительности и я вовсе не такой человек, чтобы спокойно корпеть на месте, когда вокруг меня происходит что-нибудь особенное. Нет, я скорее похож на того ирландца, который, увидев, что на улице собирается толпа, послал свою дочку узнать, не готовится ли там драка, и если да, то объявить, что «и папа сейчас придет подраться».

Я люблю горячую борьбу. Люблю видеть людей, мужественно пробивающих себе дорогу сквозь все препятствия одной силой, а не с помощью хитростей и обманов. Такое зрелище возбуждает саксонскую боевую кровь, как, бывало, во дни юности, возбуждали нас сказания о смелых рыцарях, побивающих «несметные полчища страшных врагов».

Ведь и в нашей жизненной борьбе приходится воевать с целыми полчищами всяких страшилищ. Еще и в наше время не мало осталось драконов и страшных великанов, а защищающий от них золотой ларчик не так легко добыть, как это говорится в сказках, где все обходится благополучно для героев. В одной сказке, например, говорится, что «Альд-жернон долгим, печальным взглядом прощается с чертогами предков, смахивает непокорную слезу, садится на коня и мчится в неведомую даль» с тем, чтобы через три года вернуться целым и невредимым и «отягощенным богатой добы-

чей». Жаль только, не добавляется, как все это удалось герою, а это было бы очень поучительно для нас.

Впрочем, по правде сказать, и наши бытописатели не рассказывают нам истинной истории своих героев. Какой-нибудь вечер или пикник описывается на десятках страниц, а вся жизнь главного героя сжимается в краткую фразу: «Он сделался одним из наших торговых королей» или: «Теперь он стал великим артистом, у ног которого весь мир». В сущности, гораздо больше действительной жизни в одной из уличных песен-рассказов Джильберта, чем в половине всей массы современных биографических повестей.

Джильберт, шаг за шагом, описывает карьеру человека, мальчиком поступившего для мелких услуг в контору и постепенно достигшего положения «управляющего королевским кораблем», и рассказывает, как удалось адвокату без дел сделаться известным прославленным судьей; интерес существования скрывается в мелких подробностях, а не в самих результатах.

Мы требуем от повести, чтобы она показывала нам нижнее течение карьеры честолюбца, показывала его борьбу, неудачи, надежды – словом, все перипетии той игры, которая наконец привела его к полной победе. Я уверен, что история ухаживания за Фортуной, описанная во всех подробностях, будет не менее интересна, чем история ухаживания за красивой девушкой, тем более, что, в сущности, тут и не должно быть большой разницы; ведь Фортуна, как описыва-

ли ее древние, – та же женщина, только более рассудительная и последовательная, чем обыкновенные представительницы прекрасного пола. Слова Бен-Джонсона: «Ухаживайте за возлюбленной, и она отвернется от вас; отвернитесь от нее сами, и она начнет за вами ухаживать» – приложимы и к Фортуне. Как любимая вами женщина вполне оценит вас только тогда, когда вы перестанете обращать на нее внимание, так и Фортуна начнет улыбаться вам лишь после того, как вы дали ей щелчок по носу и повернулись к ней спиной.

Но, разумеется, когда вы так поступите, вам будет совершенно безразлично, улыбается вам Фортуна или хмурится. Ведь для вас важна была ее улыбка тогда, когда вы домогались ее, а не после, когда уже не было в ней надобности.

«Что бы ей, этой желанной улыбке, блеснуть тогда, вовремя?» – думаете вы. Но на свете все хорошее приходит слишком поздно.

Добрые люди говорят, что это в порядке вещей, что так и должно быть и что этим доказывается тщетность честолюбия. Но такие добрые люди не правы, по крайней мере, в моих глазах; я никогда не схожусь с ними в этом мнении. Пусть они объяснят мне, что бы мир стал делать без честолюбцев. Мне кажется, он превратился бы в нечто подобное пресной размазне. Честолюбцы – это те дрожжи, которые поднимают тесто и делают вкусным хлеб. Без честолюбцев мир совсем не двигался бы вперед. Только люди трудолюбивые вскакивают с постели рано поутру, возятся, шумят, хлопчут, не



дают возможности и другим валяться до полудня.

Тщетность честолюбия! Неужели не правы люди, с согнутой спиной, в поте лица пробивающие путь, по которому потом свободно движутся поколения за поколениями? Люди, которые не зарывают в землю своих талантов, а извлекают из них пользу не только лично для себя, но и для других? Люди, которые трудятся, пока другие играют?

Я не оспариваю, что честолюбцы ищут собственной выгоды. Люди – не боги, которые могут думать и заботиться исключительно о благе других. Но, работая для себя, честолюбцы невольно работают и для всех нас. Мы все так тесно связаны между собой, что ни один из нас не может работать исключительно для одного себя. Каждый наш взмах орудием в нашу собственную пользу приносит пользу и другим. Стремясь вперед, поток вертит мельничные колеса; крохотное насекомое, образующее кораллы, лепит для себя клеточку к клеточке и таким образом создает мосты между материками. Честолюбец, созидающий пьедестал для себя, оставляет миру новый памятник. Александр Македонский и Цезарь делали завоевания в своих личных целях, но тем самым опоясали полмира лентой цивилизации. Желая разбогатеть, Стефенсон изобрел паровую машину, а Шекспир писал свои драмы и трагедии для того, чтобы создать уютный угол для мистрис Шекспир и своих маленьких шекспирят.

Положим, люди нечестолюбивые чувствуют себя покойнее. Они составляют тот грунт, на фоне которого еще яр-

че вырисовываются великие портреты, почтенную, хотя и не особенно интеллигентную аудиторию, пред которой великие артисты разыгрывают и мировые трагедии и комедии.

Я ничего не имею против людей, довольствующихся тем, что дается без особой борьбы и труда, лишь бы только они молчали. Но ради всего святого, пусть эти люди оставят свою манеру ходить гоголями и кричать, что они – образцы, которым мы все обязаны подражать! Ведь это те же трутни в хлопотливом улье, те же уличные зеваки, глазающие, сложа руки, на того, кто работает.

Совсем напрасно эти мертвоголовые люди воображают себя такими умными и мудрыми и думают, что очень трудно довольствоваться малым. Хотя и существует поговорка, гласящая, что «довольная душа везде счастлива», но ведь то же самое можно сказать и относительно «иерусалимского пони», т. е. осла; довольных людей и терпеливых ослов повсюду толкают и всячески над ними издеваются. «Ну, об этом нечего вам особенно заботиться: он и так всем доволен и лишним вниманием вы, пожалуй, только смутите его», – говорят о терпеливцах на службе, обходящихся малым. И начальство их обходит, выдвигая вместо них хотя младших и, быть может, менее способных, зато постоянно пристающих с просьбами об улучшении их положения.

Если вы, любезный читатель, тоже принадлежите к числу «довольных и терпеливых», то хоть не показывайте этого, а ворчите себе наряду с другими о тяжести бытия, и, если

умеете обходиться малой долей, все-таки требуйте большей, иначе вечно останетесь на точке замерзания. В этом мире нужно запрашивать вдесятеро больше, чем необходимо получить, т. е. делать так, как делают в суде истцы, требующие вознаграждения за убытки. Если вам достаточно сотни, требуйте тысячу, потому что, если вы назначите сразу эту ничтожную сумму, вам дадут и из нее только десятую часть.

Бедный Жан-Жак Руссо только потому так неказисто и провел последние годы своей жизни, что не придерживался вышеприведенного правила житейской мудрости. Как известно, верхом его желаний было жить в фруктовом саду в обществе любимой женщины и иметь корову. Но даже этого он не мог добиться. Действительно, он окончил свои дни среди фруктового сада, хотя и чужого, и в обществе женщины, но далеко не любимой и имевшей вместо доброй коровы сварливую мать. А вот если бы он домогался обширного владения, целого стада скота и нескольких женщин, то, наверное, получил бы в полную собственность хоть хороший огород, хоть одну корову и, почем знать, быть может, даже и величайшую Редкость в мире – действительно достойную любви женщину.

А как скучна и бесцветна должна быть жизнь для того, кто всем доволен! Как убийственно медленно должно ползти для него время! И чем он может занять свой ум, если только таковой еще имеется у него? Кажется, единственной духовной пищей таких людей служит легкая газетка, единствен-

ным удовольствием – курение, и то умеренное; более деятельные прибавляют к этому игру на флейте и обсуждение домашних дел ближайших соседей, т. е. сплетни.

Этим людям чуждо возбуждение, вызываемое надеждами на лучшее будущее, и наслаждение успехом, достигаемым только путем напряженных трудов. Никогда у них не бьется усиленное пульс, так сильно бьющийся у тех, которые борются, надеются, терзаются сомнениями, временами отчаиваются, потом, сделав новые усилия добиться лучшего, вновь окрыляются упованием на достижение своей цели, – словом, живут полной жизнью.

Для честолюбцев жизнь – блестящая игра, вызывающая наружу все их силы и заставляющая пышно расцветать все их способности; игра, приз которой обыкновенно достается только тому, кто неутомим в борьбе и стремлении вперед, кто обладает острым глазом и твердой рукой; игра, которая волнует и дает сильные ощущения постоянным колебанием шансов на окончательный успех. В этой игре честолюбцы наслаждаются так же, как опытный пловец в борьбе с разъяренными волнами, как профессиональный атлет в борьбе с достойным противником, как истинный воин в битве с сильным врагом.

И если честолюбец проигрывает свою игру, если падает побежденным, он все-таки может утешиться тем, что действительно жил, боролся и трудился, а не прозябал.

Так неситесь же вперед в бурном потоке настоящей, жи-

вой жизни! Неситесь все, мужчины и женщины, юноши и девушки! Показывайте свою ловкость, силу и выносливость, напрягайте ваше мужество и ловите счастье! Пусть вашим постоянным девизом будет неуклонное вперед и вперед!

Арена для честолюбцев никогда не закрывается, и представление состязующихся никогда не прекращается. Этот спорт единственный – природный, естественный для всех и уважаемый одинаково всеми снизу доверху – и дворянством, и духовенством, и крестьянством. Он начался с сотворения мира и кончится только с его разрушением.

Стремитесь же все дальше и дальше вперед, поднимайтесь все выше и выше, кто бы вы ни были! Смело домогайтесь своей цели, требуйте награды за свои усилия; наград много: их хватит на всех, сколько бы ни было домогателей. Есть золото для зрелого человека и слава для юноши; роскошь для женщины и веселье – для глупца...

Итак, вперед, вперед, дорогие читатели! Лотерея почти беспроигрышная, только выигрыши в ней разные для всех. Если же кто вынет и пустой билет, тому наградой останется «воспоминание об упоении надеждой на успех».

## V

# О праздности

Что касается этой темы, то я с полнейшим правом могу назвать себя в ней вполне компетентным, а следовательно, и вполне авторитетным. Тот наставник, который в мои юные дни ежедневно погружал меня в источник науки, всегда говорил, что никогда не видел мальчика, который так мало бы делал и так много употреблял бы времени на эту слабую деятельность, как я. А моя бабушка однажды, во время беседы со мной о жизни, высказалась в том смысле, что не похоже, чтобы я в своей жизни стал много делать того, чего не следует, зато она, бабушка, вполне убеждена, что я совсем не стану делать то, что следует.

Боюсь, что я несколько обманул ожидания моей почтенной бабушки, по крайней мере, в первой части. В этой части, несмотря на свою лень, я сделал многое, чего не должен был делать, с точки зрения бабушки; зато блестяще доказал верность второй части ее суждения, упустив случай сделать многое из того, что должен бы сделать.

Празднолюбие всегда было моей слабой, или, вернее сказать, сильной стороной. Разумеется, я не претендую на похвалу за это; ведь это у меня врожденный дар, а не нечто выработанное собственными стараниями. Этим даром во всей его полноте обладают очень немногие. Людей ленивых и мед-

лительных множество, но природных лентяев мало. И, представьте себе, такие лентяи вовсе не принадлежат к числу тех, которые, заложив руки в карманы, целые дни шляются без дела; напротив, природные лентяи отличаются изумительной деятельностью.

Очень трудно наслаждаться праздностью, когда человек не погружен по горло в дело. В ничегонеделании, когда совсем нечего делать, нет никакого удовольствия. В последнем случае вынужденная праздность тоже является своего рода обязательным трудом и даже очень тяжелым. Праздность, чтобы быть приятной, должна уворовываться, подобно поцелуям.

Много лет тому назад, в дни моей цветущей молодости, я как-то раз захворал. В сущности, не было ничего особенного, кроме обыкновенной простуды, но, тем не менее, доктор, должно быть, нашел во мне что-то серьезное, потому что сказал, что я напрасно не обратился к нему за месяц раньше и что если бы я промедлил еще неделю, то он, доктор, едва ли мог бы поручиться за мою жизнь. Это так уже водится у докторов. Я не знал ни одного из них, который, будучи приглашен к больному, не уверял бы, что если бы опоздали еще хоть на день пригласить его, то его искусство могло бы оказаться совершенно бессильным. Следовательно, само Провидение подталкивает нас всегда обращаться за врачебной помощью в последний срок спасения. Это нечто вроде того, как герои мелодрамы постоянно являются на сцену как раз

в самый критический момент, чтобы спасти все положение.

Итак, я был болен, и меня отправляли в Бекстон со строгим предписанием ровно ничего не делать за все время моего пребывания там.

«Вам, главное, необходим покой, полнейший покой», – говорил доктор.

Перспектива открывалась для меня восхитительная. «Какой славный этот доктор, – думалось мне, – как раз угадал то, что мне нужно!» И я рисовал себе чудные картины сладкого ничегонеделания в течение нескольких недель. Полное освобождение от всех обязательных занятий да еще с возможностью интересничать страданиями, которых, по совести говоря, я почти и не чувствовал, потому что, повторяю, моя болезнь была самая пустячная. Но тем более было охоты поинтересничать ею, как это вообще водится у молодежи. Ведь очень приятно сознавать себя предметом особенных забот, ухаживаний и сожалений.

И вот я представлял себе, как это будет хорошо: можно будет поздно просыпаться, долго валяться в постели, пить лежа шоколад, завтракать в халате и туфлях. Днем можно лежать в саду в гамаке, потихоньку раскачиваться и читать чувствительные повести с печальным окончанием. Когда дочитанная книга выпадет у меня из рук, я буду мечтательно смотреть в небо, любоваться его глубокой синевой со скользящими по ней белыми облачками, напоминающими паруса на поверхности моря; слышать пение птичек и шепот де-



ревьев. Когда же я окажусь слишком слабым, чтобы выйти из комнаты, то буду сидеть в кресле у открытого окна, весь обложенный подушками; а так как это окно будет в нижнем этаже и прямо на улицу, то проходящие мимо дамы будут видеть меня больного и сострадательно качать головами, сочувствуя моей молодости, пораженной «тяжким недугом».

Два раза в день меня будут возить в колясочке к «Колоннаде» пить воды. Собственно говоря, я еще не знал, что это за воды, какой у них вкус и доставляет ли удовольствие пить их. Но самые слова «пить воды» звучали в моих ушах очень внушительно-аристократично, поэтому я был уверен, что «воды» мне понравятся.

Но – уввы! – дня через три я пришел к заключению, что Уэллер дает о бекстонских водах очень неверное понятие, говоря, что они имеют запах «горячих утюгов». На самом же деле они издают запах прямо тошнотворный. Если бы что-нибудь могло сразу сделать больного здоровым, то, мне кажется, достаточно было бы ему знать, что он должен несколько недель пить по два раза в день эти отвратительные воды, и больной сразу выздоровел бы.

Я целых шесть дней выдержал эту пытку и едва не умер от нее. Но потом кто-то надоумил меня непосредственно после стакана этой ужасной бурды выпить стаканчик брэнди. Я послушал благого совета, и мне стало гораздо легче. Впоследствии, когда я узнал мнение известных ученых, что алкоголь совершенно парализует действие железистых вод, которыми

я пользовался, я очень обрадовался, поняв, что напал тогда на настоящее средство.

Однако питье противных вод было не единственной пыткой, которой мне, наперекор моим мечтаниям, пришлось подвергнуться в Бекстоне, да еще в течение целого месяца – самого неприятного во всей моей жизни. Следуя предписаниям врача, я все эти четыре недели ровно ничего не делал, бесцельно бродя по дому и по саду, когда не бывал в «Колоннаде», что случалось, как я уже говорил, два раза в день. Эти обязательные посещения «Колоннады» хоть немного вносили разнообразия в тягучую скуку дня.

Нужно сказать, что передвижение в курортах в ручных колясочках представляет для неопытных больных гораздо более «сильных» ощущений, чем это может показаться постороннему наблюдателю. Оно сопряжено с сознанием постоянной опасности. Седок курортной колясочки ежеминутно находится в приятном ожидании, что с ним должно случиться что-нибудь скверное. Ожидание это напрягается до высшей степени, когда впереди показывается плотина или только что заново шоссированная дорога. Злополучному седоку кажется, что каждый обгоняющий его или несущийся навстречу экипаж обязательно переедет через него, а при каждом спуске или подъеме на горку седок мысленно высчитывает, сколько шансов на то, что он может уцелеть, принимая во внимание, что ваш вожак – человек дряхлый, с трясущимися ногами и руками, который, того и гляди, выпустит из

рук колясочку, и вы при этом сломаете себе шею.

Но с течением времени я привык к новому ощущению и перестал бояться, а вместе с тем у меня пропало единственное, так сказать, «развлечение». Скука стала адская. Мне казалось, что я сойду с ума. Я сознавал, что этот ум у меня довольно слаб, и особенно рассчитывать на его устойчивость нельзя.

С целью несколько рассеять томящую скуку, я на двадцатый день моего пребывания в Бекстоне, после сытного завтрака, отправился прогуляться в Хейфильд, маленький, веселенький и оживленный городок, расположенный у подножия большой горы. Дорога к нему пролегла по прекрасной зеленой долине. В самом городке меня заинтересовали две прелестные молодые женщины. Впрочем, не ручаюсь, быть может, они только показались мне прелестными: ведь при скуке мало ли что может показаться! Одна встретилась со мной на мосту и, кажется, улыбнулась мне; другая стояла на крыльце своего домика и осыпала поцелуями розовые щеки годовалого ребенка, которого держала на руках. С тех пор много воды утекло, и эти женщины, вероятнее всего, в настоящее время превратились уже в невзрачных и неприветливых старух, если только остались живы. Но тогда встреча с ними хорошо повлияла на меня, поэтому я и запомнил ее.

На обратном пути я увидел старика, ломающего камень. Это зрелище вызвало во мне такое сильное желание испытать силу своих рук, что я предложил старику дать ему на

бутылку бренди, если он позволит мне поработать вместо себя. Он оказался очень стоворчивым и охотно согласился на такой обмен, вероятно, очень поразивший его своей необычайностью. Я принялся за дело со всей силой, накопленной мной в трехнедельной праздности, и в полчаса сделал больше, чем старик мог сделать за целый день.

Сделав первый опыт, я пошел дальше в отыскивании себе развлечений. Каждое утро я совершал длинную прогулку, а по вечерам ходил слушать музыку перед курзалом. Я совершенно оправился, но, тем не менее, дни тянулись для меня убийственно долго, и я был вне себя от восторга, когда наступил последний из них и меня увезли вновь в Лондон с его напряженной трудовой жизнью.

Я выглянул из экипажа, когда мы вечером проезжали по Хендону. Слабое сияние на небе над огромным городом точно согрело мое сердце теплом домашнего очага. И когда потом наш кеб загрохотал на въезде станции св. Панкратия, поднявшийся вокруг шум, возвещавший о близости столицы, показался мне самой приятной музыкой, когда-либо слышанной мною.

Итак, целый месяц праздности доставил мне не удовольствие, а лишь одно огорчение. Я люблю полениться, когда этого не допускают обстоятельства, но не тогда, когда мне нечем заниматься, кроме глазения в потолок. Такова уж моя упрямая натура. Всего более я люблю греться у камина, вычитывая, сколько кому должен, и это как раз в то время,

когда мой письменный стол завален горами писем, требующими немедленного ответа. Всего дольше я прохлаждаюсь за обеденным столом, когда меня ждет спешное дело, которое никак нельзя отложить до следующего дня. И когда у меня настоятельная надобность встать пораньше утром, то я непременно проваляюсь лишние полчаса в постели, чего никогда не сделал бы, если бы не было обязательного дела.

А какое наслаждение перевернуться на другой бочок, чтобы «уснуть» на пять минут! Мне думается, на всем свете нет ни одного человеческого существа, которое по утрам с удовольствием поднималось бы с постели. Исключение составляют разве только благонравные ученики, описываемые в назидательных книжках для воскресных школ; эти ученики всегда изображаются очень охотно встающими.

Есть люди, для которых вставать вовремя положительно невозможно. Когда, например, им необходимо подняться в восемь часов, они встают в половине девятого. Если же им необходимо быть на ногах не раньше половины девятого, они все-таки добавят себе еще полчаса и будут вставать только в девять. Эти люди похожи на того государственного деятеля, про которого говорили, что он всегда запаздывал ровно на полчаса. С целью заставить себя вставать вовремя, эти люди прибегают ко всевозможным ухищрениям; между прочим, они приобретают очень шумные будильники. Но многие из этих замысловатых приспособлений обладают свойством или барабанить и трещать за несколько ча-

сов раньше нужного времени, чем, разумеется, производят суматоху во всем доме, или, наоборот, действуют лишь два-три часа после срока, что влечет за собой гораздо большие неудобства. Неохочие вовремя вставать, разочаровавшись в будильниках, приказывают своим служанкам постучать им в дверь и окликать до тех пор, пока не получают ответа. Служанка добросовестно стучит в спальню хозяина или хозяйки и, постепенно возвышая голос, раз двадцать повторяет, что «пора вставать». Разбуженные, наконец, недовольным голосом ворчат: «Встаю, встаю... сейчас!» Но тут же перевертываются на другой бок и снова сладко засыпают.

У меня есть знакомый, который после вставанья идет в уборную принять холодную ванну и этим портит все дело, потому что, основательно прозябши в холодной воде, он «по-неволе» снова бросается в постель, чтобы согреться и кстати прихватить полчаса сна.

Что же касается меня, то лишь только я поднимусь с постели, как вся сонливость у меня сразу пропадает. Вся трудность при вставании состоит для меня в том, чтобы поднять голову с подушки, и никакие решения, принятые накануне, «во что бы то ни стало», встать вовремя не помогают. Часто вечером, пролентяйничав несколько часов, я говорю себе: «Не буду больше ничего делать сегодня, лягу лучше пораньше, чтобы утром пораньше встать». В это время мое решение кажется бесповоротным и вполне основательным, потому что я готовлюсь проспать то же количество часов, как

всегда, сделав лишь обычную утреннюю прибавку с вечера. Но утром оказывается, что моя вечерняя решимость значительно потускнела за ночь и что было бы гораздо лучше, если бы я просидел подольше вечером. Тут выступает на сцену мучительная неохота одеваться, и чем тянешь дальше, тем делается нестерпимее.

Странная вещь, наша постель, эта символическая могила, в которой мы с таким наслаждением распрямляем свои усталые члены и погружаемся в безмолвие и покой!

«О, постель, постель, восхитительное ложе, истинное небо на земле для усталой головы!» – пел бедный Гуд, а я добавлю от себя: «Постель – это наша добрая няня, так сладко убаюкивающая нас, утомленных и раздраженных дневной суетой. Умных и глупых, добрых и злых – всех ты с одинаковой нежностью принимаешь в свои мягкие и теплые объятия и осушаешь наши мучительные слезы. И здоровый духом и телом человек, полный забот, и несчастный больной, полный страданий, и молодые девушки, вздыхающие об изменивших им возлюбленных, – все, подобно малым детям, прижимаются утомленной головой к твоей белой груди, и ты с лаской даешь всем желанное успокоение – хоть на время».

«А как болят и ноют все наши раны, когда ты, всемирная утешительница, отвертываешься от нас! Как ужасно долго медлит рассвет, когда мы не можем заснуть! Ах, эти страшные, бесконечные ночи, когда мы переворачиваемся с боку на бок, снедаемые лихорадочным томлением и потрясаемые

судорожным, нервным кашлем! Когда мы, живые люди, ле- жа словно среди мертвых, смотрим на бесконечно медленно движущуюся процессию темных часов, ползущих между на- ми и светом! А эти безотрадные ночи, когда мы сидим у ко- го-нибудь из наших страждущих ближних, эти догорающие в камине дрова, при последних вспышках с треском осыпа- ющие нас дождем искр и золы, и это легкое тиканье часового маятника, звучащее в ночной тишине точно удары тяжелого молота, выбивающие из мира драгоценную жизнь, которую мы сторожим!»

Но довольно об этом. Я и так уж слишком долго останав- ливался на этой теме, а это скучно даже для такого праздно- го человека, как я. Давайте лучше покурим. И за курением можно убить время; ведь и это занятие вовсе уж не так пло- хо, как кажется. Табак – прямое благодеяние для нас, лен- тяев. Трудно представить себе, чем могли занять свои сво- бодные минуты люди до времен сэра Вальтера. Я готов при- писать вечную придирчивость и склонность к ссорам людей средних веков исключительно недостатку умиротворяющего снадобья, именуемого табаком. Этим людям нечего было де- лать, и они тогда еще не курили. Поэтому им, чтобы не уме- реть со скуки, поневоле оставалось только одно развлечение: ссориться и драться.

Когда, по особенной случайности, не было войны, они на- чинали распрю с соседом, а в промежутках между драками проводили время в обсуждениях, чья из их милых краше,



причем аргументами с обеих сторон служили опять-таки мечи, секиры, палицы и т. п.

Вообще, споры о вкусах в те дни решались быстрее, чем в наши. Когда влюбленный юноша двенадцатого, например, столетия хотел узнать, действительно ли так хороша любимая им красотка, как это ему кажется, он не отступал на три шага назад от нее, чтобы лучше видеть ее и потом сказать, что она слишком хороша, чтобы жить. Нет, он говорил, что отправится в дорогу и там узнает правду. И он отправлялся. По дороге он встречал другого юношу и «разбивал ему сердце». В те правдивые времена это служило неопровержимым доказательством, что возлюбленная первого юноши – настоящая красавица. Если же второй встречный юноша «разбивал сердце» первому юноше, то, значит, настоящей красавицей следовало признать милую встречного, а не того, кто первый затеял спор. Таковы тогда были способы, так сказать, художественной критики.

Нынче же мы преспокойно закуриваем трубку и представляем нашим красоткам самим решать, как им угодно, спор о красоте каждой из них.

И красотки великолепно справляются с этим делом. Гораздо лучше нас. Они теперь и вообще-то делают все наши дела. Они стали врачами, адвокатами и артистами. Они держат театральные антрепризы, пускаются в мошеннические предприятия, издают газеты. Мне уже грезятся те блаженные времена будущего, когда нам, мужчинам, останется только

валяться в постели до полудня, пить, есть, читать последние новинки, написанные теми же женщинами, и, в виде умственных занятий, обсуждать последний фасон брюк и детально разбирать, из какого материала сшит сюртук мистера Джонса и как он ему идет.

Блестящая перспектива – для лентяев!

## VI

# О влюбленности

Вы, наверное, были когда-нибудь влюблены. Если же еще не успели, то у вас это в будущем. Любовь – то же самое, что корь, через которую все мы должны пройти. И, подобно кори, любовь, или, вернее, любовная горячка, схватывает нас один лишь раз в жизни. Человек, подвергшийся этой болезни, безбоязненно может посещать самые опасные места, выкидывать самые сумасбродные штуки. Он может без всякого вреда для себя участвовать в пикниках, пробираться по густым чащам, валяться на мхе, созерцая красоты солнечного заката. Он так же мало избегает мирного сельского домика, как и, своего столичного клуба. Он смело может принимать участие в семейной поездке по Рейну. Может даже, из сострадания к погибающему другу, отважиться присутствовать при брачной церемонии, не опасаясь быть самому втянутым во всепоглощающую пасть брака; может не терять головы среди самого упоительного вальса и вслед за тем довольно долго пробыть в темной галерее, рискуя схватить разве только насморк; он может при лунном сиянии пускаться в прогулки по аллеям среди цветочных клумб, испускающих одуряющий аромат, или в сумерках протискиваться через мелодично шуршащий тростник; может в полной безопасности перебираться через заборы и живые изгороди, – не повиснет

и не будет схвачен; может бегать по скользким тропинкам – и не упадет; может смотреть в лучистые глаза и не быть ослепленным; может спокойно слушать пение сирен и продолжать свой путь, не поворачивая руля; может держать в своей руке беленькую ручку и не быть пронизанным никаким электрическим током, который приворожил бы его к этой руке.

Словом, он тогда многое может проделывать совершенно безнаказанно. Мы никогда не хвораем дважды в жизни любовной горячкой. Купидон на каждое сердце отпускает только по одной стреле. Слуги любви – наши пожизненные друзья. Для уважения, почитания и преданности наши двери могут быть всегда открытыми, но этот коварный божок наносит каждому из нас лишь по одному визиту и больше уж не показывается. Мы можем быть глубоко привязаны к кому-нибудь, можем лелеять и нежить кого-нибудь в своем сердце, но любить больше уж не можем. Сердце мужчины, подобно фейерверку, только раз подымает свою огненную вспышку к небесам. На одно мгновение вспыхивает оно как метеор и, озарив все вокруг ослепительным светом, тут же тонет в потемках нашей обыденной жизни, его пустая гильза падает обратно на землю и, никем не замечаемая, тихо рассыпается прахом.

Да, только раз осмеливаемся мы, разорвав теснящие нас узы, подобно могущественному Прометею, взбираться по лестнице на Олимп и там похищать божественный огонь с колесницы Феба. Блаженны те, которые успели донести этот

огонь непотухшим до земли и зажечь им пламя на своем земном алтаре. Любовь – слишком чистый огонь и не в состоянии долго гореть среди тяжелых испарений, которыми мы дышим, поэтому нужно скорее пользоваться им, чтобы зажечь надолго обыденный огонек тихой, спокойной и прочной привязанности.

Такой уютно греющий огонек гораздо более подходит к нашей холодной гостинной, называемой миром, нежели более одухотворенный, небесный огонь, называемый любовью. Любовь может служить только тем огнем весталок, который должен гореть на алтаре обширных величавых храмов, где грохочет музыка высших, небесных сфер. Огонек тихой привязанности горит веселее, когда угаснет белое пламя любви. Такой огонек может поддерживаться ежедневно и тем сильнее разгораться, чем ближе надвигаются холодные дни старости. Возле этого огонька спокойно могут сидеть рука об руку старые супруги, могут играть в его лучах и маленькие дети, может иметь свой уютный уголок и друг дома, которому одному стало скучно, могут лежать перед ним враспяжку и верные четвероногие друзья дома.

Будем же стараться подкидывать побольше пылающих угольков на этот домашний очаг, т. е. как можно больше добрых чувств. Бросайте на этот очаг ваши добрые слова, нежные пожатия ваших рук, сердечные, бескорыстные дела. Раздувайте огонь веером хорошего расположения духа, терпения и всепрощения. Тогда пусть хоть буря бушует над вашим

очагом, пусть низвергаются на него потоки ливня – все равно ваши сердца будут согреты, лица окружающих вас будут светиться как солнце, несмотря на мрачные тучи вокруг...

Я опасаюсь, что вы, дорогие юнцы и юницы, слишком много ждете от любви. Вы думаете, достаточно ваших маленьких сердец, чтобы в продолжение всей вашей жизни поддержать быстрый, пожирающий огонь любовной страсти. Нет, дорогие мои, не надейтесь так сильно на эту непостоянную вспышку! Она с течением времени становится все слабее и слабее, и ее нечем возобновлять. С тоской и отчаянием будете вы наблюдать ее полное угасание. Каждому из вас будет казаться, что его партнер день ото дня становится холоднее. Эдвин с горечью замечает, что Анджелина перестала выбегать к нему навстречу из калитки, краснея и сияя улыбкой блаженства; и, когда он схватывает легкую простуду, Анджелина теперь не раздражается уж больше слезами, не обвивает его шею руками и не лепечет, что не может прожить без него ни одного дня. Самое большее, что она теперь делает, – предложит ему какое-нибудь общеупотребительное средство, на которое он и сам мог бы напасть, и в ее тоне будет слышаться, что ее беспокоит не столько состояние здоровья Эдвина, сколько раздражают его кашель и насморк.

Эдвина сильно огорчает такое отношение к нему, а бедная Анджелина, со своей стороны, втихомолку разливается слезами, потому что Эдвин перестал носить в своем боковом кармане ее старый носовой платок.

Оба поражены переменой, происшедшей в другом, но не чувствуют собственной перемены, потому что если бы чувствовали, то не страдали бы так. Тогда они стали бы искать причину взаимного охлаждения в надлежащем месте – в ничтожестве человеческой натуры; примирились бы с общей участью и принялись бы строить свой дом заново, на более прочном, земном фундаменте.

Но мы зрячи в отношении других и слепы по отношению к самим себе. Все, что делается для нас неприятного, мы приписываем вине других. Анджелина воображает, что она вечно любила бы Эдвина, если бы он не сделался таким равнодушным и холодным. Эдвин также уверяет, что всю вечность обожал бы Анджелину, если бы она осталась такой же, какой была раньше.

Я понимаю, что это трудный для вас обоих час, когда пламя любви уже погасло, а огонек привязанности еще не зажат, и вы тщетно шарите вокруг себя в угрюмой мгле повседневной жизни, отыскивая, чем бы зажечь этот огонек. Дай Бог, чтобы ваши поиски увенчались успехом раньше, чем догорит самый светоч вашей жизни! Многим приходится мерзнуть пред холодным очагом вплоть до последнего издыхания.

Но какая же польза от этих проповедей? Кто из тех, у кого в любовной горячке кровь пылает и бурным потоком несется по жилам, может поверить, что настанет время – и часто очень быстро, – когда горячая кровь остынет и потечет тихо

и медленно? Двадцатилетнему юноше кажется положительно невозможным, чтобы он не любил так же страстно и в шестьдесят лет. Положим, он не может припомнить среди своих знакомых ни одного пожилого или даже средних лет человека, который выказывал бы признаки бурной и пламенной любви, но это нисколько не смущает его веры в самого себя. Он непоколебимо убежден, что уж его любовь ни в каком случае не уменьшится. «Очевидно, – думает юноша, – никто никогда не любил так крепко, как я». Поэтому опыт всего мира ему не пример.

Но – увы! – самое большое лет через десять этот пылкий самоуверенный юноша сам станет в ряды остывших. И это будет не его вина. Наши страсти, как добрые, так и злые, угасают одновременно с румянцем наших щек. После тридцати лет мы так же мало можем любить, радоваться, печалиться и отчаиваться, как в двадцать лет. Разочарования не вызывают в нас желания покончить все расчеты с жизнью, а большие успехи уже не кружат нам голову.

По мере того как идут вперед наши годы, мы впадаем все в больший и больший минорный тон. Немного захватывающих дух пассажей в нашей житейской опере. Честолюбие довольствуется меньшим; стремление к славе становится более умеренным; во всем привыкаем подлаживаться под обстоятельства, а любовь и совсем умирает. Презрение к грезам молодости холодным инеем ложится на наше сердце; нежные побеги и пышные цветы обципаны или поблекли, а от ви-



ноградной лозы, стремившейся своими зелеными завитушками обхватить весь мир, остался один дряблый, засохший ствол.

Я знаю, что мои молодые полные сил друзья найдут все эти рассуждения ересью. Когда мужчина уже настолько отдален от молодости, что уже не может расплываться в нежностях любви, молодежь начинает признавать авторитетность его мнений лишь с того времени, когда у него начнет появляться седина в бороде. Молодые дамы судят о нашем поле лишь по повестям, написанным женским пером, не понимая того, что по сравнению с изображенными в этой кошмарной литературе Пифагорова общипанная птица и Франкенштейнов демон – образцовые представители сильного пола.

В ходовой современной, так называемой «дамской», беллетристике главный любовник, или «герой», обыкновенно величается «греческим божеством», причем умалчивается, кого именно из многочисленных божеств греческой мифологии он собой изображает: хромого Вулкана, двуликого Януса или слюнявого Силена, культ которого скрывался в темных, непонятных мистериях. А может статься, этот «герой» соединяет в себе черты их всех, вместе взятых, т. е. является настоящим сверхдемоном, что и требуется доказать. Как бы там ни было, но на признание хоть той небольшой доли истинной мужественности, которой обладали его прототипы, этого рода «герои» не имеют никакого права, так как они, в сущности, представляются лишь старыми, перевалившими

за сорок лет, женоподобными простофилями. Но посмотрите, как волнуют эти «герои» чувствительные сердца девиц школьного возраста и даже постарше. Куда вам, молодым Ромео и Леандрам, в глазах этих юниц до такого «героя», который изображен любящим с такой истеричной страстью, что для ее описания автору понадобилось, по крайней мере, по четыре прилагательных к каждому существительному!

Впрочем, для таких, как мы, старых греховодников очень хорошо, что вы, молодые девицы, изучаете нас только по таким произведениям. Если бы вы изучили самих живых представителей нашего пола, то убедились бы, что робкий лепет юноши немного правдивее нашего смелого красноречия. Любовь юноши льется прямо из сердца, а любовь зрелого мужчины большей частью проистекает из сытого желудка. В самом деле, ленивое чувство пожилого мужчины не может быть названо любовью, если сравнить это чувство с тем быстрометным фонтаном, который извергается из сердца юноши, когда оно тронуту небесным жезлом. Когда вы желаете узнать настоящую любовь, черпайте из того чистого источника, который разливается молодостью под вашими ногами. Окунайтесь в его живительные свежие волны, пока они не успели помутнеть.

Но, быть может, вам лучше нравится острый запах источника любви? Может статься, свежая, прозрачно-чистая вода слишком пресна для вашего вкуса, и вы можете утолить свою жажду только уже застоявшейся, затхлой водой? Неужели

мы должны верить тем, которые рассказывают, что молодым девушкам нравится ласкать только руку, пахнущую осадками постыдно проведенной жизни?

Такое мнение внушается нам современными книжками в желтых обложках. Задумываются ли когда-нибудь над тем, что творят те дьяволы, которые прокрадываются в Божий сад и нашептывают ребячески наивным Евам и глупым Адамам, что грех сладок, а скромность, сдержанность и благопристойность смешны и вульгарны? Скольких невинных девушек превращают они в дурных, развращенных женщин! Скольким умственно-ограниченным юнцам внушают они, что кратчайший путь к сердцу девушки – самый истоптанный и грязный! Не в том ужас, что писатели «желтых» книжек изображают жизнь такой, как она есть. Пишите правду, тогда невинность сама сумеет оградить себя. Но дело в том, что их картины – лишь грубая мазня, воспроизводящая то, что рисует им их собственная больная, извращенная фантазия.

Мы желаем видеть в женщине не злого демона, помышляющего лишь о том, чтобы сгубить нас, – а такой сама женщина больше всего любит изображать себя в своих произведениях, – но доброго ангела, поднимающего нас вверх. В женщинах больше вложено добрых и злых сил, чем они сами думают. Обыкновенно мужчина впадает в любовь в то время, когда его будущий жизненный путь только что намечается, и женщина, которую он полюбил, дает направление этому пу-

ти. Совершенно бессознательно для себя он под ее влиянием становится тем, чем ей угодно видеть его – добрым или злым.

Мне очень прискорбно, что моя правдивость не позволяет мне быть достаточно галантным по отношению к прекрасному полу, и я должен откровенно высказать свое мнение, что далеко не всегда женщина направляет нас к лучшему. В большинстве случаев она склоняется к заурядности и пошлости. Ее идеал – мужчина, не возвышающийся над уровнем самой дюжинной обыденности, и ради того, чтобы принизиться до мерки, требуемой любимой женщиной, много гибнет талантов, светлых мыслей, добрых чувств, великих стремлений, планов и начатых дел гибнут совесть и честь.

Между тем вы, женщины, могли бы сделать нас лучшими, чем мы есть, если бы только пожелали. Не от профессиональных проповедников, а исключительно от вас зависит приблизить наш испорченный мир к небу. Рыцарство не умерло, как принято думать; оно лишь спит за неимением себе применения. Ваше дело разбудить его и направить на благородные подвиги. Вы должны быть снова достойными рыцарского поклонения, и за ним тогда недостатка не будет. Вам следует подняться над самими собой. Рыцарь Красного Креста бился за Единственную, за женщину выдающейся душевной красоты. Из-за какой-нибудь себялюбивой и жестокой пошлости он не пошел бы бороться с драконом, какое бы ни было у нее смазливое личико и как бы она ни жеманилась.

Послушайте, дорогие читательницы, моего дружеского голоса, будьте так же прекрасны душой и умом, какими вы желаете быть телом, и тогда снова найдутся храбрые рыцари, которые будут готовы на великие подвиги ради только вашей одобрительной улыбки. Сбросьте с себя уродующие вас оболочки себялюбия, самомнительности, бесстыдства, алчности, зависти и ненависти к тем, которые имеют больше вашего разных жизненных благ; перестаньте ломаться, корчить из себя ангелов, когда у вас нет с ними и отдаленнейшего сходства; перестаньте притворяться и хитрить. Будьте просты и чисты, – чисты всеми вашими помыслами и стремлениями, и посмотрите, как сразу все вокруг вас изменится. Тысячи мечей, в настоящее время ржавеющих в постыдной праздности, будут тогда вынуты из ножен и засверкают в битве с мировым злом в честь вас. Будучи поощряемы вами, новые доблестные рыцари побьют всех драконов, воплощающих в себе дурные страсти, и вернут вам светлый, полный мира и истинной любви рай.

Поверьте, каждый из нас в дни своей любви способен на благородные подвиги. Все, что в нас есть дурного, мы всегда готовы подавить, если только от нас этого потребует любимая женщина. В юности для нас любовь – та же религия, ради которой мы охотно пойдем на смерть. Дело женщины – заставлять нас жертвовать жизнью для чего-нибудь великого, для чего-нибудь такого, что могло бы принести истинную пользу не одной женщине.

Любимая нами в юности женщина была для нас божеством, которому мы поклонялись. Как сумасбродно, но вместе с тем и как сладко было нам это поклонение! О юноша, лелей грезу любви, пока любовь еще не улетучилась. Поверьте Томасу Муру, певшему, что слаще чистой юношеской любви нет ничего в жизни. Даже тогда, когда любовь приносит страдания, эти страдания полны такой поэзией, что отличаются от всех других, обыденных, грубых земных мучений. В самом деле, когда вы лишитесь любимой женщины – в прямом или переносном смысле, – когда померкнет солнце вашей жизни, весь мир кажется вам одним сплошным мраком, полным ужасов, – к вашему отчаянию все же примешивается доля чего-то чарующего.

И кто побоится страданий в виде искупления за восторги любви? Ведь эти восторги таковы, что одно воспоминание о них заставляет трепетать ваше сердце от сладостного чувства. Как велико было блаженство говорить ей, что вы любите ее, живете ради нее одной, желали бы умереть за нее. Как вы безумствовали, какие потоки витиеватого, хотя и бессмысленного, бредового красноречия изливали вы пред ней и как жестоко вам было слышать в ответ, что она не верит вам! С каким благоговением смотрели вы на нее. Каким чудовищем казались вы самому себе, если ей удавалось убедить вас, что вы ее оскорбили и обидели, хотя решительно не могли припомнить – как и чем, когда вы только молились на нее! И как сладко было вымолить прощение разгневанной

невесть чем богини, – прощение за несодеянную вами вину! Каким темным казался вам мир, когда она сурово относилась к вам, нарочно для того, чтобы видеть вас страдающим от ее немилости, и как ярко все освещала вокруг вас ее улыбка! Как жестоко ревновали вы каждое живое существо, с которым она приходила в общение. Как ненавидели вы каждого мужчину, с которым она: обменивалась пожатием руки, каждую женщину, которую она целовала, горничную, причесывавшую ей волосы, мальчика, чистившего ее обувь, собаку, которую она ласкала, хотя к последней вы должны были выказывать особенную нежность, как любимице своей госпожи! Как страстно вы рвались увидеть ее и каким тогда делались глупым, когда, наконец, исполнялось это ваше желанием. Каким бессмысленным взглядом впивались вы в нее, не будучи в состоянии произнести ни слова!

Вспомните, что куда бы вы ни пошли днем или ночью, вы, сами не зная как, непременно очутитесь против ее окон. У вас не хватало смелости войти к ней в дом, и вы замирали на противоположном углу улицы, по целым часам простаивали там, не сводя глаз с ее окна. Ах, как были бы вы счастливы, если бы в это время вдруг загорелся ее дом, и вы, ворвавшись в середину бушующего пламени, могли спасти вашу милую, хотя бы при этом сами обгорели или были бы искалечены! Вы всячески были готовы служить ей. Иметь возможность оказать ей хоть самую пустячную услугу доставляло вам неизъяснимое блаженство. Как вы старались уга-

дать по ее лицу и глазам малейшее ее желание! Как вы гордились, когда она обращалась к вам с какой-нибудь просьбой! Какое счастье, если она распорядилась вами, как лакеем! Вам казалось таким простым и естественным посвятить одной ей всю свою жизнь, никогда не думая о самом себе. Вы были рады подвергать себя всевозможным лишениям, лишь бы иметь возможность приобрести для нее какую-нибудь безделушку. С каким благоговением приносили вы эту жертву на ее алтарь и как были вознаграждены, если она удостоивала вас милостивым принятием этой жертвы; как священной было для вас все, к чему она прикасалась: ее перчатка, оброненная ею, старая лента из косы, превращенная ею в книжную закладку; роза, увядшая на ее груди и до сих пор еще пропитывающая легким ароматом листы той книги, которую вы давно уже не берете больше в руки!

А как она была добра, как обольстительно прекрасна! Только одна она представлялась вам настоящим ангелом, а все остальные женщины – такими грубыми и безобразными. Она была настолько священна для вас, что вы даже мимолетно не могли помыслить о прикосновении к ней. Даже смотреть на нее с упоением казалось вам слишком дерзким. Подумать же о том, чтобы поцеловать ее, – это в ваших мыслях было таким же преступлением, как, например, вдруг запеть в церкви какую-нибудь непристойную песню. Самое большее, на что вы могли отважиться, это – опуститься пред ней на колени и робко прижать к губам край ее одежды...



Ах, эти чудные, безвозвратные дни наших юношеских любовных безумств! Эти дни, когда мы были еще бескорыстными и чистосердечными; когда мы были еще полны веры и надежды и обладали способностью почитать других. Золотые дни благородных дум и стремлений! Что по сравнению с ними наши настоящие «мудрые» дни, когда мы научились верить, что деньги – единственная достойная цель наших трудов; когда во всем мире не видим ничего, кроме скопления всевозможных зол и гадостей; когда нам дело только до себя, и ни об одном живом существе мы уже не заботимся!

## VII

### О погоде

У меня все как-то не ладится. Мне хотелось бы придумать что-нибудь совсем особенное для этой главы, – нечто такое, что выходило бы из ряда вон своей свежестью и яркостью. Хорошо бы найти такой сюжет, который никому никогда не приходил в голову, и я мог бы похвастаться, что сказал «новое» слово.

Несколько дней я ломал себе голову, отыскивая в ней такой сюжет, но так и не отыскал. Вследствие этого я находился в самом отвратительном состоянии духа, когда к нам пришла наша поденщица, мистрис Кеттинг.

– Что это вы нынче такой расстроенный, сэр? – спросила она меня.

– Да вот все придумываю, как бы написать что-нибудь такое, о чем никто никогда не только не писал, но и не говорил, что удивило бы весь мир своей оригинальностью, заставило бы всех ахать и захлебываться от восторга.

Мистрис Кеттинг засмеялась и заметила:

– Ишь вы какой шутник, сэр! Разве можно делать то, что нам не по силам?

Вот так всегда со мной бывает. Когда я говорю о чем-нибудь совершенно серьезно, люди смеются, а когда принимаюсь шутить, они таращат глаза и, видимо, не понимают меня.

Как-то не так давно я сочинил веселенький и довольно остроумный (по моему мнению) анекдот, тщательно обработал его в своем уме и выжидал случая угостить своей выдумкой кого-нибудь из знакомых. Дня через два после этого я был приглашен на один семейный обед. Разговор во время обеда зашел на тему отношений Шекспира к Реформации.

Я также вставил свое словечко в этот интересный разговор, а потом вдруг бухнул:

– Кстати. Мне припомнился один интересный случай, имевший место в Уайтчепеле...

И для большего эффекта я даже остановился.

– Расскажите, расскажите, пожалуйста! – дружно раздавалось вокруг меня.

– Преуморительный случай, – продолжал я и рассмеялся сам от предвкушения гомерического хохота, который надеялся вызвать в слушателях своим анекдотом. Но когда я окончил его, все сидели с вытянутыми, серьезными лицами и молчали. Так продолжалось довольно долго. Наконец один из моих соседей с очевидным недоумением проговорил:

– Что же в этом смешного, по-вашему?

Тогда я передал свой анекдот в другой окраске, всячески стараясь, чтобы он вышел как можно смешнее. Вероятно, все поняли мои старания и из вежливости натянуто засмеялись; а один глуховатый старичок, сидевший на другом конце стола, все приставал повторить ему мой рассказ, но никто не исполнил желания любопытного старичка, потому что уже

заговорили о другом. Так моя затея и сошла на нет.

Бывают люди очень смешливые. Я знал одного молодого человека, который ничего не мог выслушать без смеха, и, когда этому молодому человеку нужно было сказать что-нибудь серьезное, приходилось сначала предупреждать его, что в этом не будет ничего смешного. Без такого предупреждения смешливый молодой человек обязательно встречал бы каждое ваше слово оглушительными взрывами самого веселого хохота.

Однажды мы шли с ним по улице. Один из прохожих, по-видимому, бедный мастерской, очень спешивший, спросил у нас, который час. Мой спутник остановился посреди панели, хлопнул себя по бедрам и громко расхохотался. Мастерской с недоумением посмотрел на него и поспешил дальше.

Никто из знавших этого смешливого весельчака не решился сказать ему что-нибудь действительно смешное из опасения, как бы он тут же, на месте, не лопнул от смеха.

Но вернемся к моей прерванной беседе с мистрис Кеттинг. Я уверил ее, что вовсе не в шутку говорил ей о своем затруднении отыскать новую тему для своего очерка, и просил ее помочь мне, – навести меня на новую мысль. Почтенная дама задумалась, потом предложила мне написать о «моделях», о которых в настоящее время уж никто не говорит, но которые были очень в моде, когда она была молода.

«Модели» я отклонил и попросил придумать что-нибудь другое. Мистрис Кеттинг долго морщила лоб и терла пере-

носицу, потом заявила, что лучше бы всего написать о погоде, которой люди теперь так мало занимаются. Как только мистрис Кеттинг произнесла слово «погода», оно тотчас же застряло у меня в мозгу; я понял, что больше мне нечего и искать, потому что ничего другого не пойдет на ум, пока я не избавлюсь от внушения этой женщины, написав действительно о погоде.

Вот я и сел писать о погоде. В настоящую минуту погода преотвратительная. Это, конечно, вовсе не новость. Погода у нас, в Лондоне, почти всегда отвратительная. Если же она, сверх чаяния, окажется мало-мальски сносной в то время, когда вы будете читать эти строки, то, наверное, снова готовится перейти в свое обычное состояние.

Погода у нас, подобно правительству, никак не может угодить нам. Летом мы называем ее слишком удушливой, зимой – убийственно холодной, а весной и осенью обвиняем в том, что она не соответствует этим временам года.

Когда она летом бывает очень хороша, мы кричим, что поля, луга и сады гибнут от засухи; когда же пойдет дождь, начинаем жаловаться, что все погибнет от «непрекращающихся» ливней и наводнений. Когда в декабре нет снега, мы с негодованием спрашиваем, что такое сделалось с нашими прежними прекрасными зимами, и вообще выражаем такое неудовольствие, точно нас жестоко обманули в чем-нибудь таком, за что мы дорого заплатили. Когда же, наконец, повалит снег, мы опять брюзжим. Словом, погода никак не мо-

жет нам угодить, поэтому нужно бы придумать такой способ, чтобы каждый мог сделать ее себе по своему вкусу, или же устроить так, чтобы совсем не было никакой погоды.

Но мне думается, что только нам, жителям столицы, не может угодить никакая погода. В своем настоящем царстве, вне городских стен, природа всегда хороша и приятна во всех своих проявлениях, – конечно, в мирных. Что может быть лучше снега, в таинственном безмолвии мягко опускающегося на землю? Как хорошо прогуляться, когда под нашими ногами звенит замерзшая почва или хрустит снег; когда кровь бежит быстрее на свежем морозном воздухе; когда отдаленный лай собак и смех детей серебристыми звуками разносятся по открытым равнинам! А катанье на коньках? Разве не наслаждение носиться на стальных крыльях по колеблющемуся льду, поднимая вокруг себя в головокружительном беге своеобразную музыку нежных звуков прорезываемого природного стекла?

А как упоительно прекрасна весна, когда начинают распускаться крохотные свежие, клейкие листья, похожие на зеленое кружево; когда фруктовые сады красуются в пышном море нежных белых и розовых цветов и каждое дерево в отдельности напоминает невесту в подвенечном уборе; когда поля и леса полны веселого птичьего гомона, а меланхоличный крик кукушки будит сладкие мечтания, неизвестно о чем, словно манит куда-то вдаль, сулит что-то неизвестное, быть может, веселое, а быть может, и грустное.

А лето с его глубокой темной зеленью и хлопотливым шумом, когда дождевые капли шепчут какие-то тайны внимающим небесам и поля покрываются серебристой дымкой ниспадающих струй.

А осень. Разве и она не прекрасна в золотом сиянии и пышной окраске умирающих лесов, со своими кроваво-красными закатами и призрачными вечерними туманами, с веселой суетой жатвы, скрипом нагруженных телег, звонкой переключкой собирающих оставленные колосья детей и галдением ворон, галок и грачей, повсюду в эту пору находящих себе обильный корм?

Дождь, буря и гроза в деревне кажутся лишь полезными услугами природы, добросовестно исполняющими свой долг. Даже свирепый восточный ветер кажется нам старым, ворчливым другом, когда мы встречаемся с ним среди живых изгородей.

Но в городе, где раскрашенная штукатурка стен трескается даже под затуманенным солнцем, где пропитанный сажей и копотью дождь приносит грязь, снег лежит серыми кучами, а ветер так злобно, с такой пронизывающей силой гонит нас по улицам-коридорам, зловеще завывая на углах, – природа не очаровывает вас.

Погода в городе – то же самое, что жаворонок в комнате. Города хотят быть накрытыми, согреваться трубами водяной топки и освещаться электричеством. Погода – это сельская красавица, совсем не подходящая к городу. Мы не

прочь пофлиртовать с ней на сенных лугах, но пренебрегаем ею, когда она встречается нам в городском сквере. Там она режет наш слух и наше зрение. Ее жизнерадостный, свежий и здоровый вид, естественные манеры и громкий, звенящий смех слишком уж сильно не гармонируют с вялостью и натянутостью городской жизни, и присутствие этой красотики смущает нас, когда мы разыгрываем из себя особую породу людей – горожан. Недавно эта деревенская красotka подарила нас трехнедельным непрерывным дождем, и теперь мы все похожи на вывалявшихся в грязной луже мокрых кур, т. е. крайне непредставительны, все по ее милости.

Наш ближайший сосед по временам выходит на крыльцо и говорит, что этот дождь облагодетельствует всю деревню, а через нее и всю страну. Он ровно ничего не смыслит в сельском хозяйстве, но мнит себя знатоком с тех пор, как однажды устроил у себя на задворках пару гряд с огурцами. Тем не менее я надеюсь, что он хоть в отношении дождя окажется прав: это все-таки могло бы утешить меня в том, что, благодаря этому дождю, я чувствую себя в самом удрученном состоянии. Дождь портит мне и одежду и настроение. Впрочем, что касается настроения, то это куда еще ни шло: с ним я как-нибудь и примирюсь; но как мне быть с приведенными дождем и грязью в полную негодность предметами моего туалета, – решительно не знаю. Все эти вещи мной только что были приобретены и, могу вас уверить, не по дешевым ценам, и вот из-за того, что в провинции нужен дождь,



я должен обзаводиться новым платьем и обувью, поносив их всего какой-нибудь месяц!

Возьмите, например, мое прекрасное серое весеннее пальто, в котором я до этого где-то и кому-то благотворно-го, но зловредного для меня дождя ходил таким щеголем; теперь оно висит у меня на вешалке тряпка-тряпкой; насквозь промокшее, грязное, в пятнах. Просто стыдно даже глядеть на него!

В сущности, в этом вина Джима. Ни за что я в тот вечер не пошел бы из дому, если бы не Джим. Пальто мое еще ни разу не было надевано, и я в тот памятный вечер долго вертелся в нем пред зеркалом, чтобы посмотреть, как оно сидит на мне. Оно было такое изящное и шло ко мне, что я в нем сам себе показался сверхджентльменом.

Представляя себе, какую видную фигуру я буду изображать в этом пальто на улице, я с чувством полного удовольствия осторожно стал было его снимать, чтобы повесить в гардероб до лучших времен – в смысле погоды. Вдруг в мою комнату вихрем ворвался мой приятель Джим и потащил меня по «очень нужному делу» к своим. Так как у него дом полон молодых дам, сестер и их подруг, то мне неловко было явиться туда в старом, хотя еще и довольно приличном пальто, и я пошел в новом, тем более, что Джим уверил меня, что в этом пальто я выгляжу особенно внушительным и представительным. Я поверил приятелю, и мы отправились. На дворе был проливной дождь.

«Очень нужное» дело Джима оказалось пустяками, но я от этих пустяков пострадал очень чувствительно. Вернувшись домой, я должен был скорее раздеться, обтереться с головы до ног водкой, потом принять горячую ножную ванну, поставить себе на грудь горчичник, выпить большой стакан горячего пунша, основательно вымазать нос свечным салом, лечь в постель и укрыться несколькими одеялами. Благодаря этим энергичным и своевременно приятным мерам да сильному от природы организму, свою жизнь я спас, но мое прекрасное новое пальто безвозвратно погибло вместе со всем остальным, что еще было надето на мне. Всего больнее мне было именно за пальто, потому что оно нравилось мне лучше всех других когда-либо бывших в моем владении верхних одежд.

Но такова уж моя участь. Как только я заведу себе что-нибудь особенно по сердцу, сейчас же с этим и стрясется беда. Как-то раз летом я приручил к себе крысу – я был еще зеленым подростком – и так привязался к этой крысе, как только может мальчуган привязаться к живому существу. Вдруг моя крыса бесследно исчезла, оставив меня в глубоком отчаянии. Только осенью она нашлась утонувшей в глубокой банке с малиновым вареньем.

Я прямо ненавижу сырую погоду в городе. И не самая сырость возмущает меня, а неразлучная с ней грязь. Эта грязь положительно преследует меня, словно я обладаю; особенно притягательной силой для нее. Стоит мне только в дождь

пройти несколько шагов по улице, как я уже облеплен грязью снизу доверху. Поневоле пожалеешь о своей «притягательности», подобно той бедной старушке, которая была оглушена на оба уха молнией. Другие люди целыми часами могут разгуливать по грязи, и она почти не пристанет к ним. Мне думается, что останься каким-нибудь чудом во всем Лондоне только комочек грязи, он обязательно очутится на мне, хотя бы вместе со мной; прошла мимо него целая толпа. Это мое странное свойство доставляло немало огорчений моей доброй матери, которая при всех своих стараниях никак не могла «вести» меня чисто.

Мне бы хотелось отвечать взаимностью на эту непоколебимую ко мне привязанность уличной грязи, но никак: не могу. То, что называется «особенностями» Лондона, внушает мне непреодолимый ужас. Вообще я всегда чувствую себя таким жалким ничтожеством в дождливые дни, что готов все их проспать в чистой, сухой и теплой постели. В дурную погоду все не по мне. Мне все кажется, что именно в такую погоду на улице гораздо больше народа, езды, собак, то и дело попадающихся под ноги, и всякого рода других неудобств, чем в хорошую. В это время мне все так противно, исключая, само собой разумеется, моей собственной особы, и я такой раздражительный, что лучше никто и не подступайся ко мне. И, как нарочно, в дождь мне всегда приходится нести в руках особенно много покупок, так что я никак не могу хихитриться открыть зонтик.

Особенно не могу терпеть апрельской погоды. Кстати сказать, совершенно напрасно эта погода называется «апрельской», такая погода всегда бывает только в мае. Поэты находят эту погоду «очень милой». Это потому, что она своим непостоянством – каждые пять минут у нее перемена – напоминает им привередливую женщину. Никак не могу понять, почему именно такая женщина преимущественно вызывает восторги поэтов. Лично мне капризницы вовсе не нравятся, и я ничего не нахожу в них обольстительного.

Впрочем, поэты – такой народ, который другим не указ. В этом и состоит их «оригинальность». Но пусть себе на здоровье они восторгаются истеричной капризницей, которая сама не знает, чего хочет. В одно и то же время она и плачет и смеется; то подарит вас лучезарной улыбкой, то вдруг орошит чуть не прямой грубостью; то прыгает как коза, воображая, что изображает воздушную сильфиду, то забьется в угол и смотрит кислее всякого уксуса; то жгуча как огонь, то холодна как лед – словом, постоянно переходит из одной крайности в другую и ставит вас в тупик такими странностями.

Вкус по отношению к женщине – дело личное и, в сущности, ни до кого постороннего не касается, но восхваление дурной погоды – дело, так сказать, уже общественное, и мы вполне вправе выразить поэтам за это «преступное» восхваление наше негодование. Слезы женщины не могут промочить насквозь даже ее обожателя, не говоря уже о целом об-

ществе: ее холодность не вызывает ни удушья, ни ревматизма, между тем как плохая погода может причинить большое зло всему городскому населению.

Что же касается специально «апрельской» погоды, то я скорее могу примириться с днем, который сплошь нехорош, – холодный, сырой, туманный, ветреный, – но не выношу смеси дурного с хорошим. Мне положительно досадно видеть над своей головой лазурное небо в то время, когда ноги шлепают по грязи, и я бешусь, когда вслед за сильнейшим ливнем вдруг выглянет яркое солнышко и смотрит на нас с такой насмешкой, словно хочет сказать: «Дорогой мой, неужели ты сердишься на мое отсутствие? Охота тебе! Ведь я только хотело пошутить с тобой».

В течение нашего лондонского «апреля» не успеваешь открывать и закрывать зонта, в особенности, когда это орудие с так называемым «автоматическим» приспособлением. Кстати, об этом приспособлении. Года два тому назад я приобрел себе такой «автомат». Ну, и было же мне с ним возни! Расскажу этот случай поподробнее, – он стоит того.

Зашел я в один шикарный зонтичный магазин на Стрэде и робко проговорил:

– Мне бы хотелось иметь хороший зонт, который мог бы защитить меня от дождя и, кроме того, не позволял бы забывать себя в трамвае и в других подобных местах. – Улыбнулись и ответили:

– Не желаете ли «автомат»?

– А что это за штука? – осведомился я.

– Это зонт новейшего изобретения. Он так превосходно устроен, что сам открывается и закрывается, – пояснили мне и показали это новейшее «превосходное» изобретение.

Прельстился и купил «автомат», найдя его и в самом деле очень удобным. Стоило только нажать пружинку – и зонт тотчас открывался; новый нажим пальцем в другом месте – и зонт закрыт. Но это было так лишь в магазине. Когда же мне понадобилось открыть его во время ливня на улице, то это не удалось. Стою, верчу «автомат» во все стороны, трясу его, нажимаю изо всех сил на пружинку, бранюсь сквозь зубы, выхожу от досады из себя и... промокаю насквозь. Но лишь только дождевая туча пронеслась и выглянуло солнышко, мой «автомат» вдруг с резким щелчком распустился; закрыть же его вновь, несмотря на все усилия, я не мог: вторая пружинка тоже не слушалась. Так мне и пришлось шествовать по улицам под ясным голубым небом, держа над головой распушенный зонт, и умолять Провидение послать новую хорошую тучу, чтобы меня не сочли за сумасшедшего.

Однако этим дело не кончилось. Через четверть часа «автомат» внезапно захлопнулся надо мной, причем стащил с меня шляпу, которая и шлепнулась прямо в грязь. Вокруг меня раздался дружный хохот толпы.

Когда с головы мужчины случайно свалится на улице шляпа, он почему-то становится предметом общего посмешища.

Казалось бы, что тут смешного? Случайность – вот и все. Однако все находят такую случайность очень смешной. И это до такой степени въелось в плоть и кровь людей, что сам потерпевший чувствует себя смешным чуть не до позорности, если ветром снесет шляпу с его головы. При этом инциденте кровь стынет у него в жилах, а на обнаженной голове поднимаются дыбом волосы. И вот начинается бешеная охота за шляпой при усердном участии вашей собачки, вообразившей, что это игра для ее личной забавы. Во время этой охоты вы рискуете налететь на прогуливающих дам, опрокинуть колясочку с ребенком, сбив кстати с ног и няньку, ударить кого-нибудь ручкой зонтика – вообще произвести целую кутерьму и натворить массу бед. Прибавьте к этому хохот уличных мальчишек и зевак и их «остроумные» замечания, и вы получите полную картину удовольствия лишения головного убора среди публики. А о том, во что превращается в таких случаях сама шляпа, я уж умалчиваю...

Но вернемся к погоде. Я хотел сказать, что в городе, за вычетом мартовских ветров, апрельских ливней и полного отсутствия в мае цветов, остается очень немного удовольствия. В деревне весна – упоительное, волшебное время года, а в огромных человеческих мастерских, называемых городами, она совсем не к месту. Что ей там делать среди грохота и грязи этих мастерских? Как жаль видеть выползших из подвалов и чердаков уличных ребятишек, пытающихся играть среди тесных, затхлых дворов или на шумных грязных ули-

цах. Несчастливые пасынки судьбы, маленькие, ни в чем не повинные существа, никому не нужные но, тем не менее, вступившие в жизнь и ничего, кроме ее дурных сторон, не видящие с первого же дня своего появления на свет Божий. Они даже не похожи на настоящих детей. Настоящие дети – ясноглазые, краснощекие, веселые, со звонким смехом и резвыми движениями, а эти – бледные, со слезящимися, воспаленными глазами, забитые, угрюмые, и даже их смех только режет ухо своей хрипотой и грубостью.

Как весна природы, так и весна жизни должны быть убаюкиваемы на лоне природы, чтобы находиться в естественных условиях и пышнее расцвести.

В городе весна приносит нам только пронзительные, холодные ветры, лишние туманы, сырость и слякоть. Если мы хотим видеть настоящую весну, радостное пробуждение отдохавшей за зиму природы, мы должны искать ее среди оголенных с осени лесов, поросших вереском болот, среди молчаливых гор, среди лугов и полей, среди терновых изгородей. Только там и можем мы услышать ее мощное дыхание и наблюдать постепенное проявление всех ее дивных красот. Только там весна и разворачивается пред нами во всей своей лучезарной прелести. Открытые пространства на земле, бегущие облака на небе, шелестящий ветер, чистый воздух – все это бодрит, придает новую энергию, возбуждает новые надежды. В сиянии сельской весны сама жизнь кажется нам просторнее, привлекательнее, яснее и свободнее; она



представляется цветной лентой радуги, ведущей в сказочные края. Эти края мерещатся нам в серебристых расщелинах весенних облаков, мчащихся над необозримыми полями и лесами, и нам кажется, что сквозь них просвечивают неземные радости, ожидающие нас, когда мы покинем этот страждущий в собственных заблуждениях и ошибках мир. А буйный ветер, проносящийся над нами, кажется нам несущим на своих мощных крыльях небесные благоухания из страны наших упований...

Странные, нам самим непонятные мысли волнуют наши умы, странные чувства будоражат наши сердца. Голоса каких-то незримых существ зовут нас к великим делам и великим подвигам. Но мы не понимаем этих голосов; скрытые в недрах наших существ отклики на них остаются для нас глухими и непонятными.

Подобно детям, мы тянемся руками к свету, стремясь схватить – сами не знаем что. Все наши ощущения и желания в весенний день на лоне природы неопределенны, смутны, сбивчивы, но, тем не менее, сладостны.

И это очень понятно. Все наши мысли и чувства, выходящие за пределы нашего тесного мирка, не могут быть иными, как смутными. Наши обыденные мысли, охватывающие только видимость, вполне ясны. Мы знаем, что дважды два – четыре; что когда мы голодны, то приятно поесть. Мысли же, идущие дальше этих пошлых истин, не перевариваются нашим ограниченным и слабым мозгом. Наше близорукое

зрение не в состоянии пронизывать седые туманы, окутывающие наш опоясанный временем остров жизни, а наш слабый слух еле-еле улавливает отдаленный рокот окружающего нас великого моря...

## VIII

# О кошках и собаках

Никаким пером нельзя описать, что мне пришлось сегодня поутру вынести от них. Зачинщиком всей истории был Густав-Адольф, или, как мы зовем его для краткости, – Гести. Этот Гести – огромный черный пес. Он очень приятен, когда находится среди поля или вообще среди каких-либо обширных пространств, но в четырех стенах, да еще и довольно ограниченных расстоянием друг от друга, Гести положительно неудобен. Это, конечно, не его вина, потому что он вовсе не желает причинять кому бы то ни было неприятностей. Пес он добрый и деликатный, но совсем не годится для комнат по своим размерам и по силе своих движений. Когда ему приходит охота вытянуться у меня на полу во всю свою длину, то летят в сторону стулья и этажерки; а когда он начинает махать своим пышным хвостом, то производит полное опустошение моих столов. Но это тогда, когда он производит такие операции стоя, когда же он проделывает их сидя или лежа, т. е. начинает колотить хвостом по полу, то получается нечто вроде ударов молотом по наковальне, и стены начинают трястись. Когда он зевает пред топящимся камином, то тухнет огонь. И все у него выходит в таком духе.

Во время обеда он имеет обыкновение забираться под стол, и непременно так, что никто этого не замечает. Едим

себе, ничего не подозревая. Вдруг стол начинает подыматься, раскачиваться, вообще, как говорится, ходуном ходит, словно живой. Мы судорожно цепляемся за его края и напрягаем все силы, чтобы удержать его в равновесии. Но, увы, старания наши тщетны: Гести вырывается из-под стола, который с треском опрокидывается, причем весь обед со всей посудой падает на пол. Мы вскакиваем со своих мест, пес испуганно визжит, поняв свой промах, и спешит к двери, подтянув хвост и сжавшись насколько можно. Вид у него самый удрученный и жалкий, что, однако, не избавляет его от здорового пинка в бок. Гести не протестует: он сам понимает, что заслужил наказание, и с покорностью несет его. Да и мы, несмотря на наш гнев, рассчитываем свои пинки так, чтобы они не причиняли нашему любимцу вреда. Дело тут, собственно, только в остратке.

Сегодня поутру Гести ворвался ко мне со свойственной ему стремительностью, заимствованной им, должно быть, у американских циклонов, и первым делом смел хвостом у меня со стола чашку с кофе. Горячая коричневая жидкость облила меня с головы до ног.

Я так же стремительно поднялся со своего кресла и замахнулся на Гести трубкой. Он поспешно ретировался! назад к двери, в которую в это время входила моя племянница с парой свежих яиц в руке. Гести, разумеется, сшиб с ног племянницу, которая с криком испуга шлепнулась на пол, причем яйца вывалились у нее из руки и образовали воз-

ле нее холодную яичницу. Тем временем Гести уже во всю прыть неся вниз по лестнице. Я, перегнувшись через перила, крикнул ему вслед, чтобы он долго не смел теперь показываться мне на глаза.

Очевидно, вполне довольный моим предупреждением, пес с радости опрокинул стоявшее на последней ступени ведро с водой и скрылся с моего горизонта. Я вернулся к себе, обтерся и налил новую чашку кофе, пока племянница ходила за другой парой яиц и за тряпкой, чтобы вытереть пол.

Я был убежден, что Гести удалился во двор, но когда десять минут спустя выглянул в сени, то увидел его сидящим на одной из нижних ступеней лестницы. Очень удивленный этим, я строго приказал ему немедленно убираться вон, но он только привскочил и отрывисто «вафнул». Я понял, что он почему-нибудь не может выйти во двор, и сам пошел вниз посмотреть, в чем дело. Оказалось, на крыльце сидит Тита с явным намерением не пускать Гести.

Тита – это наша кошка. Она очень еще молода и мала, но уже с довольно серьезным характером. При виде следовавшего за мной Гести она вся взъерошилась и зашипела, а потом и заворчала. Ворчать она умеет гораздо лучше, а главное – выразительнее, нежели я. Кошачья воркотня – то же самое, что наша брань. С этой точки зрения Тита ругалась не хуже пьяного сапожника.

Кстати, поговорим о разговоре между нами, мужчинами. Я бы не желал, чтобы дамы подслушали нас. Женщины со-

всем ничего не смыслят в нашей брани. Но мы с вами отлично понимаем, что без брани никак нельзя нам обойтись.

В самом деле, что бы мы стали делать, если бы не могли облегчить себе душу бранью? Брань для нас тот спасительный клапан, через который мы выпускаем пары наших дурных настроений, без чего, оставаясь внутри, эти пары могут произвести в нашем организме серьезное расстройство. Когда вам кто-нибудь наступит на мозоль и вы с известной выразительностью скажете этому человек: «Черт возьми, сэр! Вы наступили мне на мою любимую мозоль! Нельзя ли в другой раз быть поосторожнее! Иначе я...» – если вы и не доскажете своей угрозы, то все-таки почувствуете некоторое облегчение.

Возможность выбраться так же смягчающе действует на ваши взволнованные чувства, как разбивание мебели, посуды и других полезных предметов и оглушительное хлопанье дверьми, только гораздо дешевле обходится. Брань служит для наших умов таким же очистительным средством, как щепотка ружейного пороха для чистки печных труб. Для тех и других такие временные вспышки бывают очень полезны. Я скорее отнесусь с недоверием к человеку, который в досаде опрокидывает и ломает ногами стулья или с ожесточением колотит кочергой по дровам в камине, чем к тому, кто откровенно выругается.

Не имея исхода, постоянное раздражение, причиняемое нам мелкими житейскими дрызгами, осталось бы у нас внут-

ри; осев и накопившись там, оно вызывало бы злокачественные гнойники, с которыми трудно было бы справиться. Если вы не отбросите от себя мелкие неприятности, они прицепятся к вам и, высасывая кровь из вашего сердца, вырастут в большие скорби; а маленькие обиды, взращиваемые в парниках пережевыванья, превращаются в страшные оскорбления, под ядовитым воздействием которых зарождаются ненависть и жажда мести.

Брань облегчает чувства, и это ее полезная сторона. Я как-то принялся развивать этот взгляд пред моей теткой, но она не согласилась с моим мнением, сказав, что удивляется, откуда я набрался таких мыслей, когда условия моей жизни вовсе не таковы, чтобы я имел повод браниться.

Тогда я обиделся на тетку, но в описываемое мной утро поступил точь-в-точь, как она, взявшись доказать нашей кошке, что у нее нет никакой разумной причины сердиться и браниться. Я внушал ей, что молоденькой киске, воспитанной в добром христианском семействе, следовало бы стыдиться быть такой сварливой. Будь она кошка старая и почтенная, тогда можно было бы ее извинить, но смотреть, как злится молоденькая кошечка, – и это уж прямо неприятно. Молоденькие кошечки должны быть всегда в веселом, мирном расположении и не отравлять жизни другим.

Видя, что мои увещания нисколько не действуют на Титу и она продолжает по-прежнему вызывающе вести себя по отношению к Гести, я взял ее на руки, потом сунул в кар-

ман своей куртки и, вернувшись в свою комнату, сел к письменному столу. Увлечшись писанием, я тут же забыл о кошке и вспомнил о ней лишь тогда, когда увидел, что она уже разгуливает у меня по столу и пытается сгрызть карандаш. Убедившись, что это ей не удастся, она привстала на задних лапках, стараясь передними сорвать с подсвечника пеструю бумажную розетку. Но маленькую проказницу и тут постигла неудача: одной из передних лапок шалуныя угодила прямо в открытую чернильницу, причем так энергично принялась отряхивать запачканную в чернилах лапку, что брызги так и полетели во все стороны. Затем, когда она хотела было облизать остатки этой ядовитой жидкости с лапки, я поспешно схватил проказницу за шиворот, отмыл теплой водой, насколько мог, замазанную лапку и, во избежание новых подобных инцидентов, одинаково неудобных как для нее, так и для меня, выпустил ее снова в сени. Но там оказался Тим, который и набросился на кошечку. Мне бы хотелось, чтобы Тим держал себя поскромнее и не вмешивался не в свое дело. Ведь в том, что напроказила Тита, ему, во всяком случае, не было никакого ущерба, а я вовсе не уполномочивал его давать другим встряску, когда сам прощал их. К тому же и сам Тим вовсе не безупречен.

Тим – это маленький фокстерьер, мнящий себя большим псом, судя по его придирчивости и забиячеству. Вдруг, откуда ни возьмись, на Тима обрушилась мать Титы, вкатила ему основательную оплеуху и оцарапала нос, за что я был



ей сердечно признателен: нужно же было кому-нибудь хорошенько проучить этого чересчур уж много позволявшего себе песика! Тим с визгом бросился бежать вниз по лестнице, а кошек я прогнал на чердак охотиться за мышами. Потом запер свою дверь и принялся приводить в порядок письменный стол, насколько это было возможно при наличии чернильных брызг на всех предметах, загромоздивших стол. Настроение мое начинало портиться, и я чувствовал, что если мои четвероногие шалуны придут с целью еще испытать мое терпение, то дело может кончиться для них не совсем приятно. В сущности, я очень люблю и собак и кошек. Они такие славные и гораздо лучше людей для компании. Они никогда не раздражают вас глупыми спорами и наставлениями; никогда не говорят о себе, а только слушают вас, и, кажется, очень внимательно и сочувственно; никогда не делают бессмысленных замечаний; никогда не смутят какую-нибудь мисс Броун сказанными в присутствии многих притворно-сладкими словами, что вот, мол, какая она несчастливая: мистер Джон, которого она втайне любила, на днях взял да и женился на ее подруге; никогда не примут двоюродного брата вашей жены за вас самого или вас – за отца вашей тещи и тестя – за ее сына; никогда ни спросят неудачного автора четырнадцати трагедий, шестнадцати комедий, семи фарсов и дюжины шуточных пьес, почему он ничего не ставит на сцене.

Они никогда никому не говорят никаких неприятностей;

никогда не подпускают нам «шпилек», не язвят под видом желаний нам добра, как делают наши двуногие «друзья», не говоря уж о родных; никогда не напоминают нам, да еще в самые неподходящие моменты, о наших прежних ошибках и заблуждениях; никогда не дают обещаний того, чего нам сейчас не нужно, чтобы потом отказать, когда нам представится в этом надобность; никогда ни в чем не упрекают нас и всегда довольны тем, что мы можем дать им. Даже тогда, когда им хотелось бы чего-нибудь полакомее всегдашней будничной пищи, они выражают это желание, и то в крайнем случае, разве только тем, что не станут вовремя есть, но не выразят нам никакого неудовольствия, а станут к нам по-прежнему ласкаться.

Они всегда встречают нас с неподдельной радостью; всегда сочувствуют всем нашим настроениям; радуются с нами, когда мы веселы, притихают, когда мы грустны и печальны.

Взять хотя бы того же Гести. Глядит он на вас своими ясными и бесхитростными глазами и всем своим существом точно говорить вам: «Ваф-ваф, хозяин! Как я счастлив быть около тебя. Позволь мне побегать возле, тебя, попрыгать, полаять, поваляться с подрыгиванием всеми лапами в воздухе, потешить тебя разнотонными зевками.

Что мне прикажешь сделать – все исполню, что смогу, и от всего своего преданного песьего сердца. Прикажешь снести всю мебель в гостиную, чтобы она не мешала, – мигом будет сделано. Прикажешь прогнать нежелательных гостей

– тотчас же прогоню и даже с большим удовольствием. Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу тех, которые тебе не милы. А всего бы лучше нам с тобой побегать по открытому полю, перепрыгивать через канавы и изгороди, побарахтаться в свежей воде, когда сделается жарко от бега, поугагать гусей и уток... Впрочем, хозяин, как ты хочешь, так и делай – я на все согласен, лишь бы только мне не разлучаться с тобой».

Когда вам хочется посидеть тихо и спокойно, предавшись своим мыслям, Гести смиренно будет лежать на полу у ваших ног, а Тита усядется на ручке вашего кресла, подожмет под себя лапки и будет полегонечку мурлыкать. И они ничем не потревожат вас.

А когда мы закроем лицо руками и от какой-нибудь невеселой мысли раскачиваемся взад и вперед, тяжело вздыхая и бормоча про себя, что лучше бы нам не родиться, животные не будут сидеть пред вами с окаменевшими лицами и не станут скрипучим голосом внушать вам, что вы сами навлекли на себя свои страдания; не скажут, что случившееся с вами – наказание или испытание, посланное вам Небом для вашего исправления. Нет, они только потихоньку прижмутся к вам своими мягкими головами и будут ласково заглядывать вам в глаза, причем кошка потрется о вашу щеку мордочкой и скажет по-своему: «Жаль мне тебя, милый хозяин! Ты добр ко мне, и я люблю тебя». А собака своими чистосердечными и полными преданности глазами и на этот раз умеренными движениями хвоста будет говорить: «Не тужи, дорогой хозя-

ин! Ведь я при тебе и никогда не покину тебя, ни за что не изменю тебе ни за какие косточки. Положись на меня, своего верного пса. Я всегда буду грудью стоять за тебя и ничего не попрошу за это, кроме маленькой ласки».

Собака совершенно равнодушно относится ко всему, на чем зиждется человеческая дружба. Собаке нет дела до того, поднимаетесь ли вы по общественной лестнице вверх или спускаетесь по ней вниз; богаты вы или бедны; умны или глупы; правы или не правы в чем-нибудь; грешник вы или праведник. Вы – ее хозяин, и этим все сказано. И что бы с вами ни случилось, хорошее или дурное, удача или неудача, обогащение или разорение, в славе вы или в позоре, – собака все равно будет вас утешать как может, ластиться к вам, охранять вашу жизнь и имущество и безропотно отдаст за вас собственную жизнь, – та самая собака, которую принято называть неразумной тварью, не имеющей души, лишенной «высших» свойств человека!

О старый друг с прекрасными, глубокими, умными, чистыми глазами, которые все видят и понимают, которые читают на дне моей души, знают мои мысли раньше, чем я успею их высказать! Знаешь ли ты, что тебя считают только глупым, бессмысленным, бездушным животным? Знаешь ли ты, что вон тот, еле держащийся на ногах оборванец, с безобразным опухшим и изукрашенным синяками лицом и тусклыми глупо вытарашенным» глазами с злым взглядом, считается неизмеримо выше тебя по его духовным свойствам?

Знаешь ли ты, что каждый ограниченный умом и сердцем себялюбивый негодяй, живущий только хитростью и обманом, никогда не сказавший ни одного доброго слова, не сделавший ни одного доброго дела; человек, все помыслы, чувства и стремления которого низменны и грязны, каждое слово которого – ложь или грубость, а каждое действие – подлость, такой человек (а именно такими и полон мир) мнит себя настолько выше тебя, насколько солнце ярче сальной свечки, – тебя, моего честного, бескорыстного, самоотверженного четвероногого друга? Прислушайся повнимательнее, что говорят о себе двуногие существа человекообразного вида, и ты услышишь, как они величают себя самыми великими, благородными, мудрыми и прекрасными существами на свете, а все остальные творения созданы только для их нужд и прихотей.

Да, мои бедные Гести, Тим и крохотная Тита, как не считать вас глупыми и бессмысленными, когда вы не умеете, подобно нам, толковать о политике и философии! Ведь только мы все умеем и все знаем, кроме лишь того, что такое мы сами, откуда беремся и куда пойдем; что находится вне видимого нами, и что, в сущности, представляет собой видимое.

Ничего, милые песики и кисочки, не смущайтесь вашей глупостью. За эту именно вашу «глупость» мы еще и любим вас. Мы вообще любим глупых. Мужчины терпеть не могут умных женщин, а женщины мечтают заполучить себе в мужа таких тупиц, которых он называют «милыми дурашка-

ми», «старыми попками» и т. п. лестными эпитетами. Нам так приятно быть среди людей, обиженных в умственном отношении судьбой! Конечно, чаще всего мы и сами не умнее других, а только мним себя умнее и готовы любить дураков уж за одно то, что они дают нам возможность мнить так о себе; но в то же время мы, разумеется, и презираем их.

К действительно умным людям наш мир относится крайне немилостиво. Дюжинные люди ненавидят выдающихся по уму, а те, в свою очередь, от души ненавидят друг друга. Но умных людей так мало на свете, что из-за такого пустяка не стоит и беспокоиться. Ведь мир держится не умными, а глупыми; последних же такое неисчислимое множество, что их хватит надолго. Значит, и мир будет цел.

Но вернемся лучше опять к нашим четвероногим друзьям. Кошки, как известно, пользуются репутацией, что житейски они практичнее собак, более склонны заботиться о своих личных интересах и не так слепо привязаны к своим хозяевам, как собаки. И мы, люди, понятно, негодуем на такое кошачье себялюбие.

И действительно, кошки более привязаны к таким хозяевам, у которых для них имеется коврик за печкой, нежели к тем, у которых такого коврика нет. Если в приютившем кошку доме очень много беспокойных детей, готовых ежеминутно тормошить ее, она часто уходит к соседям, где нет маленьких мучителей, и там отдыхает, но в известное время опять возвращается домой.

В общем же кошки лучше составившегося о них мнения. Подружитесь с кошкой, и она пойдет за вами в огонь и в воду. Все бывшие у меня кошки были моими искренними друзьями. Между прочим, у меня была кошка, которая имела обыкновение всюду следовать за мной, что, в конце концов, приводило к большим неудобствам, вследствие которых я был вынужден просить у кошки, как милости, чтобы она не провожала меня дальше известного расстояния. Как бы поздно ни являлся я домой, кошка всегда встречалась со мной в сенях, следовательно, поджидала меня. Это позволяло мне чувствовать нечто вроде того, что чувствует женатый человек, когда его встречает жена. Впрочем, мне, наверное, было еще лучше, потому что кошка никогда не спрашивала меня, где я был и почему так «страшно» опоздал, и вообще не выражала мне никакого недоверия.

Другая из кошек очень напоминала людей тем, что обязательно ежедневно напивалась. Она целыми часами неподвижно просиживала пред погребом, выжидая случая юркнуть в него, чтобы слизать там с каменного пола сочившееся из бочонка пиво. Я привожу этот факт не в похвалу кошке, а с целью указать, что и в кошках есть кое-что свойственное людям. Если предположение о перевоплощении душ верно, то в описываемой мной кошке должен был быть перевоплощен горький пьяница-человек, за свой порок «разжалованный» в кошку. Кроме того, эта же кошка всегда приносила к нам в комнаты передушенных ею крыс, клала их к нашим

ногам и ждала, чтобы мы похвалили ее за усердную службу по очистке дома от нежелательных обитателей. И как она гордилась нашей похвалой! Как смеялись при этом мои племянницы, которые не сознавали, что и они поступали, в границах своей возможности, точь-в-точь так же, как эта кошка, над которой они так потешались.

«Бедные крысы!» – кстати воскликну я. Кажется, они только для того и существуют, чтобы кошки и собаки могли выслуживаться пред нами их уничтожением, да ради обогащения химиков, изобретающих разные снадобья для их истребления. А между тем и в крысах есть что-то особенное, достойное нашего внимания. Они такие смышленные, ловкие, предприимчивые, искусные; такие таинственные; так страшны в большом числе и так беспощадно жестоки. Они целыми полчищами селятся в заброшенных зданиях, разбитые окна которых беспомощно виснут на остатках перержавевших петель, а двери зловеще жалобно скрипят давно несмазанными шарнирами. Они предчувствуют гибель судна, на котором находятся в море, и пред гибелью покидают его. И куда они в этих случаях деваются? Неужели им приятнее утонуть одним, а не в компании людей, среди которых они кормились? Или они превращаются во что-нибудь такое, что может подняться на воздух и улететь?.. Последнее предположение я, конечно, делаю шутя. В своих тайных подпольных или застенных убежищах они шепчут друг другу на ушко, когда небесная кара должна постигнуть роскошные палаты, в под-



полье которых они живут, и как скоро будет предано полному забвению славное имя владельцев этих палат. А какие ужасы они проделывают в полных призраками погребальных склепах и часовнях, куда на время ставятся покойники!

Ни один страшный рассказ не обходится без крыс. В историях об убийствах и привидениях крысы описываются неслышно скользящими по пустым палатам, где каждый звук вызывает громкие отголоски; описывается, как в жуткой тишине их острые когти прорывают обои, а железные зубы прогрызают деревянную обшивку каменных стен; как в темноте светятся из всех углов их глаза и как они своим резким писком вдруг пререзают ночную тишину в то время, когда луна своим волшебным сиянием обливает соседние развалины былых рыцарских гнезд, еще более углубляя тени в углах, а на ближайшей церковной башне медленно, тягуче бьет полночь, час привидений и разной нечисти, существующей в воображении простых людей...

А узники, умирающие в своих мрачных темницах, разве они не видят сотни устремленных на них красных глаз крыс, глаз, горящих, как угольки? Разве они не слышат в окружающей их мертвой тишине легкого шелеста их когтистых лапок, приближающихся к ним? Какой ужасный вопль вырывается из стесненной груди этих несчастных узников, и как страшна их смерть при такой обстановке!

Я люблю читать рассказы, в которых фигурируют крысы. Эти рассказы заставляют меня чувствовать какую-то своеоб-

разную романтическую жуть. Особенно нравится мне предание об епископе Гаттоне, казненном крысами. (Некоторые говорят, что это были мыши, но я предпочитаю крыс.) Как известно, этот безбожный епископ был очень богат и алчен. У него амбары ломились от хлеба, но он не хотел поделиться им с умиравшими от голода бедняками. А когда эти бедняки пришли скопом умолять его сжалиться над ними и помочь им, он собрал их в старую пустую развалюшку, запер их там и сжег живьем. Когда они в предсмертных муках потрясали окрестность своими душу раздирающими воплями, он крикнул им, что ему очень приятно слышать пение погибающих «крыс».

На другой день замок епископа Гаттона был осажден целыми полчищами настоящих крыс, неизвестно откуда появившихся. В смертельном ужасе епископ переправился в одну из своих сторожевых башен, помещавшуюся на островке среди Рейна. Там, в этой неприступной башне, он наглухо закрыл не только все двери и окна, но даже каждое незначительное отверстие в стенах и надеялся быть в полной безопасности.

Но крысы переплыли реку, проложили своими железными зубами путь сквозь каменные стены башни, отыскали еле уж живого от ужаса старого скрягу и съели его без остатка.

Прекрасное и назидательное сказание.

Есть еще рассказ о гамельнском волынщике, который сначала выманил из города всех крыс, водившихся там в огром-

ном количестве, а затем увлек за собой и всех детей, которые так и пропали бесследно вместе с ним в горах. Эта интересная легенда относится к XIII столетию; в то время было много в ходу таких легенд. Хотелось бы мне знать ее внутренний смысл. Или она совсем без смысла? Но это едва ли: все старинные предания и сказания имеют смысл, но он так глубоко скрыт за обыденными словами, что его трудно разгадать.

Есть какая-то особая символичность и таинственность в самом размере стихов, которыми написана эта легенда.

Сильно поражает воображение картина старого, неведомо откуда взявшегося и куда потом исчезнувшего волынщика, спокойно проходящего по всем улицам города и наигрывающего что-то волшебное-притягательное на своем простом инструменте древних пастухов, увлекая своими, вероятно, за душу хватающими звуками толпы детей с пляшущими ногами и возбужденными лицами. Отцы и матери и вообще взрослое население города уговаривают детей бросить этого старого «колдуна», но они не слушают. Обольстительная, волшебная музыка заглушает предостерегающие голоса рассудка, и дети невольно поддаются влекущему их очарованию. Игры брошены, а игрушки выпадают из рук бегущих детей. Они сами не знают, куда спешат. Бессознательно, ни о чем не думая, несутся они вслед за манящей музыкой. Тонкие, переливчатые звуки таинственной волынки цепляются за их сердца и тянут за собой в неведомую даль. Так всех их и увел за собой старый, никому не известный волынщик;

ни одного ребенка не оставалось в Гамельне, кроме грудных младенцев.

Я часто задумываюсь над тем: не жив ли и поныне этот средневековый волынщик, не проходит ли он и посейчас по нашим улицам, так тихо наигрывая свои чарующие звуки, что лишь тонкий детский слух может уловить их? Почему дети так часто останавливаются посреди игр и забав и, устремив горящие глаза куда-то вдаль, напряженно к чему-то прислушиваются, причем на их серьезных личиках рисуется все большее и большее восхищение? Если мы спросим их, что с ними, они только встряхивают своими кудрявыми головами и смеются таким смехом, который вместо слов говорит: «Ах, да разве вы поймете, если бы мы и сказали вам?» И я представляю себе, что они слышат магическую волынку старого гамельнского ловца крыс и детей и своими острыми глазенками видят его, как он, незримо для нас, взрослых, странствует среди уличной суматохи.

Впрочем, иногда и мы, взрослые, слышим волшебные звуки, несущиеся из мира грез и тут же тонущие в хаосе житейской суеты... Но настанет день, когда эти звуки ясно и властно будут раздаваться на наших улицах, и мы, подобно детям, также бросим свои игрушки и последуем за старым волынщиком. Любящие руки тщетно будут стараться удержать нас; голоса, которым мы привыкли повиноваться, на этот раз тщетно будут призывать нас назад. Мы оттолкнем от себя милые руки и, не тронутые ни лаской, ни увещаниями, ни

слезами покидаемых нами, пойдём туда, куда нас зовет во-  
лынщик, музыка которого тогда нам будет понятна, потому  
что тронет и наши сердца...

Но пора снова вернуться к животным. Я бы желал, что-  
бы люди больше любили животных и не были так жестоки,  
как часто бывают по отношению к своим четвероногим дру-  
зьям. Но вовсе не желал бы, чтобы с ними чересчур уж носи-  
лись, как делают многие женщины и даже некоторые пред-  
ставители нашего пола. Женщины доходят до того, что дела-  
ют себе кумиров из своих кошек и собак, и это опять нехо-  
рошо и неразумно. Особенно грешат этим дамы с излиш-  
ней чувствительностью. Начитавшись «Дэвида Копперфил-  
да», они заводят себе какого-нибудь, подчас прямо безоб-  
разного, мопса, обладающего к тому же далеко не привлека-  
тельным характером, и чуть не целыми днями возятся с ним,  
осыпая его нежнейшими именами (в особенности когда при-  
сутствуют обожатели), целуют в мокрый нос и прижимают к  
своим нежным щечкам его измазанную сладостями морду. Хо-  
тя это и очень трогательно, но не умно.

Больше всего любят жирных и дурно пахнущих мопсов  
пожилые дамы. Я знал двух старых дев, которые имели у се-  
бя небольшого мопса в виде толстой немецкой колбасы на  
четырех ногах. Каждое утро они купали эту «колбасу» в ду-  
шистой воде, кормили особенно приготовленными котлета-  
ми и разными сладостями, и, когда одна из них уходила, другая  
непременно оставалась дома для компании капризной «кол-

басе».

Во многих семействах весь интерес жизни сосредоточен на собачке. Кошки меньше страдают от избытка обожания. Это, должно быть, потому, что кошкам более свойственно чувство меры, и они деликатно, но твердо умеют устраниваться от всего, что граничит с бессмысленностью. Собаки же, наоборот, ненасытны в ухаживании за ними и в ласках. Они положительно поощряют своих хозяев к дальнейшим подвигам в этом роде.

Я знаю семейства, в которых только и разговора о том, что Фиделька сделала, делает, может делать и чего не может, должна или не должна делать. И так далее до бесконечности, с утра до ночи. Все время наблюдают за этой милой Фиделькой, обсуждают малейшее ее движение, – разумеется, в тоне одного восхищения; припоминают разные случаи из ее жизни и со слезами на глазах повествуют гостям о том горе, которое испытывали все члены семейства, когда Фиделька пропала в течение двух-трех часов, и как потом обрадовались, а вместе с тем ужаснулись, когда собачка была доставлена назад уличным мальчишкой, который тащил ее прямо за шиворот и забавлялся ее барахтаньем и визгами.

Растроганные этими воспоминаниями, хозяин, хозяйка и их дочери, все вместе набрасываются на валяющуюся на диване или в кресле Фидельку и чуть не душат ее в своих объятиях, вырывая друг у друга. Собачка, разумеется, в восторге, лижет всех по чему попало и очень неодобрительно смотрит

на гостей, которые не участвуют в этом культе ее лохматой особы.

В таких семействах все делается через собаку. Если вы желаете приобрести любовь дочери такого семейства, или занять денег у отца, или же побудить мать подписаться на какую-нибудь благотворительную затею, то вам обязательно следует начать с собачки. Пока вам не удастся добиться расположения собачки, вас и слушать не станут, и если крайне избалованная, а поэтому и капризная Фиделька пренебрежительно отвернется от вас или – что еще хуже – с рычанием покажет вам зубы, то ваше дело будет безвозвратно проиграно. «Ну, конечно, – скажут потом, когда вы уйдете, – мы так и думали, что это ненадежный человек. Вот и Фиделька подтвердила это... А у собак такое ведь тонкое чутье. Они сразу узнают людей, в самую их душу проникают... Милая Фиделечка, пойди сюда, мы тебя расцелуем в твою умную головку!..»

А между тем эта искаженная чрезмерным баловством Фиделька когда-то была маленьким, веселеньким, беспритязательным щеночком, который не желал ничего другого, кроме того, чтобы сделаться настоящей хорошей собакой и уметь лаять, как его учила мать!

Да, жизнь до неузнаваемости изменяет и нас, людей. Мир ведь – не что иное, как огромная скрежещущая машина, которая захватывает в свои железные, безжалостные колеса все молодое, свежее и чистое, чтобы после нескольких поворо-

тов своего сложного механизма выпустить все это назад к старым, больным, искалеченным и злым.

Взгляните на вашу кошку с ее равнодушным, сонным взглядом, с ее медленными, ленивыми движениями и надутым, чванливым видом, и вы с трудом будете в состоянии представить себе, что она когда-то была живым, быстроглазым, веселым котенком, который по целым дням только прыгал, кувыркался, с быстротой ветра носился с места на место, – словом, был весь движение, радость и довольство.

В самом деле, сколько изумительной жизненности в котятках! Жизненные силы так и кипят в этих крохотных, изящных организмах и рвутся через край. С поразительной быстротой котятки неслышно носятся вокруг, скачут, прыгают, поднимаются на задние лапки, стараясь передними обхватить все, что им попадает на глаза; катаются с боку на бок, карабкаются на всякую мебель, взбираются под потолок, пользуясь для этого занавесами и портьерами; прогуливаются по перегородкам и карнизам, – и все это с такой ловкостью, с такой красотой движений и с таким потешным видом, что нельзя не засмотреться на них и самому серьезному человеку. А как забавно они делают первые попытки умывать лапками свои хорошенькие мордочки, стараясь захватить и ушки, – вообще проделывают все точь-в-точь так, как делает их мать. А первое их мурлыканье, напоминающее пересыпание бисера. Как бессознательно прелестны эти маленькие существа и сколько в них, повторяю, жизни, стре-



мящейся к движению!

Помните ли вы, читатель, когда и мы с вами чувствовали в себе избыток молодых жизненных сил и не знали, куда их девать? Помните, как и мы во дни нашей лучезарной юности тоже были слишком полны жизнью, и вместо того, чтобы держать себя «прилично», непременно должны были прыгать и скакать, размахивать руками и кричать, сами не зная что и зачем? Как мы, буйной ватагой носясь в лунные вечера по улицам нашего родного мирного городка, неволью пугали встречных степенных женщин и робких девиц? Как они боязливо прижимались к изгородям, чтобы пропустить нас, а мы, увидев таких трусих, старались еще больше пугать их и с громким «уканьем», к их великому облегчению, неслись дальше?

Ах, эта чудная молодая жизнь, – жизнь, которая своей полнотой заставляла нас чувствовать себя царями земли; которая бурным потоком неслась по всем нашим жилам; которая словно носила нас по воздуху, кружила нам сладкими мечтами голову и толкала нас куда-то вперед, манила завоевать всю вселенную; которая так расширяла наши сердца, что нам хотелось обнять и прижать к своей груди всех обездоленных и угнетенных, всех страждущих, подавленных непосильным трудом и горькой нуждой; которая заставляла нас всех жалеть, любить и желать всем помочь!

Да, это были великие дни, когда жизнь на незримых нежных струнах наигрывала нам волшебные грезы, и мы неудер-

жимо рвались в бой со сказочными чудовищами и страшными лицами, о которых столько слышали от наших нянек.

Умчались на крыльях быстролетного времени эти золотые дни, канули во всепоглощающую бездну вечности, и мы остались слабыми, истрепанными, вялыми и холодными. Наши старые кости болезненно ноют, наши сердца еле бьются, каждое движение становится для нас мучением. Мы больше ничего не просим, кроме возможности спокойно сидеть в мягком кресле перед пылающим камином и выкурить в мире свою трубку. Мы презрительно кривим губы при виде других молодых жизней, так «бессмысленно» прыгающих и галдящих вокруг нас, нарушая наш покой. Но, Боже мой, как дорого мы бы дали, если бы могли вернуть себе хоть один день этой «бессмысленной» жизни.

# IX

## О робости

Все великие литераторы робки, робок и я, хотя говорят, что это мало заметно.

Я очень доволен, если это верно. Прежде моя робость так бросалась в глаза, что даже слепой не мог бы отрицать ее во мне. И этот недостаток всегда приводил к очень неприятным последствиям, которые отзывались не только на мне самом, но и на окружающих меня. Особенно огорчало это расположенных ко мне женщин.

Робкий мужчина не может называть себя баловнем, судьбы. Он не любим своими товарищами, презираем женщинами, так что и сам, в конце концов, научается не любить первых и презирать вторых. Привычка не доставляет ему никакого облегчения, и залечить раны, ежедневно наносимые жизнью его самолюбию, может одно всеисцеляющее время. Впрочем, мне довелось однажды видеть рецепт против этой болезни (робости), и я никогда не забуду его. Рецепт этот появился в одном маленьком еженедельном журнальчике, в отделе «ответов корреспондентам», и гласил буквально следующее: «Усвойте себе ловкие и приятные манеры, в особенности в обращении с дамами».

Воображаю себе, с каким язвительным смехом прочел этот совет несчастный подписчик того журнальчика. Впро-

чем, я, пожалуй, ошибаюсь: с язвительностью мог отнестись к данному совету только человек, уже выдавший виды, а неопытный юнец мог поверить и пытаться воспользоваться этим советом на деле.

Жаль, что я не мог предупредить такого доверчивого молодого человека словами: «Друг мой, не верьте этому коварному совету. Если вы станете осуществлять его на практике, то добьетесь лишь того, что вас будут осмеивать за излишнюю расплывчатость в чувствах и негодовать на вас за излишнюю фамильярность, потому что вы непременно ударитесь и в тот и в другой излишек. Знаю это по собственному горькому опыту. Поэтому послушайте лучше меня и оставайтесь самим собой; тогда, по крайней мере, вас примут только за неловкого и неотесанного юнца, и дело обойдется без особенных осложнений».

Обществу следовало бы придумать какое-нибудь вознаграждение робкому человеку за те пытки, которые оно причиняет ему. Такой человек способен дурно повлиять и на других своим злополучием. Он так же пугает людей, как сам их пугается. Он действует на каждую компанию самым удручающим образом; при его появлении даже природные комики и говоруны становятся хмурыми, угрюмыми и односложными.

Собственно говоря, главная суть дела тут в недоразумении. Многие принимают застенчивость робкого человека за высокомерие и чувствуют себя задетыми и оскорбленными

им. Его неловкость принимается за нахальную небрежность, и когда, пораженному смущением от первого обращенного к нему слова, вся кровь бросается ему в голову и язык у него прилипает к гортани, этого несчастного, больного робостью человека называют про себя устрашающим примером того, какое убийственное влияние производит «с трудом сдерживаемая ярость».

Но такова уж судьба робкого человека, что он постоянно возбуждает недоразумения и никто не понимает его настоящих намерений. Что бы он ни говорил и ни делал, – окружающими все истолковывается неверно и обязательно не в его пользу. Пошутит ли он – его слова принимаются всерьез, но внушают сомнение в их правдивости. Его сарказмы понимаются в смысле его буквальных убеждений и мнений и придают ему славу глупца; когда же он старается расположить кого-нибудь к себе и для этого скажет ему что-либо лестное для него, то думают, что он насмехается, и от него с негодованием и даже ненавистью окончательно отвертываются.

Эти и тому подобные затруднения робкого человека кажутся многим очень забавными и служат богатым материалом для бесчисленного множества юмористических и комических изустных рассказов и литературных произведений. Но если мы взглядемся поглубже, то в судьбе робкого человека найдем много трагического. Человек, страдающий недугом робости, это человек одинокий, отрезанный от всякого общения с другими людьми. Он проходит по миру, но не мо-

жет быть принят в этом мире как полноправный член общества. Между ним и остальными людьми громоздится неприступная преграда. Стремясь побороть тем или другим путем это невидимое для глаз, а потому, быть может, особенно страшное препятствие, он только напрасно наносит самому себе лишний вред.

Он видит сквозь эту преграду веселые лица других, слышит их радостный смех, но не может перейти на ту сторону и слиться с тем веселым обществом, не может схватить чью-нибудь руку, чтобы, как ему желалось, удержать ее в своей. С тоской в сердце смотрит он на недоступный ему жизнерадостный мир, хочет, чтобы его впустили туда и приняли, как одного из своих, но его, молящий голос остается неслышанным, люди проходят мимо него, не замечая его в своем оживленном общении друг с другом. Он делает одну попытку за другой перейти через мешающую ему преграду, но только срывается, падает и больно ушибается.

На шумных улицах, среди трудящихся масс, в многолюдных собраниях, в несущемся вокруг него вихре удовольствий, среди многих и немногих – всюду, где люди сходятся вместе, где раздается музыка человеческой речи, где огнем, горят в глазах человеческие мысли и чувства, – один робкий человек, как отверженный и прокаженный, стоит в стороне.

Душа его полна любви к людям и страстного стремления сойтись с ними, но люди этого не видят, потому что лицо его закрыто стальной маской застенчивости. Гениальные мысли

и полные сердечных чувств слова просятся у него с языка, но остаются невысказанными, потому что ему мешает робость. Сердце его болит за страждущего брата, которого ему так хотелось утешить, но он не может выразить своих чувств. Гнев и негодование закипают в нем при виде всего, что делается вокруг неправого, но когда он, наконец, в горячих восклицаниях дает волю обуревающим его чувствам, они неверно понимаются и своим острием обращаются против него же самого. И в конце концов вся невысказанная любовь, вся ненависть, весь гнев на ежеминутно причиняемую ему несправедливость – словом, вся сила чувств, осужденная остаться навеки погребенной в его душе, в нем твердеет и делает его циничным мизантропом.

Да, робкому мужчине, как и некрасивой женщине, нелегко жить на свете; им приходится терпеть столько нравственных страданий, что немудрено, если они, наконец, озлобляются на весь мир, который так несправедливо относится к ним. Некоторые, впрочем, успевают запасть броней равнодушия, и это помогает им кое-как, сравнительно благополучно, пройти свой тяжелый тернистый путь до конца. Если же им не удастся одеться в эту броню, они погибли. Никому неприятно смотреть на жалкого, постоянно заикающегося и краснеющего бедняка с трясущимися коленями и дергающимися руками, и если он неисцелим от своего недуга да и скрыть его никакими средствами не может, то ему лучше всего пойти и повеситься на первом попавшемся дереве или

крючке.

Между тем, при известной силе воли, этот недуг может быть исцелен. Это я знаю по личному опыту. Я не охотник много говорить о себе, в чем читатель уже мог убедиться, но когда дело идет о пользе других, то считаю своим долгом выводить на сцену и самого себя, в необходимых, разумеется, случаях.

Было время, когда я сам был так робок, что смело мог вместе с известным юношей баллады сказать, что я – «самый робкий из всех робких», и «когда мне приходилось быть в присутствии молодых красавиц, мои колени подгибались от робости и стучали друг о друга». Но в один прекрасный день, решившись во что бы то ни стало отделаться от своей проклятой робости и зажить такой же жизнью, какой живут другие, неробкие люди, я срыву дерзнул на такой подвиг. По дороге на службу забежал в киоск с прохладительными напитками и без дальних предисловий выпалил прямо в лицо тамошней продавщице, что давно люблю ее, что она должна была это заметить, что я возмущен ее холодностью, когда я не хуже других, чьи ухаживания она благосклонно принимает, и что она не имеет права так оскорблять честного человека. Много в таком духе наговорил я и в конце концов даже дошел до такой отважности, что взглянул ей прямо в ее недоумевающие глаза. Положим, после этого я так же поспешно удалился из киоска, как явился в него, и даже забыл выпить спрошенный мной стакан зельтерской воды. Но я сде-



лал это не потому, чтобы снова почувствовал прилив робости, а просто-напросто потому, что мне не хотелось пить. Вот с тех пор у меня всю робость как рукой сняло. Значит, есть же возможность раз навсегда избавиться от нее, стоит лишь решительно захотеть этого.

Робкие люди, однако, могут утешиться тем, что робость – вовсе не признак глупости, как многие склонны думать. Глупые люди могут, сколько хотят, зубоскальничать над робостью, но ведь избранные натуры вовсе не те, которые отличаются медными лбами. Лошадь не хуже воробья, а лесная дичь не хуже свиньи. Робость есть только последствие большой чувствительности, но не проявление самомнительности или презрения к другим, как это принято думать теми, кто дальше школьной премудрости не пошел.

Робкий потому и робок, что у него нет не только самомнительности, а даже простого сознания собственных хороших качеств. Стоит лишь робкому понять, что он умнее и лучше большинства своих знакомых, смотрящих на него сверху вниз, и вся его застенчивость мигом исчезнет, чтобы больше уж никогда не вводить его в неловкие положения. Поверьте, что когда вы окинете взором окружающую вас толпу и, пристально взглядевшись в отдельные лица, увидите, что никто не в состоянии равняться с вами по уму и чистоте стремлений, то вы совсем не будете больше стесняться и почувствуете себя среди этой толпы точно в обществе сорок или орангутангов.

Самоуверенность – лучшая броня для мужчины. С ее гладкой, непроницаемой поверхности соскальзывают все острия злых чувств и тупого невежества, ударяющихся об эту броню. Без этой защиты меч гения не может проложить себе дороги среди пошлости, глупости и злобы, со всех сторон теснящих все выдающееся над общим уровнем, в стремлении уничтожить то, что мозолит близорукие и недобрые глаза. Разумеется, я говорю не о той самоуверенности, которая ходит с высоко задранным носом и кричит пронзительным голосом. Это не самоуверенность в своих действительных хороших свойствах, а лишь игра в самоуверенность, как дети играют в королей и королев, нацепив на себя длинные отцовские и материнские платья и утыкав голову перьями. Истинная и справедливая самоуверенность не криклива, не делает ничего, что неприлично, а, напротив, заставляет быть скромным и хотя с сохранением достоинства, но вежливым и приветливым.

Человеку действительно гордо благородному нечего гоняться за чужим одобрением и сочувствием; он может довольствоваться собственным самосознанием, но его благородная гордость будет скрыта настолько глубоко, что на поверхности не проявится. Одинаково пренебрегающий хулой и похвалой, он остается неуязвимым в толпе. Возвышаясь над этой толпой целой головой и оценивая людей лишь по внутреннему достоинству, которое ясно прозревает, он, тем не менее, умеет обращаться одинаково «корректно» с пред-

ставителями всех сословий и профессий. И, служа лишь знаменем собственных убеждений, такой человек никогда не становится под чужое в угоду каким бы то ни было лицам и веяниям времен, как это часто делают люди, мало уверенные в себе и в силе своих суждений, а потому то и дело жертвующие своими убеждениями в угоду соседу.

Робкий человек обыкновенно слишком скромного мнения о самом себе и слишком высокого о других. Но если он еще молод, то скромность с его стороны вполне похвальна. Ведь характер молодых людей еще не установился, а лишь только образуется среди хаоса сомнений и недоумений. По мере того как накапливается опыт и крепнет прозрение, неуверенность в самом себе должна исчезать. Человек редко переносит свою робость за грань юношества. Если даже окрепшая внутренняя сила не отметет в сторону робость, то это сделает сама жизнь со своим постоянным трением того, что нарушает ее общий ход. Вполне зрелого робкого мужчину вы, за редкими исключениями, только и увидите на страницах повестей, юмористических листков или на сцене, где он, кстати сказать, всегда вызывает всеобщее сочувствие, особенно женщин.

На сцене возмужалый робкий человек почти всегда представляется белокурым и с лицом ангела, эти лица на сцене почему-то постоянно являются белокурами. Зрители к этому привыкли и ни за что не признают ангела с темными волосами. Я знаю одного артиста, который пред выходом на

сцену не мог отыскать необходимого белокурого парика, поэтому должен был выйти черноголовым, каким был от природы. Он играл образец всех прекрасных качеств, соединенных вместе, но зрители, благодаря отсутствию на нем соответствующего его роли парика, каждое его выражение благородных чувств встречали, свистом и шиком, принимая их за насмешки «злодея».

Вообще же робкий человек изображается по трафарету беззаветно любящим героиню, но проявляет это он лишь «в сторону», потому что высказать волнующее его чувство самому предмету своей любви он не решается. Он такой благородный и несвоекорыстный, такой скромный и тихий в обращении со всеми и так горячо любит свою мать. Окружающие его «злодеи» всячески насмеваются и издеваются над ним, но он добродушно все это проглатывает. К концу пьесы выясняется, что он почти святой; героиня сама признается ему, что давно уже любит его, и – он безмерно счастлив. «Злодеи» тоже начинают объясняться в любви к нему и просят его простить их за все, чем они до сих пор так огорчали и терзали его. Он цветистой саркастической речи прощает всех своих врагов, потом благословляет их на новый путь духовного возрождения. Вообще все кончается для него так хорошо и красиво, что все неробкие зрители могут позавидовать ему и пожелать самим сделаться такими же робкими.

Но ведь это только на сцене. В действительности же дело обстоит совсем иначе; это известно каждому робкому чело-

веку. В действительной жизни он вовсе не такой интересный, потому что в этой жизни все идет по другим законам, нежели на сцене, часто даже – совершенно противоположным. Что трогает нас на сцене, мы в жизни часто проходим мимо этого или равнодушно или с насмешкой, а то так и прямо с презрением.

Бывает, что на сцене представляются и юноши, робкие в любви, и это все-таки более естественно. Как в жизни, так и на сцене робкий юноша бывает верен предмету своей любви. И это вполне понятно: ведь вся смелость робкого человека расходуется лишь на то, чтобы смотреть в лицо одной женщине, а на то, чтобы проделать такой подвиг по отношению к другой, он положительно не имеет сил. Он страдает такой застенчивостью к женскому полу вообще, что ему не до перемен предметов его робкого обожания; ему слишком достаточно и одного; он не знает, как завоевать и этот предмет.

Совсем другое дело с неробким юношей. Тот осаждается искушениями, о которых его застенчивый сверстник и понятия не имеет. Смело оглядываясь вокруг, он всюду видит вызывающие улыбки и томные взгляды. Неудивительно поэтому, что, видя такое множество вызывающих улыбок и томных, манящих взглядов, он часто теряется перед таким изобилием соблазнов и готов бросаться от одной соблазнительницы к другой, пока его не зацепит окончательно такая, которая потом окажется совсем не тем, чем все время казалась ему, и на чем он мог бы, наконец, успокоить свое смя-

тенное сердце. Робкий же человек видит только одну женщину, потому что боится оглядываться вокруг, поэтому и не подвергается искушениям и в этом отношении спокойнее других.

Нельзя, однако, сказать, чтобы робкий человек не желал быть «несчастливым» именно в этом пункте. Напротив, он часто порывается соперничать с неробкими в наслаждениях жизнью и проклиняет свое неумение сделать это. Иногда он, с храбростью отчаяния, осмеливается на попытку и вниз головой бросается в «шалости», но, не зная, как взяться за дело, терпит жестокое поражение и остается пристыженным, жалким, презренным самому себе.

Да, именно *жалким*, а не *жалеемым*. Есть такого рода неудачи, которые, принося много страданий своим жертвам, не вызывают к ним сострадания в других. К этой категории неудач можно причислить и некоторые состояния и случайности, как, например, потеря зонтика, зубная боль, синяки под глазами, влюбленность, шляпа, превращенная в лепешку тем, что на нее сели, и т. д. Но главное – это робость, которая никогда в действительной жизни не пользуется сочувствием. Человек робкий рассматривается как одушевленная общая забава. Его терзания являются предметом спортивного острословия и зубоскальства в гостиных.

– Поглядите-ка, как покраснел этот дурачок! – шепчут друг другу, чуть не пальцами указывая на «дурачка».

– Батюшки, да он сейчас свалится с ног! Они совсем не

держат его!

– Вот так сел! На самом кончике стула, того и гляди съедет прямо на пол. И это называется мужчиной!

– Запинается и заикается, так что и не разберешь, что он хочет сказать.

– У него словно целая дюжина рук, и он не знает, куда девать их!

– Ему следовало бы укоротить ноги футика этак на два; очевидно, они кажутся ему чересчур длинными, вот он все и норовит спрятать их под стулом.

В таком духе шепчется, говорится вполголоса, а иногда и во всеуслышание вокруг злополучного робяги.

И все это сопровождается насмешливыми улыбками, хихиканьем, полуприкрытым, а то и прямо откровенным смехом. После ухода робяги из компании последняя долго еще изощряется в остротах над ним. Говорят, что ему по его голосу – еле слышному – следовало бы быть морским капитаном. Зло прохаживаются над его неумелостью вести беседу. Жалуются на его беспокойный кашель, которым он, дойдя до полного смущения, сопровождает каждое свое слово. Неистово хохочут, вспоминая, как он вертел свою шляпу и чуть совсем не излохматил ее. Вообще вышучивают каждое его движение и слово, каждое изменение в его лице – словом, каждое проявление его смущения. Этим и коротается вечер, который благодаря такой забаве объявляется «замечательно удачным и веселым».

Родня робкого человека и его друзья, как водится, еще более отягощают его положение тем, что не только издеваются над ним, но еще требуют, чтобы он чуть не благодарил их за это. Передразнивают его в его же присутствии. Так, например, один из его родственников или «задушевных» друзей выходит из комнаты, но вскоре же возвращается. Балаганничая и изображая в самом карикатурном виде манеры робяги, он спрашивает его: «Ведь ты так, кажется, всегдаходишь в общество?» Потом подходит к каждому из присутствующих, преувеличенно мешковато кланяется, берет поданную ему руку с таким видом, точно это раскаленное железо; едва до нее дотронувшись, он тотчас же с испугом выпускает ее, неуклюже отступая назад, причем задевает кого-нибудь или что-нибудь, и снова спрашивает копируемого: «Так ведь, кажется, ты кланяешься и обмениваешься рукопожатиями? Ведь похоже, а?» А остальные начинают расспрашивать подражателя, почему он так краснеет, заикается и пищит таким тоненьким мышиным голоском, что его невозможно путем ни понять ни расслышать. Затем подражатель принимается выступать по комнате с видом рассерженного индейского петуха и говорить, что вот как следует держать себя в обществе. Старик дядя хлопает по плечу осмеиваемого, приговаривая: «Будь похрабрее, дружок, похрабрев. Не пугайся добрых людей, точно они собираются укусить тебя или сорвать с тебя голову». А мать добавляет: «Не делай никогда ничего постыдного, сынок, тогда тебе не придется бояться и смущать-



ся других» – и, нежно улыбаясь сыну, мысленно восторгается глубиной своего нравоучения. Двоюродные братья-подростки называют его переодетой девчонкой, а сестры-девочки с негодованием возражают, что они вовсе не такие плохие, как «братец», и знают, как нужно держать себя и дома и в обществе.

И девочки правы: между ними почти нельзя встретить такую, которая смущалась бы до потери чувства собственного достоинства. Говорят, есть такие, но я лично таких не встречал. Присмотревшись к женщинам, я понял, что их совершенно напрасно называют робкими и застенчивыми. Они только умеют казаться такими, умышленно заставляя себя краснеть, принимать смущенный вид, опускать глазки и т. п. Мы же, наоборот, за исключением больных робостью, стараемся разыгрывать из себя таких решительных, смелых и предприимчивых молодцов, какими зачастую внутренне вовсе не бываем, и только вводим в обман тех женщин, которые поклоняются истинному мужеству, видя в нем верную опору себе.

Впрочем, по совести сказать, женщины в «опорах» очень мало нуждаются. Скорее они сами могут служить нам опорами. Посмотрите, как самоуверенно держит себя девочка-подросток и как она распоряжается своим двадцатилетним братом-верзилой, который в сравнении с ней выглядит жалким и растерянным. А как входит женщина в переполненную публикой концертную или театральную залу! Ни-

сколько не стесняясь, она пробирается между рядами, задевая сидящих чем попало и по чему попало по рукам, по плечам, по голове, по лицу – не все ли ей равно? Она ведь дама, и ей все позволено. И с какие виноватым, смущенно извиняющимся видом следует за ней муж, стараясь пройти так, чтобы никого не задеть.

Главенствующая роль женщины в любви, начиная первого зажигательного взгляда и кончая последним днем медового месяца, слишком хорошо всем известна, чтобы останавливаться на ней. Да это и не входит содержание настоящего очерка, посвященного только робости.

## Х

### О грудных младенцах

С ними я отлично знаком. Сам когда-то был таким младенцем, и притом настолько маленьким, что все то что на меня надевалось и во что меня завертывали, было для меня и велико и широко; я так и тонул в длиннейших обертках, которые, как смутно еще помню, мне всячески мешали. Впрочем, быть может, мне только воображается, что я помню это.

Но как бы там ни было, я решительно не могу понять, зачем нужно наворачивать на младенцев такую уйму разных тряпок. Неужели родители стыдятся крохотности и «непредставительности» своих новорожденных отпрысков и стараются возместить эти «недостатки» длиной и шириной их одежды? Раз как-то я спросил об этом одну кормилицу, и она ответила мне: «Ах, сэр, да это уж так принято». Когда же я стал добиваться более точного разъяснения, она довольно ядовито бросила мне: «Знать, у вас самих не было деточек, поэтому вы так и спрашиваете. Заведите себе, сэр, малюток, вот и узнаете, почему их так одевают».

После такой отповеди я уж больше не решался добиваться причины поражавшего меня обычая, поэтому так и остался в полном неведении. В самом деле, к чему это нужно так много наворачивать даже на грудных младенцев? Ведь, кажется, довольно хлопот с одеваниями и раздеваниями тех младен-

цев, которые уже на ногах; так нет, понадобилось еще мучить и только что явившихся на свет существ, все свое время проводящих в лежачем положении! Утром будят и ворочают их, чтобы сменить ночную рубашечку на дневную, днем несколько раз тревожат ради разных действительно необходимых смен, а на ночь – опять переодевание в ночную рубашку. За чистотой, конечно, нужно следить, но специальное белье для дня и ночи мне кажется совершенно излишним для младенцев, спящих чуть не круглые сутки, тем более, что это белье для них делается одинаковой и притом непомерной длины и ширины. Впрочем, помня отповедь кормилицы, не буду об этом больше распространяться и ограничусь замечанием, что не мешало бы хоть чем-нибудь отличить младенцев-мальчиков от младенцев-девочек. Думаю, что в этом не было бы ничего обидного для этих юных граждан и гражданок.

Полагаю также – и многие, вероятно, будут согласны со мной, – что при современной манере одевать не только грудных младенцев, но уже и подрастающих маленьких детей нет никакой возможности определить их пол: ни по одежде, ни по волосам, ни по голосу, ни по манерам. Чтобы определить их пол, нужно строить догадки, которые в этих случаях, по какому-то необъяснимому закону природы, большей частью бывают невпопад. И с каким негодованием или насмешливым презрением смотрят на нас окружающие ребенка, когда вы, полагаясь на безошибочность вашей догадки, прини-

маете девочку за мальчика, а мальчика – за девочку! Ваша ошибка родителями и родственниками ребенка принимает- ся чуть не за личное оскорбление всему семейству.

Предупреждаю вас, не вздумайте только, чтобы выйти из затруднения, представляемого необходимостью угадать пол ребенка, отнестись к этому ребенку, как к существу среднего рода. Много есть способов, посредством которых вы можете покрыть себя стыдом и позором. Перерезав, например, целую семью и выбросив тела убитых в общественный колодец, вы навлекете на себя вражду всех их ближайших соседей. Ограбление церкви тоже сильно уронит вас, в особенности в глазах местного духовенства и прихожан. Но если вам вздумалось бы испытать всю полноту гнева и ненависти, на которую только способны люди, то попробуйте отнестись в присутствии молодой матери к ее ребенку, как к существу бесполому, не употребляя личных местоимений ни «он» ни «она».

Чтобы не навлекать на себя неприятностей и заслужить расположение родителей младенца, вам лучше всего обращаться к нему с эпитетом «ангелочек». Для разнообразия вы можете называть этого «ангелочка» «милушкой» и «прелестью». Но «ангелочек» все-таки принесет вам больше пользы в смысле благорасположения к вам его отца и матери.

Потом не забудьте сказать, что носик «ангелочка» совсем такой же, как у его отца. Это почему-то особенно льстит родителям. Вначале они засмеются и скажут: «Ах, нет, это вам

только так кажется!» Но это вас не должно смущать. Притворитесь возбужденным их «несправедливым» возражением и продолжайте стоять на своем, призывая на помощь всю силу вашего красноречия и логики, не упуская при этом пощекотать «ангелочка» под подбородком, посмешнее посюсюкать пред ним и вообще проделать несколько обычных в этих случаях экспериментов. Такими маневрами вы совсем очаруете счастливых родителей, да и сами не особенно пострадаете в своем правдолюбии, потому что отчего же едва намеченному носику младенца не быть похожим, между прочим, и на нос своего отца?

Не пренебрегайте моими доброжелательными советами, мой неопытный в этих делах молодой друг. Настанет время, когда вы, находясь в виду группы прелестных молодых дам, конвоируемых папашей, мамашей, дедушкой и бабушкой, будете рады разыграть пред ними «обожателя маленьких детей». Это производит известное трогательное впечатление и вызывает внимание и доверие.

Для холостяков приглашение «посмотреть нашего беби» обыкновенно является своего рода испытанием. Холодная дрожь пробегает у холостяка по спине, когда он слышит эти роковые слова; много нужно ему усилия воли, чтобы заставить себя сладко улыбнуться и выразить восторженную готовность и радость познакомиться с беби. Может быть, мать и знает, что при этом происходит в душе холостого приятеля мужа, и нарочно подвергает его такой пытке, чтобы отучить

от дома.

Начинается неизбежная церемония. Нажимается пуговка электрического или воздушного звонка. На звонок прибегает лакей или горничная и отрягается к кормилице с приказанием принести беби. Это является сигналом для того, чтобы все присутствующие дамы начали обстоятельную беседу об ожидаемом новом члене семьи, а вы, предоставленный в эту минуту самому себе, напряженно придумываете какой-нибудь благовидный предлог поспешно откланяться дамам и уйти. Взглянув с озабоченным видом на часы, вы начинаете свой подходец стереотипной фразой: «Ах, уж так поздно! А я еще должен поспеть...» Но договорить вам не удастся, потому что отворяется дверь и в нее входит высокая, дородная женщина, пышущая здоровьем, но с неестественно надутым лицом и строгим взглядом. Женщина несет что-то похожее на огромный сверток шелка, батиста и кружев. Вы инстинктивно чувствуете, что в этом именно свертке и скрыт устрашающий вас предмет, и понимаете, что опоздали устроить себе «почетное отступление».

Когда взрыв восторга, с которым дамы набрасываются на роковой для вас сверток, начинает остывать, тесный кружок нарядных, трещащих, как сороки, фигур расступается и настает ваша очередь любоваться и восторгаться свертком, в котором находится беби. Чувствуя себя вроде присужденного к казни, вы, вытянув по-гусиному шею, уставляетесь глазами на красное, сморщенное личико, похожее на изборож-

денную лепешку, и в священном ужасе недоумеваете, действительно ли то, что вы видите, лицо человеческого существа.

Все дамы в мертвом молчании напряженно ждут, что вы будете делать и говорить. Вы силитесь сказать что-нибудь подходящее к случаю, но с отчаянием замечаете, что вдруг совершенно лишились ваших мыслительных способностей и разучились владеть своим языком. Наконец злой дух подсказывает вам самую неудачную фразу, какую только можно изречь в такой торжественный момент. Делая глупейшую улыбку, вы лепечете:

– Что это у него такая лысая... я хотел сказать – такие жидкие волосики?

Проходит минута томительной тишины и прерывается наконец наставительным замечанием кормилицы, что у новорожденных младенчиков никогда не бывает густых и длинных волос и что это так уж положено Самим Богом, Наступает новая пауза. Смутно понимая, что вам дается время исправить свой промах, вы с храбростью, достойной лучшего применения, спрашиваете, умеет ли беби ходить и чем его кормят.

На вас смотрят как на человека, внезапно рехнувшегося и достойного сожаления чувствительных дамских сердец. Но кормилица, не желающая знать, рехнулись ли вы или только обалдели, не намерена пощадить вас ни от одной подробности заведенного церемониала ознакомления с новорожден-



ными членами дружеского семейства.

Поэтому, протягивая вам сверток, она говорит тоном, не допускающим возражения:

– Возьмите младенчика на ручки, сэр. Он будет тогда и вас знать.

Вы слишком удручены, чтобы оказать сопротивление, и покорно принимаете сверток.

– Держите младенчика покрепче, сэр! А то, спаси Господи, еще уроните его. Долго ли до беды! – строго предупреждает вас кормилица, которая в отношении беби является самым авторитетным лицом в доме и каждое слово которой – закон.

А испытующие и контролирующие взгляды дам жгут вас как раскаленные уголья.

Вы решительно не знаете, что нужно делать и говорить. Но вот вы припоминаете, что где-то видали, как подбрасывают кверху беби, причмокивая при этом языком и губами и ухитрясь изобразить на своем лице блаженную улыбку. Обрадованный этим воспоминанием, указывающим вам выход из затруднительного положения, вы точь-в-точь проделываете все виденное вами и, разумеется, уверены, что попали в такт. Но – увы! – снова раздается властный голос кормилицы:

– Разве можно, сэр, так обращаться с младенчиком. Он еще слабенький и не может выносить такой встряски.

Вы испуганно опускаете сверток и не знаете, что теперь

предпринять. Обливаясь холодным потом, вы спрашиваете себя, уж не совершили ли непреднамеренного убийства «ангельской душки».

К вашему счастью, сам виновник ваших терзаний кончает сцену, подняв оглушительный крик. Разгневанная кормилица торопливо выхватывает у вас из рук опасный сверток и начинает успокаивать его:

– Ну, вот и обидели нас... совсем разобидели... Дядя не умеет еще обращаться с нами... У-у-у! Не плачь, мое сокровище. Не плачь, мой ангел...

И, улюлюкивая ревущего младенца, уносит его.

– Что это с беби? – растерянно осведомляетесь вы, оглядываясь вокруг виноватыми глазами. – Почему он так расплакался?

– Конечно, не зря, – отвечает негодующая мать. – Вы, наверное, сделали ему больно. Он у меня тихонький и кроткий. Никогда зря не заплачет, как другие дети.

Однако ваша пытка еще не окончилась. Успокоив беби, кормилица вскоре снова приносит младенчика. Желая как-нибудь загладить свою вину, вы подходите к живому свертку и, щелкая пред ним пальцами, говорите самым сладеньким голоском:

– Умница, беби. Перестал плакинкать. Понял, что дядя не хочет ему зла.

Но беби отчаянно барахтается в своих обертках и орет громче прежнего. При этом одна из теток хозяйки дома глу-

бокомысленно замечает, что «удивительно, как дети откровенны в своих симпатиях и антипатиях».

– О, да, они очень чутки к людям! – подхватывает другая дама, бросая на вас взгляд, досказывающий ее тайную мысль.

– Чуткость невинной души, – добавляет третья.

Наконец все отворачиваются от вас, убежденные, что вы – отъявленный злодей, и торжествуют при мысли, что ваш истинный характер, до сих пор не разгаданный вашими товарищами и знакомыми, сразу понят и по достоинству оценен невинным младенцем.

Много хлопот, возни и всяких неудобств с грудными младенцами. Но и они могут приносить большую пользу: они заполняют собой пустое сердце; под их влиянием проясняются омраченные житейскими невзгодами страдальческие лица; еле слышный нажим их крохотных пальчиков превращает складки горечи в улыбки.

Странный маленький народец! Эти капельные существа являются как бы бессознательными артистами на великой мировой сцене, внося необходимую долю юмора в тяжелую драму жизни. Каждый из них представляет маленькую, но ярко выраженную оппозицию установленным людьми порядкам, всегда, по мнению взрослых, делая все не так, не в то время и не в том месте. Няньки хорошо знают детскую натуру, когда посылают старшего ребенка «потихонечку» подсмотреть, что творят в другой комнате его маленькие братья

и сестры. Предоставьте ребенку удобный случай сделать что-нибудь такое, чего не следует делать; если он этим случаем не воспользуется, то вы можете считать его больным и посылать за врачом.

Маленькие дети одарены способностью с самым серьезным видом проделывать самые смешные штуки и самые головомомные. Посмотрите, например, с какой деловитостью они исследуют неподвижно стоящего на своем посту часового и хлопают его по ногам ладошками, чтобы узнать, «настоящий» ли он. А с каким самоуверенным видом, схватившись за руки, идут вон те два карапузика по направлению к крутизне, кончающейся отвесным обрывом, между тем как их толстая нянька, сотни раз пугавшая их этим обрывом и предупреждавшая, чтобы они не ходили туда без нее, ищет их совсем в противоположной стороне, отчаянно зовя запыхавшимся и охрипшим голосом к себе. С каким комическим упорством будут они настаивать, что проходящий вдали молодой человек, ни о каком потомстве еще и не помышляющий, их папа, и рваться к нему, наперекор всем убеждениям старших, что это – «чужой», «бука». А их самостоятельность? Останавливаться для обсуждения своих личных дел им непременно нужно на углах самых многолюдных улиц; при переходе на другую сторону им обязательно захочется лавировать между снующими со всех сторон экипажами; а когда им понадобится снять башмаки, чтобы высыпать из них набившийся песок, они находят самым подходящим для

этого местом ступеньку пред входом в какое-нибудь учреждение, привлекающее массу публики.

Дома они любят взбираться на что-нибудь при помощи любимой папиной трости или самого нарядного из маминых зонтиков, который для этой цели открывается и держится верхним концом вниз. Увидя прислугу занятой чисткой печи, они вдруг говорят, что «страшно» любят ее, и их чувство может быть удовлетворено только тогда, когда им удастся несколько раз обнять и поцеловать ее в покрытое сажей и потом лицо. Что же касается еды, то они самому дорогому и тонкому меню предпочитают обгрызки и объедки. Свою любимую кошку норовят всячески мучить, а собачке выражают свою симпатию дерганьем ее за хвост.

Да, маленькие дети причиняют много хлопот и беспокойств, вызывают большие расходы и часто ставят весь дом вверх дном; но, раз они есть, вы ни за что не захотите их лишиться. Без их звонких голосков и проказ вам тяжело будет жить. Каким мертвым покажется вам дом, если вы уже не услышите в нем дробного топота маленьких ножек и веселого щебетания бойких язычков! Все это так. Но иногда мне кажется, что маленькая ручка ребенка является, так сказать, «расшибающим клином». Я не беру на себя неблагодарной задачи оспаривать необходимость и силу чистейшей из всех человеческих привязанностей – материнской любви. Эта любовь, являющаяся венцом женской жизни, настолько свята, что нам, мужчинам, душа которых не так тонко струн-

на, как женская, во всем объеме, пожалуй, и не понять ее. Тем не менее я считаю себя вправе надеяться, что меня не обвинят в неуважении к этому священному чувству, если я скажу, что даже это не должно поглощать все остальные. Ребенок не должен заполнять сердца матери всецело, иначе это будет напоминать того безжалостного богача, который обвел стеной колодец в пустыне, чтобы одному пользоваться его живительной влагой, предоставляя изнывающим от жажды путникам умирать за невозможностью достать воды из недоступного колодца.

В стремлении быть исключительно доброй матерью женщине не следует забывать и своего мужа. Зачем все ваше чувство, все ваши помыслы и заботы сосредоточивать на одном лишь ребенке? Ведь это будет уже жестокостью по отношению к другим вообще, а к мужу в частности. Когда ваш бедный Эдвин просит вас сопутствовать ему в прогулке, не отвечайте ему негодуящим: «Да что ты! Разве я могу покинуть беби?» Не корпите целые дни над колыбелью или кроваткой ребенка и не ограничивайте всю вашу беседу рассуждениями о пеленках, кори и коклюшах.

Поверьте мне, образцовая молодая мать, ваш дорогой ребенок вовсе не в смертельной опасности, если он разок чихнул или кашлянул, кормилица не убежит тотчас с солдатом и дом не поспежит стореть, как только вы решились выйти из него на часик, чтобы под руку с мужем подышать свежим воздухом и укрепить свое здоровье и нервы. Не опасайтесь

и того, что, если вы хоть на одну минуту отойдете от вашего спящего младенца, на него в тот же миг прыгнет кошка или какой-нибудь еще более страшный зверь с целью съесть его.

Считая себя пришитой к ребенку и обязанной неотступно быть при нем, вы не только самой себе портите здоровье и характер, но и ваши отношения к мужу и его жизнь. Помните, что у вас кроме материнских есть и другие обязанности. Когда вы проникнетесь этим, ваше красивое молодое лицо не будет постоянно морщиться от мучительной напрасной озабоченности и вы будете вносить свет не в одну лишь детскую, но и в остальные помещения вашего дома; не будете больше огорчать лишенного вашего общества мужа и отваживать посетителей, навещающих вас вовсе не затем, чтобы слышать разговоры только о беби.

А главное – помните побольше о вашем взрослом беби-муже. Засмейтесь по-прежнему ему; покружитесь немножко по комнате и с ним; оставьте часть вашей нежности, ласки и поцелуев, которыми вы так щедро осыпаете беби, ему же, заброшенному вами ради этого беби, – мужу.

Я знаю, что только первый ребенок так овладевает всем существом матери. Пятеро или шестеро пользуются несравненно меньшей заботой, чем один. Но пока явятся эти пятеро или шестеро, время будет уже упущено, чтобы поправить все испорченное непрерывным корпением над первым беби. Дом, в котором нет должного места для мужа и некому думать и заботиться о нем самом, скоро надоедает мужу,

женившемуся не только ради того, чтобы иметь мать своим детям, но и с тем, чтобы у него была Добрая подруга и верная помощница в жизни; поэтому очень естественно, если он начнет искать на стороне того, чего нет для него в доме...

Однако, если я буду продолжать и дальше свои рассуждения в том же духе, то, пожалуй, рискую навлечь на себя обвинение в «детоненавистничестве». Между тем, видит Бог, я в этом грехе совершенно неповинен. Кто же может не любить этих маленьких существ с их невинными личиками и большими удивленными глазками, толпящихся возле дверей, которые ведут в неведомую для них жизнь, полную всяких горестей и страданий?

Но как интересен для них мир, пока они еще не вошли в его житейскую сутолоку, не захвачены цепкими колесами ее всесокрушающего механизма! Какой притягательной таинственностью полон этот мир для любопытных глазенок! Каким необъятным пространством кажется им простой небольшой садик; ведь и в нем так много для них нового и чудесного. Какие удивительные открытия они делают в подвалах, погребах, на чердаках и в чуланах! С каким восторгом смотрят они на полную пестрой суетливой толпы улицу, – с тем же восторгом, с каким мы, взрослые младенцы, смотрим вверх на звезды – предел наших стремлений!

И с какой старческой серьезностью глядят они на самую длинную и трудную из всех дорог – житейскую! Какие подчас тревожные, испуганные и боязливые взгляды бросают



они на нее! Однажды ночью я видел маленького оборванца, прикорнувшего под сводом ворот старого нежилого дома, и никогда не забуду взгляда его глаз, лихорадочно горевших на иссохшем от голода и болезни маленьком лице, – взгляда, полного неопишемого ужаса и отчаяния. Видно, слишком близко пришлось этому юному существу разглядеть то страшилище, которое называется жизнью, – настоящей, неприкрашенной жизнью.

Бедные маленькие ножки, осужденные идти по каменистому и тернистому жизненному пути! Мы, старые путники, доходящие почти до конца нашего земного странствования, издали наблюдаем вас, как вы, выдвигаясь из темного тумана еле брезжущего для вас утра, жадно смотрите нам вслед и тоскливо простираете к нам руки. Догоните нас, если вы можете. Мы охотно приостановимся, чтобы обменяться с вами приветствиями, но не больше: мы слышим рокот великого моря жизни и должны спешить к берегу, чтобы сесть на ожидающие нас там призрачные корабли под черными парусами и нестись в неведомый край...

# XI

## Об еде и питье

Уже ребенком я до чрезвычайности любил есть и пить, в особенности есть. И аппетит у меня в те дни был хорош, и пищеварение образцовое. Помню одного тощего джентльмена с мрачным выражением лица, иногда приходившего к нам обедать. Однажды он, с видимым изумлением, понаблюдав некоторое время, как я уписываю за обе щеки все, что подавалось, обратился к моему отцу с вопросом:

– Наверное, ваш сыночек часто страдает диспепсией?

– Напротив, никаких жалоб от него в этом отношении я не слыхал, – ответил отец и, взглянув на меня, спросил: – Ведь ты никогда не страдаешь диспепсией, замарашка?

– Никогда, папа, – с уверенностью ответил я и полюбопытствовал: – А что такое диспепсия, папа?

Тощий джентльмен окинул меня пристальным взглядом, полным и удивления и зависти, потом с глубокой жалостью в голосе изрек:

– Ну, так со временем будешь страдать, дружок. Моя бедная покойная мать всегда говорила, что она очень рада, когда видит, как я ем, и для меня утешительно думать, что хоть в этом отношении я доставлял ей удовольствие. Рос я здоровым, много бегал и играл на свежем воздухе и мало учился, поэтому вовсе не удивительно, что я должен был удовлетво-

рять самые широкие требования, предъявляемые мне желудком.

Интересно видеть, как едят здоровые мальчики, в особенности когда за это смотрение не нужно платить. Умеренный завтрак или обед состоит для них из полутора фунтов ростбифа с полдюжиной крупных картофелин, причем они предпочитают их нерассыпчатыми, ввиду большей плотности; целых гор разных овощей и четырех огромных ломтей тяжело-го йоркширского пудинга, сопровождаемого парой пирожков с вареньем, пятком – можно, впрочем, и больше – больших яблок, хорошей горсти орехов и бутылки имбирного пива. И после такой умеренной закуски они идут играть в лошадки.

С каким презрением должны они, в свою очередь, смотреть на нас, взрослых, когда мы принуждены часа два сидеть в полной неподвижности, после того как съели несколько ложек бульона и обглодали цыплячье крылышко.

Однако не все преимущества в деле питания на стороне мальчиков. Прежде всего, маленькие обжоры никогда не чувствуют удовлетворения: желудки их вечно кажутся им пустыми. Мальчик не знает того наслаждения, каким пользуемся мы, взрослые, после сытного обеда, когда вытянемся на кушетке, диване или просто на постели во всю длину, закинем руки за голову и, закрыв глаза, погружаемся в блаженную дремоту. Самый обильный и плотный обед не производит никакого особенного впечатления на мальчика, меж-

ду тем как нам после такого обеда мир начинает казаться несравненно более приятным, чем казался до обеда.

В самом деле, после хорошего обеда настоящий мужчина почти всегда становится благодуще и любвеобильнее к остальным людям, ко всем другим мирным существам и ко всему миру. Он ласково гладит спину трущейся о него кошки, самым нежным, участливым голосом называя ее «бедной кисанькой»; с полной симпатией относится к шарманщикам на улице, выражая опасение, что они могут быть голодны, и даже перестанет на это время чувствовать свою обычную неприязнь к родственникам жены.

Вообще хороший обед вызывает наружу все лучшие качества мужчины. Под благотворным влиянием хорошего обеда угрюмый и молчаливый делается веселым и общительным; старые кисляи, целый день смотрящие так, словно всю жизнь питались только горчицей в уксусе, после сытного обеда растягивают все свои складки и морщины в широкие улыбки, треплют по головкам глазееющих на них ребятишек и бормочут им что-то такое, похожее на приветливость. Люди серьезные, обыкновенно толкующие только о мировых вопросах, размякают и пускаются в легкую болтовню, а фаты совершенно забывают рисоваться своим костюмом и манерами крутить свои «сногшибательные» усы.

Я сам всегда впадаю после обеда в чувствительность. Это единственное время, когда я с полным сочувствием могу читать любовные истории. И когда герой, в конце концов,

в страстном объятии прижимает к своему взволнованному сердцу героиню, я чувствую себя так хорошо, словно играл в вист и всех обыграл; когда же история кончается смертью героини, я проливаю несколько горячих слез. Если бы я прочел эти самые истории утром, то, наверное, поглумился бы над ними.

Пищеварение оказывает огромное влияние на сердце. Когда мне нужно написать что-нибудь особенно чувствительное... виноват, мне следовало бы сказать: когда я хочу попытаться написать что-нибудь похожее на чувствительное, то поглощаю целое блюдо теплых мягких булочек, намазанных свежим сливочным маслом, и, сядя час спустя после этого за письменный стол, нахожусь в самом угнетенном, меланхолическом настроении. В таком настроении и изображаю пару влюбленных, с разбитыми сердцами прощающихся где-нибудь на пустынной проезжей дороге, возле придорожного столба, среди сгущающегося ночного мрака и безмолвной тишины, нарушаемой лишь отдаленным лаем собак. Изображаю старых бабушек и дедушек, в глубоком одиночестве созерцающих засохшие, рассыпающиеся лепестки цветов, полвека бережно хранящиеся у них в заветных ящичках, и заставляю этих старичков лить слезы безысходной тоски. Изображаю нежных молодых девушек, тщетно поджидающих у открытого окошка «его», а «он» все не является; между тем годы бегут, светлые золотистые косы девушек седеют, лучезарные голубые глаза тускнеют и т. д. Выняченные эти-

ми «вековушками» дети их счастливых сестер выросли, возмужали и сами уж давно бьются с житейскими невзгодами – каждый по-своему, – а прежние подруги или повышли замуж, или же лежат в могиле. Но обойденные судьбой «вековушки» все сидят у открытого окошка и ждут «его», – ждут до тех пор, пока темные тени надвигающейся бесконечной ночи не охватят их со всех сторон и не скроют навсегда от их глаз весь мир с его бессмысленными страданиями...

Вижу пред собой бледные тела, тихо раскачивающиеся на пенистых гребнях волн, смертные лежа, орошенные горькими слезами, и одинокие могилы в безлюдных пустынях. Слышу дикие вопли женщин, тихие стоны обиженных детей, бесслезные рыдания сдержанных мужчин. И все это вызывается мягкими теплыми бутербродами. Кусок жареной баранины и стакан шампанского не вызвали бы таких грустных картин в моем воображении...

Полный желудок – прекрасное вспомогательное средство для сентиментального писателя; никакое поэтическое чувство не может быть основано на пустом желудке. У нас нет ни времени ни охоты вдаваться в воображаемые горести, пока мы сами не справились с нашими действительными тревогами и невзгодами. Когда у нас в доме судебный пристав для описи имущества, нам не до того, чтобы оплакивать выпавших из гнезда и разбившихся насмерть птичек; а когда мы не знаем, откуда бы раздобыть нужных до зарезу деньжонок на «оборот», нас совсем не интересует, какой температуры

улыбка нашей возлюбленной: горячая, теплая или холодная.

Чудные люди... (Когда я называю кого-нибудь «чудным», то это значит, что данное лицо совершенно расходится со мной в образе мыслей.) Итак, люди чудные, говорю я, еще малоопытные в знании человеческих особенностей, уверяют, что душевные страдания гораздо мучительнее телесных. Какая романтическая, трогательная теория и как она удобна для безусого юноши, больного любовью! На основании этой теории он чувствует себя вправе покровительственно смотреть на умирающего от истощения бедняка и думать про себя: «Ах, как он счастлив в сравнении со мной!» Удобна эта теория и для старого скряги; склонного рассуждать о преимуществах нищеты пред богатством. На самом же деле все это вздор. Головная боль всегда заглушит боль сердечную. Заболевший палец быстро прогонит всякое воспоминание, сопряженное с видом опустевшего места друга у вас за столом. А когда человек чувствует сильный голод, то не способен ни к каким другим чувствованиям.

Мы, люди упитанные, едва ли в состоянии с достаточной ясностью представить себе чувство голода. Мы знаем, какие ощущения вызываются отсутствием аппетита и равнодушия к поставленным пред нами лакомым блюдам, но понятия не имеем о том, как чувствует себя человек, страдающий отсутствием пищи, умирающий с голоду в то время, когда другие не знают, что делать с излишеством пищи; устремляющий тоскливо-алчный взгляд ввалившихся глаз на окна, в

которые видны полные столы; изнывающий по ломтю черного хлеба и не имеющий гроша, чтобы заплатить за этот ломоть; считающий корку хлеба лакомством, а полуобглоданную кость – сверхлакомством.

Для нас голод – приятная, возбуждающая приправа, вроде пикантных острых соусов. Не трудно проголодать несколько часов подряд, когда наверное знаешь, что предстоящий потом обед будет казаться вдвойне вкусным и можно наестся за ним досыта. И вообще, кто желает насладиться своим обедом вполне, пусть после завтрака предпримет продолжительную прогулку с тем, чтобы нигде ничего не есть до возвращения домой. Как будут после такой прогулки блестеть ваши глаза при виде накрытого стола и дымящихся блюд! С каким вздохом удовлетворения поставите вы обратно на поднос опорожненную вами кружку пива и возьметесь за нож и вилку! И как уютно будете вы чувствовать себя, когда, насытившись, отодвинетесь от стола в вашем кресле, закурите душистую сигару и прислушаетесь к раздающимся вокруг вас остромам и шуткам!

Но только смотрите, чтобы вас наверное ожидал хороший обед после такой прогулки, иначе ваше разочарование будет очень тяжелое. Однажды я сам испытал такое разочарование. Это было уже давно. Мы с приятелем Джо... ах, сколько уже воды утекло с тех пор, как мы потеряли друг друга из виду среди туманов житейского моря! Как был бы я рад иметь снова возможность видеть доброе и веселое лицо этого при-



ателя, слышать его заразительный простодушный смех и пожать его мягкую руку... Кстати, он мне еще остался должен четырнадцать шиллингов... Так вот как-то раз в воскресенье – дело было летом – мы с Джо встали раньше обыкновенного, позавтракали и отправились на такую дальнюю прогулку, с которой могли вернуться только поздно вечером. Перед уходом мы дома заказали себе к ужину утку.

– Да чтобы побольше была! Мы явимся голодные как волки, – добавил я.

– С удовольствием! – ответила наша любезная и заботливая хозяйка, у которой мы квартировали и столовались. – Я уже имею для вас в виду одну утку. Она такая большая, что если вы сладите с ней вдвоем, то это будет прямо чудо.

– Ничего, сладим! – самоуверенно заметили мы и отправились в путь.

Дорогой мы заблудились. Это было в провинции. Мы жили в маленьком городке, откуда стоило пройти всего несколько шагов, чтобы очутиться на просторе. Я обладаю особенной способностью сбиваться с пути на этом просторе. Заблудились мы с Джо и на этот раз, благодаря тому, что я пожелал пойти направо, тогда как нужно бы идти налево, и убедил своего спутника, что нам следует направиться в указываемую мной сторону. Я всегда одерживал верх над Джо. Плутали мы, плутали и, наконец, совсем запутались.

Спрашивать у встречных крестьян дорогу – бесполезный труд. У них такое тугое понимание, что вам нужно употре-

бить не мало усилий, чтобы крестьянин понял вас. Но предположим, что он в конце концов поймет, о чем вы у него спрашиваете. Вы думаете, он сразу ответит вам? Ошибаетесь! Он сначала не спеша поднимет низко опущенную голову и посмотрит на вас, вытаращив глаза. Вы еще раз повторяете свой вопрос. Крестьянин тоже повторяет его за вами, как попугай, затем задумывается, покачивая головой и прищмокивая губами ровно столько времени, что вы легко можете досчитать до ста, наконец, пробормочет:

– Ишь ты... заблудились?.. Вот оно какое дело-то!

После этого он беспомощно разводит руками и оглядывается вокруг. Тут подходит другой такой же умник, которому первый и сообщает о вашем затруднении. Начинается бесконечное обсуждение вашего затруднительного положения. Им искренно жаль вас и хотелось бы вам помочь, но они не знают, как бы это сделать, потому что вы спрашиваете дорогу не в их сторону.

Где-то, где-то, наконец, они решают, что для того, чтобы попасть туда, куда вам нужно, следует идти сначала прямо по полю, потом свернуть направо, дойти до третьего мильного столба и свернуть влево у пастбища Джимми Милчера. Затем пройти через паровое поле вниз, далее – через огород эсквайра Греббина, на проезжую дорогу. Дойдя до горки с мельницей... впрочем, мельницы там давно уж нет, но это все равно. Итак, вот, когда вы увидите горку, где была мельница, которую столько-то лет держал в аренде такой-то, ко-

торый тогда-то при таких-то обстоятельствах умер, то возьмите опять налево, оставив в правой стороне ферму мистера Диля, а там вскоре и увидите то место, куда вам надо.

Получив эти подробные и «точные» сведения, вы с кисло-сладкой улыбкой благодарите за них и шагаете дальше, чувствуя в голове полнейший сумбур. Среди этого сумбура яснее всего выделяется понятие о мильном столбе, который вы должны пройти, чтобы дойти потом до четырех таких же столбов, ровно ничего не разъясняющих.

Вот и мы с Джо получили подобные сведения. Переходили поля; переправлялись через источники по колени в воде; перелезали через колючие изгороди; чуть было не поссорились в споре о том, кто из нас виноват, что мы заблудились; страшно устали, загрязнили и испортили всю одежду; были покрыты потом и пылью, – вообще довели себя до самого жалкого вида.

Но во всех наших мытарствах этого дня нас поддерживала сладкая надежда на утку. Волшебным видением неслась эта утка пред нашими воспаленными от жары и пыли глазами и поддерживала в нас бодрость духа. Мысль об утке была для нас трубным звуком, призывавшим нас мужественно преодолевать все препятствия на пути к вожаденной цели. Мы утешали друг друга разговорами об утке, и предвкушение ожидаемого от нее наслаждения гнало вперед наши усталые ноги.

Мы чувствовали сильное искушение завернуть в деревен-

ский трактир, мимо которого проходили, и потребовать себе по хорошему ломтю хлеба с сыром, но храбро противостояли этому искушению, поддерживаемые соображением, что тогда испортим себе ужин. Разрешили себе только напиться воды у одной сердобольной женщины, попавшейся нам навстречу с ведрами и ковшом.

Во всю обратную дорогу в город нам слышался аппетитный запах жареной утки, и мы с новой бодростью прибавляли шаг. Уже темнело, когда мы снова вступили под гостеприимную сень того дома, в котором квартировали. Перепрыгивая через две ступени зараз, мы взобрались к себе наверх, наскоро умылись и переоделись, потом вихрем спустились вниз в столовую, сели за стол и, облизываясь, нетерпеливо потирали руки в ожидании, когда подадут нам желанное блюдо. Когда же хозяйка наконец торжественно внесла это блюдо и поставила перед нами, я с лихорадочной поспешностью схватил в одну руку нож, в другую – вилку и приступил к расчленению действительно огромной утки.

Совершить эту операцию оказалось, однако, делом не очень легким. Я бился над уткой минут пять, поворачивая ее во все стороны и пробуя отрезать то одну, то другую часть, но совершенно безуспешно. Видя тщетность моих усилий, Джо, принявшийся было между тем поглощать картофель, окунутый в поджаренное утиное сало, заметил, что не лучше ли мне обратиться к помощи человека, сведущего в данном деле. С досадой мотнув головой, я продолжал ожесточенно

тыкать ножом в утку, пока она не слетела у меня с блюда и не направилась прямо за каминную решетку в золу, причем сало разбрызгивалось по всему столу, а часть его угодила мне на жилет.

Соединенными усилиями мы с Джо извлекли утку из золы, кое-как обчистили хлебным мякишем и водворили снова на блюдо, после чего я с новой храбростью принялся за свое трудное дело. И опять ничего не вышло. Джо ворчал, что если бы он мог предвидеть, что наш ужин окажется чем-то вроде скачки с препятствиями, то обязательно поел бы в деревенском трактире.

Слишком усталый, чтобы спорить, я молча и с сохранением полного достоинства положил на место вилку с ножом, отодвинулся от стола и сел со скрещенными на груди руками. Джо совершенно верно принял мою демонстрацию за приглашение самому попытаться счастья и в свою очередь приступил к делу. Но, пропыхтев минут десять над уткой и также без всякого осязательного результата, он со словами: «Ах, проклятая утка!» – отпихнул ее от себя и откинулся на спинку стула.

Наконец, отдохнув, мы кое-как с помощью долота вскрыли внутренность неприступной утки и отломали себе по крылу и ножке. Перепачкавшись донельзя и обозлившись, как настоящие голодные волки, которым не дается добыча, мы, тем не менее, увидели, что все наши труды не получили должного вознаграждения; утка оказалась твердой, как кау-

чук, и совершенно несъедобной.

Я начал этот очерк с намерением писать о еде и питье, но до сих пор ограничивался одной едой. Отчасти это произошло под влиянием мысли, что, пожалуй, будет довольно рискованно выказывать себя компетентным и в вопросе о питье. Ведь уже прошли те дни, когда считалось чуть не доблестным подвигом ежедневно напиваться до потери сознания, и теперь сохранение свежей головы и твердой руки не навлекают больше обвинения в женственной изнеженности и слабости. Напротив, в наши печальные дни «вырождения» пахнуть перегарью вина, иметь красное опухшее лицо, ходить нетвердой, шатающейся походкой и говорить хриплым голосом – значит самому себе выдавать аттестацию на непорядочность.

Положим, несмотря на это, люди все-таки продолжают томиться ненормальной жадой. Пьют под разными противоречивыми предлогами. Мы только тогда чувствуем себя «в своей тарелке», когда имеем пред собой полный стакан. Мы пьем перед едой и во время еды; пьем при встрече с другом и при расставании с ним; пьем, когда говорим, читаем и размышляем; пьем за здоровье других и этим портим свое собственное; пьем в честь короля, отечества, армии, дам и вообще – всех и всего, к чему можно прицепиться как к удобному предлогу устроить лишнюю выпивку. В самых крайних случаях мы готовы пить за здоровье даже нашей тещи. Таким образом, мы никогда не едим за здоровье других, а только

все пьем. А почему же, в самом деле, нам никогда не приходит в голову съесть хоть кусок яблочного торта в честь кого-нибудь?

Лично мне постоянная потребность большинства людей пить совершенно непонятна. Я еще могу допустить, что человек выпьет, чтобы заглушить свое горе и отогнать тяжелые мысли; отчасти могу понять и стремление невежественных народных масс одурманивать себя крепкими напитками... Конечно, возмутительно, что эти массы так делают, – возмутительно для нас, живущих в благоустроенных помещениях и окруженных всевозможными удобствами и удовольствиями, знать, что обитатели темных, сырых и холодных подвалов и мансард чувствуют неодолимую потребность уйти из своих смрадных нор, из логовищ нищеты, в теплый и светлый трактир, чтобы там хоть на время потопить в спиртных напитках сознание неприглядности своего существования.

Прежде чем в ужасе поднимать руки к небу, подумайте, какого в самом деле рода то кошмарное состояние, которое у совсем обездоленных людей называется – «жизнью». Представьте себе, как «вольные» труженики-рабочие из года в год, под гнетом безысходной нужды, ютятся в тесных каморках, почти лишенных света и воздуха, среди полунагих, покрытых грязью детей, постоянно между собой ссорящихся и дерущихся, и таких же растрепанных и неряшливых женщин, с утра до ночи ругающихся, колотящих детей, придирающихся друг к другу и к мужьям. В довершение этой кар-

тины вообразите, какая вокруг этих жалких трущоб стоит вечная непролазная грязь, какие вонь, шум, вой и стон.

Подумайте, какой неприглядной вещью должен казаться этим обездоленным людям прекрасный, в сущности, цветок жизни, – людям, лишенным разума и чуть ли даже не души. Лошадь в стойле с чувством полного удовлетворения жуёт ароматное сено и хрустит золотистый овес. Собака в своей конуре блаженно щурится на; яркое солнышко, дающее тепло, мечтает о веселой гонке по росистым полям и лугам и восторженно лижет ласкающую и кормящую ее руку. Но, как уже сказано, в человеческие конуры почти совсем не проникает луча света, и их злосчастные обитатели совсем не живут настоящей жизнью ни днем ни ночью. Днем они корпят в душных мастерских, ночью задыхаются в своих грязных конурах среди сырых, грязных, зловонных стен.

У них нет и понятия о хорошем отдыхе от непосильного труда, о чистых развлечениях, о дружеских беседах с друзьями. Радость, горе, смех, слезы, дружба, тоска, отчаяние – все это пустые слова для придавленных вопиющей духовной и телесной нуждой. С той минуты, когда эти пасынки мира в первый раз, с плачем, открывают глаза на свет, и до той поры, когда с проклятием закрывают их снова навеки и кости их зарываются в землю, они ни разу не согреваются теплым человеческим чувством, никогда не возбуждаются ни одной мыслью, не испытывают сладкого трепета надежды. Не осуждайте же их за то, что они так упиваются одуряющими,



отуманивающими мозг напитками и благодаря этому хоть на миг чувствуют, что живут.

Ах, сколько бы мы ни толковали об облагораживающих чувствах, но нам не изменить того факта, что истинное, действительное благополучие в этом мире зиждется на желудке. Кухня – это главный храм, ее пылающий огонь – наш огонь Весты, а повар – наш верховный жрец. Он самый могущественный и вместе с тем самый великодушный маг. Он отгоняет от нас все горести и наполняет наши сердца радостью и любовью. «Наш Бог велик, и повар пророк его», – вот как бы надо перефразировать изречение Корана. Будем же есть и пить и повторять это изречение.

## ХII

### О комнатах с мебелью

– Так это у вас сдаются комнаты?

– Да, сэр. Мамаша!

– Что еще там?

– Пришел джентльмен нанимать комнаты.

– Проси его сюда. Я сейчас выйду к нему.

– Не угодно ли вам войти к нам, сэр? Мама сейчас выйдет к вам.

Вы входите, и действительно вскоре появляется пред вами «мамаша», скинувшая передник и немного пригладившая волосы.

– Здравствуйте, сэр, – с насильственной улыбкой говорит она. – Не угодно ли вам пожаловать вот сюда?

– Мне некогда ходить, быть может, напрасно по лестницам, – замечаете вы. – Вы лучше скажите мне, сколько у вас сдается комнат и каковы они.

– Это займет гораздо больше времени, сэр, – довольно резонно возражает «мамаша». – Вам выгоднее подняться наверх и взглянуть самому.

Согласившись с ее доводами, вы скрепя сердце следуете за ней наверх, во второй или третий этаж.

На первой площадке вы натываетесь на половую щетку и помойное ведро, присутствие которых в этом месте «мама-

ша» объясняет неаккуратностью служанки, тотчас же нагибается через перила и пронзительным голосом зовет служанку скорее убрать преграждающие путь предметы. Пока вы осматриваете комнаты, «мамаша», стоя в дверях и держась за косяк, объясняет вам, что в комнатах потому такой беспорядок, что занимавший их жилец съехал накануне, а сегодня еще не успели убрать сор, вымыть полы и пр.

Разумеется, неубранные комнаты не могут представлять подкупающего зрелища, да хозяйка, видимо, и не ждет от вас восхищения, поэтому все время и оправдывается тем, что «не ожидала так рано посещения».

Пахнет спертым воздухом. Все так серо, уныло, неприглядно. Но вы представляете себе, как все это изменится к лучшему, когда переселитесь сюда и устроитесь как следует, по-своему. Расставьте свою мебель, с которой сжились, разложите все безделушки, расставьте и развесите фотографические изображения дорогих вам лиц, свои трубки поставьте или положите в привычном порядке, в маленьком буфетном шкапчике со стеклами поместите, на самом видном месте, любимый голубой фарфоровый сервиз своей матери, а перед украшенными традиционными часами и цветочными вазами камином поставьте вышитый ее трудолюбивыми руками экран. Этот экран вам особенно дорог по воспоминаниям, потому что вы знаете, что она работала над ним в те дни, когда ее милое, доброе лицо, которое вы помните уже поблекшим, еще цвело молодостью и красотой, а пышные

волосы, которые вы видели белыми, блестящими светло-русыми завитками, ложились на ее белый лоб...

Однако я увлекся в сторону от меблированных комнат. В этом виновато воспоминание о старой мебели и вещах. Вокруг того, что было в употреблении наших предшественников на земле, воображение всегда разыгрывается с такой же силой, как вокруг могильных памятников. Наши старые вещи делаются нашими близкими друзьями, вбирая в себя, так сказать, часть нашей жизни. Сколько горестного и радостного могли бы порассказать нам старые столы и стулья, кровати и комоды. Сколько горьких слез было пролито в мягких недрах старого дивана, но и сколько нежного шепота слышался этот немой свидетель. При скольких печальных трагедиях и веселых комедиях присутствовала старая мебель.

В сравнении со старой мебелью новая не имеет для нас ничего притягательного. Мы вообще любим старые вещи, старые книги, старые лица, изображенные на картинах и портретах. Новая обстановка может дать комфорт, но не даст уюта.

Между тем меблированные комнаты, хотя и обставленные старьем, однако совсем не представляются нам уютными. Их старая меблировка непривычна нашим глазам, для нас с ней не связано никаких личных воспоминаний и привязанностей, поэтому она и производит на нас впечатление новой, чуждой.

Все новое, как лица, так и вещи, при первом взгляде на

них представляет нам только свои дурные стороны. Шишковатая деревянная обделка старого кресла и его потертая волосяная обивка вызывают в нас недоверие; зеркала кажутся вам пыльными и поцарапанными; занавесы – грязными; ковер на полу – истертым и изъеденным молью; столы внушают вам опасение, что, лишь только вы поставите на них что-нибудь потяжелее, они тотчас же повалятся; камин зловеще смотрит на вас своей пустой, холодной, черной впадиной; потолки точно сплошь облиты чем-то бурым; обои во многих местах прорваны и т. д.

Должно быть, существует специальное производство обстановки для меблированных комнат, потому что решительно во всех таких комнатах, предназначенных для вечно меняющихся жильцов, по всему Соединенному Королевству вы увидите совершенно одинаковое убранство, никогда не встречающееся в тех домах, где живут люди оседлые, пользующиеся собственной мебелью.

Во всех меблированных комнатах на камине торчат одни и те же, неизвестно что представляющие фигуры, обвешанные стеклянными трехгранниками, которые своим постоянным дребезжанием при каждом движении вызывают у вас нервную дрожь. Иногда, впрочем, эти предметы искусства заменяются алебастровым изваянием, изображающим не то сидящую на задних ногах корову, не то храм Дианы Эфесской, не то валяющуюся кверху брюхом собаку, – словом, все, что вам вздумается видеть: в этом «художественном»

произведении. Где-нибудь в углу, на тумбе, стоит что-то подозрительное на первый взгляд, нечто вроде комка теста, забытого там игравшими детьми. При ближайшем же рассмотрении этот комок оказывается уродливо слепленным из глины купидоном, покрытым чем-то первоначально белым, а впоследствии посеревшим. Хозяйка называет это «древней статуей». Потом там есть несколько картин, все одного и того же содержания и достоинства; два-три вставленных в раму за стеклом изречения из Священного Писания, а рядом с ними – тоже под стеклом в раме – свидетельство о привитии оспы супругу хозяйки, когда он был шестинедельным младенцем, удостоверение об окончании школы кройки самой хозяйки или что-нибудь еще в этом же роде.

Налюбовавшись на все эти прелести, вы осведомляетесь о плате за них, причем добавляете, что мебель и украшения у вас свои собственные, а потому все, что тут имеется, может быть вынесено без всякого ущерба для вас. Хозяйка объявляет несообразную плату. Вы ужасаетесь, и на ваше возражение, что, мол, это «дорогонько», хозяйка клятвенно уверяет, что давно, лет вот уж двадцать, она всегда получала за эти «прелестные апартаменты» такую плату. За эту же плату она согласна уступить их и вам ввиду вашей «кажущейся порядочности».

Вы удивляетесь, когда узнаете, что еще двадцать лет тому назад такие «апартаменты» стоили вдвое дороже, чем вы платите в настоящее время за гораздо лучшее помещение, в

котором вы живете и которое вам приходится менять лишь в силу крайней необходимости. «Наверное, – думается вам, – люди прошлого поколения были гораздо состоятельнее нынешних, если могли платить такие деньги за плохую «меблирашку»». Значит, вам при существовавших, по уверению хозяйки, еще двадцать лет назад ценах на такие «апартаменты», пришлось бы тогда, по вашим средствам, ютиться где-нибудь в подвале или на чердаке...

Кстати сказать, в отношении жилища общественный строй следует совершенно противоположным правилам. Живя в собственной квартире, вы чем выше поднимаетесь по общественной лестнице, тем ниже спускаетесь (исключая, разумеется, подвальные помещения) в смысле жилища; в квартире же «для жильцов» наоборот: бедняк стоит на верху лестницы, а богач – на самой нижней ее ступени. Начав с чердака, вы, по мере улучшения вашего положения, постепенно спускаетесь до первого этажа.

Теперь нужно сказать кое-что и о чердаках. Не мало великих людей жило и умерло там. «Мансарды (чердаки) – такие помещения, в которых держат разный ненужный хлам», – сказано в некоторых словарях. Действительно, мир всегда помещает в мансарды ненужный ему «хлам». Вдохновенные проповедники, великие живописцы, широколобые изобретатели, гениальные мыслители, вещающие истины, о которых никто не хочет слышать, – таков состав этого негодного для мира «хлама», тщательно убираемого с глаз долой.

Гайдн вырос на чердаке, Чаттертон умер на нем. Эдисон и Гольдсмит писали на чердаках. Фарадей и Де Квинси хорошо были знакомы с этими вышками. Д-р Джонсон тоже нередко останавливался и спал на чердаке, подчас даже очень крепко, как и подобало такому закаленному в лишениях и боях с препятствиями охотнику за счастьем. Диккенс провел свою молодость на чердаке, а Морленд – свою старость, преждевременно надвинувшуюся на него благодаря беспробудному пьянству. Андерсен, этот король сказок, писал свои волшебные грезы по соседству с покатою кровлей. Бедный, угрюмый, необщительный Коллинз опускал голову на полуразвалившиеся столы чердаков. Из блестящих имен, украшающих бесконечный список знаменитых людей, тесно знакомых с чердаками, назовем еще: самоуверенного Бенджамина Франклина; полоумного Саважа, тревожившегося, когда ему предоставлялась постель несколько мягче каменной ступени какого-нибудь подъезда; молодого Блумфильда, «Бобби» Бернса, Хаггарта, Уатта и мн. др. Вообще, с тех пор как люди стали сооружать свои жилища в несколько этажей, чердачные помещения всегда были приютом для гениев.

Ввиду сказанного ни один человек, преклоняющийся перед аристократией ума, не должен чувствовать себя униженным знакомством с чердаками, сквозные стены которых всегда должны быть священны для почитателей великих имен.

Если бы все знание человечества, все его искусство, все дарования, получаемые им от природы, и весь огонь, похи-



щаемый им с неба, были разложены на отдельные груды и мы могли бы, указывая на них по порядку, говорить: «Эти вот блестящие мысли вышли из недр великолепных гостинных, среди взрывов звонкого смеха и сияния прекрасных глаз; это глубокое знание было добыч то многолетним, усидчивым трудом в тихом, отдаленном от мирского шума кабинете, где с тесно заставленных книжных полок с ясной, ободряющей улыбкой смотрела Паллада; та вон груды собрана с многолюдной улицы, а другая рядом – с усеянных маргаритками росистых лугов», – то та груды, которая оказалась бы самой высокой, заставила бы нас сказать: «Это вот скопление всего самого лучшего на земле: упоительная музыка, поражающие ум и чувство картины, миропотрясающие слова, великие мысли и смелые подвиги – все это было задумано и создано среди нужды и всяческой скорби, в убогих, тесных, холодных и сырых зимой, знойных и душных летом чердаках. Оттуда, с этих амвонов, у подножия которых шумят бурные прибои житейских волн, светочи человечества выпускали свои крылатые мысли лететь по пространству веков. Оттуда, с этих неприглядных вышек, убранных жалким скарбом, с этих презираемых всеми чердаков, одетые в лохмотья, истинные Юпитеры низвергают свои гремящие молнии, потрясая ими целый мир...»

Да, засаживайте ваших светоносцев в «помещения для ненужного хлама»; запирайте их ключом бедности; забивайте наглухо задвижки их дверей; принимайте все зависящие

от вас меры, чтобы ваши лучшие люди не могли во всю свою жизнь выбраться из своих тесных клеток; оставляйте этих людей умирать там с голоду; смейтесь, когда услышите их удары в накрепко заделанные двери; забывайте о них среди вашего веселья и ваших торжеств, – делайте все это, но помните, что ваши узники могут захотеть и отомстить за себя. Не все, подобно баснословному фениксу, поют в минуты смертельной агонии умиротворительные песни. Иногда они изрыгают и яд, который вам волей-неволей придется вдыхать, потому что не в ваших силах запечатать им уста; вы можете лишь держать их запертыми в клетках нужды. Если им самим не отворить дверей своих темниц, они могут выбить слуховые окна и через них дать волю своим мощным голосам, которые, гремя на высоте, будут услышаны внизу...

Засадили же вы бурного Руссо на самый убогий из всех чердаков улицы Сен-Жака в Париже и издевались над его бессильными воплями. Однако отзвуки этих воплей вызвали Великую французскую революцию, и в наши еще дни цивилизация питается ими, да, наверное, долго еще будет питаться.

Что касается меня, то я люблю чердаки, но, разумеется, только бывать на них, а не обитать – для этого они в самом деле слишком неудобны. Они требуют чересчур много утомительной беготни вверх и вниз по лестницам, напоминая нам беличье колесо; их покатые потолки представляют слишком много случаев, чтобы разбить о них голову, а ноч-

ные серенады кошек на кровлях над самой головой слишком уж надоедают таким близким соседством.

Нет, для жилья дайте мне квартиру в первом этаже одного из пышных дворцов на Пиккадилли (как бы я обрадовался, если бы нашелся такой благодетель для меня!), но как место для размышлений предоставьте мне чердак на высоте десяти лестниц в одной из самых населенных частей Лондона.

Я вполне разделяю симпатию герра Тейфельсдрека к чердакам; в них, действительно, есть что-то величавое, благодаря их «высокому» положению. Я люблю посидеть под самой крышей, поглядеть на кишаший внизу людской муравейник, послушать глухой рокот людского моря, безудержно переливающегося по узким артериям-улицам необъятного города. Какими крохотными кажутся с этой высоты люди, не больше муравьев, копошащихся в своих лабиринтах! Какими ничтожными кажутся результаты всех их трудов и стремлений! Какими ребяческими забавами представляются все их ссоры, грызня, драки между собой! Их глупые, озлобленные крики и вопли лишь слабым отголоском достигают до верха. Они там волнуются, беспокоятся, страшатся, веселятся, ликуют и умирают; я же, ничем не возмутимый, сижу под облаками и переговариваюсь только со звездами...

Самым интересным чердаком был тот, который много лет тому назад я делил с одним из своих приятелей. Из всех причудливостей, нагроможденных между Бред шоу и Хемптон-Кортон, эта мансарда была самой причудливой. Архи-

тектор, по плану которого была устроена эта прелесть, быть может, и был очень знающим, но, по моему слабому разумению, он годился скорее для устройства замысловатых ловушек и капканов, чем человеческих жилищ. Никакая фигура Эвклида не может дать верного понятия об этом помещении. Оно имело семь углов, две его стены сходились в одном пункте, а окно приходилось над самой печкой. Кровать наша стояла между дверью и посудным шкафом – другого места для нее не было. Когда нам нужно было достать что-нибудь из шкафа, мы лезли на постель, на которую и попадало большинство предметов, вынимаемых из хранилища. Благодаря этому наша постель к ночи всегда представляла нечто вроде потребительской лавки на паях. Самым необходимым предметом был уголь, который мы вынуждены были держать в нижнем отделении шкафа. С огромным трудом, лежа поперек постели, мы захватывали его совком и ползком спускались с ним с постели, причем, разумеется, большая часть этого черного вещества сыпалась на одеяло и подушки. Как мы ни старались поаккуратнее совершать эту угольную операцию, она нам всегда плохо удавалась. Самый критический момент наступал тогда, когда мы во время обратного путешествия с постели достигали ее середины, где распустившиеся пружины матраца образовывали большой горб. Не сводя внимательного взгляда с совка, наполненного углем, и удерживая дыхание, мы делали чудеса ловкости, чтобы избежать предательского горба, но как-то непременно случалось, что

мы постоянно попадали на него и, подталкиваемые пружинами, кувыркались на спину, а уголь рассыпался куда попало.

Часто приходится слышать или читать, в какое восхищение приходят люди при виде угольных залежей. Мы с товарищем каждую ночь спали на таких залежах, но, сказать по правде, никаких восторженных чувств при этом не ощущали. Очевидно, все на свете условно.

Несмотря на то что наш чердак был единственным в своем роде, архитектор при созидании его все-таки не истощил всей своей гениальности, судя по тому, что устройство всего дома также отличалось изумительной замысловатостью. Все двери в доме отворялись наружу, что представляло большое неудобство для тех, кто стремился в них войти одновременно с выходом кого-нибудь из них. Сеней совсем не было там, где им следовало бы быть; изобретательный строитель ухитрился поместить их совсем не в надлежащем месте, и парадная дверь отворялась прямо на лестницу, которая вела вниз, в погреб. Новички, не знавшие этих особенностей, не успев расслышать предупреждения отворявших им парадную дверь, стремглав летели по ступенькам вниз. Люди мнительные и раздражительные были вполне уверены, что попали в нарочно устроенную для них ловушку, и, бабахтаясь на спине около предательской, как и все в этом доме, лестницы, вопили, что их хотят зарезать или, по меньшей мере, ограбить. Но стараниями хозяев недоразумение вскоре

выяснялось, и потерпевший извлекался наверх, отделавшись только легкими ушибами.

Давно уже я не был ни на одном чердаке, живя в первом этаже, но должен сказать, что большой разницы между сущностью жизни на чердаке и в нижнем этаже не нашел. Вкус жизни все один и тот же, – пьем ли мы ее струи из золотого кубка или из глиняной кружки. Где бы мы ни проводили время, оно всюду является нагруженным одной и той же смесью радостей и горестей. Больному сердцу безразлично, прикрыто ли оно жилетом из тончайшего сукна или из грубой бумазеи. Смех наш не становится более веселым на бархатных диванах и креслах, чем на деревянных скамьях и стульях. Много вздохов вырывалось из моей стесненной груди, когда я жил на чердаке, но и внизу, в комфортабельной квартире первого этажа, постигавшие меня разочарования были ничуть, не легче.

Жизнь отмеривает нам свои дары на колеблющихся весах и недостаток или излишек одного уравновешивает в соответствующей мере другим.

По мере увеличения наших средств к жизни растут наши желания и потребности. Обитая на чердаке или в подвале, мы рады блюду жареной рыбы самого дешевого сорта, ломтю хлеба и кружке плохого пива; живя же в первом этаже, мы насыщаемся самыми изысканными блюдами, но от этого нисколько не чувствуем себя «сытее». Таковы человеческие странности.

## ХІІІ

### Об одежде и поведении

Об этом также нужно высказать несколько мыслей, праздных мыслей.

Люди, щепетильные по отношению к своей внешности, говорят, что сознание быть хорошо одетым дает такое блаженство, какого ничто другое не может дать. Они, пожалуй, и правы. Сужу опять-таки на основании собственного опыта. В молодости – давно уж она промелькнула для меня! – самым большим моим удовольствием было одеться в праздничный наряд.

Какая бы ни постигла меня неприятность, каким бы я ни был испытан разочарованием: прачка ли подвела меня, оставив без свежего белья; в десятый ли раз была возвращена мне обратно моя «чудная» поэма в стихах, снабженная лишь редакторской припиской, гласящей: «Крайне сожалеем, что, за недостатком места в нашем журнале, мы не можем воспользоваться вашим любезным предложением».

Так вот, я хотел сказать, что когда со мной случалось что-нибудь вроде вышеупомянутых неприятностей, то я напяливал все, что было у меня лучшего для украшения своей особы и шел гулять. Этим путем я приводил себя в душевное равновесие и укреплял в себе пошатнувшееся было самоуважение. В лоснящейся новизной шляпе и новейшего покроя

панталонах с продольной складкой с лицевой стороны (поддерживаемой тем, что я клал эту часть одежды под постель – не на пол, конечно, а под матрац), я чувствовал себя «особой» и утешался мыслью, что могу отыскать более добросовестную прачку и более «просвещенного» редактора.

Около часа уходит у молодого человека на размышление, что ему лучше надеть: серый костюм, легкую фетровую шляпу и взять в руки трость или же облечься в черный сюртук, на голову натянуть кусок фабричной трубы, именуемой «цилиндром», и застаться зонтиком. Решение этого вопроса довольно затруднительно по следующим соображениям: если одеться «полегче» и вооружиться одной тростью, то может пойти проливной дождь, и он, молодой человек, придет к предмету своих исканий в малопредставительном виде мокрой курицы; если же решить в пользу сюртука с цилиндром и зонтиком (цилиндр на голове без зонтика в руке – неслыханная вещь) и дождя на пути не случится, то это выйдет уж очень по-стариковски. К тому же в таком снаряжении можно вспотеть, и прекрасные кудри, выбивающиеся из-под цилиндра, могут принять нежелательный вид.

Ах, этот цилиндр! Терпеть не могу его и ношу только в чрезвычайных случаях, поэтому обзавоюсь новым. Последний цилиндр приобретен мной лет пять назад и уже выходил из моды – и на цилиндры влияет мода! – но теперь опять вошел в моду.

Итак, если нашему молодому человеку одеться в летний



вечер посолоннее, то от жары разовьются его ухарски закрученные усики и красиво завитые щипцами кудри, взмокнет крахмальная рубашка и все лицо покроется мелкими каплями пота. Все это очень неприглядно для кавалера...

Как должен завидовать современный юноша, превращаемый нынешней нелепой модой в смешную карикатуру, франтам начала XIX столетия! Взгляните на них, как они изображены, например, на рождественских поздравительных карточках; в соломенных шляпах, с панталонами в обтяжку на стройных ногах, в пышных жабо, цветных бархатных или шелковых камзолах, с элегантной тросточкой в руке и с драгоценными брелоками на часовой цепочке. Неудивительно, что при первом взгляде на этих изящных кавалеров молодые девушки, наряженные также в самые живописные костюмы, чувствовали, как бурно бьются их сердечки. Но чего можете ожидать вы, нынешние франты, в обезьяньих куртках и панталонах мешками!

Одежда влияет на нас гораздо сильнее, чем мы понимаем. Все наше поведение, все наши манеры зависят от одежды. Заставьте молодого человека надеть обтрепанную одежду, и он пойдет с низко понуренной головой по улицам; лицо у него будет такое, словно его только что побили. А нарядите этого же молодого человека в новое снежно-белое и тонкое белье, изящный костюм от лучшего портного и красивую обувь, снабдив соответствующей головной покрывшей, лайковыми перчатками, модной тросточкой или шелковым зон-

тиком, и он сразу пойдет гоголем, с высоко поднятой головой, выпяченной грудью, приятной улыбкой и взглядом победителя.

Одежда меняет нас в корне. Человек с пером на берете, со шпагой на боку, весь в волнах бархата, шелка и тонких кружев, не может не быть смелым и храбрым, между тем как мы, в наших тяжелых безобразных одеждах, чуть что, сейчас же прячемся за фонарный столб и зовем на помощь полицию.

Согласен с тем, что и вы, будучи одеты в простое сукно и бумажное трико, можете так же сильно чувствовать всю прелесть дружбы и любви, можете пользоваться таким же уважением, – быть может, даже и большим, – вообще пользоваться всеми благами существования не хуже тех нарядных красавцев прошлых времен; но воскресить дух средневековых рыцарей, сражавшихся за даму сердца и совершавших геройские подвиги ради ее улыбки, возможно лишь при бряцании оружием, шелесте развевающихся перьев и звуках боевых рожков и труб. Взгляните на изображения этих рыцарей в пыльных хартиях летописей и на источенных молюю вышитых обоях, и вы поймете, что в наших костюмах нельзя обладать рыцарскими чувствами.

Мир явно старится; это заметно, между прочим, и потому, что он стал так степенно одеваться. На заре младенчества человечества мы бегали в том, в чем появились на свет. В грубые варварские дни нашего исторического отрочества мы тоже не гонялись за одеждой, а лишь разрисовывали себя

разноцветными узорами с головы до ног и никогда не чесали своих волос. Затем наступила юношеская пора и мы сделали записными щеголями: разрядились в дорогие цветные фуфайки, распустили по плечам кудри и пошли брэнчать на мандолинах, приседать, распевать сладеньким голоском любовные песенки и увиваться возле нарядных красавиц; в то же время, заковав себя и своего коня в железо и вооружившись длиннейшими копьями, играли в рыцарей.

Теперь те веселые, пестрые, красивые, сумасбродные дни давно миновали, и мы переживаем пору своей возмужалости, граничащей со старостью. Мы стали скромны, степенны и рассудительны или – как утверждают некоторые – слабоумны. Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена, и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым, пестро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой-рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм.

В своей суровой возмужалости мы мним себя чувствительнее, чем были во дни юности. По нынешней теории, чувствительность и мрачность идут рука об руку; доброта тоже всегда мрачна на вид. Очень добросердечные люди постоян-

но ходят во всем черном; даже галстуки и перчатки их черного цвета; наверное, скоро будут носить и крахмальные сорочки такого же цвета. Люди средней доброты по будням носят светлые панталоны, а некоторые даже заходят так далеко, что решаются носить и светлые жилеты. Только люди, не заботящиеся о спасении своих душ, постоянно ходят в светлых костюмах; среди них есть и такие отчаянные вольнодумцы, которые публично красуются даже в белых шляпах. Впрочем, о таких отверженных не принято говорить в приличном обществе, и я, пожалуй, напрасно упомянул о них.

Кстати, по поводу светлой одежды. Замечали вы, как всегда публика пялит на вас глаза, когда вы в первый раз показываетесь в светлом новом костюме? Потом на это не так уж обращается внимание; когда вы надеваете этот костюм в третий раз, лондонская публика успеет уж приглядеться и привыкнуть к нему. Я говорю о «вас», потому что сам лично никогда не ношу светлых костюмов из опасения быть сопричисленным к «грешникам».

Но я очень желал бы, чтобы человек мог оставаться в глазах общества добрым, чувствительным, благочестивым и почтенным, не одеваясь ради этого трубочистом. Подчас, глядя в зеркало на пару своих цилиндрических мешков на ногах с торчащими складками на коленях, на стягивающий мое горло воротничок и на шляпу котелком, я недоумеваю: на основании чего я обязан портить вид светлого Божьего мира моей безобразной фигурой?

Недоумение мое разрешается вихрем смелых, дерзостных мыслей. Мне приходит в голову, что я вовсе не обязан считаться «добрым» и «почтенным» (о чувствительности я уж и не говорю: за мной это качество всегда отрицалось); поэтому никто не может запретить мне носить зеленый камзол с желтой подбивкой, красные бархатные панталоны до колен, лавандулового цвета, длинные чулки и башмаки с пряжками; накидывать на плечи светло-голубую шелковую коротенькую мантию, надевать набекрень бархатный ток или широкополую поярковую шляпу с орлиным пером, прицеплять к боку тяжелый меч, брать в одну руку длинное копьё, а на другой, облеченной в охотничью перчатку, держать сокола в вышитой жемчугом шапочке на его голове, потом садиться на резвого вороного, богато убранного коня и носиться в таком виде по лондонским улицам, возбуждая удивление взрослых и восторг ребятишек.

Вот была бы картина-то! Но шутки в сторону. Что, в самом деле, за надобность, чтобы мы все походили на копошащихся в своих сорных кучах муравьев? Почему бы нам не одеваться повеселее и покрасивее? Я убежден, что если бы мы решились в этом отношении вернуться к прошлому, то были бы счастливее. Конечно, мне могут возразить, что такой взгляд слишком уж мелочен, но разве в действительности вся наша жизнь не построена на мелочах? Так с какой же стати нам стыдиться лишней мелочи, от которой мы чувствовали бы себя лучше? К чему разыгрывать из себя невесть ка-

ких мудрецов и портить себе удовольствие? Пусть присяжные философы ходят в виде черных воронов, а я лучше желал бы уподобляться легкокрылой пестрой бабочке, на которую всякому приятно смотреть.

Что касается женщин, то они не только могут, но даже должны одеваться как можно красивее; это их прямая обязанность. Женщины – цветы земли и должны оставаться этими цветами. Мы всеми силами способствуем им быть нарядными и красивыми; без этого мир совершенно омрачился бы. Сколько повсюду вносит света красивая и нарядная женщина! Как сразу оживляется и украшается наше холостое жилище, когда в него ворвется женщина, в шуршащем платье, отделанном лентами и кружевами, в красивой шляпе, украшенной цветами, в тонких душистых перчатках и с воздушным зонтиком! словно к вам припожаловала сама лучезарная радуга, сорвавшись с неба.

Само лето не было бы так прелестно, если бы его не расцвечивали своими светлыми нарядами молодые девушки и женщины. Я люблю смотреть, как мелькают среди зеленых деревьев белые, розовые, голубые и светло-красные платья; как носятся по бархатистым зеленым лугам и золотистым полям крупные бескрылые бабочки. Они видны издали. Вот и сейчас я вижу в окно пеструю группу женщин, взбирающихся на довольно отдаленный от моего жилища холм. До него не менее трех миль, а между тем я совершенно ясно различаю отдельные фигуры этой группы. Как приятно сле-

дить за ними издалека глазами, и это – благодаря их светлым нарядам.

Только вот что очень некрасиво: наши английские женщины носят слишком просторную обувь. Никогда я не видел у наших женщин обуви по ноге. Очевидно, местные башмачники не имеют настоящих колодок для дамской обуви. Сколько раз я слышал от присевшей у дороги женщины, что она не может идти дальше, так как натерла себе ноги слишком просторной обувью.

По-моему, пора произвести и в этой области необходимую реформу. От имени отцов и мужей старой Англии зываю к изготовителям женской обуви: перестаньте же, наконец, господа, уродовать и истязать наших жен, дочерей, сестер и прочих дорогих нашему сердцу, ни в чем не повинных существ! Ведь для того чтобы не быть такими мучителями, вам достаточно брать в образец чулки, так легко и удобно облегающие женские ноги; по крайней мере, таково мнение большинства женщин.

Женские пояса тоже всегда делаются настолько широкиими и неудобными, что они то и дело расстегиваются и сваливаются. На это также следовало бы обратить внимание и принять меры к устранению этого неудобства.

Почему женщины молча терпят все эти неудобства, а не протестуют против них и не настаивают, чтобы носимые ими вещи были сделаны по ним, это для меня непонятная загадка. Не оттого же это, чтобы женщины, были равнодушны к

своему туалету, когда, наоборот, вся их жизнь вертится вокруг нарядов. Ведь женщины ни о чем не любят и не могут говорить, кроме нарядов. С утра до ночи они готовы трещать об этом. Когда вы встретите двух женщин, оживленно беседующих между собой, то так и знайте, что они обсуждают свои собственные и чужие туалеты. Так, например, если вы увидите сидящих у открытого окна двух ангелоподобных молодых девушек и желали бы знать, какие невинные, святые мысли срываются с их розовых губок, то подойдите поближе и услышите что-нибудь вроде следующего:

– Сделала новый кушак из пунцовой ленты, распустила складку, разгладила, и теперь платье опять совсем как новое, – щебечет одна.

– А я, – чирикает другая, – хочу снести свой вишневого цвета лиф к портнихе и попросить ее сделать в нем желтую вставку; будет очень красиво. Потом надо взять у Петтиков перчатки. Там только что получены новые, с толстыми швами, и недорого стоят: всего один шиллинг и одиннадцать пенсов.

Вот вам и «ангельская» беседа!

Как-то раз я ездил в обществе моих родственниц за город. Местность, по которой шла дорога, была очень живописна, но мои спутницы ничего не видели, потому что все время болтали о нарядах. Наконец я не выдержал и, обводя кругом зонтиком, заметил:

– Какой чудный вид! Посмотрите на синеющие вдали го-



ры, обрамляющие эту живописную сельскую картину. Как таинственно белеются вон там, среди пышных садов, причудливые очертания вилл!

– Да, недурно, – небрежно кинула мне в ответ одна из дам и тут же продолжала, обращаясь к своей спутнице: – Советую тебе взять ярд флорентийской тафты и отделать корсаж...

– А юбку так и оставить без переделки? – перебила вторая дама.

– Конечно! Она и так хороша... А как называется вот это село, кузен?

Я ответил на этот вопрос и, кстати, принялся поэтизировать насчет новых видов, открывшихся пред нашими глазами. Дамы кивали своими модными шляпами, цедили сквозь зубы: «Да, это очень мило!» – или: «Очень обворожительно!» – и тотчас же снова пускались в оживленное обсуждение мод, новых материй и тому подобных более интересных сюжетов.

Я уверен, что если бы две женщины попали на необитаемый остров, то они целые дни только бы и делали, что разбирали пригодность для украшений раковин, скорлупки яиц и камешков да придумывали бы новый фасон фиговых листочков.

Молодые мужчины тоже не прочь принарядиться, но все же они толкуют между собой не исключительно о нарядах. Попробуй кто-нибудь из них ограничиваться в беседе с това-

рищами одной этой темой, с ним тотчас же перестанут иметь общение, как с безнадежной пустельгой. Фатишки не в фаворе у своего пола, хотя это, в сущности, не совсем справедливо. Ведь склонность к щегольству у мужчины не имеет в себе ничего безнравственного, притом она обыкновенно проявляется лишь в молодые годы, а с течением времени пропадает. Не следует забывать, что тот, кто в двадцать лет не любит пофрантить, в сорок обязательно сделается неряхой.

Да, немного фатовства вовсе не мешает молодому человеку. Я люблю смотреть, как молодые петухи молодецки встряхивают своими блестящими пестрыми перьями, вытягивают шею и с таким торжествующим видом кукарекают, словно им принадлежит весь мир. Чересчур же скромные, сдержанные и неразборчивые в туалете юноши мне не нравятся. Серьезничать и разыгрывать из себя аскетов им вовсе не идет; это неестественно, а потому и неприятно для окружающих.

Вообще слишком скромное поведение – большая ошибка в этом мире. Отец Урии Хипа был плохой судья в мирских делах, иначе он не стал бы внушать своему сыну, что люди более всего благоволят к скромным. Напротив, ничто так не претит людям, как образцовое поведение. Главной потехой для большинства людей служит скандал, а как вы заскандалите со скромным и сдержанным человеком? Он своими тихими ответами и манерами заставит вас сдерживать свою придиричивость и досаду, а этим испортит вам все удовольствие. Вы только что настроились на самый воинственный

лад, распетушились как следует и уже предвкушаете наслаждение веселеньким скандальчиком, как вдруг первый же выпущенный вами снаряд насмешки или прямой грубости отскакивает от непроницаемой брони вашего противника, не причинив ему ни малейшего вреда и не вызвав даже намека на отпор. Есть от чего прийти в отчаяние!

Жизнь Ксантиппы, связанной с невозмутимо равнодушным к ее выходкам Сократом, должна была быть сплошным мучением для бедной женщины. Представьте себе сварливую женщину, осужденную иметь мужа, с которым никакими уловками нельзя поспорить... Кстати, о мужьях.

Мужьям следовало бы приноравливаться к своим женам в этом отношении. Существование этих бедняжек и так уж слишком однообразно и бесцветно. Ведь у них нет тех развлечений, которыми живы мы.

На политические митинги они не ходят, в клубах членами не состоят, исключены из вагонов для курящих и никогда не читают юмористических листков, а если иногда и заглядывают в них, то ничего там не понимают, потому что им никто не разъясняет.

Да, бедная Ксантиппа достойна нашего искреннего сожаления. Она была настоящей мученицей во всю свою жизнь. История с ведром была, наверное, одной из самых грустных в ее жизни. Бедная женщина так надеялась хоть этим способом вывести наконец из терпения своего «каменносердого» мужа. Она наполнила ведро грязной водой и, быть мо-

жет, даже нарочно далеко ходила за ней. С каким волнением она поджидала возвращения мужа! Наконец улучила момент, чтобы окатить его из этого ведра, но – увы! – опять-таки без всякого результата. Сколько, думаю, понадобилось ей потом времени, чтобы выплакать свою досаду на такое разочарование. Последний луч надежды померк для бедняжки, насколько нам известно, у нее тогда не было уже и матери, которой она могла бы пожаловаться на такого мужа.

Что ей было радости в том, что ее муж принадлежал к числу великих философов? В супружеской жизни великая философия не у места.

Жил был когда-то мальчик, которому хотелось быть на море. Капитан, к которому он пришел просить места, спросил его, что он умеет делать. Мальчик ответил, что умеет сушить между листами книг морские растения и знает наизусть всю таблицу умножения, может повторить ее даже с конца; кроме того, знает, сколько раз в Ветхом завете встречается слово «рождать» и может наизусть прочесть «Мальчика, стоящего на пылающей палубе», «Нас семеро» и...

– Все это очень хорошо, – прервал капитан. – Но умеешь ли ты отличать каменный уголь от простого?

То же самое и в семейной жизни. Там не столько нужны отвлеченные знания, сколько полезные. Развитые мозги совсем не нужны в супружестве: там на них нет никакого спроса, потому что там нет им применения. Каким бы сильным умом ни отличался муж, жена все равно низведет его на свой

собственный низенький умственный уровень.

Поверьте мне, дорогой читатель, ваша супруга или возлюбленная никогда не преклонится пред вашей ученостью и мудростью. Женщине в домашнем обиходе необходим человек, который мог бы поживее исполнить любое ее поручение, не подвергая его критическому разбору и вообще не высказывая о нем собственных суждений, хотя бы и самых возвышенных и гениальных; который умел бы как следует держать на руках ребенка и не очень жаловался бы на пережаренное или недожаренное жаркое за обедом. Вот какого рода мужей любят чувствительные женщины, а вовсе не научных или литературных светил, которые ровно ничего не смыслят в хозяйстве и в детской и своей страстью к оригинальничанью готовы перевернуть вверх дном весь житейский уклад.

# XIV

## О памяти

Помню, помню, в ноябре  
Шла ворона по грязи...

А дальше забыл. Это было первое стихотворение, самостоятельно мной прочитанное в одной детской книжке и заученное наизусть. Я только потому и запомнил его начало, что мне за каждое повторение этих стишков наизусть при гостях давалось четыре пенса, причем всегда внушалось, что если я сберегу эти четыре пенса до тех пор, когда к ним прибавится еще столько же, то у меня будет тогда уже восемь пенсов. Но так как особенной склонности к сбережениям я в то время не чувствовал, то на следующий же день обменивал свои четыре пенса на какое-нибудь лакомство. Таким образом, мой капитал не только не увеличивался, но и тот, который попадал мне в руки, не мог удержаться у меня более суток.

Я бы не запомнил и того, что мне давалось именно по четыре пенса, не больше и не меньше, если бы не постоянное наставление о бережливости, в результате которой должна была образоваться сумма в восемь пенсов. И я привел эти факты из своей детской жизни для того, чтобы показать, как,

в сущности, половинчаты все наши воспоминания. Память – это своенравный ребенок, разбивающий и ломающий все свои игрушки. Помню, например, как я, еще совсем маленьким, свалился в мусорную яму, но о том, каким путем я из нее выбрался, – ничего не помню. Поэтому, если бы нам приходилось основывать свои суждения на одной памяти, то я, помня только о своем пребывании в мусорной яме, мог бы, по логике, быть вынужденным признать, что и посейчас нахожусь в этом прекрасном месте.

В другой раз, много лет позднее, я был одним из главных действующих лиц в очень пылкой любовной сцене, но единственно яркое воспоминание об этой сцене оставил во мне тот момент, когда, в самый разгар ее, дверь в комнату, где происходило дело, вдруг отворилась и чей-то словно замогильный голос произнес: «Эмилия, иди в гостиную: тебя спрашивают; очень нужно». Можно было подумать, что явилась полиция арестовать Эмилию. Больше ничего не могу припомнить; от обмениваемых пред этим эпизодом нежных слов и горячих поцелуев – если только они были – ровно ничего не уцелело в моей памяти. Таких случаев я мог бы рассказать много.

Для оглядывающихся назад жизнь представляется лишь разрушающимися развалинами. Где прежде высился массивный портик, там теперь осталась одна колонна; место будуара дамы сердца отмечено одним полуразрушенным окном; место, где когда-то весело трещал огонь, разливая тепло и

свет, превратилось в груды почерневших камней; а все вместе поросло лишаями и сорными травами.

Все очертания бывшего расплываются в тумане отдаленности от нас, но благодаря именно этому туману получают в наших глазах какую-то особенную таинственную прелесть. Даже прошлые горести нам кажутся прекрасными. Дни нашего детства представляются нам в виде длинной цепи всякого рода веселья, баловства, сладостей, игрушек и забав. Выговоры же, наказания, зубная и головная боли, насморки и кашли, зубрение сначала грамматики отечественного языка, а потом латинского – все забыто; особенно основательно забыта именно латинская грамматика. Вся наша юность, когда мы отошли от нее на порядочное расстояние, кажется нам сплошным праздником торжествующей любви. О бессонных ночах той поры и о сердечных страданиях, когда она объявляла нам, что не может быть для нас ничем другим, кроме сестры (словно нам нужны только сестры!), мы совершенно забываем.

Да, оглядываясь назад на пройденный нами путь, мы видим одни прошедшие радости, один яркий свет, заслоняемый лишь завистливым мраком настоящего. Весь этот путь кажется нам усыпанным розами; его камней, о которые мы столько раз спотыкались и ушибали себе ноги, мы уже не различаем, а окаймляющий его терновник представляется нам нежным, колыхающимся под дуновением легкого зефира кустарником.



– Благодарение премудрому Промыслу за то, что беспрерывно удлиняющаяся цепь наших воспоминаний сохраняет в себе одни красивые и светлые звенья, что вчерашние горести и печали сегодня припоминаются уже с улыбкой.

Так как все светлое в жизни является вместе с тем и наиболее великим, то мне кажется, что, по мере погружения нашего прошлого в темное море забвения, над его поверхностью дольше всего и могут продержаться одни светлые радости, выпавшие нам на долю, между тем как черные горести, скорби и печали, так жестоко мучившие нас в свое время, давно уже погрузились на дно и более не тревожат нас напоминанием о себе.

Прошлое обладает особыми чарами, которые и заставляют людей старых болтать молодым столько вздору о тех днях, когда они сами были молоды. Старикам кажется, что мир в дни их молодости был несравненно более приятным местом пребывания, чем теперь, и что в нем все было именно таким, каким должно бы быть. Мальчики были только мальчиками, т. е. детьми, находившимися в блаженном неведении того, чего мальчикам не следует знать, а девочки – так те были уж настоящими ангелами невинности, доброты и всякой душевной прелести. Да и зимы-то тогда были настоящими зимами, а не карикатурой на них; лето тоже не срамило себя разными неприличными выходками, которыми отличается теперь. Когда же почтенные старички начнут баснословить вам о великих подвигах, будто бы совершенных их современниками,

и об умопомрачительных событиях того времени, то у самых доверчивых слушателей наших дней начинают, как говорится, вянуть уши.

Мне всегда доставляет удовольствие слушать, когда старики развивают свои цветистые фантазии о прошлом перед молодежью, которая слушает их разинув рот и не находя что возразить по своей неопытности. И я каждый раз удивляюсь, почему эти седовласые фантазеры не догадаются сказать, что во дни их юности луна освещала все ночи, а единственным спортом подростков того времени было подбрасывание на одеялах бешеных быков...

Так всегда было, так и будет. Дедушки наших дедушек пели те же самые песни о небывалой прелести их юных дней. Может статься, что и мы сами, достигши известного почтенного возраста, будем с восторгом отзываться о времени своей молодости и с ужасом будем порицать настоящее.

«Ах, верните нам доброе старое время хоть на пятьдесят лет назад!» – таков неумолчный вопль человечества со дня пятьдесят первой годовщины рождения Адама. Возьмите литературные произведения хоть, например, начала XIX века, и вы увидите, что многие поэты и романисты того времени предавались беспросветной тоске о навеки канувших в вечность днях, как делали задолго до них немецкие миннезингеры, а еще раньше – скандинавские сказочники. О бесследно промчавшемся и, наверное, никогда не существовавшем «золотом» веке одинаково вздыхали и ветхозаветные

пророки, и мудрецы древней Эллады.

Вообще, если верить старым преданиям, то мир с самого своего сотворения только и делал, что с каждым новым днем становился все хуже и хуже. Судя по этим преданиям, мир в тот день, когда он впервые открылся для публики, должен был быть восхитительнейшим местопребыванием, хотя он, в сущности, не плох и теперь при условии уметь держаться в полосе солнечного сияния и снисходительно относиться к ненастью.

Нет спора, земля и в самом деле не могла не быть прекрасной на росистой заре первого дня своего существования, когда ноги миллионов людей еще не истоптали в прах свежей зелени, а оглушительный грохот тысяч городов еще не отпугнул мирного ангела тишины. Благородной и торжественной была жизнь для легко и свободно одетых праотцев человечества, шествовавших рука об руку с Самим Богом. Они обитали в залитых солнцем шатрах, среди мычащих стад. Все их скромные потребности удовлетворялись любящей рукой самой природы. Они трудились, мыслили и передавали друг другу свои впечатления. В мире и тишине вращалась тогда по своему воздушному пути земля, еще не отягченная злом и преступлениями.

Эти прекрасные времена миновали безвозвратно. Спокойное детство и юность человечества, проведенные им под сенью густолиственных лесов, у журчащих ручьев, уже давно окончились, и людской род вступил в пору возмужало-

сти среди волнений, сомнений и надежд. Век мирного покоя был и отжил. Людскому роду дана задача, и он спешит ее выполнить. Но что это за задача, какую роль играет этот мир в великих непостижимых предначертаниях Промысла, – мы не знаем, хотя бессознательно и делаем то, что должны делать. Подобно невидимым глазу крохотным строителям кораллов, глубоко на дне морей создающим целые острова, каждый из нас трудится и бьется ради достижения собственных мелких целей, не имея и понятия о том, что вместе с тем способствует построению великой мастерской, предназначенной служить недоступным нашему слабому уму целям Высшего Разума.

Не будем же предаваться напрасным сожалениям и скорбям о невозвратных днях, протекших не для нас лично. Наша забота должна относиться к будущему, а не к прошлому; нашим лозунгом должно служить слово «вперед». Не будем сидеть сложа руки и в тоскливой праздности созерцать прошедшее, принимая его за готовое уже здание, тогда как оно – лишь фундамент для будущего здания. Не будем зря тратить жизнь на бесплодные слезы о том, что было или, по крайней мере, кажется нам бывшим, забывая о том, что находится впереди нас. Тоскуя о том, чего нам не было дано, мы только упускаем то, что нам дается, и пренебрегаем тем, что имеем в руках, ради того, чем не можем овладеть.

Много лет тому назад, когда я, сидя по зимним вечерам пред ярко пылавшим камином, зачитывался старыми сказ-

ками, мне пришлось познакомиться в одной из этих сказок с доблестным рыцарем. Во многих странах он перебивал, много препятствий поборол, многим опасностям подвергался. Все знали его как многоиспытанного и храброго рыцаря, которому был чужд всякий страх, за исключением, впрочем, таких случаев, когда и самый мужественный человек может почувствовать робость, не опасаясь быть названным за это трусом.

Но вот однажды, среди утомительного пути, этот рыцарь «без страха и упрека» вдруг стал предаваться малодушной робости, навеянной на него унылым видом той местности, по которой он проезжал. Со всех сторон его окружали необычайной высоты темные, мрачные скалы, словно наклонявшиеся вперед и готовые каждую минуту рухнуть и раздавить под собой дерзновенного всадника, рискнувшего забраться в их область. Там и сям зияли бездонные пещеры, в которых могли скрываться неизвестные рыцарю страшилища. А впереди с оглушительным ревом низвергались в бездонные пропасти бурные горные потоки. Кругом сгущался ночной мрак.

Уверенный, что на этом страшном пути его ожидает гибель, рыцарь хотел уже повернуть своего верного коня, чтобы вернуться назад в то место, где он раньше видел разветвление дороги, и пуститься вперед по другому направлению, где, быть может, окажется меньше грозных опасностей.

Но когда он оглянулся назад с целью узнать, как лучше повернуть коня, то, к великому своему изумлению, не уви-

дел ничего, кроме глубокой бездны, простиравшейся от самых ног коня до того места, где земля как будто сходится с небом. Сердце рыцаря дрогнуло от ужаса. Он понял, что уже не может возвратиться назад. Пришпорив своего коня, он смело направился вперед и благополучно миновал страшное место.

Из этой сказки и мы должны понять, что от прошлого нас отделяет непреодолимая пропасть, а пугаться будущего, каким бы оно ни казалось грозным, никогда не следует, потому что это бесполезно.

Да, возврата по жизненному пути нет ни для кого. При каждом новом шаге вперед проваливается в вечность тонкий мост времени, навсегда прерывая наше общение с прошлым. Оно скрылось от нас, и нам его уж не вернуть. Ни одно слово не может вернуться назад, как не может вернуться нам наша юность. Поэтому мы, подобно тому рыцарю, должны смело идти вперед, отогнав бессмысленную тоску о безвозвратном.

С каждой новой секундой начинается для нас и новая жизнь. Будем же встречать ее радостно. Все равно мы должны идти вперед, – хотим ли мы этого или не хотим; так не лучше ли идти с глазами, устремленными в будущее, а не обращенными на прошлое?

Как-то раз пришел ко мне один приятель и настойчиво принялся убеждать меня заняться изучением нового способа укрепления памяти так, чтобы никогда не забывать ничего виденного, слышанного, прочтенного и заученного. Не знаю,

почему мой приятель нашел нужным именно меня ознакомить с этим способом, – быть может, потому, что я имею обыкновение забывать везде дождевые зонтики, обзаводиться новыми и постоянно разочаровываться в них, или потому, что склонен делать в карточной игре несвоевременные покупки, несмотря на горькие опыты, которые должны были бы научить меня быть осторожнее. Но как бы там ни было, я решительно отказался воспользоваться так горячо и красноречиво расхваливаемым моим приятелем способом укрепления памяти, потому что вовсе не желаю ничего помнить.

Действительно, в жизни большинства людей есть много такого, о чем лучше забыть. К чему, например, помнить те минуты, когда мы поступили не так честно, не так искренно и справедливо, как бы следовало? К чему помнить те несчастные отступления от прямого пути, которые приводили нас к стыду и позору в сознании нашей сумасбродной ошибки? Ведь мы уже заплатили за свои роковые ошибки ночами, полными мучительных угрызений совести, жгучего стыда и, быть может, даже презрения к самим себе. Искуплено все это – и довольно. Зачем же еще вспоминать об этом?

О, всемогущее Время, отец забвения! Освободи нас своей милосердною рукою от горьких воспоминаний о прошлом. Ведь каждый новый час несет нам и новые горести, а силы у нас ограниченные; как же нам нести двойную тяжесть прошлого и настоящего?

Я не утверждаю, что прошлое должно быть совсем похо-

ронено. Музыка жизни стала бы немой, если мы совершенно порвем струны прошедшего. Мы должны вырывать из цветника Мнемозины только сорную траву, а не самые цветы. Помните у Диккенса того человека, который так усердно молился о ниспослании ему забвения прошлого, а когда молитва его была услышана, стал так же усердно молиться о том, чтобы ему была возвращена память? Мы не требуем уничтожения всех духов, а бежим только от страшных привидений со свирепыми лицами и пылающими злобой глазами. Пусть преследуют нас сколько угодно тихие, мирные призраки; их мы не боимся.

По мере того как мы становимся старше, пред нами возникает все больше и больше привидений. Для того чтобы видеть их туманные лица и слышать шелест их волнистых дымчатых одежд, нам вовсе нет надобности ночевать на кладбищах или в развалинах старинных замков. В каждом доме, в каждой комнате, даже в каждом кресле сидит свой дух. Призраки осаждают все места, где мы живем, кружатся вокруг нас, подобно осыпающимся листьям в осеннюю бурю. Некоторые из них живые, другие мертвые, но мы этого не разбираем. Мы когда-то обменивались с ними рукопожатиями, любили их, ссорились с ними, смеялись и делились нашими мыслями, горестями и надеждами – словом, соединялись с ними такими узами, которые, по нашему мнению, должны были противостоять самой великой разлучнице – смерти. Но наши любимцы ушли от нас навсегда. Мы никогда больше не



услышим их милых голосов, их дорогие глаза никогда больше не заглянут в наши. Лишь одни их призраки навещают нас и ведут с нами немые беседы. Сквозь дымку наших слез мы видим лишь их смутные, расплывчатые очертания. Мы тоскливо простираем к ним руки, но улавливаем только воздух.

Призраки! Они с нами и ночью и днем. Они следуют рядом с нами по шумным улицам, среди ослепительного солнечного блеска. Они составляют нам компанию дома, в вечерних сумерках. Мы видим их бледные лица выглядывающими из окон той старой школы, которую мы посещали некогда в детстве. Мы встречаем их на лугах и в лесах, где мы в юности бегали и играли.

Чу! Разве вы не слышите их тихого смеха, несущегося из-за того вон пышного куста ежевики, и радостных криков, раздающихся по тем вон травянистым прогалинкам? Вот смотрите: среди залитых солнцем цветущих полей и полных таинственного сумрака лесов вьется та тропинка, по которой мы бежали навстречу своей милой, вечером, на закате. Смотрите: и сейчас она идет по той тропинке, в том же воздушном белом платье, которое нам так нравилось, с болтающейся на маленькой руке широкополой соломенной шляпой и со спутанными белокурыми волосами на красивой головке.

«Но, – скажете вы, – ведь она давно уже умерла, и притом далеко отсюда». «Так что ж? – возражу я. – Несмотря на

все это она здесь, с нами, мы можем смотреть в ее смеющиеся глаза, слышать ее нежный голос. Она исчезнет на лесной опушке, поля окутаются ночными туманами, и ночной ветер развеет последний звук ее шагов, но ее призрак останется с нами».

Да, призраки всегда с нами и не исчезнут до тех пор, пока этот унылый старый мир еще не научился сохранять отголоски горьких, безутешных рыданий, провожающих любимого человека на тот таинственный и зловещий корабль, неумолимый капитан которого всегда только перевозит на ту сторону великого моря жизни, но никогда никого не возвращает назад. Без призраков мир был бы еще унылее и печальнее. Поэтому просим вас, дорогие призраки прошлого, приходите к нам и беседуйте с нами. Приходите, тени наших любимых товарищей игр, наших друзей юности и наших возлюбленных! Будьте снова с нами! Мир без вас так скучен, новые лица и друзья не так нам милы, как были милы вы, и мы не можем их любить, не можем и смеяться с ними, как любили вас и смеялись с вами. Когда мы вместе с вами, дорогие призраки, совершали жизненный путь, мир был полон света и радости для нас; теперь же он для нас потускнел; сами мы сделались вялыми и угрюмыми, и лишь одни вы можете вернуть нам хоть отблески прежней свежести и восторгов нашей жизни.

Память – превосходный вызыватель призраков. Подобно так называемым «нечистым» домам, стены памяти тоже все-

гда полны шума незримых шагов. Через ее разбитые окна мы можем наблюдать порхание теней смерти, и все эти печальные тени, в сущности, – не что иное, как призраки того, что умерло в нас самих.

Ах, как укоризненно смотрят на нас глубокие, светлые глаза милых нам лиц, полных веры и честности, добрых помышлений, чистых стремлений и лучезарных надежд! И они правы так смотреть на нас, потому что с тех пор, как они покинули здешний мир, много заползло в наши сердца безверия, лжи, лукавства и всяких нечистот; не сдержали мы слово быть добрыми и великими. Хорошо, что мы не обладаем даром заглядывать в будущее, иначе ни один подросток не вынес бы вида самого себя в сорок лет.

Я не прочь иногда побыть наедине и побеседовать с тем наивным мечтателем, каким был сам много лет тому назад, т. е. с собственным призраком в мои самые юные годы. Должно быть, и ему нравится общение со мной, потому что часто приходит ко мне по вечерам, когда я сижу одиноко пред камином, потягивая ароматный дымок из своей трубки и прислушиваясь к шепоту огня. В голубых струйках дыма вижу его маленькое серьезное личико и приветливо улыбаюсь ему. И он улыбается мне в ответ. Но его улыбка такая печальная и тоскливая. Мы болтаем о старых временах. Иногда он берет меня за руку, и мы с ним проскальзываем сквозь черную решетку и раскаленный свод камина в ту страну, которая скрыта за чертой пламенного огня. Мы оказываемся

в прошлом и вновь, один за другим, минуем дни, уже некогда нами прожитые. На ходу мой посетитель делится со мной всеми своими мыслями и чувствами. Временами я смеюсь над его словами, но тут же каюсь в своем смехе, потому что, глядя на юное, но грустное лицо моего спутника, мне становится стыдно за легкомысленность, с которой он относится теперь ко мне. Не хорошо так относиться к тому, кто гораздо старше нас и кто был тем, чем давно уже перестал быть.

Вначале мы мало говорим друг с другом, а только смотрим: я – сверху вниз на его светлые кудрявые волосы и ясные голубые глаза; он – снизу вверх на меня, и то лишь украдкой, на ходу, не слышно скользя рядом со мной. Мне чудится, что его робкий взгляд не всегда выражает довольство мной, и с его уст часто срывается вздох разочарования. Однако, немного спустя, его застенчивость пропадает, и он пускается в оживленную болтовню.

Он рассказывает мне свои любимые волшебные сказки. Папа говорит, что в сказках нет правды, и это очень грустно, потому что ему (моему собеседнику) так хотелось бы быть храбрым рыцарем, побивать злых драконов и жениться на прекрасной принцессе. Ему тогда было шесть лет, а с семи он стал смотреть на мир с более практической точки зрения и желает быть торговцем, чтобы иметь много денег. Быть может, эта практичность явилась последствием того, что он влюбился в шестилетнюю дочку мелочного торговца, лавка которого была напротив нашего дома. Наверное, он очень

любил эту девочку, судя по тому, что однажды подарил ей свое лучшее сокровище – большой перочинный нож с четырьмя проржавевшими лезвиями и пробочником, обладавшим неприятным свойством своевольно раскрываться в кармане и впиваться в ногу своему обладателю. Она была так восхищена этим подарком, что обвила своими маленькими ручонками шею дарителя и несколько раз звучно чмокнула его прямо в губы. Разумеется, все это происходило вдали от людских глаз, в темном углу кладовой лавки. Впрочем, как-то раз подобная нежная сцена повторилась в воротах нашего дома, куда иногда прибегала на свидания со своим другом маленькая лавочница. Свидетелем был другой мальчик, немного постарше. Он стал выслеживать влюбленную парочку, вследствие этого вышло настоящее побоище, кончившееся полным поражением моего собеседника.

Но вот наступила школьная пора с ее огорчениями и радостями, веселым шумом и гамом, замысловатыми шалостями, а подчас и горючими слезами, лившимися на страницы противных грамматик – в особенности латинской – и задачников.

В школе он немножко искалечил свой язык, стараясь как можно добросовестнее усвоить произношение немецких слов. Там же он узнал, какое огромное значение имеют для французов писчая бумага, чернила и перья. «Есть у тебя бумага, чернила и перья?» – вот всегда была первая фраза, с которыми ученики-французы будто бы обращаются друг к

другу при встречах. Если у вопрошаемого мальчика этого добра недостаточно, то он обыкновенно отвечает, что у него всего этого немного, зато очень много у дяди его брата. Но вопрошающий не особенно интересуется дядей брата своего товарища, а желает знать, много ли бумаги, чернил и перьев у соседа матери товарища. «Нет, у соседа моей матери нет ни бумаги, ни чернил, ни перьев», – с видимым волнением отвечает вопрошаемый. «А не имеет ли сын садовника перьев, чернил и бумаги?» – продолжает неумолимый допросчик. – Оказывается, тот имеет. И после бесконечных, доводящих до полного одурения расспросов о бумаге, чернилах и перьях, в конце концов выясняется, что всего, этого нет у дочери садовника самого вопрошающего. Такое открытие повергло бы в бездонную пучину стыда кого угодно другого, но неумолимому допросчику со страниц учебника французского языка это – как с гуся вода, и он, с возмутительным спокойствием, нисколько не краснея, продолжает беседу с заявлением, что у его тетки имеется немного горчицы. И весь учебник в таком духе.

В приобретении таких «полезных» знаний – скоро, к счастью, забываемых – и проходит золотое отрочество. Красное кирпичное здание школы расплывается в тумане, и мы выходим на большую дорогу жизни. Мой маленький друг вырос. Куртка его превратилась в нечто более длинное. Его растрепанная ученическая фуражка, служившая ему, между прочим, и носовым платком, и предметом для зачерпывания во-

ды из ручья, и наступательным оружием, заменена высокой глянцевиной шляпой-цилиндром. Во рту у него торчит уже не сахарная палочка, а сигаретка, дым которой, проникая ему в нос, немало его беспокоит. Позднее он принимается уже за более приличную толстую черную «гаванскую» сигару, которой в первое время также очень недоволен, судя по тому, что после нее он долго отплевывается и клянется, что никогда больше в жизни не прикоснется к «такой гадости».

Лишь только у него начинают проявляться, видимо для самых даже слабых глаз, усы, он знакомится с бренди пополам с содой и воображает себя уж совсем возмужалым. Он бойко толкует о бегах и скачках, в разговоре с приятелями называет популярнейших актрис уменьшительными именами и небрежно, сквозь зубы, цедит о своем вчерашнем тысячном проигрыше в карты, добавляя, что игра была «довольно крупная» и что ему не везло, хотя в действительности самая высшая ставка, наверное, не превышала двухпенсовой монеты. Вместе с тем мой приятель стал носить монокль, благодаря чему то и дело спотыкается, а иногда и падает.

Его бабушка, мать и тетушки усердно молятся, чтобы он не свалился окончательно в ту бездну погибели, к которой так стремится по своей неопытности, и придумывают, на ком бы женить его, чтобы заставить «остепениться» и зажить «по-человечески», без всяких глупостей и увлечений. Иногда, впрочем, и у него самого зловеще звучат в ушах предо-

стережения директора высшей школы, говорившего ему, что если он не изменит своего поведения, то ему несдобровать; но он только презрительно отмахивается от этих внушений и продолжает свое.

К женщинам в ту пору он относится крайне недоверчиво. Считая себя превосходством по сравнению с ними, он смотрел на них сверху вниз. Даже на своих старших родственниц он глядел с покровительственной снисходительностью.

По проходит еще немного времени, и он преобразовывается, потому что влюбился. Это тотчас же отзывается на его внешности. Он начинает носить более изящный костюм и более узкую обувь, чем носил раньше, тщательно причесывает и прилизывает свои волосы, увлекается стихами знаменитых поэтов и сам втихомолку что-то пописывает, справляясь со словарем рифм. Каждое утро служанка находит под его письменным столом целые груды изорванной в клочки почтовой бумаги. Служанка подбирает эти клочки, складывает их и с восхищением читает о «жестоких сердцах», об «отравленных любовных стрелах и жалах», о «лучезарных глазках» и о «тяжких вздохах отвергнутой любви». Много еще находилось на этих клочках сладких слов, которые так любят нашептывать влюбленные юноши молодым девушкам, слушающим их с упоением, хотя и притворяющимся, что ничему этому не верят.

Но, по-видимому, мой приятель не был счастлив в любви, потому что вдруг побледнел, стал совершать продолжи-



тельные уединенные прогулки, плохо спал, мало ел и вообще казался совершенно разочарованным в жизни и готовым покинуть ее...

Я хочу ободрить несчастливца, но уже не чувствую его рядом с собой. Моя молодая половина исчезла, оставив наедине с собой одну старую.

Вокруг меня стало темно, как в могиле. Я стою и растерянно оглядываюсь, не зная, куда повернуться в этом мраке. С тоской гляжу на небо: не блеснет ли мне хоть оттуда путеводный луч.

Но наступает рассвет, и я убеждаюсь, что моя первая, лучшая, молодая половина вовсе и не покидала меня, а находится во мне, и мы с ней составляем одно неразрывное целое.

# Вторая книжка праздных мыслей праздного человека

## I

### Об искусстве решаться

– Ну так как же ты думаешь, дорогой? Ведь с красным мне не совсем будет удобно носить свою малиновую шляпу.

– Так бери серый.

– Серый?.. Да, пожалуй, серый будет более подходящим...

– И материя такая... хорошая.

– Да, и сам цвет такой красивый... Ты понимаешь, дорогой, что я хочу сказать? Цвет этой материи не обыкновенный – серый, а... Обыкновенный же серый цвет такой неинтересный...

– Зато очень... приличный.

– Да, но красный?.. Ах, мне нравится в красном именно то, что выглядит таким теплым. В нем чувствуешь себя тепло даже в холод... Ты понимаешь меня, дорогой?

– Ну так бери красный. Он, кстати, так идет тебе...

– Ты находишь, милый?

– Да, в красном ты всегда такая... румяная.

– Может быть, красный отражает?.. Нет, все-таки, думаю,

серый удобнее...

– Так вам угодно будет взять материю серого цвета, сударыня? – раздается, наконец, голос приказчика.

– Да, думаю, это будет лучше, тем более, что... не так ли, дорогой?

– Да, дорогая, и по-моему лучше. Мне очень нравится серый цвет вообще, а этот в особенности.

– Потом и материя такая... прочная... Ах, вы, кажется, уж отрезали?

– Нет еще, сударыня, я только что хотел...

– Подождите минутку, я еще раз погляжу красную и посоветуюсь с мужем... Видишь что, дорогой, мне пришло в голову, что шиншилла лучше бы пошла к красному, нежели к серому, не так ли?

– Так бери красный. О чем же еще раздумывать?

– А шляпа-то? Ведь она *малинового* цвета, а это не идет к красному. Режет глаз.

– Разве у тебя нет другой шляпы?

– Нет... А с серым было бы очень красиво... Да, возьму лучше серый. Это такой скромный и приличный цвет.

– Прикажете четырнадцать ярдов, миссис? – осведомляется приказчик.

– Да, думаю, довольно четырнадцати. Можно сделать вставку из другого... Ах, пожалуйста, еще минуточку... Видишь, милый, если я возьму серый, мне нечего будет носить с моим черным жакетом.

– А разве к серому он не идет?

– Да, но не так хорошо, как к красному.

– В таком случае нечего более и думать: бери красную материю... ведь она нравится тебе?

– Положим, мне нравится и серая. Но приходится принимать в расчет так много разных побочных обстоятельств и... Ах, боже мой! Неужели у вас *верное* время?

– Нет, миссис, наши часы отстают на десять минут. Мы всегда держим их немного отставшими, – ответил приказчик.

– Да? Господи, когда же мы попадем к миссис Дженнавай?! Ведь мы обещали быть у нее в начале первого... Как много времени отнимают эти покупки!.. А когда мы вышли из дома, не помнишь, милый?

– Кажется, около одиннадцати...

– Нет, еще в половине одиннадцатого. Я вспомнила: ведь мы хотели выйти непременно в половине десятого, да задержались ровно на час... Уж битых два часа как мы тут.

– Да, и, кажется, сделали очень немного.

– Совсем *ничего* не сделали, дорогой! А теперь нужно поскорее к миссис Дженнавай... У тебя мой кошелек?.. Ах, он у меня!

– Так что же ты решила взять: красное или серое?

– Решила было минуту тому назад, а теперь забыла... совсем забыла!.. Ах да, вспомнила! Я решила взять красную... Да-да, непременно красную... Впрочем, нет, вовсе и не крас-

ную, а...

– Помнится, дорогая, ты нашла необходимым взять именно красную... Жакет... шиншила...

– Да-да, ты прав, дорогой. Действительно, лучше взять красную. Ах, у меня голова пошла кругом...

– Так прикажете отрезать красного цвета, миссис?

– Да, конечно, красного. Это будет самое лучшее, не так ли, дорогой... А у вас нет других оттенков красного? Этот цвет такой неказистый, грубый.

Приказчик с легким раздражением, но все еще вежливо напоминает, что покупательница уже перебрала *все* оттенки красного и нашла самым красивым именно *этом*.

– Ах да, да! – соглашается она с видом человека, с плеч которого вдруг свалились все земные заботы. – Так отрежьте, пожалуйста, этого красного... Нам некогда больше раздумывать; у нас и так пропало все утро из-за этой покупки...

Оставив наконец магазин с новым свертком, покупательница раздражается сильными порицаниями красного цвета и неопровержимыми аргументами в пользу серого. Она спрашивает своего спутника, как он думает: переменят ли ей отрезок, если она обратится к самому хозяину магазина?

Спутник, стремящийся скорее позавтракать, возражает, что едва ли переменят.

– Какая досада! – вскрикивает она. – Вот почему я так не люблю ходить по магазинам: там всегда сбиваешься с толку...

Многое еще говорит она о горькой необходимости делать покупки вообще и о только что сделанной в частности и заканчивает торжественным заявлением, что уж в *этот* магазин она ни за что больше не пойдет.

Мы, мужчины, смеемся над женщинами, а сами-то много ли лучше их? Скажите по совести, мой гордящийся своим мужским превосходством друг, разве *вы* никогда не стояли в мучительной нерешительности перед вашим гардеробом, раздумывая, в *чем* вы можете лучше понравиться *ей*: в светлом ли пиджачном костюме, который так хорошо обрисовывает ваши широкие плечи, или в пуританском черном сюртуке, который, пожалуй, даже более подходит к вашим летам, приближающимся к тридцати? А может быть, лучше всего было бы явиться на глаза вашей обворожительницы в костюме для верховой езды? Ведь *она* не дальше как третьего дня восхищалась этим костюмом на вашем приятеле Джиме, а разве ваша фигура хуже его фигуры и не покажется ли она в более выгодном свете, если ее облечь в костюм в обтяжку?

Как жаль, что в настоящее время панталоны для верховой езды стали делать такими мешковатыми. По мере того как женщины суживают размеры своих одежд, мы все более расширяем их. Почему изгнаны дедовские и отцовские шелковые панталоны в обтяжку, до колен, при длинных шелковых чулках и башмаках с пряжками? Уж не сделались ли мы скромнее своих предшественников, или же это означает наш упадок, который нужно скрыть таким путем?

Не могу понять, за что нас любят женщины. Неужели только за наши нравственные качества? Во всяком случае, не за нашу внешность, отмеченную широчайшими цветными панталонами, черным сюртуком и жилетом, стоячими воротничками и шляпою в виде фабричной трубы. Нет, конечно, только своим внутренним качествам мы обязаны любовью женщин. Положим, это лестно, но не следовало бы пренебрегать и внешностью.

Как хорошо жилось нашим предкам, я понял лишь тогда, когда мне пришлось участвовать в одном костюмированном балу. Не могу теперь припомнить, что именно я изображал собою, да это и не важно. Помню только, что на мне было что-то военное. Взятый напрокат костюм был слишком узок для меня, а принадлежавшая к нему шляпа – чересчур велика. Первое неудобство я старался сгладить тем, что в тот день съел один сухарь и выпил полстакана содовой воды, шляпу же немножко «подправил» – и дело уладилось.

В школе я получал награды за математику и за священную историю; нечасто, положим, но все-таки получал. Один критик, теперь уж умерший, расхвалил одну из моих книг. Бывали случаи, когда мое поведение удостоивалось одобрения серьезных людей. Но никогда во всю свою жизнь я не чувствовал себя более гордым, более довольным собой, как в тот вечер, когда, одевшись на костюмированный бал, я любовался собой в трюмо, отражавшем меня во весь рост.

Это было нечто до такой степени красивое, что я самому

себе показался очень хорош. Знаю, что мне не следовало бы говорить об этом, но я слышал то же самое и от других. Да, я был хорош, как греза молодой невинной девушки.

На мне было что-то ярко-красное, покрытое золотым шнурком, а где были неуместны шнурки, там блестели золотые позументы, галуны и золотая бахромка. Я был застегнут золотыми пуговицами и пряжками, обхвачен золотым поясом, шея моя обвивалась золототканым и, несмотря на это, очень легким шарфом, а на шляпе развевались белоснежные перья.

Не знаю, было ли все на своем месте, но оно мне шло, и я, повторяю, был очень эффектен.

Мой успех дал мне возможность заглянуть в сокровенные тайны женской природы. Девушки, которые до тех пор не обращали на меня внимания, в тот вечер теснились вокруг меня, видимо добиваясь *моего* внимания к ним. Девушки, которым я не был представлен, дулись на тех, которые были удостоены этой чести. Одну бедняжку мне было даже жаль. Она сразу «врезалась» в меня по уши и из-за этого дала отставку своему постоянному ухаживателю, который, наверное, был бы для нее прекрасным мужем, но сделал глупость, вырядившись в тот вечер пивной бутылкой! *Меня* эта чересчур увлекающаяся девица в мужа не получила, а того, который хотел бы им быть, потеряла. Впрочем, пожалуй, и хорошо, что пошла мода на невзрачную мужскую одежду: если бы я проходил хоть неделю в одном из прежних блестящих костюмов,



то, наверное, обалдел бы от чванства; меня не могла бы спасти и моя природная скромность.

Удивляюсь, почему теперь так редко даются костюмированные балы! Ведь детское стремление покрасивее вырядиться и кого-нибудь «представлять» так живо во всех нас. Нам так надоедает быть самими собою. Однажды за чайным столом был предложен вопрос: захотел ли бы кто-нибудь из компании поменяться с другим – малосостоятельный человек с миллионером, гувернантка с принцессой и т. п. – до такой степени, чтобы ничего уж не оставалось своего, не только в условиях быта и общественном положении, но даже в здоровье, уме, характере, самой душе – так, чтобы ровно ничего не осталось прежнего, кроме памяти. Большинство присутствующих решило этот вопрос в отрицательном смысле, но одна дама заявила, что могут быть люди, которые охотно согласились бы на такой коренной обмен.

– Уж не о себе ли вы говорите? – спросил один из хороших знакомых этой дамы. – Неужели *вы* согласились бы на это?

– Отчего же нет? – возразила дама. – С большою даже охотою. Я так надоела самой себе, что готова была бы обменяться даже с вами.

В моей юности главным вопросом для меня был: кем мне сделаться? В девятнадцать лет все задают себе этот вопрос, чтобы в двадцать девять вздохнуть: «Ах, зачем судьба не сделала меня кем-нибудь другим?»

В те дни я был усердным читателем добрых советов для

молодых людей и из всех этих советов, вместе взятых, вывел заключение, что вполне от моего личного выбора зависит сделаться сэром Ланселотом, герром Тайфельсдрекком или синьором Яго. И я долго взвешивал все «за» и «против» выбора для себя веселой или серьезной жизни. Образцы той и другой я отыскивал в книгах же. В то время был в сильном ходу Байрон, и под влиянием его славы многие молодые люди напускали на себя вид угрюмой разочарованности в жизни, на все и всех смотрели с презрением и замыкались в гордом молчании непонятой души. Увлёкся этой игрой и я.

С месяц почти я очень редко улыбался – и то лишь самой скорбной улыбкой, свидетельствовавшей о разбитом сердце (по крайней мере, она должна была быть именно такой), и соответствующим образом вел себя во всем остальном. Недалекие люди перетолковывали мою кривую «архибайроновскую» усмешку и сострадательно говорили:

– Бедный молодой человек! Уж и вы этим страдаете? Вполне сочувствую вам. Я и сам уж давно мучаюсь этим при внезапных переменах погоды.

За мной ухаживали, заставляли пить бренди и угощали имбирным пивом.

Очень горько для молодого человека, стойко хранящего от посторонних взоров свою израненную душу, когда вдруг кто-нибудь из старых домашних друзей его родителей хлопнет его по плечу и спросит:

– Ну, как у нас сегодня – не болит горб?

Или дружески посоветует держать себя похрабрее и не кукситься из-за такой малости.

Берущему на себя роль байроновского разочарованного юноши встречаются препятствия и чисто практического свойства.

Так, например, он должен быть сверхъестественно порочным или, вернее, иметь за собой невообразимо порочное прошлое; но откуда его взять, когда его не было да и не могло быть, хотя бы просто за недостатком больших средств, без которых, как известно, невозможна порочность, доводящая в двадцать лет до разочарования!

В жизни все стоит денег. Желая предаваться излишествами, нельзя пользоваться свидетельством о бедности, как это допускается в судах. Да это было бы и не по-байроновски.

Изречение «топить память в кубке» звучит красиво, но проделывать эту процедуру приятно только тогда, когда «кубок» будет наполнен дорогим старым токайским или другим вином высшей марки; а если для потопления своих горестных воспоминаний приходится довольствоваться одним виски, бренди или дешевым пивом, то грех теряет всю свою заманчивость.

Может быть, меня отвлекли от «байронизма» и соображения о том, что порок соблазнителен только в темноте, но отвратителен при солнечном освещении; что, хотя он, подобно грязи и лохмотьям для искусства, может быть и очень живописен в литературе, но он придает слишком уж скверный

запах его носителю, и что, хотя немало людей опускаются до его грязи по бедности своей воли, но всякий обязан всеми силами бороться против него.

Как бы там ни было, но недели через три-четыре мне надоело разыгрывать мрачного «байроновца». Поводом к этому послужила случайно прочитанная мною повесть, герой которой был самый обыденный молодой шалопай. Он присутствовал на всех боях, как людских, так и петушиных, ухаживал за актрисами, срывал звонки и дверные ручки, гасил уличные фонари, проказничал над полицейскими и пользовался любовью женщин.

Последнее обстоятельство заставило меня призадуматься: отчего бы и мне не участвовать в боях, не бегать за актрисами, не срывать звонков, не гасить фонарей и не дразнить полицейских, если этим заслуживается женская любовь? Положим, со времени этого героя в Лондоне много изменилось, но осталось кое-что и прежнее, а сердце женщины никогда не меняется. Если не позволялось больше драться на призы, то можно было записаться в какое-нибудь боксерское собрание в Уайтчепеле. Петушиные же бои, тоже запрещенные, можно было заменить травлей крыс посредством собак в каком-нибудь отдаленном уголке, и при всем этом великолепно чувствовать себя настоящим спортсменом. Чувствовать себя при данных условиях таким же беспечно-веселым и жизнерадостным, как мой герой, я едва ли мог: меня пугала та атмосфера, в которой он дышал, – атмосфера, пропитан-

ная скверным табаком, дешевым пивом, разными дурными испарениями и вечною боязнию полиции. Но я решил, что если хорошенько взять себя в руки, то к этим отрицательным сторонам жизни моего нового прообраза можно скоро привыкнуть, особенно в виду манящей награды – любви всех женщин. И со следующего же дня начал свою игру в нового героя.

Но и эта игра оказалась мне не по карману. Даже самые обыкновенные «дружеские» боксерские собрания и крысиные травли в дебрях Розерхита требуют известных затрат со стороны человека, являющегося во всей компании единственным представителем джентльменства, носителем белых воротников и предполагаемым «богачом».

Конечно, срывание звонков, лазанье по фонарным столбам гашение керосиновых ламп или газовых рожков ровно ничего не стоит, если не считать сопряженного с этой забавой риска попасться в руки стражей общественного порядка; зато это удовольствие скоро и надоедает. К тому же нынешние способы освещения большинства лондонских улиц плохо приспособлены для такого спорта.

И проказы над полицейскими далеко не всегда кончаются вашим торжеством. Впрочем, в этом отношении я не могу считаться вполне компетентным. Кажется, для полноты успехов в этого рода упражнениях необходимы более подходящие места, чем Ковент-Гарден и Грейт-Марлбрут-стрит. Нахлобучить полицейскому на глаза его головопокрышку, в

особенности когда он толстый и неповоротливый, – очень забавная штука: пока он возится с освобождением своих глаз из-под тяжелой преграды, вы можете задавать ему самые раздражающие вопросы, а когда ему это наконец удастся, вы уже исчезли с его горизонта. Но эту игру нужно вести отнюдь не в таких областях, где на каждую дюжину квадратных ярдов приходится по три констебля. Когда за вами из-за каждого уголка выглядывает пара острых глаз, мало надежды, чтобы вы могли благополучно «накрыть» те из них, которые в данный момент смотрят в другую сторону. И если вам все-таки удастся это сделать, то как вы ни старайтесь улепетнуть от рук карающей Немезиды, она в лице шести-семи дюжих усатых мундирных людей обязательно перехватит вас и доставит в полицейский участок, где у вас будет полный досуг разрисовывать себе картину того, что вам будет предстоять на следующий день перед судьей.

Вернее всего, вас обвинят в том, что вы были пьяны и в таком неблагоприятном состоянии учинили беспорядок и нарушение общественной тишины. Ваши уверения, что вы просто подражали понравившемуся вам герою одной когда-то популярной книги, не произведут никакого впечатления, а если и произведут, то опять-таки истолкуют это не в вашу пользу и приговорят вас, самое меньшее, к уплате довольно крупного штрафа. А когда вы после этого придете к Мефилдам, то дочерей не окажется дома; мамаша же их, дама превосходных правил, всегда относившаяся к вам с чисто мате-

ринской симпатией, прочтет вам длиннейшую нотацию и если не доведет вас до раскаяния, то вы навеки погибнете в ее глазах. Да и мало ли еще какие могут быть нежелательные последствия шалостей с полицейскими!

Говоря откровенно, как-то раз мне благодаря одной такой чересчур уж «геройской» шуточке пришлось так круто, что я после этого дал себе честное слово переменить предмет своих подражаний, тем более что ничьей любви я своими новыми подвигами не заслужил, скорее даже потерял расположение многих.

Вскоре я нашел более почтенный «образец». В то время был в моде один немецкий профессор. Он носил длинные волосы и проявлял другие признаки пренебрежения общественными требованиями, зато слыл обладателем стального, а иногда даже и золотого сердца. Большинство находило его неинтересным, потому что не умело заглядывать в его сердце, а ограничивалось разбором лишь его поверхностных особенностей, как, например, его ломаный английский язык, на котором он постоянно твердил о своей умершей матери и об оставшейся у него на руках маленькой сестренке Лизе. Главная же его особенность заключалась в хромой собаке, которую он с риском для собственной жизни вырвал из рук озверевшей толпы уличных негодяев, нашедших себе забаву в истязании несчастного животного. Специальностью этого профессора было останавливать взбесившихся лошадей и спасать прелестных дам, сидевших в угрожаемых экипажах.

Мне все это показалось очень привлекательным, и я решил быть *его* подражателем.

Конечно, я не мог сделаться настоящим немецким профессором, но волосы до плеч отпустил, не считаясь с общественными приличиями. Хотел обзавестись и хромой собакой, но в этом отношении потерпел неудачу. Один торговец собаками, к которому я обратился, предложил за лишнюю плату в пять шиллингов нарочно сломать любой из своих питомиц лапу, от чего я, разумеется, с негодованием отказался.

Дело, однако, обошлось и без торговца. Как-то поздно вечером я нашел на улице бедного, хотя и не хромого, но сильно истощенного голодом некрасивого убудка, позвал его с собой и принялся дома ухаживать за ним. (С какою радостью и трогательной доверчивостью он плелся за мною!) Наверное, я уж чересчур закармлил и избаловал его, потому что в конце концов с ним не стало никакого сладу. Он оказался обладающим многими неприятными привычками и был слишком самостоятелен, чтобы его можно было отучить от них.

Мой четырехлапый приемыш вскоре сделался грозою всех окрестных с нами жителей. Он не пропускал ни одной курицы и таскал кроликов из закутков. Бывали минуты, когда я сам готов был переломать ему лапы, если бы только мог поймать его. Но, видя мой гнев по поводу разорванной им кошки или расквасившего себе нос ребенка, испуганного его свирепым видом и лаем, он пускался наутек с быстротою ветра, а когда, выждав время, возвращался назад, я уже



был проникнут жалостью к нему самому. Люди, вместо того чтобы похвалить меня за то, что я спас умиравшее с голоду животное, бранили меня за это и говорили, что если я не утоплю его, то это сделают они. Кое-как мне удалось сбить его на окраину города, и за его дальнейшей судьбой я уже не следил.

Не удавались мне и подвиги со взбесившимися лошадьми.

В той местности, где я тогда жил, таких горячих коней, которые могли бы понестись ни с того ни с сего, не было. Один только раз представился мне случай отличиться в новом желаемом направлении, да и то неважный и тоже окончившийся для меня далеко не торжеством. Дело в том, что мимо меня не «вихрем промчалась», а просто пробежала ровным аллюром деревенская лошадь под простым седлом, влача за собой в уличной грязи поводья. В сущности, для начинающего укротителя бешеных лошадей или спасателя людей от их выкрутасов условия были самые благоприятные. Я бросился вдогонку за трусившей по улице «бешеной» лошадью и только что приготовился было перерезать ей путь и остановить ее, как был столкнут в сторону двумя полисменами, которые и овладели лошадью. Оказалось, что эта лошадь была приучена дожидаться несколько времени перед трактором своего бражничавшего хозяина и по истечении известного срока возвращаться домой без него.

Однажды я видел в окно, как трое людей хотели остановить бежавшего откуда-то великолепного кровного скакуна.

По-видимому, все трое были, так сказать, добровольцами в этом деле. Они вышли на середину улицы и заняли всю ее ширину. Видя, что лошадь несется на него, человек с левой стороны раскинул руки, словно хотел принять ее в свои объятия. Однако когда лошадь была от него шагах в двадцати и по всем признакам готовилась сбить его с ног, он отчаянно взмахнул руками и, отодвинувшись, пропустил ее мимо себя. Второй последовал примеру первого, сделав только такое движение, будто хотел поймать летевшее стрелою животное за развевающийся хвост. Третий погнался за лошадыю, что-то крича ей. И эту лошадь также перехватили полисмены, очевидно лучше напрактиковавшиеся в ловле не только людей, но и четвероногих, даже самых быстрых. Потом все трое «добровольцев» опять сошлись и, покачивая головами и размахивая руками, долго обсуждали этот инцидент, вероятно, стараясь какими-нибудь особенно убедительными аргументами оправдать друг перед другом свою неудачу.

Забыл теперь, какие еще роли я принимался разыгрывать на заре своей юности, когда бывает так велика жажда к подражанию «великим» людям и «выдающимся» характерам. Помню только одну, от которой мне пришлось очень солоно, – роль прямодушного, неподкупно-честного и добросердечного молодого человека, который никогда не кривит совестью и всем говорит в глаза правду.

Во всю свою жизнь я знал только одного человека, который с успехом высказывал все, что у него было на уме. Я

слышал, как он ударял по столу ладонью руки и кричал:

– Вы хотите, чтобы я вам льстил, напевал турусы на колесах, пичкал вас вареньем? На это я, Джим Кемптон, не способен. Я способен говорить одну только чистую правду, и если вы хотите слышать от меня эту правду, то я скажу вам, что ваша дочь – самая лучшая пианистка, какую я когда-либо слышал. Она не гений, но я слышал и Листа, и Метцгер, и всех прочих знаменитых виртуозов обоего пола и не постесняюсь сказать, что все они ровно ничего не стоят в сравнении с вашей дочерью. Вот вам мое мнение. Я всегда говорю то, что думаю, и своих слов назад не возьму, как бы ни огорчил вас ими.

– Ах, – восклицали умиленные родители, – как приятно встретить человека, который не боится сказать то, что думает! Почему мы не все такие же правдивые, как вы?

Помнится мне, последней моей ролью была та, которую я считал очень легкой. Это было подражание герою одного романа, вызывавшему общий восторг тем, что он всегда был самим собою. Все кругом него позировали и лицедействовали, а он всегда оставался именно таким, каким его создала природа. Я также хотел быть только тем, чем был создан. Но тут возник вопрос: *кем же, собственно, создала меня природа? Что такое я представляю собою?*

Решение этого вопроса было первым условием для успешного выполнения новой роли, или, точнее, моей новой задачи. Но я не решил его и по сей день.

В самом деле, что я такое? Я – большой джентльмен, проходящий по миру с высоко поднятой головой и неустрашимым сердцем, полный негодования ко всему низменному, нетерпеливый ко всему мелкому и ничтожному. Я – посредственно мыслящий, малоотважный человек – тип, которого сам же я со своей высоко поднятой головой и неустрашимым сердцем сильно презираю; человек, медленно ползущий извилистыми путями к убогой цели; раболепствующий перед силою, робеющий перед всяким страданием. Я... Но к чему мне утруждать вас, дорогой читатель, подробностями, которые могли бы еще более убедить вас в том, какое я ничтожество? Вы, пожалуй, даже и не поняли бы меня. Вы только ужаснулись бы при мысли, что одновременно с вами может существовать на земле такой испорченный экземпляр человеческой породы. Лучше вам и не знать о таких неудачных экспериментах природы.

Я – философ, с одинаковым радушием встречающий как грозу, так и солнечное сияние. Только иногда, когда все вокруг меня идет не по-моему, когда безрассудные и злые люди творят на моих глазах безрассудные и злые дела, нарушающие мой покой и терзающие мое сердце, – я выхожу из себя и громлю все и всех.

Как говорил о себе Гейне, так и я могу назвать себя «рыцарем священного Грааля», поборником высшей правды, уважающим женщину, почитающим каждого человека, поскольку он того стоит, всегда готовым отдать свою жизнь на

служение моему Великому Вождю.

Но в следующее за тем мгновение я уже вижу себя в лагере противника, сражающимся под черным знаменем. (Как должны быть смущены полководцы обеих неприятельских армий, когда они видят, что их солдаты то и дело перебегают из одного лагеря в другой!) И, сражаясь под черным знаменем, я громче других кричу: «Что такое женщина как не простая игрушка?..» Или: «Неужели на мою долю нет ни зла, ни пирожного только потому, что *ты* даровит, а я нет?..» «Ах, эти людишки! Это те же звери, грызущиеся из-за лишней добычи...» «Бей других, пока не избили насмерть тебя самого...» «Что такое истина как не прикрытая ложь?..» И так далее в том же духе.

Я люблю все живущее. Бедная сестра моя, с таким трудом и страданием несущая свое тяжелое бремя по тернистому пути! Как бы я желал поцелуем стереть с твоего изможденного лица горькие слезы и своей любовью осветить окружающий тебя мрак! Дорогой мой терпеливый брат, задыхающийся в своем безудержном кружении по каменистой, хотя и проторенной дороге, подобно полуслепой лошади, вертящей колесо, в поощрение получающей одни удары прорезывающим до костей бичом и в награду за трату последних сил – скудный сухой корм, небрежно брошенный перед нею в грязном, холодном и душном стойле! Как бы я был рад запрячься с тобою в ярмо и снять с твоих ноющих плеч грубую веревку, и мы стали бы тянуть лямку вдвоем, нога в ногу, го-

лова к голове. Ты рассказывал бы мне о зеленых полях, среди которых ты когда-то рос и играл, о пестрых цветах, которые ты рвал, о сладком птичьем пении, которое пробуждало тебя по утрам. И вы, маленькие полуголые карапузики, с покрытых грязью личиков которых глядят такие изумленные глаза! Как бы я был рад забрать вас всех к себе на руки и рассказывать вам волшебные сказки. Я бы перенес вас в страну грез, оставив далеко за собой унылый старый мир, сделал бы вас принцами и принцессами и дал бы вам понять истинную любовь. Но – увы! – ко мне то и дело является себялюбивый, алчный человек, наряжается в мое платье и сидит на моем месте, человек, разменивающий свою жизнь на мелочи и мечтающий только о том, как бы ему побольше добыть денег, сладкой пищи, дорогой одежды и средств для доставления одному себе разных удовольствий и развлечений. Он мнит себя сосредоточием мира. Слушая его самовосхваления, вы можете подумать, что этот мир был создан и благоустроен исключительно для его потребностей. Сломая голову этот человек срывается с места и несется, прокладывая себе локтями путь, в погоню за новыми желаниями и прихотями; а когда спотыкается и желаемое ускользает из его трясущихся от жадности рук, он проклинает Небо за его «несправедливость» и всех встречных за то, что они попались ему на пути. Это во всех отношениях очень неприятный человек, и я бы желал, чтобы он не являлся ко мне так часто и не переодевался бы в мое платье. Но он настойчиво утверждает, что

он – я и что я своими сентиментальными бреднями только порчу его жизнь. Иногда мне удастся отделяться от него, но через несколько времени он снова возвращается и снова прогоняет меня. Тогда я начинаю сомневаться в самом себе, и это крайне смущает и мучит меня.

## II

# О неудобствах неполучения того, что надо

Давно, очень давно, когда мы с вами, читатель, были еще молоды, когда в чашечках роз обитали прекрасные феи, когда каждую ночь лунные лучи сгибались под шагами ангелов, спускающихся к земле, – жил один добрый, мудрый человек... Собственно говоря, он жил еще раньше этого времени, а в описываемые мною дни лежал уже при смерти. Ожидая призыва на последний суд, он оглядывал тянувшуюся за ним темной полосой пройденную им жизнь. Какою она показалась ему теперь наполненной всякими сумасбродствами и ошибками, ничего не принесшими, кроме горьких разочарований, не только ему самому, но и всем его близким. Насколько светлее могла бы быть эта жизнь, если бы он раньше все знал и понимал, если бы раньше был мудрым.

– Боже мой! – стонал умирающий. – Если бы я мог пережить вновь свою жизнь в свете опыта!

Едва успел он произнести последнее слово, как почувствовал себя в чьем-то присутствии. Думая, что это был ангел смерти, он приподнялся на своем ложе и тихо промолвил:

– Я готов.



Но чья-то рука мягко легла на его грудь, заставила его снова лечь, и неземной голос дунул ему в уши:

– Ты ошибся. Я принес тебе не смерть, а жизнь. Твое желание исполнится, ты вновь будешь переживать свою жизнь, и твоим руководителем будет знание прошедшего. Старайся воспользоваться этим к добру. В свое время я опять приду к тебе.

После этого умиравшего охватил глубокий сон, и когда старик проснулся, то увидел себя опять крохотным ребенком, лежащим у груди матери. Но в мозгу его было сознание раньше прожитой им жизни.

И он вновь жил, трудился и любил. Но вот снова наступил день, когда он опять лежал состарившимся, изношенным человеком на смертном ложе, а возле него стоял тот же ангел и спрашивал его:

– Доволен ли ты теперь?

– Вполне доволен. Желая смерти, – ответил старик.

– Все ли ты понял? – задал еще вопрос ангел.

– Думаю, что понял, – последовал ответ. – Я понял, что опыт не что иное, как память путника о путях, пройденных им для достижения неведомой страны. Я был мудрым только на то, чтобы собирать жатву безрассудства. Знание не удерживало меня от совершения чего-нибудь хорошего. Я избегал своих прежних ошибок и заблуждений, зато впадал в новые, которые раньше не были мне известны. В сущности, я достиг старых мест, только другими путями. Где я уходил

от горестей, там я терял радости, а где срывал радости, там получал страдания. Помоги же мне теперь уйти в царство смерти, чтобы я мог поучиться хоть там...

Ангелы нашего времени все были в таком роде: каждый их дар человеку был для него сопряжен с новыми тревогами. Может быть, я переоцениваю свою способность не терять головы при самых ошеломляющих обстоятельствах, но склонен думать, что если бы ко мне явился ангел с каким-нибудь необычайным даром: мгновенным исполнением моего заветнейшего желания, превращением меня из обыкновенного смертного в какого-нибудь сверхгения или еще с чем-нибудь в этом роде, то я вместо глубокой благодарности и всяческих восторгов только изругал бы этого «благодетеля», – убирайся ты подальше от меня со своими советами! – сказал бы я ему (знаю, что это было бы очень грубо, зато ясно выразило бы мои настоящие чувства). – Мне от тебя ничего не нужно. Ни в какой сверхъестественной помощи я не имею ни малейшей надобности; эта помощь доставит мне только лишние неудобства, а их у меня и без тебя много. Убирайся туда, откуда пришел! Можешь «благодетельствовать» другого, какого-нибудь доверчивого простака, который ровно ничего еще не понял из того, что у него перед глазами. Я желаю, чтобы у меня все шло обыкновенным путем, и не гоняюсь за лишним туманом, зная, что он послужит мне на пользу. Я не хочу быть в положении, например, царя Мидаса, с которым вы сыграли такую скверную шутку, притворившись, что

не поняли истинного смысла его слов, и придравшись к ним несколько не лучше каких-нибудь судейских крючков чисто земного происхождения. Просто стыдно за вас, когда смотришь, как вы стараетесь своими соблазнами окончательно заморочить нас, земнородных, и без того не умеющих идти прямыми путями! Взять, например, хотя бы случай с той злополучной крестьянской четой, которую вы так жестоко обманули обещанием исполнения ее трех желаний, что в конце концов свелось к пудингу из черного хлеба, которым эти люди и раньше пользовались, только без всякого возбуждения, обмана и разочарования. Впрочем, кажется, вы и этот пудинг не дали им в руки! И вы воображаете, что все это очень умно с вашей стороны? Или это доставляет вам забаву? Не позавидую вам ни в каком случае! И, повторяю, ничего мне от вас не нужно. Прошу вас только убраться от меня как можно дальше. Недаром я прочитал столько волшебных сказок и с таким интересом изучал вашу мифологию; я отлично ознакомился со всеми вашими штуками. Все ваши так называемые «блага» не что иное, как скрытое зло. Я предпочитаю те блага, которые достижимы нашими собственными силами; те самые блага, которые не считаются благами, а слывут под именем зла, и только впоследствии, когда человек волей или неволей ознакомится с ними, оказываются действительными благами для него, Они тоже являются под личиною, зато лучше ваших уж хоть тем, что не вводят в соблазн и очень полезны для будущего... Отстаньте же от меня с вашей дре-

беденью! И не пытайтесь подкинуть мне что-нибудь из нее: все равно я вышвырну вон, как только пойму это.

Убежден, что я стал бы говорить именно в таком тоне, и поступил бы здраво. Надо же, наконец, кому-нибудь высказать правду всем этим ангелам, волшебницам, феям, чародеям и прочим фокусникам, иначе никто никогда не будет гарантирован от этих роковых даров. Из-за них нельзя спокойно выпускать из дома даже детей; того и гляди собьют их с толку, нашептав им, что блуждающие болотные огоньки – небесные звезды, и несчастные ребяташки, погнавшись за этим обманом, уйдут с головою в трясины и погибнут в ней.

Сильно сомневаюсь даже в том, было ли счастье Золушки таким настоящим, каким мы привыкли его считать. Конечно, после неприветливой кухни, наполненной тараканами, дворец должен был показаться Золушке истинным раем – в течение первого года, быть может, даже целых двух лет. И принц столько же времени должен был представляться ей божеством по своей нежности и рыцарской вежливости. Ну а потом? Ведь принц был воспитан в придворной атмосфере, далеко не благоприятной для развития семейных добродетелей; она же, его жена, была Золушкой! Да и сама их свадьба вышла чересчур скоропалительной, так что ни жених, ни невеста не успели путем обдумать, годятся ли они для продолжительного супружеского союза.

Разумеется, Золушка девица очень милая, полная всяких достоинств, но все же его высочество посватался за нее

слишком поспешно, под влиянием минуты.

Впрочем, поставим себя на его место. Очень может быть, что и мы, будучи в его положении, также обалдели бы, увидев среди давно уж надоевших нам напыщенных лиц придворных дам прелестное, свежее, как майское утро, существо, порхающее, подобно мотыльку, на крохотных ножках в волшебных башмачках. И каким счастьем сияло все ее милое личико, когда она вложила в нашу руку свою дрожащую маленькую ручку! Как застенчиво были опущены ее прелестные глаза и каким густым румянцем радости и смущения горели ее нежные щечки! А мы под влиянием обаятельной музыки были в самом влюбчивом настроении. И потом, чтобы окончательно разжечь наше воображение, она вдруг исчезла также таинственно, как и появилась среди нашего чопорного общества. Кто она такая? откуда взялась? куда скрылась? что за тайна окружает ее? Была ли она только чудной грезой, волшебным призраком, явившимся для того лишь, чтобы вызвать в нас вечную тоску по себе?.. Ах, нет, это была живая, воплощенная красота. Ведь вот на полу остался ее крохотный, изящный башмачок. Поднять его, осыпать поцелуями, клясться вечно носить его у себя на груди, благо он такой миниатюрный, что легко может поместиться в кармане. Потом приказать обыскать все королевство, чтобы найти владелицу этого дивного башмачка. Все это необходимо было проделать. Боги услышали наше пламенное желание и исполнили его: прельстившая наше воображение и сердце кра-

савица отыскана, и мы хотим немедленно же на ней жениться. Когда нам возражают, что нужно же сначала узнать, подойдет ли она нам по своему происхождению, мы выходим из себя и кричим: «Что тут говорить о происхождении, когда она, будь дочерью хоть свинопаса, сама по себе своим собственным благородством не только равна нам, но, пожалуй, даже превосходит нас своей женственной грацией. Вообще желаю иметь именно ее своей супругой – вот и все!» Мы могли бы даже с горечью добавить: «Лишь бы только она сама удостоила принять нашу руку и все наше королевство в придачу».

Разумеется, это было безрассудно, как почти все, что делается нами в молодые годы, кем бы мы ни были, потому что ведь и принцы подчиняются общим законам человеческой природы. Конечно, бедная Золушка не была виновата в пробелах своего воспитания. И ум не мог быть у нее развит на кухне среди возни с самыми обыкновенными предметами и при необходимых сношениях только с простонародьем. Мы отлично понимали это и готовы были простить ей эти недочеты тем, что надеялись на то, что в нашей среде она быстро «выправится».

Но она не менялась и во дворце ни в дурную, ни в хорошую сторону. Она оставалась все такой же милой, простодушной, бесхитростной, восторженной, нежной и любящей, веселой, жизнерадостной и непритязательной. Но у нее не было «хороших» манер, светского ума, образования и такта.

Понемногу это стало нам резать глаза. К тому же и ее вульгарная родня, которая сделалась и нашей родней, постоянно нам напоминала об этом, без чего мы, может быть, и забыли это, что тоже очень шокировало нас. Положим, мачеха, благодаря которой Золушка и стала именно Золушкой, не родная ей мать, а стало быть, и ее сестры, рожденные от этой особы, не кровные ей сестры, но ведь от этого никому не легче! Да и ее родной отец обладал многими самыми обыденными мещанскими свойствами. Вообще все это сильно омрачало блестящую картину дворцовой жизни и невольно отражалось в наших глазах и на нашей женушке, которая поэтому начинала понемногу терять для нас свое обаяние.

И вот настает ужасный час, когда Золушка остается в своей обширной и роскошной комнате совсем одна. Все придворные дамы отпущены ею на покой, и во всем громадном дворце все затихло. Тотчас же после этого, бывало, раздавались легкие и быстрые шаги влюбленного и любимого супруга, а теперь час проходит за часом, а этих же шагов не слышать. Где-то, где-то, наконец, является так нетерпеливо ожидаемый. Но он идет тихо, не спеша, ленивыми, размеренными шагами и, очень недовольный тем, что Золушка еще не спит, а дожидается его, небрежно цедит сквозь зубы: «Напрасно, дорогая, ты беспокоишься ради меня. Задержался более, чем думал, в заседании государственного совета. Явились неожиданные политические осложнения. Хотел предупредить тебя, да полагал, что кончится гораздо рань-

ше... Очень жаль, что невольно нарушил твой покой».

Рыцарски вежливо простившись с супругой, принц идет в свою опочивальню, а бедная Золушка выплакивает свою горе в мягких пуховиках, вышитых королевскими гербами и окаймленных кружевной королевской монограммой. «Зачем, о зачем же он женился на мне? – шепчет она сквозь рыдания. – Мне было гораздо лучше около очага нашей старой кухни. Там было уютно и темно, зато там был рядом со мной милый дружок кот. Он так нежно терся о мою щеку своей бархатной головкой, тыкался своим розовым холодным носиком и так громко, выразительно и мелодично напевал свои мурлычущие песенки. А как хорошо было смотреть в пылающий огонь и мечтать о будущем, которое казалось таким лучезарным! Я всегда видела себя принцессой, живущей в великолепном дворце. Но тот дворец представлялся мне совершенно другим, и жизнь рисовалась совсем другою: там все было так волшебно хорошо, как в сказках, этот же дворец мне противен и страшен, а его обитатели кажутся мне чудовищами хитрости, злобы и притворства. Я знаю, они все смеются надо мною, хотя и отвешивают мне низкие поклоны и шаркают ножкой. Я ненавижу их; они пугают меня своей холодностью, натянутостью и неестественностью... Ах, бабушка, милая, дорогая бабушка, приди и возьми меня отсюда!. Верни меня на мое прежнее место на кухонном очаге! Одень меня в мое старое невзрачное платье! Позволь мне опять сидеть перед огоньком с моим старым любимцем, слу-



шать его нежное мурлыканье, чувствовать его нежное прикосновение и быть счастливой, мечтая о сказочном мире... Возьми меня, бабушка, возьми скорее отсюда!»

Разумеется, бедная Золушка, для тебя было бы гораздо лучше, если бы твоя бабушка не задавалась такими честолюбивыми целями и выдала бы тебя замуж за простого честного человека, который не искал бы в тебе блеска, а был бы доволен твоей милоткой и твоим добрым сердцем; если бы все твое царство состояло в маленькой ферме под купою зеленых деревьев, где так пригодились бы твои хозяйственные способности, выработанные в тебе ценою горького испытания; где ты сияла бы единственной звездочкою, вместо того чтобы быть затмеваемою целою плеядою солнц, где твой отец мог бы спокойно отдохнуть за стаканчиком вина и трубкою от своих домашних дряг, где и ты была бы *настоящей* царицей.

Но тогда ты не была бы довольна, потому что у тебя не было бы опыта который показал тебе, что и у принцесс бывают такие же горести, как у самой бедной поденщицы, хотя и другого рода. Оставаясь одна, ты заглядывалась бы на себя в зеркало, видела бы свою красоту и находила бы, что эта красота достойна лучшей обстановки. Ты лелеяла бы свои мечты о принцах и дворцах и стала бы жалеть, отчего твой милый, любящий и заботливый муж не принц, а его маленький скромненький домик – не пышный дворец.

Напрасно ты отрицательно качаешь своей златокудрой го-

ловкой, милая Золушка, уверяя меня, что ничего этого не было. Непременно было бы все это, потому что не только одни женщины, но и мы, мужчины, жаждем того, чего у нас нет и чего мы не можем получить, пренебрегая тем, что имеем. Это закон жизни. Пройдись... Впрочем, виноват! Вы ведь теперь принцесса, и я должен говорить с вами почтительно... Итак, пройдите, ваше высочество, невидимкою по нашему громадному городу, загляните во все занавешенные окна, и вы убедитесь, что мир – не что иное, как большая детская, в которой малыши неутешно кричат и вопят, требуя все нового и нового. Кукла брошена: ее вечно писклявое «я люблю тебя, поцелуй меня» надоело. Барабан лежит молча рядом с палочками, которыми еще недавно мы так весело колотили по нему, наполняя весь дом неустанной трескотней. Ящик с обеденным и чайным сервизами презрительно растоптан ногами: нам наскучило вынимать, расставлять, перемывать и опять аккуратно убирать его многочисленные предметы, которыми еще недавно мы так восхищались. Оловянная труба не издает больше приятных нашему слуху звуков; деревянные кирпичики разбросаны по углам; игрушечная пушка, начинявшаяся настоящим порохом, разорвалась и обожгла нам ручку. Вообще все старое испорчено, надоело и опротивело, и мы требуем новых игрушек, каких-нибудь не виданных раньше, совсем особенных. А когда удовлетворят наше требование, через несколько времени мы опять начинаем вопить о другом, новом, лучшем. И так без конца...

Потом, прелестная принцесса, ведь как-никак, а вы все-таки живете в великолепном дворце, имеете множество блестящих драгоценностей И пышных нарядов... Ах, не смотрите на меня с таким негодованием! Разве к вашим мечтам о любви не примешивались мечты и об этом, будьте правдивы до конца. Разве тот, который рисовался вам в сиянии радужных красок, был бедным, хотя и приятного вида, приказчиком или мелким чиновником, а не блестящим принцем? Нет, я знаю, что вам всегда мерещился принц, а за ним и все те чудеса обстановки, одежды, украшений и всего прочего, что находится у принцев и принцесс, а тем более у сказочных.

Все ваши горести проистекают только из того общечеловеческого источника, из которого текут и для других людей. Неужели вы думаете, что тот молодой художник, который трясется от холода и страдает от голода в своей традиционной мансарде, мечтая о славе, не представляет себе в своих мечтах золотого дождя, льющегося на него с отверстых небес? Того самого золотого дождя, благодаря которому он будет в состоянии занять шикарную квартиру в лучшей части города, иметь самый лакомый и изысканный стол, пользоваться самыми тонкими винами и сигарами, завести роскошный выезд, дорогой модный костюм, брильянтовые запонки и все прочее, что имеют только богачи? Ведь ему нужна не одна голая слава.

Есть картина, очень популярная в настоящее время. Вы можете видеть ее во многих магазинах. Картина эта носит

название «Сон любви» и представляет совсем раздетую очаровательную молодую девушку, спящую в роскошной постели. Предполагается, что в комнате тепло и ниоткуда не дует, иначе спящая могла бы жестоко простудиться. Из окна сквозь кружевные занавески виднеется световая лестница, по которой спускается толпа купидонов, каждый из которых тащит какой-нибудь «залог любви». Двое нагружены мешками с драгоценными камнями, которые они опорожняют прямо на пол. Четверо других несут по богатому платью с очень низкой вырезкой на груди и длинейшим шлейфом. Другие тащат картонки, наполненные самыми модными и стильными токами и очаровательными капорами. Еще некоторые, очевидно являющиеся представителями универсальных магазинов, сгибаются под тяжестью целых кусков бархата, шелка и атласа. Есть посланцы и от башмачника с самой изящной обувью; есть и от бельевого магазина и от галантереи. Ничто не забыто. Купидоны несут все, что только может приглянуться молодой девушке: всякого рода шкатулочки и корзиночки с парфюмерией и разными безделушками, веера, зонтики, перчатки, шарфы – всего и не перечесать! Вообще видно, что и божества любви следят за духом времени и превратились в нечто вроде торговых приказчиков в храме любви, изображающем из себя торговый склад. И в довершение прелести описываемой картины последний из спускающихся к спящей красавице купидонов влечет за собой на веревке огромное сердце, видимо страдающее ожирением.

Вы, принцесса Золушка, могли бы теперь подать хороший совет этой спящей красавице, сказав ей: «Стряхни с себя этот искунительный сон. Превращение твоего жилища в универсальный магазин или подобие ломбарда, где берут в заклад всевозможные товары, никогда не дает тебе счастья. Пусть тебе снится действительно одна чистая любовь; ведь она хороша и тогда, когда навсегда остается только сном. Но вся эта пестрая и блестящая дребедень, эти продукты жадной промышленности и торговли, неужели они достойны того, чтобы ты грезила о них? Неужели ты, наследница веков, еще не ушла от степени живущей одними глазами дикарки, которую можно соблазнить пестрою тряпкою, ниткою блестящих бус и осколком зеркала? Ведь между тобою и ею разница лишь в количестве и цене цацек, за которые вы продаете свое сердце и душу, а суть-то все одна и та же. Брось же мечты об этом хламе; ведь он может занимать и забавлять тебя всего только несколько жалких дней, после чего так опротивеет тебе, что ты с радостью готова будешь переменить весь этот блеск, всю эту пестроту и мишуру на самую простую крестьянскую одежду, лишь бы было удовлетворено твое сердце...»

Да и сам я мог бы теперь сказать молодому человеку, томящемуся в своей конуре по писательской карьере, ведущей к богатству и славе: «Напрасно вы, молодой человек, думаете, что этот путь безошибочно ведет к тому, что принято у людей называть счастьем. Неужели вы полагаете, что бла-

гоприятные о вас отзывы в разных еженедельниках и ежедневниках будут постоянно доставлять вам удовлетворение? Неужели вы воображаете, что та истеричная женщина, которая восхищается вашими произведениями и гонится за вами, как за какую-нибудь зоологическую новинкою, не покажется вам отвратительною после первых же встреч? И неужели вы полагаете, что легко держаться на той скользкой покатой плоскости, которая именуется «угождением вкусам публики»? Ведь один неверный шаг, одно необдуманное движение – и вы полетите вниз головой, в тину общего осуждения или презрительного равнодушия. Неужели вы находите, что жизнь «популярного» писателя отличается от положения преступника, осужденного изо дня в день приводить в движение колесо машины и бьющегося из-за одной надежды не упасть? Бросьте эту глупую мечту, мой дорогой молодой друг! Исполнение ее не стоит тех трудов, которые на это тратятся, да и не отвечает тем представлениям, которые связаны с такими мечтами. Женитесь лучше на любимой и любящей вас девушке, устройте ей маленькое уютное гнездышко, соберите вокруг себя двух-трех верных друзей, трудитесь на том поприще, на которое поставила вас судьба, каким бы маленьким и скромным оно ни было, вглядывайтесь в жизнь, наслаждайтесь тем хорошим, что в ней есть, не ищите чужого – и вы узнаете *настоящее* счастье. Бегите как от чумы от того ярмарочного балагана, который так громко называется «миром искусства и словесности». Не завидуйте тем клоу-

нам и кривлякам, которые вывертываются наизнанку в погоне за рукоплесканиями толпы и жалкими грошами. Бегите вообще от шумливой, крикливой и полной всякого обмана ярмарки человеческого тщеславия, обратитесь лучше к природе, потому что только одна она может дать полное удовлетворение, покой и счастье вашей душе...»

Да, принцесса Золушка, мы с вами теперь, как люди опытные, отлично могли бы давать мудрые советы другим, но будут ли нас слушать? Не будут, уверяю вас. Нам ответят, что каждому свое счастье, и что не все принцы и писатели одинаковы, и что если нам с вами не повезло в наших мечтах, то еще не значит, чтобы мечты других оказались ошибочными. И кроме того, дорогая Золушка, ведь, пожалуй, наши советы и в самом деле не будут иметь большой цены, потому что мы сами едва ли будем в силах расстаться с теми цацками и настроениями, к которым мы уже привыкли: вы – с вашей золотой коронкой, дворцом, пышностью и подбострастностью ваших блестящих придворных, а я – с моим шутовским колпаком и с теми взрывами безудержного хохота и бешеных рукоплесканий, какими одаривает меня толпа при каждом звоне моих побрякушек.

У меня есть маленькая знакомая, которая уже умеет читать, писать и знает наизусть таблицу умножения, да и рассуждать она уже мастерица. Недавно я подслушал ее беседу с выросившей ее няней.

– Няня, ведь я сегодня весь день была умницей?

– Да, моя пташечка, совсем была умницей.

– А как ты думаешь, возьмет меня за это папа в цирк вечером?

– Возьмет, если ты до тех пор не напроказишь чего.

Маленькая пауза, потом новый вопрос девочки:

– Я и в понедельник была хорошая, помнишь, няня?

– Да... не очень шалила...

– Нет, ты говорила, что я была *очень* хорошая весь день.

– Может быть, не помню...

– Да, все говорили, что я была умницей и что вечером меня возьмут посмотреть пантомиму. А вот не взяли... Почему это, няня?

– Потому, моя рыбка, что приехала тетя и ее нужно было взять с собой, чтобы не обидеть, а папа не мог достать нового билета и отдал тете твоей. Вот как вышло дело.

– А тетя хорошая?

– Хорошая, очень хорошая, и папа с мамой очень любят ее.

– А ты не знаешь, няня, приедет она и сегодня?

– Не знаю, но думаю, что не приедет.

– А вдруг она возьмет да и приедет опять перед тем, как нам ехать в цирк?

– Нет, моя цыпочка, зачем же так? Она ведь не часто у нас бывает.

– Дай-то, Боженька, чтобы она не приезжала и чтобы я сегодня попала в цирк, а то знаешь, няня, я буду в отчаянии...



И все мы также готовы отчаиваться, если не попадем в цирк, который мерещится нам таким местом, где мы вечно хотели бы быть. Но, побывав в нем несколько раз, мы начинаем скучать, и если заставят нас оставаться там безвыходно, мы опять будем отчаиваться, потому что пожелаем чего-нибудь другого, нового...

### III

## Об особенном значении вещей, которые мы намеревались сделать

Когда-то издавался журнал под названием «Любитель». Он задавался благородной целью – научить читателя самостоятельности, самопомощи.

Так, например, в одной из своих статей он наставлял, как делать цветочные горшки из австралийского сахарного тростника: в другой – как превращать бочонки из-под масла в табуретки к рояли; в третьей – как делать из лучинок шторы, и т. д. Вообще этот журнал учил, как делать что-нибудь из самых неподходящих материалов и превращать в совершенно негодное то, что в своем естественном виде все-таки на что-нибудь годилось.

Две страницы этого журнала были посвящены выделке из сломанных газовых трубочек стоек для шляп, зонтиков и тростей.

Трудно было придумать что-нибудь еще более неудобное, а гениальный журнальный изобретатель все-таки придумал.

По наставлению этого «общепользовательского» журнала вы могли выделывать картинные рамы из... пивных пробок. Сколько нужно было выпить бутылок пива, раньше чем набрать достаточное количество пробок, – это, по-видимому, совсем

не интересовало добросердечных светодателей. Я высчитал, что для рамки картины средних размеров нужно, по крайней мере, шестнадцать дюжин пробок. Очень сомнительно, что человек, потребивший шестнадцать дюжин крепкого пива (пробки которого особенно рекомендовались), может оказаться способным к выделке рамы; после такого подвига у него, вернее всего, пропадет сам интерес к картинам, и он не захочет не только делать для них рамки, а даже и смотреть на них. Но «Любитель» глядел на свою задачу не с этой точки зрения.

Один знакомый мне молодой человек устроил было из пробок рамку для портрета своего деда. Но результат получился далеко не блестящий. По крайней мере, его мать очень неодобрительно отнеслась к этому произведению, состряпанному по рецепту «Любителя». Увидев «рамку», она с удивлением воскликнула:

– Боже мой! Это что такое?.. Что ты сделал с портретом дедушки?

– Разве вы не видите? – немного свысока отозвался сын: – Новая рамка.

– Рамка?.. Но для чего же понатыканы эти пробки?

– Да из них-то и сделана рамка, как сказано в журнале.

– Совсем не похоже стало на отца! – горестно качая головой, вздохнула почтенная женщина.

– На кого же он похож, по-вашему? – раздражительно спросил сын, оскорбленный в своих лучших чувствах.

– На ежа, утыканного сливами! – безапелляционно решила мать.

И она, наверное, была права. Самому мне этой рамки видеть не пришлось, и я знаю о ней лишь понаслышке, зато я имел случай полюбоваться одной свадебного пригласительной карточкой, утопавшей в глубокой тени «изящной» пробковой рамки; из-за этой рамки довольно красивая виньетка, украшавшая карточку, совершенно теряла свой вид. Вообще выходило более чем аляповато.

Другой знакомый, сделавший такую рамку к одной из своих лучших картин, сам сознался мне, что вся картина испорчена этим изделием, и он доволен только сознанием, что это дело его собственных рук, утешает это сознание – и благо им!

Третий из моих знакомых устроил себе, по совету все того же «Любителя», из двух пивных бочек качалку. Эта качалка была очень плоха со всех практических точек зрения. Она чересчур сильно качалась и вдобавок в нескольких направлениях зараз. Мне кажется, человек, сидящий в качалке, вовсе не требует, чтобы его непрерывно качало. Должен же наступить момент, когда он скажет себе: «Довольно, однако, качаться; посижу немножко спокойно и отдохну». Но в описываемой мною самодельной качалке нельзя было сидеть спокойно. Это была качалка в высшей степени упрямая, очевидно находившая, что она создана исключительно для качания и окажется недобросовестной исполнительницей своих

обязанностей, если перестанет качаться хоть на одно мгновение. Поэтому раз она была пущена в ход, ее ничто уж не могло остановить, пока она не перевертывалась вверх тормашками вместе со своим седоком.

Как-то раз я пришел к своему приятелю в гости, и меня ввели в пустую гостиную. Качалка заинтересовала меня своей обширностью, и я, не зная еще, что она самодельная, доверчиво плюхнулся в нее. Но едва я успел усесться в эту предательскую штуку, как тут же чуть не ткнулся носом в потолок. Инстинктивно я наклонился вперед, и в то же мгновение перед моими глазами заплясали все предметы находившегося пред окнами ландшафта. Вслед за тем я увидел свои ноги вверху, а свою голову внизу. Я усиливался привести себя в надлежащий порядок, но качалка, двигавшаяся со скоростью ста миль в час, представила мне всю комнату со всей ее обстановкой совершающей вокруг меня самый бешеный галоп. Вдруг мне показалось, что на меня налетает открытый рояль, злорадно ощерив свои белые и черные зубы. В ужасе я зажмурился и немного спустя, после двух-трех головокружительных оборотов, очутился на ковре, между тем как освободившаяся от меня качалка с торжеством понеслась в противоположную сторону – к стене, в которую и уперлась.

К счастью, я все еще был один в комнате, поэтому мог подняться на ноги, не чувствуя жгучего смущения, а испытывая лишь одно удивление, мог оправить свой костюм, пригладить волосы и даже водворить качалку на прежнее место,

прежде чем был вынужден разыгрывать «приятного» кавалера для вышедшей ко мне хозяйки дома. Сына ее, которого я пришел было навестить, не было дома, и его мать пожелала своей беседой сократить мне скуку ожидания его возвращения. Обменявшись обычными приветственными фразами и выразив надежду, что сын скоро вернется, так как обещал быть непременно к тому часу, к которому уже двигалась стрелка времеизмерителя, она предложила мне взглянуть на качалку.

– Ее сделал сам Билли, – пояснила она. – Не правда ли, какой он у меня искусник?

– О да! – убежденно воскликнул я.

– И сделал из простых пивных бочек. А взгляните, как хорошо вышло, – с гордостью продолжала любящая мать.

– Из пивных бочек? – повторил я. – Гм... Ну, он мог бы сделать из них более подходящее применение.

– Какое же именно?

– Да хоть вновь наполнить их пивом.

Моя собеседница с недоумением вытаращила на меня глаза.

– Уверяю вас, что так, – прибавил я, косвенно давая волю наполнявшему мое сердце недоброму чувству к коварной качалке. – Видите ли, эта вещь сделана не совсем верно. Одни полозья слишком длинные, а другие чересчур согнуты. Кроме того, если приглядеться, то окажется, что они даже неодинаковых размеров. Благодаря этим недочетам лишь только вы

усядетесь в эту качалку, как центр ее тяжести перемешается...

– Ах, должно быть, вы уже сели в нее? – прервала меня хозяйка испуганным возгласом.

– Да... попробовал было, – нехотя пришлось мне сознаться.

– Ах, боже мой!.. Жаль, очень жаль, что я не успела вас предупредить, – говорила мать моего приятеля совершенно изменившимся голосом. – Да, действительно, качалка не совсем удобна в практическом отношении, зато так приятно смотреть на нее.

– Кроме того, – успокоительно проговорил я, – эта качалка может оказаться и очень полезной, если ее употреблять в качестве показателя брэнности человеческого величия и прививателя скромности и осторожности. Опыт убедил меня, что едва ли найдется на всей земле хоть один человек, который не почувствовал бы себя ничтожным, хоть на минуту доверившись этому искусному сооружению Билли.

Моя собеседница слабо улыбалась, наверное, более из врожденной вежливости, нежели от восторга пред моими откровениями.

– Ну, вы уж слишком строго судите, – произнесла она все с той же улыбкой. – Вы забываете, что Билли раньше никогда ничего не мастерил, и, как *первое* изделие его рук, эта вещь вовсе не так плоха, как могла бы быть, если бы он не был таким...

– Искусником, – договорил я. – О да, конечно.

Вскоре вернулся и сам Билли. Я прошел с ним в его комнату и старался там доказать ему все неудобство фабрикации, так сказать, ответственных предметов неопытными руками. Билли, разумеется, очень обиделся на меня, и наша дружба надолго расстроилась.

«Любитель» особенно пропагандировал идею устройства целой квартирной обстановки из ящичков из-под яиц. Не знаю, почему журнал настаивал именно на *этих* ящичках, а не рекомендовал какие-нибудь другие, вообще *всякого* рода ящички, лишь бы они подходили размерами. Но он кроме ящичков из-под яиц никаких иных не признавал и только в них видел основу семейного благополучия. По его мнению, благодаря ящичкам из-под яиц и «природному искусству» совершенно отпадала угнетающая забота о мебелировке гнездышка для небогатых новобрачных.

Обстановка столовой требовала двух ящичков для буфета, четырех для стола и нескольких для сидения. Кабинет: три ящичка для письменного стола, один для сидения, несколько для книг, бумаг и прочих принадлежностей. Гостиная: четыре ящичка для преддиванного стола, шесть ящичков, немного ваты и несколько ярдов кретона для дивана, – вот и готов «уютный» уголок.

Впрочем, что касается «уголков», то их было сколько угодно в квартирах, обставленных по совету «Любителя» яичными ящичками: вы сидели на уголке, облакачивались об



уголок, чувствовали уголки при каждом вашем положении и движении. Что же касается «уютности», то, по моему неизбывному убеждению, она совершенно не согласуется с ящичной обстановкой. Яичные ящики могут быть очень полезными; я готов даже признать за ними возможность быть «орнаментальными», если их приукрасить, но чтобы они могли дать понятие о какой бы то ни было «уютности» – с этим я, воля ваша, никак не в состоянии согласиться. В свое время я был очень близко знаком с ними в виде квартирной обстановки. Мое верхнее платье висело от субботы до понедельника в яичном ящике; я пил чай, обедал, ужинал, завтракал, сидя на яичном ящике за несколькими другими, составленными вместе; спал в яичном ящике. Я и теперь готов был бы повторить это удовольствие, лишь бы вновь почувствовать себя таким веселым и довольным, как именно в то время; готов бы при этом условии пользоваться одними яичными ящиками вплоть до того момента, когда мне пришлось бы умереть в яичном ящике, быть похороненным в яичном ящике и иметь над собой вместо обычного каменного памятника яичный же ящик. Это все верно, но, тем не менее, я все-таки утверждаю, что для «уютности» они никуда не годятся.

Как причудливы были эти жилища с самодельной обстановкой. Они вновь восстают из тени прошлого и до иллюзии ясно обрисовываются пред моими глазами. Вижу шишковатый диван; кресла, устроенные словно по указаниям какого-нибудь свехинквизитора; длинное и широкое, сколо-

ченное из ящичков корыто с зубчатыми краями, служившее постелью; эмалированную скамеечку для ног, о которую всегда все стучались; убогое, обрамленное шелком, зеркальце; синий обеденный и чайный сервизы, купленные в закоулках Уордур-стрит; плохонькое пианино, покрытое чехлом, вышитым руками молодой хозяйки; скатерть, связанную руками сестры хозяйки, и т. п. «обстановку».

Сидя среди этой убогой обстановки, мы, все тогда еще желтоносые птенцы, так сладко мечтали о тех блаженных днях, когда будем обедать в роскошных палатах, потягивать душистый кофе в гостиных, убранных в стиле Людовика XIV, и будем «счастливы». Положим, некоторым из нас впоследствии удалось отчасти осуществить эти мечты, но счастья, того настоящего счастья, о котором мы грезили в те юные дни нашей весны, все-таки не было.

Было чувство минутного удовлетворения, гордости, чванства – и больше ничего. Судьба так ужасно пристрастна к равновесию: давая одной рукой, она отнимает что-нибудь другой; швыряя нам надежду, она отнимает у нас радость осуществления этой надежды; отнимая надежду, дает страх. Вот, например, мой приятель Дик. Он издает большую ежедневную газету и распространяет то, что заставляет распространять его вдохновитель, сэр Джозеф Голдберг, который, как говорят, в будущем году будет проведен в пэры, причем, наверное, очистится какое-нибудь приятное местечко и Дикку.

А приятель Том. Слышу, что он наконец догадался перестать писать свои непродаваемые аллегории. В самом деле, какому же богачу-меценату интересно постоянно видеть на своих стенах напоминание об ослиных ушах царя Мидаса или о стерегущем его за воротами нищем Лазаре, который должен попасть в рай, между тем как он, богач, станет мучиться в адском пекле и будет вынужден обратиться за помощью к тому же Лазарю? Теперь мой приятель принялся писать портреты, и на него стали указывать как на восходящее светило живописи. Еще бы! Ведь он вернул леди Джезвел на портрете молодость и красоту.

Но среди ваших успехов, дорогие друзья моих юношеских дней, не схватывает ли временами ваше сердце тоскливое желание вернуть из прошлого обитые дешевеньким кретонном яичные ящики вместе с заключавшимися в них волшебными дарами: радужными мечтами, надеждами и ожиданиями?

Недавно я как бы совершенно реально был на время перенесен назад в прекрасное прошлое, которое, когда оно было для нас настоящим, рассматривалось нами лишь как ступень к «счастливому» будущему.

Дело в том, что я случайно завязал знакомство с одним актером, и он пригласил меня посетить его скромное жилище, где он жил вместе со своим стариком отцом. Я был крайне поражен, увидев весь дом загроможденный бочонками из-под масла, ящиками из-под яиц и из-под других това-

ров. Я думал, что увлечение, навеянное когда-то «Любителем», давно уже кончилось. Актер получал двадцать фунтов в неделю, так что мог бы приобрести себе и «настоящую» обстановку, но оказалось, что его отец все еще цепко держится за бочоночные и ящичные изделия своей юности и даже очень гордится ими.

Старик ввел меня в столовую и показал мне свое последнее изделие – книжный шкафчик. Трудно себе представить, до какой степени этот шкафчик уродовал всю комнату, которая одна во всей квартире была снабжена настоящей мебелью, и то по настоянию сына. Старик напрасно тратил свое красноречие, уверяя, что шкафчик сделан им из яичных ящиков: это и так сразу было видно.

Сам актер повел меня наверх в свою спальню. Он отворял дверь в это помещение с таким благоговением, точно это был вход в какой-нибудь королевский музей бесценных редкостей; уже по одному этому я понял, что он и сам не менее своего отца восторгается «любительской» самодельной обстановкой, находившейся в спальне. И действительно, едва мы переступили порог, как мой спутник с радостной дрожью в голосе вскричал:

– Посмотрите, все это сделал отец своими собственными руками и почти из ничего!.. Видите, какой гардероб?.. Пойдите, я попридержу его немножко, пока вы будете отворять дверцы. Должно быть, пол неровен в этом месте: гардероб шатается, если открывать его без известных предосторожно-

стей.

Да, если бы не принять предосторожностей, то это оригинальное сооружение наверняка свалилось бы нам на голову. Я рискнул открыть его и заглянул внутрь. К немалому моему удивленно, «гардероб» был почти пуст, чего я никак не ожидал, так как мой новый приятель всегда был отлично одет и притом в разные костюмы. Когда я спросил, почему он так мало пользуется этим «образцовым» платьехранилищем, актер пояснил:

– Да, видите ли, я обыкновенно всегда очень тороплюсь, а этот чудак, – он слегка стукнул пальцем в стену «гардероба», – требует особенно бережного к себе отношения. Поэтому большую часть своих вещей я держу в ванной, где и одеваюсь... Конечно, отец об этом не знает.

Потом он показал мне самодельный комод, все ящики которого были наполовину выдвинуты.

– Да, приходится оставлять их в таком виде, – заметил собственник этих «любительских» изделий. – Задвигаться-то они задвигаются сразу, а выдвигаются с трудом... по крайней мере, не так быстро, как мне нужно. Над каждым приходится копать минут десять. Только в самую жаркую погоду они не капризничают: ссыхаются и идут легко. Тогда я держу их закрытыми.

Но гордостью этого помещения был умывальник. Владелец подвел меня и к нему и с торжеством произнес:

– Роскошный умывальник, с настоящим мраморным вер-

хом!

В своем увлечении он неосторожно надавил рукой на «мраморную» обшивку, и она с треском вся осела. Лишь чудом мне удалось подхватить стоявшую на углу красивую и уж настоящую мыльницу, иначе она разлетелась бы на куски.

– Гм! – промычал я. – Удивительно «живой» мрамор... А где вы умываетесь? – вдруг спросил я.

Молодой человек страшно покраснел, отворил дверку маленького ночного столика, скрытого за кроватью, и показал мне тазик с кувшином, помещавшиеся внутри столика.

– Беру вот это потихоньку в ванную, – шепнул он мне на ухо. – Но, конечно, отец и об этом не должен знать. Зачем его зря огорчать? Он, бедный, вложил столько труда и любви в выделку всех этих вещей, да они ведь, в сущности, очень не дурны, если принять во внимание то, из чего они сделаны и какими непривычными руками.

Что меня более всего умилило в этом доме – это сыновья любовь, которая редка в наши дни. Воображаю себе, как этот любящий сын крался, прятался, подвергался из дня в день разным неудобствам и трясся, как бы отец не заметил, что все его изделия никуда не годятся, а был бы вполне уверен, что сын, для которого все это было им сделано с такой чисто отцовской любовью, пользуется этим и чувствует себя вполне комфортно.

Я знал одного мальчика, который был велик в делании того, чего от него не спрашивалось, и очень плох во всем,

что обязан был делать. Я, пожалуй, расскажу вам его историю, потому что она очень поучительна, а это главное достоинство каждой истории. Те истории, которые не поучительны, ничего не стоят; они нечто вроде дорог, никуда не ведущих, протаптываемых больными людьми для «движения». Мальчик этот однажды разобрал дорогие стенные часы, чтобы превратить их в парходик. Положим, парходик вышел очень неважный, но, принимая во внимание возникшие при работе затруднения (малую приспособленность частей часового механизма к потребностям пархода, необходимость спешной работы ввиду возможности встретить препятствие к окончанию ее со стороны людей, не сочувствующих таким научным экспериментам, и недостаток многих нужных инструментов), приходилось согласиться с мнением его строителя, что могло бы быть и хуже. С помощью гладильной доски – лишь бы она в данное время не требовалась в хозяйстве – и нескольких тычинок он устроил клетку для кроликов. Из зонтика и нескольких предметов для газового освещения он смастерил пушку, хотя и уступавшую тем пушкам, которые выделяются на специальных заводах, зато гораздо более «убийственную». С помощью половины садовой поливальной кишки, медной кастрюли, утащенной из кладовой, и нескольких дрезденских фарфоровых фигурок, похищенных с каминной доски в гостиной, он соорудил на одной из клумб в цветнике «римский» фонтан. Он умел переделывать кухонные столы в полки для книг, а кринолин-

ные обручи – в самострелы. Он так искусно запруживал ручки, что создавались настоящие наводнения. Он выделял прекрасную красную краску и умел добывать кислород. Вообще он делал многое такое, что, по его мнению, всегда было приятно и полезно иметь под рукой в доме.

Между прочим он научился делать фейерверки, и даже очень недурно после ряда опытов, при которых происходили взрывы довольно безобидного характера. И это было очень важно для него. Мальчика, искусно играющего в крокет, принято хвалить. Мальчик, отличающийся в драке, пользуется уважением. Мальчик, ловко дурачащий своего учителя, любим товарищами. Но мальчик, умеющий делать фейерверки, считается уж существом высшего порядка.

Близилоь 5 ноября, и мальчик, о котором я рассказываю, при помощи снисходительной матери собирался в этот день явить миру свои высшие способности. Просторный чулан в кухне был превращен в мастерскую, а весь дом – он был загородный и мог поэтому называться виллою – изливал из себя чисто адский запах.

Вечером 4-го все уже было в порядке, судя по сделанной репетиции. Ракеты взвивались к небу и возвращались на землю звездным дождем; римские свечи металы в темноту свои ослепительные шары, огненные колеса вертелись и горели; шутихи трещали, шумели и лопались.

В эту ночь мальчик видел чарующие сны, сны славы. Он видел себя стоящим среди огненной феерии, им же вызван-



ной, и слышал бурные одобрения огромной толпы восхищенных зрителей. Вся его родня, среди которой многие, как он знал, были склонны видеть в нем уroda, без которого будто бы не бывает семьи, присутствовала при его торжестве. Здесь же находились и все его товарищи, часто дразнившие его за то, что он был не такой, как они; все девочки из соседних домов тоже были налицо.

Но вот наступил и день торжества. Прибыли приглашенные гости – несколько десятков теток, дядей, подростков и детей. Когда стемнело, вся эта орава вышла на террасу и, закутавшись потеплее, уселась в ожидании фейерверочных чудес.

Но как нарочно ни одна из так искусно приготовленных гильз не вспыхивала. Почему так случилось – не могу сказать, да и никто не мог объяснить этого: кажется, все было сделано как следует; казалось, сама безжалостная судьба захотела подшутить над бедным пиротехником. Ракеты издавали слабый треск и тут же замирали; римские свечи были ничуть не лучше английских ночников; огненные колеса походили на чуть живых светящихся червячков; гордые змеи превращались в бледное подобие изуродованных черепашек, а гвоздь всей этой неудавшейся «феерии» – парусный корабль на море – показал лишь мачту и призрак капитана и с шипением погас. Правда, две-три штучки вышли довольно удачно, но этим только подчеркивалась неудача всего остального.

Девочки хихикали, мальчишки гоготали и дразнили своего

обескураженного товарища, дяди спрашивали: «Ну, конец, что ли?», тетки и взрослые дочери снисходительно улыбались, мать просила не очень строго судить ее бедного мальчика, который «так старался, да и вчера все шло так отлично, может быть, кое-что отсырело за сутки...», а бедный мальчик, смущенный, пристыженный, полный горчайшего разочарования, потихоньку прокрался в свою комнату и до тех пор ревел там, пока не уснул.

Проснулся он часа два-три спустя, когда гости удалились и в доме все успокоилось. Вспомнив о своем горе, он со всевозможными предосторожностями оделся, спустился вниз и вышел в сад. Усевшись посреди развалин своих лучезарных надежд, он тщетно дознавался в своем уме причины неудачи. Машинально он достал из кармана коробку со спичками, зажег одну спичку и приложил ее к ракете, которую держал в руке. Вдруг ракета со свистом взнеслась на воздух и рассыпалась сотнями красивых огней. Он взял другую гильзу – и та пошла. Таким образом он поштучно перебрал весь фейерверк, и вся окрестность загорелась красивыми разноцветными фигурами. Искры попадали на груды небрежно брошенных других гильз, оказавшихся за несколько часов перед тем негодными; они также все вспыхивали и реяли в окружающей темноте волшебными огненными фигурами. Очевидно, этому несвоевременному успеху благоприятствовал ночной холод. К счастью для мальчика, у него все-таки оказалась хоть одна свидетельница его запоздалого торжества

— его мать, которая заметила, как сын встал, оделся и крадучись вышел из общей спальни. Она догадалась, куда и зачем он направлялся, последовала за ним и обрадовала его выражением своего восхищения, когда дело у него наконец пошло на лад.

Впоследствии этот мальчик, когда уже он вырос и взгляделся в жизнь, понял причину своей тогдашней неудачи. Эта причина крылась в законе, управляющем всеми человеческими делами и гласящем, что *наши фейерверки никогда не могут удаваться в виду глазающей толпы.*

В самом деле, самые наши блестящие речи складываются у нас в уме обыкновенно лишь тогда, когда мы оставляем многолюдное собрание, которое хотели удивить этими речами; они вспыхивают только в ту минуту, когда мы остаемся одни с самим собою. Среди звона бокалов и устремленных на нас перекрестных огней взглядов наши самые остроумные слова выходят бледными и незначащими. И так во многом.

Я бы желал, чтобы вы, читатель, могли слышать те истории, которые я *хотел* бы рассказать вам. Вы судите меня по тем историям, которые уже рассказаны мною вам. И это вполне естественно: какое же еще у вас может быть основание для суждения обо мне? Но такое суждение не может быть верно. По рассказанным мною историям меня нельзя верно понять. Это было бы возможно только по тем рассказам, которые до сих пор остались *не высказанными* мною. Но я надеюсь, что когда-нибудь да выскажу их. Вот тогда вы загля-

нете на дно моей души и будете смеяться и плакать вместе со мною.

Эти рассказы приходят мне в голову неожиданно и просят быть излитыми на бумагу. Но лишь только я сажусь за стол и беру перо – они вдруг исчезают. Они как будто и желают гласности, и вместе с тем боятся ее. Впрочем, быть может, когда-нибудь мне удастся уловить и запечатлеть их на бумаге. Вот тогда-то, повторяю, я и буду понят вполне. Даже те истории, которые я когда-то начинал, но почему-то не закончил, гораздо лучше оконченных и напечатанных. Когда-нибудь я передам вам некоторые из этих отрывков; наверное, они вам понравятся. Странно только то, что они по большей части трактуют о призраках, духах и тому подобных бреднях. Я, человек, всеми да и самим собой признанный практичным, не должен бы браться за такие рискованные темы, а между тем брался за них, и даже довольно часто, и нахожу, что это было очень хорошо. Чем это объяснить?

Думаю, дело в том, что в душе каждого из нас живет уверенность в *действительности* призраков. Мир теперь становится для нас, наследников веков, все более и более неинтересным. Год за годом наука срывает со стен источенные моллю старые обои, открывает двери тайников, освещает скрытые переходы, исследует мрачные подземелья и везде находит одну пыль. Этот старый извилистый замок, в котором так гулко раздаются шаги и голоса, старый мир, который был полон стольких тайн во дни нашего детства, – этот мир те-

перь, когда мы стали взрослыми людьми, потерял в наших пытливых глазах почти всякое обаяние. В курганах уже не спят покрытые золотом и драгоценными камнями цари и короли. Мы проложили тоннели сквозь эти курганы и вытащили оттуда мертвецов, воспользовавшись их драгоценностями и выбросив их кости. Мы прогнали с Олимпа богов. Молот Тора уж не гремит между утесами – его заменил грохот скорых поездов. Мы очистили леса от древних средневековых богинь, волшебниц и фей. Мы изгнали из озер, рек и ручьев прелестных нимф. Даже и призраки покинули нас, отпугнутые светочем науки. С одной стороны, это и отлично; уж очень эти призраки всем надоели своими стонами, скрежетом зубов, воем, лязгом цепей и даже одними своими молчаливыми появлениями. А с другой...

Ах, сколько в них могло бы быть и интересного для нас, лишь бы только мы умели с ними беседовать и вызывать их на откровенность! Возьмите хоть этого старого джентльмена в стальной кольчуге, жившего в царствование короля Иоанна и убитого, как говорят, на опушке того самого леса, на который я сейчас смотрю, сидя за своим письменным столом. Ехал он себе домой, вдруг его убивают предательским ударом в спину и тело его бросают в ров, до сих пор слывающий под названием Могилы Тора. В то время этот глубокий ров был наполнен водою, а теперь он совершенно сухой, и подснежники любят его отлогие края. Но зачем *он*, как уверяют очевидцы, бродит каждую ночь по лесным тропинкам, наво-

дя ужас на одиноких прохожих и заставляя молодых парней и девушек, возвращающихся с запоздалой танцевальной вечеринки, обрывать смех и веселую болтовню?

В самом деле, отчего бы ему вместо этого не подняться сюда ко мне и не побеседовать со мною? Я предложил бы ему свое покойное кресло и помог бы снять его тяжелую кольчугу, вообще устроиться поудобнее. Сколько он мог бы порассказать мне интересного! Ведь он участвовал в первом Крестовом походе, слышал трубный голос Петра, видел храброго Готфрида, стоял, быть может, при Реннимеде, держа руку на эфесе меча... Вообще один вечер беседы с таким гостем стоил бы дороже целой исторической библиотеки. Что делал он в продолжение восьмисот лет, протекших с вечера его убийства? Где он был за это время? Что видел? Быть может, он посетил Марс и даже видел тех странных существ, который могут существовать в жидком огне Юпитера? Что открыл он в великой тайне? Узнал ли он истину? Или он все еще такой же беспокойный искатель ее, как я сам, и ему открыто не больше моего?

А ты, бледная монахиня в сером призрачном одеянии? О тебе говорят, что в полночь можно видеть твое белое лицо смотрящим в полуразрушенное сводчатое окно, между тем как внизу, в кедровой роще, раздается лязг оружия и гул голосов. Я понимаю, что тебе было очень грустно. Оба твои жениха были убиты, и ты удалилась в монастырь, чтобы молиться за упокой их душ и за успокоение своего собствен-

ного мятежного сердца. Но зачем же ты каждую ночь вновь переживаешь былое – те ужасные минуты, когда ты узнала и радостную и вместе с тем горестную весть, что твой первый жених, который был тебе несравненно дороже второго, не погиб во время битвы, а был только сильно ранен. Подобранный сострадательными руками таких же монахинь, как ты, он был исцелен и теперь явился под твоё окно, чтобы умолять тебя позволить ему освободить тебя из крепких монастырских стен. Но ты, в тоске и отчаянии, боясь повредить своей душе нарушением религиозного обета, на глазах возлюбленного приняла яд, который всегда имела при себе, и тут же упала мертвою? И если ты присуждена в наказание за самоубийство появляться по ночам на земле, то зачем же ты своим появлением пугаешь мирных людей?

Да, скажите мне, бледные призраки, зачем вы все пугаете нас? Разве мы не ваши дети? Чем же виноваты *мы* в *ваших* ошибках и заблуждениях? Отчего бы вам лучше не прийти к нам друзьями и не поговорить с нами, как мы, живые, говорим друг с другом?

Расскажите нам, как любили в ваши дни молодые люди и как отвечали им девушки? Много ли изменился мир с тех пор, как вы перестали в нем участвовать? Были ли среди вас женщины, мечтавшие об эмансипации? Были ли девушки, ненавидевшие свои пальцы и прялку? Много ли хуже были подвластные слуги вашего отца в сравнении с нынешними «свободными» гражданами, ютящимися в грязных, душных

конурках восточной части нашего города, работающими по четырнадцать часов в сутки и получающими за это по девяти шиллингов в неделю? Находите ли вы, что наше общество в течение последнего тысячелетия улучшилось или ухудшилось, или же оно осталось на прежнем месте, воображая, что двинулось вперед по пути совершенствования потому лишь, что заменило кое-какие прежние формы и слова новыми?..

Впрочем, зачем я зову эти призраки назад туда, откуда они, быть может, рады были уйти и куда появляются лишь за тем, чтобы искупить что-нибудь, сделанное ими под влиянием плоти, чтобы пугать нас своим примером или предупредить о грядущем несчастье?..

Оставим же их там, где они находятся. К чему призывать их к себе, когда нам известно, что не сегодня завтра мы сами вступим в их ряды, сами будем такими же, как они?



## IV

# О радостях и выгодах рабства

Окно моего кабинета выходит на Гайд-парк, и я с высоты своего жилища часто люблюсь на движущуюся подо мною панораму.

Первыми появляются поденщики: дровосеки, носильщики воды и прочий подобный им люд. Тяжело движутся их еще не отдохнувшие от вчерашнего труда ноги, сон еще слипает их воспаленные веки. За поясом у них привешен узелок со скудной пищей.

Раздается бой городских часов. Спешите, товарищи-рабы, чтобы не хлестнули вас по уху, хуже чем бич прежнего надсмотрщика по спине, слова работодателя: «Убирайтесь! Опоздали! Нам не нужны лежебоки!».

Потом идут ремесленники со своими орудиями производства на плечах.

И они так же боязливо прислушиваются к ударам часов; ведь и для них готовы словесные бичи.

Вот бегут молодой приказчик и молодая приказчица, пользуясь возможностью поговорить о своей любви и о своих надеждах на будущее, когда они будут мужем и женой.

Вслед за ними спешат другие рабы прилавка и конторки, клерки и торговцы, мелкие чиновники и купцы. На место, рабы всех состояний! Надевайте скорее свое ярмо!

За ними, смеясь и шаяля, бегут дети, дочери и сыновья рабов.

Будьте внимательны в школе, милые дети, учите хорошенько свои уроки, чтобы вы, когда настанет время, могли взять из наших усталых рук скрипящее весло и занять наше место у той уключины, которую мы уже больше не можем обслуживать. Учитесь же быть хорошими рабами, такими же, какими были мы.

Затем важно выступают хорошо одетые, вылощенные и напыщенные ученые невольники: журналисты, доктора, судьи, адвокаты, поэты, артисты, пасторы. И как ни важны они, однако также нет-нет да и взглянут на свои более или менее дорогие часы. Ведь и они обязаны находиться на месте в назначенное время; ведь и над ними висит вечная угроза при малейшей оплошности быть выброшенными из рядов обеспеченных и осужденными вместо элегантных костюмов от лучших портных носить плохие рыночные, вместо дорогой комфортабельно обставленной квартиры на хорошей улице ютиться в мансарде беднейшей части города, вместо дорогих сигар курить дешевые и т. д. Вообще, чем в лучшие условия поставлены невольники наших времен, тем большее количество имеется для них бичей.

Наконец шествуют рабы великосветского образа жизни, одетые, обутые, причесанные по последнему слову кодекса джентльменской моды. Хорошо откормленные, выхолненные, разряженные в пышные ливреи, чванливые и надутые, они

служат только для показа, а не для дела. Но нелегка и их задача; и их розы полны колючих шипов. Они *обязаны* являться сюда ежедневно, все равно весело у них на душе или грустно; обязаны двигаться именно по *этой* дорожке, а не по другой. Говорить друг с другом они могут только одними и теми же, раз навсегда установленными фразами. Целый час они вынуждены тихими, степенными, размеренными шагами двигаться по одной и той же линии: полукругом от Гайд-парка до магазина и обратно. И они должны носить вещи определенных фасонов, размеров, цветов и ценности, иначе рискуют, что не будут узнаны своими ближайшими «друзьями». Вечером, тоже в строго определенный час, они обязаны снова вернуться сюда, но на этот раз уже в экипаже, переодетые в другую ливрею, и опять ровно час кружиться в скучной, монотонной процессии, не имеющей ни цели, ни смысла. Отправившись затем снова домой, они опять меняют ливрею, садятся обедать, а после обеда вновь переряжаются, чтобы вступить в исполнение своих «общественных обязанностей», пока, наконец, отпущенные на покой, не засыпают от утомления и скуки в своих экипажах.

Вечером возвращаются со своих галер рабы труда: адвокаты, перебирающие в памяти только что произнесенные ими блестящие речи; учащиеся, на ходу зубрящие заданные уроки; люди торговли, биржи, крупной промышленности, крупных предприятий, мозг которых продолжает лихорадочно составлять планы обогащения и высчитывать будущие бары-

ши; приказчики и приказчицы, теперь уж молчаливые, подавленные; ремесленники и поденщики. Теперь им дается два-три часа на то, чтобы думать, любить и играть, если только усталость позволит им это. Конечно, лучше всего для них, если они пораньше лягут спать, чтобы набраться новых сил для завтрашней страды.

Сумерки сгущаются во мрак; зажигаются фонари, и снова выползают из своей норы темные личности, заканчивающие круг дня. Труд удаляется с арены – на его место выступает порок.

Так кружимся мы, рабы современности, под бичом необходимости. Если мы перестанем кружиться, нас больно хлестнет бичом, исполосовывающим в наши просвещенные дни уже не спину, а желудок. И благодаря этому видоизменению мы называем себя «свободными».

Некоторые из нас мужественно борются, чтобы быть действительно свободными, – это наши отверженные. Мы, «обеспеченные рабы», с ужасом отпрядываем от них в сторону, потому что истинная свобода у нас покупается ценою только общего презрения да риском голодной смерти. Мы можем вести достойную жизнь только с ошейником вокруг горла.

Временами люди задаются вопросом: «К чему этот бесконечный труд? К чему эта стройка домов, стряпанье пищи, выделка одежд? Разве жизнь муравья завиднее бытия кузнечика потому лишь, что первый только и знает, что копа-

ет землю да накапливает в своем лабиринте провизию, не имея времени на то, чтобы попеть? Зачем нам дан этот сложный инстинкт, который заставляет нас делать тысячу работ для удовлетворения тысячи прихотей? Ведь, в сущности, мы превратили весь мир в мастерскую игрушек, которыми и занимаемся в промежутках тяжелого труда; ради роскоши мы продаем свой покой...»

О дети Израиля! Отчего вы не были довольны в своей пустыне? Ведь это была образцовая пустыня. Для вас всегда была готова сытная, здоровая и полезная пища. У вас не было забот о рентах и налогах. Среди вас не было бедных, не было поэтому и сборов для бедных. Вы не страдали ни от несварения желудка, ни от сотни других недугов, сопровождающих перебором; каждый из вас получал определенную порцию. Вы не чувствовали, что у вас есть печень. Врачи не надоедали вам со своими теориями, зельями и счетами. Вы не были ни землевладельцами, ни арендаторами, ни акционерами, ни векселедателями или векселедержателями. Вас не тревожили ни погода, ни рыночные цены. Вам незнакомы были законоведы; вы не нуждались в их советах; у вас не было ссор и споров с вашими соседями, которые нужно решать судебным порядком. У вас не было богатств, которые могла бы точить моль и съесть ржавчина. Ваши доходы и расходы уравнивались до мельчайшей дроби. Ваша жена и ваши дети были обеспечены на случай нужды. Ваша старость не причиняла вам беспокойств: вы знали, что всегда

будете иметь все необходимое для существования. Ваше погребение было заботою вашего племени; вам ничего не стоило: пустыня была обширна, и могилу было нетрудно выкопать. И тем не менее вы, легкомысленные, безрассудные дети, все-таки не были довольны, хотя пришли прямо с египетских кирпичных заводов. Вы тосковали о горшках с мясом, о выделке этих горшков, о чистке их, о труде срубания леса для разведения огня под этими горшками, о воспитании скота для наполнения этих горшков, о добыче корма для этого скота, обреченного в эти горшки.

Весь труд нашей жизни сосредоточен вокруг этих горшков. На алтарь этого горшка мы жертвуем свой покой, свой душевный мир. За чечевичную похлебку мы продаем свое право первородства.

О дети Израиля! Разве вы не видели той бесконечной цепи наказаний, которую вы собственными руками сковывали для себя в будущем, когда вздумали в своей пустыне воздвигнуть изображение золотого тельца и коленапреклоненно пред ним кричали: «Вот бог твой, Израиль!»

О, эти поклонники золотого тельца! Я вижу, как они огромною, скученною толпою теснятся к подножию своего идола; вижу их и во множестве других положений; вижу их покрытыми потом и копотью и задыхающимися в рудниках; вижу их в бессолнечных городах, согнутыми над работою, тихими, молчаливыми, угрюмыми; вижу их слепнувшими и почти обугливающимися пред раскрытыми пастями горнил,

в которых кипит и бурлит море расплавленного металла; вижу их одетыми в рубища и с трещащими под непосильной тяжестью костями; вижу одетыми в красные и синие мундиры, проливающими свою кровь на алтаре все того же золотого тельца; вижу их в разных ливреях, красивых и уродливых, богатых и убогих. Они бродят по всей земле и заполняют собою все моря. Одни прикованы к наковальне и к коморке, другие – к прилавку и к скамье. Они обрабатывают землю, проламывают, прокапывают и взрывают скалы, в которых рождается материал для золотого тельца. Они строят корабли и ведут их нагруженными частями золотого тельца. Они выделывают горшки, выливают чугунные сковороды, вырезают из дерева столы, гнут стулья, добывают соль из воды и из земли, ткут дорогие ткани, делают бесчисленное множество вещей – и все для служения золотому тельцу.

Весь мировой труд сводится только к служению золотому тельцу. И все для него. Война и торговля, наука и закон – что это как не те же четыре столба, на которых покоится подножие золотого тельца? Этот золотой телец – наш бог. На его колеснице мы выехали из тех дремучих лесов, в которых наши предки питались плодами и орехами. Да, он наш бог. На каждой улице ему воздвигнуты храмы. Его жрецы стоят у каждой двери, призывая нас преклониться пред ним. Чу! Слышите, как раздаются их резкие голоса в пропитанном запахами газов воздух? «Покупайте, покупайте, добрые люди, не скупитесь! Несите сюда, к нам, пот лица вашего, кровь

сердца вашего, силы мозга вашего! Несите нам лучшие годы вашей жизни! Несите нам ваши лучшие мысли, надежды и чувства! За это мы дадим вам телятинки... телятинки... Покупайте! покупайте! Теперь настало ваше время! Вы все свободны и можете покупать себе телятинки сколько вам захочется!..»

О дети Израиля! Неужели телятина, под каким бы она ни была заманчивым гарниром, стоит *такой* цены!

А сами-то мы? Чему научились мы в течение веков? На днях я имел удовольствие на одном вечере беседовать с богатым человеком. Будучи финансистом, он каждый день, летом и зимой, после перехваченного на лету завтрака, ровно в восемь часов утра, когда все его домочадцы еще спят крепким сном, покидает свой роскошный дом милях в двадцати от Лондона и возвращается поздно вечером. Переодевшись, он садится за обеденный стол, но от переутомления не может ничего есть. Когда ему удастся вырвать себе недели две на «отдых», он спешит в Остенде, где так людно и шумно, что его нервы вместо покоя еще больше напрягаются, потому что среди этой толкотни, среди этого вечного шума и гама он должен принять, прочесть, обдумать и отправить сотни писем и телеграмм; в его спальне над самой постелью находится телефон для прямого сообщения с Лондоном.

Я готов предположить, что телефон – удивительно полезное изобретение. Деловые люди в один голос твердят, что они не могут понять, как это им раньше удавалось вести



свои дела без телефона... Впрочем, я готов верить этому только в то время, пока слушаю восторженные похвалы деловых людей телефону. Про себя же думаю, что человек обыкновенный не может делать ровно никакого дела, если на расстоянии ста ярдов от него находится телефон. Я могу еще представить себе Иова, Гризельду или Сократа желающими иметь у себя телефон для упражнения. В особенности Сократу было бы выгодно обзавестись этой выдумкой: в несколько месяцев он, наверное, был бы выведен из всегдашнего равновесия своего духа и этим прославился бы еще более, чем прославлен присущим ему спокойствием характера и мудростью своих речей.

Сам я чересчур чувствителен для телефона. Мне однажды пришлось целый месяц прожить в одном месте, где был телефон, – если это можно назвать *жизнью!* Говорят, что я привык бы к этому приспособлению месяца через два-три. Я знаю людей, очень важных и гордых, которые по четверти часа терпеливо стоят перед своим телефоном в ожидании ответного звонка. Сначала они очень волновались от нетерпения, но с течением времени присмирели и покорились.

Что телефон обуздывает характер и научает терпению, это не подлежит ни малейшему сомнению. Например, вам необходимо переговорить с человеком, который живет на расстоянии пяти минут ходьбы от вас. Вы уже хватаетесь за шляпу, чтобы сбегать к нему, но тут, на ваше несчастье, вам попадается на глаза телефон и вы сначала решаете позвонить

вашему знакомому с целью узнать, дома ли он. Начинаете звонить. Вам приходится позвонить много раз, прежде чем удастся привлечь внимание гг. телефонистов. Пылая негодованием по поводу такой небрежности, вы садитесь писать телефонному обществу язвительное заявление. В это время дребезжит ответный звонок. Вы вскакиваете, хватаетесь снова за трубку и кричите в приемник:

– Что это вам никогда сразу не дозвонишься? Звонил к вам по крайней мере полчаса! (Конечно, вы преувеличиваете слишком вдвое, инстинктивно чувствуя, что ложь в данном случае не повредит.) Если так будет продолжаться, я пожалуйюсь в общество. Какая мне польза в телефоне, если я не могу сразу добиться ответа на свои звонки? Приходится так дорого платить, а на меня и внимания не обращают! Все утро прозвонил без всякого толку... Почему никто не отозвался?

Ждете ответа.

– Что вы говорите? – раздается из трубки. – Я вас не понимаю.

– Говорю, что звонил битый час, но никакого отклика не получал. Буду жаловаться! – с еще большим напряжением кричите вы.

– Опять ничего не понимаю... Не стойте так близко к приемнику... Так ничего не слышать... Какой вам номер?

– Не в этом дело... Я спрашиваю вас: почему мне так долго не отвечали на мои усиленные звонки?

– Как?.. Восемьсот?.. Ну, а далее?

Вы задыхаетесь от бессильной ярости. Вам хотелось бы наговорить таких вещей, от которых обязательно перегорел бы от стыда провод, и вы чувствуете большое искушение изломать всю эту телефонную музыку на мелкие кусочки. Но еще не совсем подавленная в вашем взбудораженном мозгу искорка рассудка подсказывает вам, что это было бы чересчур уж по-варварски, и вы, овладев собою, сквозь стиснутые зубы, но как можно отчетливее просите соединить вас с номером четыре – пять – шесть – семь.

– Четыре – девять – семь – шесть? – переспрашивают вас.

– Да нет же! Четыре – пять – шесть – семь, – повторяете вы.

– Как вы говорите: семь – шесть или шесть – семь?

– Семь – шесть! Семь – шесть! – кричите вы, потом спохватываетесь и поправляетесь: – Виноват! Мне нужно номер четыре – пять – шесть – семь, а не семь – шесть... Совсем голову потерял с вами...

– Может быть, вы опять что-нибудь напутали? – несетя в ответ. – Так нельзя... Я не могу целое утро заниматься с одним только абонентом...

Вы смотрите в список и по нему уверенным голосом повторяете номер. Наконец вам сообщается, что вы соединены с тем номером, и вы снова ждете...

Много бывает смешных положений, но самым смешным кажется то, когда серьезный и с особенно развитым сознанием своего достоинства человек стоит где-то в углу, вытя-

гиваясь на цыпочки, держит около уха прибор и напряженно прислушивается.

Спина болит, голова болит и, кажется, самые волосы болят. Вы слышите, как за вами отворяется дверь и кто-то входит в комнату, но не можете повернуть голову, чтобы взглянуть, кто это. С досады вы пускаете в воздух ругательство. Дверь тут же захлопывается и слышатся удаляющиеся легкие шаги. Вы догадываетесь, что это была ваша жена, с которой вы привыкли завтракать всегда в двенадцать часов, и она приходила узнать, когда вы наконец придете. Но как раз в это время вы вздумали связаться с дьявольской выдумкой, и теперь, наверное, уж половина первого.

– Кончили вы наконец свои переговоры? – кричат вам с центральной станции, предварительно дав короткий звонок.

– Кончил?! – с горечью отзываетесь вы. – Еще и не начал: мне еще не ответили...

– Так звоните еще... Что даром теряете время?

Вы с ожесточением звоните вновь по номеру четыре – пять – шесть – семь. Через минуту вам отвечают оттуда.

– Кто там? – слабо доносится до вас.

– Четыре – пять – шесть – семь? – спрашиваете вы голосом, перехваченным от радостного волнения.

– Что такое?

– Вы – номер четыре – пять – шесть – семь, мистер Вильямсон?

– А вы кто?

– Я – восемь – один – девять, Джонс...

– Бонс?

– Джонс! Джонс!.. А вы – четыре – пять – шесть – семь?

– Алло... да, я – четыре – пять – шесть – семь... Что нужно?

– Мистер Вильямсон дома?

– Чего я хочу?.. Да кто же вы?

– Я Джонс... Дома ли мистер Вильямсон?

– Кто?

– Вильямсон... Виль-ям-сон!

– Чей вы сын? Не слышу! Говорите яснее!

С огромным трудом, призвав на помощь все свое терпение и самообладание вам в конце концов посчастливилось заставить вашего собеседника проникнуться той истиной, что вам нужно знать, дома ли в настоящий момент мистер Вильямсон.

– Дома все утро, – кажется, слышите наконец вы.

Вздыхнув с облегчением, вы торопливо накидываете пальто, нахлобучиваете шляпу и бежите в контору мистера Вильямсона, где и заявляете, что пришли с ним повидаться.

– Очень жаль, сэр, его нет дома, – вежливо отвечают вам.

– Как *нет* дома? Не вы ли только что говорили мне в телефон, что он все утро дома?

– Вы ошиблись, сэр, я говорил вам, что его все утро *нет* дома.

Вы как оплеванный возвращаетесь к себе домой и смот-

рите на свой телефон. Трубка спокойно, как ни в чем не бывало, висит на своем месте. У вас опять является почти непреодолимое желание уничтожить все это адское приспособление, но вас останавливает соображение, что, во-первых, опасно схватываться с этими электрическими выдумками, а во-вторых, могут возникнуть и неприятности с обществом этой дьявольщины; поэтому вы, махнув рукой и дав себе слово как можно реже пользоваться такими *неудобствами* нашей цивилизации, спешите загладить свою невольную вину перед женой.

Да, но ведь телефон, как и палка, о *двух* концах. Своим концом вы можете и не пользоваться, но тот, другой, теряющийся где-то в пространстве, уж наверное не оставит вас в покое. Предположим, вы углублены в важное дело или у вас разошлись нервы и вам нужен абсолютный покой, о чем вами и сообщено всем вашим домашним, которые поэтому за три комнаты от вас крадутся на цыпочках и говорят шепотом. Вы сидите в своем кресле и углублены или в лежащие перед вами бумаги или в приятную дремоту. И вдруг в углу начинает трещать звонок телефона. Вы машинально вскакиваете с места и растерянно оглядываетесь в недоумении: выстрелили в вас или подбросили вам бомбу? Потом, поняв наконец в чем дело, вы снова опускаетесь на место в надежде, что если вы не ответите, то с того конца отстанут. Но не тут-то было! Звонок с десятисекундными промежутками продолжает неистово трещать. Вы затыкаете себе уши,

но и это не помогает. Тогда вы решаете, что лучше уж ответить и таким путем отделаться от этой пытки. Вы подходите к своему истязателю и слабым голосом спрашиваете:

– Алло! Кто там и что нужно?

Вместо ответа слышится лишь смутный гул, среди которого немного спустя начинают пробиваться два резких голоса, переругивающихся между собою. Телефон приспособлен, очевидно, главным образом, для передачи ругани. При мирных переговорах голос едва слышен, а когда двое ругаются, то звуки ясно разносятся по всем проводам Лондона.

Когда ругань окончилась и в трубе опять слышится один смутный гул, точно по ней передвигаются целые отряды насекомых, вы снова даете звонок. Ответа нет. Вы начинаете иронизировать в приемник, выражая этим свое раздраженное состояние. Наконец по истечении по крайней мере четверти часа вас спрашивают:

– Алло! Вы здесь?

– Здесь. Что угодно?

– А вам что угодно? – доносится обратный вопрос.

– Мне? Да ровно ничего!

– Так зачем же вы держите занятым провод? Это ведь не игрушка! – раздается негодующий возглас.

Вы догадываетесь, что с вами говорит телефонная барышня, и с негодованием спешите разьяснить, что кто-то звонил к вам и вы хотели откликнуться.

– Кто же вам звонил? – спрашивает барышня.

– Не знаю...

– Очень жаль! Я тоже не знаю и не могу вам помочь.

Вы с сердцем вешаете трубку на место и возвращаетесь к своему креслу. Но едва вы успели сесть, как звонок опять задребезжал. Вне себя вы снова вскакиваете, летите к телефону, срываете трубку и осведомляетесь, какой там черт звонит и какого черта нужно.

– Не кричите так! – несется в трубку. – Мы не можем ничего разобрать... Что вам нужно?

– Мне ровно ничего не нужно, а что нужно вам – не знаю... Зачем вы звоните ко мне и потом не отвечаете, когда я подхожу?... Оставьте меня, пожалуйста, в покое!

– Мы не можем достать гонконгских по семьдесят четыре, – сообщают вам.

– Да? Ну а мне-то какое до этого дело? – огрызаетесь вы.

– Может быть, вы возьмете зулусских?

– Зулусских? Каких зулусских? На кой черт мне они! – злитесь вы.

– Их можно получить по семьдесят три с половиной. Хотите?

– Совсем не хочу... А вы лучше скажите, что вам, собственно, нужно от меня? За кого вы принимаете меня?

– Гонконгских можно достать только по семьдесят четыре... Впрочем, позвольте, прошу подождать полминутки.

Голос умолкает. Полминутки проходит. Потом снова раздается:



– Вы здесь еще?

– Здесь. Но, очевидно, я не тот, кто вам нужен, – отвечаете вы.

– Мы можем достать вам гонконгских по семьдесят три и три восьмых...

– Отстаньте вы с вашими гонконгскими! Говорю вам: я не тот, кто вам нужен.

– Что же вам нужно?

– Да только одно: чтобы вы отвязались наконец от меня. Я с вами не имею никакого дела... Сколько же мне еще раз повторять вам это?

– Да кто вы такой?

– Восемь – один – девять... Джонс.

– А не один – девять – восемь?

– Да нет же, нет, говорят вам!

– Ах, простите, пожалуйста!..

Трещит отбой, и вы, отирая пот с лица, чуть не бросаете трубку об стену и спешите выпить стакан воды.

Но вернемся к моему финансисту, о котором я начал было говорить, да чуть было не забыл, увлекшись желанием хорошенько отчитать телефон, этого виновника стольких лишних неприятностей в нашей и без того не особенно приятной жизни.

Как-то раз после обеда я сидел с этим финансистом в его великолепно убранной столовой. Мы закурили сигары. Слуги удалились.

– Вот эти сигары, – начал мой хозяин, – приобретаются мною тысячами и, несмотря на это, обходятся мне по пяти шиллингов за штуку.

– Зато они и хороши, – заметил я.

– Может быть, для вас, – чуть не свирепо буркнул он, сплевывая в сторону. – Вы в какую цену привыкли курить сигары?

Мы были давно уже знакомы. Когда я в первый раз познакомился с ним, его контора ютилась в крохотной полутемной комнатке на третьем этаже одного грязного дома, в тесном, смрадном переулке, близ Стрэнда, теперь исчезнувшем. Сойдясь поближе, мы ежедневно вместе обедали в плохоньком ресторанчике на в Грейт-Портленд-стрит, тратя на это по шиллингу и девяти пенсов. Ввиду такой близости его вопрос не был обиден для меня.

– В последние годы в три пенса, – ответил я. – Сотнями немного дешевле: два пенса и три фартинга.

– Ну да, – подхватил мой собеседник, – и эти дешевенькие корешки доставляют вам ровно столько же удовольствия, сколько мне мои пятишиллинговые. Следовательно, я с каждой выкуриваемой сигарой пускаю на воздух четыре шиллинга и девять пенсов с лишком. Я плачу своему повару двести фунтов в год, между тем мой тонкий обед удовлетворяет меня нисколько не больше, чем в то время, когда он стоил мне всего четыре шиллинга, включая и четверть бутылки кьянти. Или почему, например, мне необходимо ехать в

контору и оттуда домой в экипаже, запряженном парой рысаков, а не в омнибусе, который останавливается в нескольких шагах от ее дверей? Когда мне было не по карману ездить даже в омнибусе и оба конца приходилось ежедневно совершать пешком, я был гораздо здоровее. Я теперь раздражаюсь при одной мысли о том, сколько мне нужно было трудиться, чтобы скопить богатство, в котором, однако, не вижу ничего хорошего для себя. Если бы мой обед, который теперь мне стоит в четыреста раз дороже прежнего, во столько же раз доставлял мне удовольствие, то еще был бы смысл в этом, а то что в нем для меня?

Он никогда раньше так не рассуждал, и я с невольным любопытством всматривался в него. Все более и более возбуждаясь, он встал и принялся шагать из угла в угол.

– Отчего я не вложу свои капиталы в двухсполовиной-процентную ренту? – продолжал он. – Ведь я все-таки буду иметь самое меньшее пять тысяч в год. Ну скажите, пожалуйста, на кой черт нужно человеку больше? И представьте: я чуть не каждое утро твержу себе, что я так и сделаю, однако не делаю. Почему, как вы думаете?

– Не знаю, – ответил я. – Полагаю, вы сами лучше кого другого можете ответить на этот вопрос.

– Да вот подите, совсем не могу! – чуть не рявкнул он, останавливаясь передо мною и колотя себя в грудь. – Не могу, да и только! И я серьезно думал, что вы решите мне этот проклятый вопрос. Ведь вы задались решением загадок,

скрытых в человеческой природе. Впрочем, будучи на моем месте, вы сами поступали бы точь-в-точь так же, как я. Свались вам завтра сто тысяч фунтиков, вы станете издавать большую газету или постройте театр, вообще придумаете какую-нибудь глупость, чтобы поскорее ухлопать эти деньги и устроить себе мучение на семнадцать часов в сутки. Не правда ли?

Чувствуя правду его слов, я смущенно молчал, потому что действительно всегда мечтал о собственной газете и собственном театре.

– Да, – продолжал мой хозяин, немного помолчав, – непременно и вы сделали бы так. А если бы мы все работали только для добывания самого необходимого, то завтра же весь Сити мог бы закрыть свои лавочки. Ах, как хотелось бы мне знать, *что* именно лежит в основе того инстинкта, который толкает нас в денежную сутолоку как бы ради нашей собственной пользы? *Что* так крепко оседлывает и пришпоривает нас?

В это время вошел слуга и подал хозяину каблогранму от управляющего его австралийскими копиями, и он поспешил с нею в свой кабинет, сделал мне знак остаться и не обижаться на его отлучку. Однако когда он вернулся, то выглядел таким расстроенным, что я нашел нужным лучше проститься с ним и уйти.

По дороге домой я перебирал в уме его слова. *К чему*, в самом деле, этот бесконечный труд? *К чему* мы каждое утро

встаем, умываемся и одеваемся, чтобы вечером снова раздеться на ночь и ложиться в постель? Почему мы зарабатываем деньги на пищу и питаемся для того, чтобы опять работать? Почему, или, вернее, зачем мы живем, имея в виду одну могилу? Зачем выпускаем на свет детей, когда знаем, что и им в конце концов предстоит тоже умереть и быть зарытыми в землю?

На что, в сущности, вся наша борьба, все наши страстные желания, стремления и домогательства? Какое будет иметь значение для будущих веков, *чей* флаг шире развевался на земле и на морях? А между тем ради этого мы проливали свою кровь. В тот день, когда вновь надвинутся на землю ледники и начнут сковывать всю ее жизнь, кого спасет знание того, кто первый вступил на один из полюсов? Поколением за поколениями устилаем мы землю своими костями; смерть стоит у нас за плечами с самого момента нашего рождения, и ей совершенно безразлично, любим мы или ненавидим.

Но пока кровь бежит еще по нашим жилам, мы надрываем себе сердце и мозг в погоне за призрачными надеждами, которые тускнеют по мере того, как мы думаем, что они осуществляются.

Цветок выбивается из земли, вытягивает из нее нужные ему соки, каждый вечер складывает свои лепестки и спит. Есть и у него нечто вроде периода любви, когда его тянет смешать свою цветочную пыль с пылью другого цветка. По-

сле этого он цветет еще ярче и приносит плод, который разносится птицами с места на место. Времена года проносятся над ним,нося то солнечное сияние, то дождь и бурю. Наконец цветок вянет, так и не узнав во время своей короткой жизни цели своего недолгого существования; но до последнего мгновения он был уверен, что не он создан для сада, а сад для него. Коралловое насекомое мечтает в своей крохотной душе, вероятно, изображаемой его крохотным желудком, о своем домишке и о пище. И благодаря этой мечте оно трудится и борется на дне глубоких темных вод, не имея и самого слабого понятия о тех материках, которые создает.

Но для чего все это? Наука нам говорит, что тысячелетиями неустанного труда и борьбы мы совершенствуем расу. Из эфира через обезьяну произошел человек, труд которого должен послужить на то, чтобы уничтожить в человеке животную часть и путем всяческих усилий и страданий достичь ангельского состояния и войти в царство Божие.

Но, опять-таки, для чего все это? Почему это необходимо проделывать в течение целых веков? Почему человек сразу не родился тем всесовершеннейшим существом, которым предназначен быть? Зачем весь ужас и все страдание, предшествовавшие моему появлению на свет? Для чего мое *я* должно снова появиться как потомок моего настоящего *я*? Зачем это мое настоящее *я* должно мучиться, бороться и погибнуть ради моего будущего *я*, которого сейчас я даже и не знаю? Зачем Создатель, для которого все возможно, нашел

нужным заставить человека вырабатываться с таким тяжелым трудом для клеточки?..

Если наше будущее относится к другой сфере, то для чего нам нужна эта планета? Или мы в самом деле, как утверждают некоторые, создаем нечто такое великое, обширное, чего не в состоянии охватить нашим еще слишком несовершенным зрением, – как коралловое насекомое не может охватить того материка, который создает? Или же, быть может, наши страсти и желания – для нас только шпоры, чтобы мы трудились для чего-то необходимого и важного для нас самих в далеком будущем?

Будем, однако, надеяться, что наша окончательная цель еще впереди; оставшееся же у нас позади ровно ничего не стоит, – по крайней мере, все то, что обрисовывается нам сквозь мрак прошедших веков.

В самом деле, что было там?

Со страшным трудом воздвигнутые цивилизации, которые часто одним ударом были уничтожены почти бесследно; верования, ради которых люди страдали и умирали и которые потом оказались ложными; чудное греческое искусство, разрушенное варварами; мечты о братстве, потопленные в крови...

Что же осталось нам, кроме надежды, что, быть может, наш труд сам по себе был *целью*, которой мы все еще не понимаем. Ведь мы, как дети, все еще продолжаем спрашивать: «К чему эти скучные уроки? На что они нам?» Но настанет

день, когда дитя, превратившись во взрослого, начинает понимать, зачем его заставляли долбить «скучные» уроки, и тогда для него все осмысливается. Но этот день может наступить только для того, кто вполне уже окончил школу и вышел в открытое житейское море. И вот когда сделаемся наконец взрослыми и мы, то, быть может, тогда и нам откроются очи на смысл нашего существования.



## V

# О заботах, о женщинах и о бережном обхождении с ними

Однажды, разговаривая с одной дамой о медовом месяце, я спросил у нее:

– Вы за какой медовый месяц стоите, за короткий или за длинный? За то, чтобы он действительно тянулся целый месяц, или только несколько дней?

Дама призадумалась, причем, кажется, скорее оглядывалась назад, чем смотрела вперед.

– Я стою за то, чтобы медовый месяц был как можно длиннее, – наконец ответила она. – Во всяком случае, не менее традиционных четырех недель.

– А между тем, – продолжал я, – современность склонна по возможности сокращать этот срок.

– О да, – с горькой улыбкой подхватила дама, – наша современность склонна отлынивать от многого хорошего. Что же касается меня, то я думаю: зачем сокращать то, что потом уж никогда не вернется, и бывает, быть может, единственным украшением нашей тусклой и нудной жизни?

Я хотел продолжать этот разговор, но в это время явились другие гости, и нам пришлось заговорить о погоде и тому подобных интересных вещах.

Женщины слишком серьезно смотрят на жизнь, которая сама по себе очень серьезная штука, поэтому лучше бы смотреть на нее полегче, чтобы хоть этим смягчить ее суровость.

Маленький Джек и маленькая Джил упали с пригорка, ушибли себе носы и коленки, пролили с трудом добытую воду и заревели. Мы относимся к этому вполне по-философски и говорим малышам:

– Не ревите, это глупо. Будьте поумнее. Ушиблись немножко – невелика беда. Маленькие мальчики и маленькие девочки должны привыкать к этому. Вставайте скорее на ноги и бегите опять за водой. Да будьте поосторожнее, чтобы во второй раз не упасть и не пролить воду.

Джек и Джил поднимаются, протирают грязными кулачками заплаканные глаза, грустно глядят на свои маленькие ушибленные в кровь коленки и плетутся назад за водой, а мы добродушно посмеиваемся над ними:

– Бедняжки! Как они орут при каждом пустяке! Можно подумать, что они расшиблись насмерть, а они только слегка оцарапались и вымочились. Ах как мало у детей терпения!

Но когда мы, взрослый Джек с седеющими усами и взрослая Джил с «гусиными лапками» вокруг глаз, упадем и прольем свое ведро, – о, какая тогда разыгрывается трагедия! Погасите звезды, затемните солнце, приостановите действие законов природы! Подумайте только: мистер Джек и миссис Джил спускались с пригорка и вдруг споткнулись о камень (наверное, подложенный им под ноги злыми силами вселен-

ной), причем ушибли себе простоватые головки! Им бо-бо, и они искренне удивлены, как это мир еще стоит в виду такого неслыханного несчастья.

Не впадайте в отчаяние из-за такого пустяка, мистер Джек и миссис Джил. Вы пролили свое счастье; ну что ж, ободритесь скорее и старайтесь возобновить потерянное, а потом несите его осторожнее, чтобы еще раз не споткнуться и не пролить его. А почему вы поскользнулись и упали? Наверное, потому, что не смотрели себе под ноги.

Наша жизнь состоит из вздоха и смеха, из приветов и прощания. Так стоит ли все это, кратковременное, мимолетное, таких волнений? Ободритесь, товарищи! Поход не может быть полон одними чувствительностями; должны быть и труды переходов, и битвы. Бывают приятные стоянки между виноградниками, веселые ночи вокруг пылающих костров. Когда мы снимаемся с этих стоянок, белые ручки машут нам на прощание, блестящие глазки заволакиваются слезами сожаления о нас. Но неужели из-за этого вы хотите убежать от звуков боевой музыки? Но неужели хотите быть трусами? Нет, товарищи, бодрее вперед! Некоторым достанется награда, другим – наказание, а всем нам, кому раньше, кому немного позднее, шесть футов матери-земли. Ободритесь же, товарищи!

Есть нечто среднее между самодовольным скользящим вилянием по жизненному пути аллигатора и постоянно трепетными шагами чувствительной лани, готовой умереть чуть

не от каждого дуновения встречного ветерка. Для того чтобы бодро нести свою тяжесть, мы должны быть сильными и мужественными.

Мы изменились к худшему, плачем и ноем при малейшей боли. В прежнее время люди ежеминутно подвергались настоящим тревогам, настоящим опасностям, и у них не было времени кричать и плакать. Бедствия и смерть стояли у каждой двери, и люди смотрели на них с пренебрежением. Мы же в своих крепко защищенных домах постоянно ноем и смотрим на едва заметную царапинку как на глубокую рану. Простая головная боль кажется нам агонией, а нервная сердечная – трагедией. Те душевные бури, которые были вызваны в Гамлете убитым отцом, утонувшей возлюбленной, обесчещенной матерью, появлением призрака отца и убитым первым министром, – нынешний писака производит гримасами обиженной хористки или временным падением курса на бирже. Чем легче для нас жизнь, тем требовательнее мы к ней относимся и тем сильнее принимаем к сердцу всякий пустяк, лежащий нам поперек дороги. Гребцы Улисса с одинаковой веселостью встречали и грозу и солнечное сияние, а мы, современные мореплаватели, сделались гораздо чувствительнее: солнечное сияние палит нас, дождь вызывает в нас озноб, и мы постоянно стонем от жалости к себе.

Но вернемся к вопросу о медовом месяце. Один мой знакомый, человек рассудительный, с умом философского склада, высказался по этому поводу следующим образом:

– Дорогой мой, если вы вздумаете жениться, то старайтесь устроить так, чтобы ваш медовый месяц тянулся не больше недели, и вдобавок был как можно шумнее. Венчайтесь в субботу утром и пуститесь в маленькую поездку, конечно, прямо из-за стола после завтрака с шампанским, с поздравлениями и прочими традиционными церемониями. Постарайтесь попасть на первый поезд, отходящий на Континент. Когда попадете в Париж, сведите свою жену на Эйфелеву башню. Завтракайте в Фонтенбло, а обедайте в Мэзон-Доре. Вечером покажите ей Мулен-Руж. Это будет в воскресенье. С ночным поездом отправляйтесь в Люцерн. В понедельник и вторник посетите Швейцарию, а в четверг поезжайте в Рим, ознакомившись по пути с итальянскими озерами. В пятницу неситесь в Марсель, а оттуда юркните в Монте-Карло... Пусть жена позабавится немножко у зеленого стола. Утром, в субботу, махните в Испанию, пересеките Пиренеи на мулах. В воскресенье отдохните в Бордо. В понедельник вернитесь в Париж, кстати, это день парижской Оперы. Во вторник вечером вы будете уже дома и очень обрадуетесь этому. Не давайте своей жене времени критиковать вас, пока она еще не успела освоиться с вами. Без щита ни один мужчина не может выдержать пытливых взглядов молодой женщины. Так называемый медовый месяц играет роль *брачного микроскопа*. Старайтесь загородить себя под этим прибором множеством посторонних предметов, чтобы из-за них наблюдательница не могла толком вас раз-

глядеть. Поэтому займите ее чем только можете: заставьте ее ловить поезда, дайте ей побольше вещей, чтобы она все время возилась с ними. Сами занимайте в вагонах всю скамью, а жене предоставляйте небольшое местечко в углу. Пусть она слушает мужскую ругань, пусть принохивается к табаку. Вообще заставьте ее поближе приглядываться к другим мужчинам; тогда она не так будет поражена, если и заметит *ваши* недостатки. Один прекрасный молодой человек из числа моих добрых знакомых испортил себе всю жизнь благодаря спокойно проведенному медовому месяцу. Он с женою удалился ровно на четыре недели в медвежью глушь, среди чудной природы, где никто их не беспокоил и ничего не случилось, кроме смены дня и ночи. Вот там-то жена к концу месяца и разобрала своего муженька, как говорится, по ниточке. Когда он зевал (зевал же он, наверное, довольно часто, в особенности после третьей недели), жена разбирала форму его разинутого рта, а когда он клал ноги на каминную решетку – строила свои комбинации насчет этих ног. За столом, не чувствуя сама не только голода, но даже и простого аппетита (ведь ей нечем было вызывать его), она занималась тем, что смотрела, как ест муж; а ночью, лишенная сна (ведь ей не было от чего уставать), она лежала и прислушивалась к храпу мужа. Первое время они целые дни болтали всякие глупости; но так как это теперь можно было делать беспрепятственно, то им это вскоре же надоело; говорить же о чем-нибудь дельном они не могли, потому что не было для этого

материала. Тогда они стали сидеть по целым часам молча, с изумлением глядя друг на друга, и не знали, чем занять себя. Как-то раз муж чем-то раздражился и произнес легкое ругательство. Будь это на шумной железнодорожной платформе или в другом многолюдном публичном месте, жена только сказала бы, а может быть, даже только подумала бы: «Ого!» Но в той волшебной тишине, где каждый звук слышится гораздо яснее, восклицание мужа подействовало на молодую женщину до такой степени удручающе, что она проплакала всю остальную часть дня, весь вечер и всю ночь. Поэтому, мой друг, повторяю: старайтесь, чтобы ваша молодая жена с первого же дня все время была занята чем угодно, лишь бы не вами.

Нечто вроде прелестей медового месяца мне пришлось однажды испытать в тысячу восемьсот... Впрочем, к чему быть таким точным в повестях? Довольно сказать, что это было несколько лет тому назад. Я в то время был очень скромным и застенчивым молодым человеком, а *она* – такую же молодую девушкой. Кроме обыкновенного знакомства никаких других отношений между нами не существовало. Эту молодую девицу, по просьбе ее родственников, я должен был проводить из Линдхерста в Вентнор, на острове Уайт. В те дни это было целым путешествием, сопряженным с некоторыми неудобствами.

– Хорошо, что и вы едете, – сказала мне во вторник утром тетка моей будущей спутницы. – Минни всегда ужасно нерв-

ничает в дороге. Вы присмотрите за нею, и я буду спокойна за нее.

Я поспешил заявить, что это будет для меня одним удовольствием. По своей наивности я думал, что это действительно будет так. В среду я отправился в контору дилижансов, чтобы заказать два места до Лимингтона, где нужно было сесть на пароход. У меня не было и тени предчувствия каких-либо неудобств и беспокойств.

Заведующий конторой, человек уже пожилой, посмотрел в книгу и сказал:

– Осталось только место на козлах да еще одно на задней скамье.

– Ах как досадно! – вскричал я огорченным голосом. – Мне бы нужно два места рядом.

Заведующий добродушно улыбнулся, подмигнул мне (я потом долго недоумевал, что значило его подмигиванье) и промолвил:

– Ну, если вам так *нужно*, то я постараюсь это устроить.

– Не знаю, как и благодарить вас за вашу любезность, – начал я. – Мне будет гораздо удобнее...

Но он с дружеской фамильярностью положил мне руку на плечо и, прервав меня, загадочно произнес:

– Не за что, молодой человек, не за что. Я понимаю вас и сочувствую вам. Ведь многие из нас когда-то были на этом пункте.

Полагая, что он говорит об острове Уайт, я добавил:



– Мне говорили, что теперь там самое лучшее время года. Стояло начало лета.

– Да. Но там недурно и зимою, пока *он* продолжается. От души желаю вам, чтобы *он* продолжался подольше, – вторично подмигнув мне, проговорил заведующий.

Я внес деньги за места, распростился и ушел, продолжая недоумевать по поводу загадочных слов, улыбок, подмигивания и фамильярничания заведующего.

Утром следующего дня, в половине девятого, мы с Минни отправились к месту отхода дилижанса.

Я называю эту девицу просто по имени не из желания быть дерзким по отношению к ней, а просто потому, что позабыл ее фамилию. Помню только, что она была очень недурна со своими большими темными глазами, которые всегда омрачались, перед тем как их обладательница собиралась засмеяться.

Заведующий конторой дилижансов заметил нас, когда мы только еще подъезжали, и что-то сказал кучеру, который, в свою очередь, сообщил что-то уже собравшимся остальным пассажирам; очевидно, наше появление всех очень заинтересовало. Прекратив свои разговоры, все впились в нас глазами. Возница схватился за свой рожок и произвел ряд слабых и неособенно гармоничных звуков. Чувствовалось, что он старался, но у него почему-то ничего не вышло. Должно быть, он желал выразить нам свое приветствие, а вышло что-то другое.

Очевидно, мы с Минни оказались героями дня. Сам заведующий с отеческой улыбкой помог Минни выйти из экипажа. Кучер широко осклабился, здороваясь со мною. Пассажиры улыбались, прислуживающие при конторе ощеривали зубы. Выбежали две-три женщины и несколько ребятишек и тоже растянули свои рты до ушей. Я отвел Минни в сторону и шепнул ей:

– У нас с вами что-нибудь не в порядке – все смеются над нами.

Сначала Минни обошла вокруг меня, потом я обошел вокруг нее, но никто из нас не нашел в другом ничего смешного.

– Не беспокойтесь, молодые люди, – говорил нам заведующий, – все в порядке. Я устроил вам два местечка рядом на переднем сиденье. Кроме вас там будут еще трое. Но я полагаю, вас не очень стеснит, если вы будете сидеть поближе друг к другу?

Заведующий подмигнул кучеру, тот подмигнул пассажирам, а те подмигнули друг другу, и все улыбались. Должно быть, это была самая веселая поездка, когда-либо совершавшаяся здесь.

Только что мы уселись на указанный нам места, как явилась на сцену какая-то толстая дама и спросила *свое* место. Заведующий показал ей на середину нашей скамьи и заявил, что нас там будет сидеть пятеро.

– Пятерым тут не усесться, – резонно заметила дама,

взглянув на сиденье.

Пятеро таких, как она, действительно не могли бы уместиться, но четверо людей обыкновенных размеров могли потесниться и дать местечко одной такой туше.

– Тогда не угодно ли вам взять крайнее место на задней скамье? – предложил заведующий.

– Ну нет, – брюзгливо сказала дама, – я заказала себе место еще в понедельник, и вы сказали, что оно будет на переднем сиденье.

– Позвольте мне сесть на заднее место, – заявил я. – Мне совершенно безразлично, где бы ни сидеть.

– Оставайтесь там, где сидите, молодой человек, и не делайте глупостей! – строго остановил меня заведующий. – Я все улажу к общему удовольствию.

Но сквозь его строгость проглядывала такая чисто отцовская заботливость, что я не мог обидеться на него, если бы даже хотел.

– Позвольте, я лучше сяду сзади: я люблю задние места, – предложила Минни.

Но тут вмешался кучер. Он положил свои руки на ее плечи, и она поневоле должна была снова опуститься на место, с которого было поднялась.

– Так как же, сударыня, – обратился кучер к толстой даме, – угодно вам занять это место, впереди, или то, сзади?

– Но почему же вы не хотите, чтобы кто-нибудь из этих молодых людей занял заднее место, раз они оба выражают

желание сесть там? – недоумевала толстая дама.

Кучер выпрямился и громко отчеканил:

– Потрудитесь немедленно занять одно из предлагаемых вам мест! В этом дилижансе муж и жена, в особенности молодожены, никогда не разлучались во все те пятнадцать лет, в продолжение которых я состою тут вожатым. Вот почему я и не могу допустить этого.

Речь эта была приветствована одобрением заведующего и всех пассажиров. Толстая дама также окинула нас теперь благосклонным взглядом и подарила нежной улыбкой, потом покорно заняла заднее место. Через минуту громоздкий экипаж, скрипя, покатился по шоссе.

Так вот в чем было дело! Нас приняли за чету новобрачных, совершающих свадебную поездку. Это могло случиться, потому что мы оба были молоды, а сезон был как раз самый свадебный. Большинство свадебных путешествий в то время совершалось именно на остров Уайт. Мы были одеты с иголочки, багаж наш был тоже новенький, и, по странной случайности, даже наши зонтики были прямо из магазина. Видя все это, неудивительно, что нас принимали за молодоженов; скорее можно было бы удивиться, если бы на нас посмотрели иначе. Но это я сообразил только после инцидента с толстой дамой.

Должен сознаться, что на мою долю редко выпадали такие скверные дни, как этот. Впоследствии я узнал от самой Минни, что и для нее это путешествие было самым ужасным

испытанием в ее жизни. Дело в том, что она была обручена с одним молодым человеком, которого горячо любила. Я также был влюблен в одну девицу. Поэтому мне и моей спутнице вовсе не было интересно считаться за мужа и жену.

Наши спутники отпускали по нашему адресу хотя и добродушные, но тем не менее довольно рискованные шуточки. К счастью, моя спутница не понимала этих шуток, или, по крайней мере, делала вид, что не понимает. Высказывались громким шепотом и различные замечания относительно нас, причем доводилось до моего сведения, что *она* – сама прелесть, а что касается меня, то я мог бы быть и получше для нее. Вообще относительно нас мало стеснялись, точно мы были пара птиц на выставке. Когда мы уже проехали несколько миль, начались выражения негодования по поводу того, что «молодой совсем не ухаживает за своей новообрачной, а сидит сыч-сычом, поэтому она, бедненькая, так и пригорюнилась; еще бы: только что повенчаны – и вдруг такая холодность!».

Временами доходило до того, что мне очень хотелось всех обругать и выяснить общее недоразумение. Но это могло привести к скандалу, который, разумеется, был очень нежелателен для нас обоих. Ввиду этого, стиснув зубы, я молчал, а Минни старалась показать, что дремлет.

То же самое оказалось и на пароходе. Минни просила, чтобы я хоть там разъяснил ошибку. Я и сам был бы рад сделать это, но понимал, что для этого придется просить капи-

тана, чтобы он вызвал на палубу всех пассажиров, всю свою команду и выяснил бы им настоящую суть. Это тоже было чересчур неудобно, в чем я и постарался убедить свою спутницу. Она плакала и говорила, что не в силах больше выносить такой пытки. В дилижансе еще куда ни шло, а здесь, на пароходе, это совсем нестерпимо. Она кончила тем, что с громкими рыданиями убежала в каюту. Ее расстройство всеми присутствующими было приписано моему грубому обращению с нею. Один из пассажиров, у которого, должно быть, в голове не все были дома, водрузился у меня прямо под носом и, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, укоризненно смотрел мне прямо в лицо и басил:

– Хорош новобрачный! Бегите скорей и утешьте ее. Послушайте доброго совета старика. Обнимите ее и скажите ей, что любите ее.

Бывают же такие сентиментальные идиоты!

Я с такой силою крикнул ему, чтобы он отстал от меня, что он с испугу чуть было не кувырнулся в воду, и его едва успели подхватить под руки. Вообще мне страшно не везло в тот день.

В Рейде кондуктор невероятными стараниями раздобыл для нас отдельное купе. Я дал ему шиллинг за усердие, но охотно дал бы гораздо больше, если бы он посадил нас в битком набитый вагон, лишь бы только никто из наших спутников не принимал нас за новобрачных. На каждой станции возле окна нашего отделения толпились целые вереницы лю-

бопытных.

Трудно описать, с каким облегчением я вздохнул, когда наконец мог сдать свою спутницу с рук на руки ее отцу в Вентноре.

Встретившись снова с ней уже в Лондоне, за неделю до ее свадьбы, я спросил у нее:

– Куда вы думаете поехать *потом*?

– Только не на остров Уайт! – с живостью ответила она, покраснев до корней волос.

Я сочувственно улыбнулся и крепко пожал ей руку.

## VI

### О вмешательстве в чужие дела

В одно ясное сентябрьское утро я прогуливался по Стрэнду. Лондон всего приятнее осенью. Только тогда можно любоваться блеском его белой мостовой, ясными, не ломаными линиями его улиц. Я люблю утреннюю свежесть просек в его обширных парках, нежные сумерки, таящиеся в это время дня в его пустых переулках. В июне содержатели ресторанов отбиваются у меня от рук: им и без меня достаточно дела. В августе они любезно распоряжаются, чтобы мне был накрыт стол у окна и собственноручно достают из погреба мое любимое вино. Вообще в августе я чувствую, что меня любят в ресторане, и моя безрассудная летняя ревность успокаивается.

Пожелаю ли я в августе проехаться после обеда, когда бывает так мягок воздух, — я смело могу взобраться на верх omnibusа, не рискуя предварительной дракой с другими кандидатами; могу там сидеть совершенно спокойно и удобно, не измятый со всех сторон, не опасаясь, что лишил места какую-нибудь сильно уставшую бедную женщину. Желаю ли побывать в театре, никакие грозные аншлаги с крупною надписью «Распродано» не отпугивают меня от этого удовольствия. Словом, осенью Лондон делается благосклонным и к нам, своим постоянным обитателям, между тем как летом,



переполненный приезжими, он совсем не обращает на нас внимания. Летом все его улицы кишмя кишат чужестранцами, слуги в ресторанах и гостиницах переутомлены, кушанья изготавливаются кое-как, наспех, обращение его натянутое, неискреннее; кроме того, он слишком шумен и вульгарен. Только тогда, когда удаляются гости, Лондон снова становится прежним полным достоинства и приличным джентльменом, вполне заслуживающим любви и почтения от своих детей.

Видели ли вы, любезный читатель, когда-нибудь Лондон не днем, когда он весь покрыт суетливой жизнью, как растение бывает покрыто тлей, а рано утром, перед его просыпанием, когда город еще погружен в свою туманную ночную хламиду, еще не шевелится? Если нет, то советую вам встать пораньше в августовское воскресное утро. Не будите никого из домашних, а потихоньку прокрадитесь сами в кухню и собственными руками приготовьте себе чай с тартинками.

Но смотрите, как бы вам не споткнуться о кошку: с испуга она может впустить вам свои острые когти в ногу, – конечно, не со зла, а просто машинально, и вы ее за это уж не наказывайте. Она сама поймет свою ошибку, поймет, что и вы не хотели ей зла, а просто нечаянно наткнулись на нее, и она сама еще будет извиняться перед вами. Старайтесь также не ушибиться об угольный ящик. Почему кухонный угольный ящик непременно помещается между дверью и плитой – не знаю; знаю лишь, что это так во всех домах в Лондоне, и пре-

дупреждаю вас, чтобы вы, придя в тесное соприкосновение с этим ящиком, сразу не вышли из того мирного воскресного настроения, в котором я желал бы вас видеть.

Окончив завтрак, потихоньку прокрадитесь в прихожую, наденьте пальто и шляпу, осторожно отойдите к выходной двери и юркнуите на улицу. Вам покажется, что вы очутились в незнакомой стране. Лондон за ночь делается неузнаваем.

Красивые длинные улицы покоятся в тишине румяного рассвета. Нигде ни души. Только возле стен смущенно жмет-ся возвращающийся домой загулявший кот. Кое-где раздается радостное чириканье воробья, который, в общем, не любит в Лондоне рано вставать. Где-то слышатся мерные шаги приближающегося или удаляющегося полисмена; гулко несутся в пространство ваши собственные поспешные шаги, и вы, стыдясь нарушать царящую тишину, машинально стараетесь ступать как можно легче, без шума, как в соборе. Чей-то голос словно нашептывает вам: «Потише, неугомонный утренний бродяга! Не буди раньше времени крепко спящих моих детей. Они так переутомлены и разбиты вчерашним тяжелым трудом. Среди них много больных, много раздраженных, много – увы! – и злых. Но все они такие усталые. Не буди их раньше времени, умоляю тебя. Они так шумны и беспокойны для меня, когда просыпаются; теперь же, спящие, они тихонькие и добренькие. Пусть подольше поспят, не тревожь их».

Вы догадываетесь, что это голос гения-хранителя огром-

ного города, и невольно покоряетесь ему, сочувствуя заботам о его детях, к числу которых принадлежите и вы сами. И там, где воды отлива медленно отступают назад от старых, обветрившихся и тихо осыпающихся арок, каменноликий гений города глухо бормочет:

– Почему вы, неугомонные воды, никогда не остаетесь здесь, около меня, а вечно уходите назад, едва успев прийти?

– Сами не знаем, почему это, – рокочит в ответ воды. – Мы словно на привязи у моря: оно ненадолго позволяет нам приближаться сюда, к тебе, а вслед за тем начинает тащить нас обратно.

– Да, все мои дети так поступают со мной, – грустно шепчет гений города. – Приходят ко мне неизвестно откуда, понежатся на моей широкой теплой груди, потом снова исчезают неведомо куда, а за ними притекают другие.

Вдруг торжественное безмолвие пререзается резким звуком: это с громким стоном просыпается город. В отдалении грохочут колеса тележки пригородного молочника. Немного спустя по улицам проносится возглас: «Молока! Мо-ло-ка-а-а!» Лондон привык получать молочко, лишь только откроет глаза. Еще немного погода подымается звон церковных колоколов, словно говорящих: «Напьетесь молочка, идите скорее помолиться Богу. Начинается новая неделя, и неизвестно, что в ней может случиться с вами. Идите же помолиться».

Один за другим выползают на улицу двуногие существа,

именуемые лондонскими обывателями. Вспугнутая начинающейся дневной суетой ночная тишина нежно целует каменные губы города и неслышно удаляется. Можем теперь удалиться и мы с вами, дорогой читатель, гордясь тем, что у нас хватило храбрости встать раньше всех и присутствовать при смене тихой благодатной ночи на беспокойный шумный день. Впрочем, по воскресным дням Лондон сдержан и не распускается вовсю, как в будни.

И я в одно будничное утро гулял по Стрэнду. Позавтракав в ресторане Гатти, я только что успел выйти обратно на улицу, как мое внимание было остановлено следующим диалогом между одной дамой, по-видимому ирландского происхождения, и кондуктором омнибуса.

– Зачем вы пишете на своих каретах «Патни», когда они туда совсем не ходят? – раздраженно кричала дама.

– Как не ходят? – возражал кондуктор. – Мы именно туда и ходим.

– Так почему же вы высадили меня здесь?

– Никто вас не высаживал, сударыня. Вы сами себя высадили.

– Так почему же тот вон джентльмен, в правом углу, говорил мне, что мы уже проехали Патни?

– Потому что это правда, сударыня.

– А почему же вы не сказали мне, когда мы подходили к Патни?

– Потому что вы меня не предупредили, что вам нужно

именно туда. Когда вы хотели сесть, вы только крикнули: «Патни!» – ну, я и остановил карету и впустил вас.

– А что же вам показалось, когда я крикнула «Патни»? – недоумевают дама.

– Что вы зовете меня.

– Да разве вас зовут Патни? – еще больше изумляется дама. – Сроду не слыхала такого странного имени.

– Ничего тут нет странного, сударыня: моя карета зовется «Патни», а по ней и меня зовут Патни, – поясняет кондуктор.

– Какие странные у вас порядки...

– Не страннее ваших, ирландских, сударыня... Ну так как же, угодно вам сесть в карету?

– Зачем же я опять залезу в вашу дурацкую карету, когда она идет не туда, куда мне нужно.

– Если вам нужно в Патни, то садитесь...

– Да ведь вы теперь едете от Патни, а не к нему...

– Мы потом опять вернемся к нему. Сядете, что ли? А то из-за вас мне приходится задерживать всю линию.

– Нет, благодарю, с вами уж я больше ни за что не поеду.

– Так бы сразу и говорила, несчастная картофельница! – рычит выведенный из терпения кондуктор и велит кучеру пустить лошадей.

Дама, вся красная от негодования, раздражается потоком отборной ирландской брани, потом, потрясая сложенным зонтиком, идет обратно в ту сторону, откуда только что приехала.

Когда я после этой сцены хотел пересечь мостовую, меня чуть было не сбил с ног один стремительный джентльмен. Я узнал его и вовремя успел перехватить за руку, иначе он промчался бы дальше. Это был мой ближайший друг Б., вечно по горло занятый издательством разных журналов и сборников. Он не сразу пришел в себя и несколько мгновений глядел на меня ничего не видящими, блуждающими глазами. Наконец, узнав со своей стороны и меня, он вскричал:

– Хелло! Вот уж никак не ожидал, что встречу тебя здесь!

– Судя по стремительности и прямолинейности твоего бега, ты, должно быть, и вообще не ожидал встретить ни одной живой души на Стрэнде, – заметил со смехом я.

– А что?.. Разве я толкнул тебя? – догадался Б.

– Да, и, по-видимому, намеревался пройти сквозь меня. Но так как я непроницаем, то ты, наверное, сшиб бы меня себе под ноги и, ничего не замечая, прошел бы по мне, если бы я не успел остановить тебя, – разъяснял я ему.

– Ах, извини, пожалуйста!.. Я совсем потерял голову с этими рождественскими хлопотами, – оправдывался он.

– Рождественскими? – изумленно повторял я. – Какие же могут быть рождественские хлопоты в начале сентября?

– Будто не понимаешь?! – воскликнул Б. – Неправда, ты отлично знаешь, о чем я говорю. Ведь теперь самая пора готовить рождественские номера журналов и сборников. Ни днем ни ночью я не имею покоя. Хорошо, что мы встретились, а то я хотел было уже писать тебе, чтобы и ты

принял участие...

– В твоих рождественских номерах? – договорил я. – Ну нет, дружище, этого ты от меня не дождешься! Довольно уж с меня этой прелести. Я начал свою литературную карьеру, как тебе известно, с восемнадцати лет и именно с рождественских очерков. Чего-чего только я ни городил в них! Я описывал Рождество и с сентиментальной точки зрения, и с философской, и даже с саркастической. Для юмористических журналов я трактовал это событие с оттенком комизма, а для семейных обрисовывал его с мистической стороны. Мне кажется, я давно уже успел высказать все, что только можно высказать на эту тему.

Писал я и новомодные рождественские очерки, и рассказы на тему о том, как героиня все отказывала в своей руке порядочным людям, потом вдруг, расчувствовавшись в рождественский вечер под елкой, взяла да и сбежала с одним отъявленным негодяем, при одном имени которого раньше в ужасе дрожала.

Писал и старомодные истории со всеми старомодными аксессуарами: свирепой метелью, замерзающим мальчиком с белкой, злодеем, который благодаря убийству и грабежу сделался богачом и под старость лет пустился в сентиментальную благотворительность. Один из его слуг, зачем-то ходивший из роскошной усадьбы в деревню, дорогой наталкивается на несчастного мальчика с белочкою (оба они почти совсем уж окоченели) и приводит их в усадьбу. Докладывают

об этом хозяину. Тот, порасспросив отогретого, накормленного, напоенного и приведенного в приличный вид мальчика, узнает, что это внучок некогда убитого и ограбленного им человека, и, будучи сам одиноким, усыновляет мальчугана, который был «послан ему всеблагим Провидением для смягчения его преступного сердца...» Белочка была посажена в раззолоченную клетку и ежедневно получала порцию отборных орехов и разных лакомств. Словом, все всячески за ними ухаживали, и все было бы очень хорошо, если бы только мальчик и белочка могли пользоваться прежней свободой.

Описывал я окунутым в драматизм пером и появление угрожающих или спасающих привидений в старых замках, перешедших в руки разбогатевших торговцев, к которым, в силу превратностей судьбы, поступили в услужение совершенно обнищавшие потомки прежних владельцев, и как благодаря этим призракам выходили самые неожиданные и утешительные для чувствительных читателей комбинации в дальнейшей судьбе героев.

Я отправлял в рождественские вечера массу детей, молодых, подававших «блестящие надежды» людей обоего пола и добродетельных старичков и старушек прямо на небо, чем, наверное, не раз ставил в тупик самого апостола Петра; воскрешал по случаю святого вечера считавшихся погибшими и горько оплакиваемых сыновей, женихов и просто возлюбленных, и приводил их домой или туда, где они были всего нужнее, как раз вовремя, чтобы они могли принять участие



в аппетитном ужине.

Вообще мало ли я чего наделал для рождественских вечеров и даже гордился своей неистощимой изобретательностью в этом роде. Ну а теперь уж остыл, и мне делается прямо тошно при одной мысли, что я мог писать такую белиберду. Кажется, даже ради спасения души мне теперь не выжать из себя ни одной «рождественской» строчки.

– Верю, верю, дружище, – задумчиво произнес Б., шагая гигантскими шагами, что я едва поспевал за ним. – Мне, может быть, еще тошнее. Ты подумай только: сначала рождественские заботы в редакции – и это на протяжении целых четырех месяцев, ведь некоторые сотрудники приносят или присылают свои рукописи чуть не накануне выпуска номера, хотя обещали доставить их не позже конца сентября; а потом те же заботы и тревоги начинаются дома. Домашние расходы растут непомерно уже с середины мая. Хотя я и знаю причину: жена старается накопить мне на хорошенький рождественский подарок, но... Ох уж мне эти подарки! Лучше бы их не было! Моя бедная женушка из-за них целые полгода не знает себе покоя. Сестра ее, Эмма, тоже мучится, чтобы сделать мне хорошенькую акварельную картинку, которую заставит повесить непременно в гостиной... Если я не ошибаюсь, ты уже имел случай любоваться художественными произведениями моей свояченицы Эммы?

– Имел, и не раз, – ответил я. – А ты не доволен ими?

– Желал бы я видеть человека, который был бы ими дово-

лен! – с горечью воскликнул Б. – Удивляюсь, как мало здравого смысла у этих артистов, в особенности из любителей. Я всегда вешаю эти картинки в коридоре: для коридорных стен при отсутствии яркого освещения такая мазня еще может служить некоторым украшением. А она обижается и настаивает на гостинной. Ну, ради домашнего мира и уступишь ей... И хоть бы подписи-то верные делала, все же легче было бы, а то и на это не хватает здравого смысла. Так, например, одну картинку, которую следовало бы назвать «Последствия инфлюэнцы», она назвала «Греза». Я как-то раз спросил ее, почему она выбрала такое неподходящее название, и она объяснила мне, что, будучи в Норфолке, видела одну молодую девушку именно с таким «мечтательным» выражением лица, смотревшую на облака. Ну, вот, она не утерпела и воспроизвела это своими акварелями... Силы небесные! Да если бы мне довелось увидеть в Норфолке или еще где-нибудь в провинции – в столице никогда таких противоземных «мечтательных» выражений не увидишь, – то я сию же минуту вернулся бы назад в Лондон, чтобы избавиться от искушения – не увековечить это искажение, а уничтожить его... Ах, лучше и не вспоминать об этих любительских живописных корчах! Довольно того, что я не могу отделаться от них дома, – отчаянно махнув рукой, заключил Б.

Не имея в данную минуту определенной цели, я почти машинально следовал за своим другом, и с удовольствием слушал его горячую речь. Мне хотелось сказать ему что-нибудь

утешительное, но он предупредил меня, вновь заговорив на мучившую его тему.

– Никогда не могут сделать разумных подарков, непременно хватят через край! – горячо продолжал он. – В прошлом году мои дамы все добивались узнать, чего бы я себе желал. Допытывались всяческими уловками, хотя и не настолько уж тонкими, чтобы я не мог понять. А я действительно ничего не желал. Наконец, чтобы успокоить их, я дал им понять, что хотел бы Теннисона. Пошептались, устроили складчину, и под елку положили полное издание Теннисона в двенадцати томах. Переплеты самые роскошные; множество цветных фотографических иллюстраций; бумага, печать – все первосортное. Разумеется, они делают все это от чистого сердца, но, повторяю, очень уж нерассудительно. Дернула меня однажды нелегкая намекнуть, что я не прочь бы иметь новый табачный кисет, и они поднесли мне огромнейших размеров голубой бархатный мешок, расшитый бисерными цветами в кулак величиною. Целый фунт табаку входило в него и ни в один карман он не влезал. Я потом отдал этот «кисет» обратно жене. Она очень обрадовалась ему и употребляла его вместо ридикиюля. В другой раз они меня обрадовали поднесением... Чего бы, как ты думаешь? Темно-красного бархатного смокинга, украшенного вышитыми разноцветными шелками незабудками и порхающими над ними бабочками! И все спрашивают, почему я не ношу этой прелести. На Рождестве попробую явиться в этом наря-

де в наш клуб, чтобы немножко расшевелить наших сочленов, сделавшихся чересчур уж сонными. Но не легче мне и тогда, когда я сам должен выбирать подарки для своих домашних. Как ни стараюсь попасть в точку, а между тем постоянно делаю промахи и обязательно приобретаю что-нибудь ненужное или старомодное. Если, например, куплю жене шиншиловый воротник на зимнее пальто, то непременно окажется, что этот мех давно уже вышел из моды и на тех, которые еще носят его, указывают пальцами. Жена принимает мой подарок с самой очаровательной улыбкой и нежным голоском говорит: «Ах, милый, как ты обрадовал меня этим подарком! Я именно этого себе и желала. Пусть он долежится до новой моды!»

Дочери дарю шейную часовую цепочку, когда эти цепочки тоже никем уж не носят. Когда же были в моде эти цепочки, я дарил дочери серьги в виде огромных колец. Дочь делала восхищенную мину, сердечно благодарила меня и просила взять ее на костюмированный бал, потому что только туда и можно в полной безопасности от насмешек надеть это украшение.

Однажды я потратился на приобретение жене и дочери дюжины белых перчаток с толстыми черными швами, как раз в то время сделавшихся предметом щегольства бонтонных горничных из предместий. Я подозреваю, что все торговцы нашего обширного города нарочно берегут свою завадь специально для меня. И посмотрел бы ты, с какой готов-

ностью они предлагают мне ее! Чуть не весь магазинный персонал суется возле одного меня, оставляя в стороне других покупателей.

Не дальше, как неделю тому назад, жена попросила меня купить ей и нашей дочери несколько пар новых перчаток, так как недавно купленные мною должны вылежаться «до моды». Всегда готовый к услугам, я обрадовался поручению жены и был уверен, что выполню его как нельзя лучше. В попыхах я влетел в первый попавшийся универсальный магазин, хотя терпеть не могу бывать в таких учреждениях. Ведь на каждого попавшего туда мужчину там смотрят как на какое-нибудь заморское чудовище. Подошел ко мне какой-то запитой купидон и с изящным поклоном осведомился, как мне нравится погода. Я ответил ему, что пришел вовсе не с намерением толковать о погоде, а с целью купить дамские перчатки.

– Мне нужно на четыре пуговицы, – объяснял я на память, – но пуговицы не должны быть видны, а... Одним словом, вы должны понимать, чего я желаю.

Купидон снова поклонился и сказал, что вполне меня понимает, хотя, по правде говоря, я чувствовал, что понять меня – задача не из легких. С целью, вероятно, еще больше запутать дело, я прибавил, что мне нужно три пары перчаток кремового цвета и три пары цвета молодой лани, и чтобы они были «шведские». Оказалось, что это название теперь несколько изменено, о чем купидон и поспешил преду-

предить меня. Сбитый этим сообщением еще более с толку, я должен был повторить все снова, и притом довольно пространно. Купидон внимательно выслушал меня, и когда я наконец кончил, спросил:

– А еще что будет вам угодно, сэр?

– Больше ничего.

– Хорошо, сэр. Пожалуйста за мной в другое отделение.

И он повел меня в следующее помещение, где отрекомендовал некоему мистеру Дженсону как человека, желающего купить перчаток.

– Какие именно вам угодно перчатки, сэр? – отнесся ко мне также с вежливым наклоном головы мистер Дженсон.

Я повторил ему свой перечень.

Мистер Дженсон осведомился, какие я желаю перчатки, лайковые или замшевые.

Начиная волноваться, я сказал ему, что терпеть не могу повторять сто раз одно и то же. Мистер Дженсон выразил по этому поводу свое глубокое сожаление, и я скрепя сердце еще раз повторил свое требование и заявил желание, чтобы пуговицы были пришиты крепко и перчатки сидели хорошо, причем прибавил, что последние перчатки, приобретенные моей женой в этом магазине, оказались крайне неудовлетворительными. Жена велела непременно сказать это, где бы мне ни пришлось покупать. Она была уверена, что такое замечание заставит приказчиков отнестись повнимательнее к покупателю.

Мистер Дженсон слушал меня с таким упоением, точно перед ним распевала какая-нибудь всемирная оперная знаменитость.

– А какого размера, сэр? – спросил он, когда я замолчал.

– Какого размера?.. Гм!.. Кажется, шесть... да-да, шесть.

А в случае, если этот размер окажется слишком велик, можно и пять три четверти, – продолжал фантазировать я и к чему-то добавил: – Кремовые перчатки должны быть непременно с черными швами.

– Очень хорошо, сэр, – вежливо проговорил мистер Дженсон. – А не угодно ли еще чего-нибудь, сэр?

– Нет, пока больше ничего, благодарю вас, – изощрылся в вежливости и я.

Мистер Дженсон пригласил меня в специальное перчаточное отделение. Где мы ни проходили, служащие и публика глядели на нас с напряженным любопытством. Публика, разумеется, как и полагается в этих универсалах, состояла исключительно из дам всевозможных возрастов и видов. Перчаточное отделение оказалось так далеко, что я почувствовал некоторое утомление, когда мы наконец добрались туда. Мистер Дженсон подвел меня к одному еще более купидонообразному юнцу, чем первый господин, и лаконически сказал ему: «Перчатки!» – после чего исчез за какой-то драпировкой. Новый купидон грациозно перегнулся ко мне через прилавок и прошептал:

– Перчатки для дам или для джентльменов, сэр?

Ты, конечно, можешь понять, что я уже находился в той степени раскаленности чувств, когда человек способен разломить другому голову. Однако со свойственной мне силой воли я сдержался и только выразил желание узнать, все ли здоровы в этом обширном торговом улье. Купидончик номер второй, видимо, не понял меня и ответил, что, благодаря Бога, никто не хворает. Тогда я объяснил ему, сколько времени меня таскали по отделениям и сколько было разных допросов и заключил словами:

– Может быть, и вы поставлены здесь для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, зачем я, мужчина, затесался сюда, в дамское царство? Если же нет, если вы поставлены прямо для дела, то потрудитесь меня больше не задерживать.

К счастью, дальше меня никуда не повели, и я приобрел наконец перчатки. Положим, они оказались совсем не такие, какие были нужны жене (после я случайно узнал, что она в тот же день потихоньку бегала их менять, хотя уверяла меня, что я приобрел именно такие, какие требовались, и очень благодарила за них), но это вопрос уже иной. Самая же суть здесь состоит в том удовольствии, которое я каждый раз испытываю, когда делаю покупки.

Я согласился с ним, что делать дамские покупки – самое скучное и даже, пожалуй, самое унижительное дело для мужчины.

В это время мы дошли до одного места, где можно было присесть отдохнуть. Мы сели, и Б. спросил меня, отчего бы



не написать статейку на тему необходимости уничтожения рождественских праздников.

– Ну, – отозвался я, – это выйдет вроде того, как в одном наиболее прогрессивнейшем американском журнале был поднят вопрос об уничтожении между людьми пола: чтобы не было ни женщин ни мужчин, а были бы одни... человеки. Хотя и нашлись такие умники, которые подхватили было этот вопрос и начали его обсуждать, но, к чести человечества, их оказалось немного, и безумнейший из безумных вопросов живо был сведен на нет.

– Уж не хочешь ли ты этим сказать, что и вопрос об уничтожении рождественских праздников со всеми их ненужными и всем надоевшими условностями принадлежит к категории безумных? – с каким то особенно напряженным вниманием проговорил Б., впиваясь в меня глазами, чего раньше никогда не делал.

– Конечно, – ответил я. – Я не вижу никакой надобности в уничтожении рождественских праздников.

– Но почему? – недоумевал мой приятель, причем взгляд его становился все более и более странным. – Ты это серьезно говоришь?

– Вполне серьезно. Ведь как-никак, а эти праздники для множества людей, не говоря уж о детях, составляют чуть ли не единственное поэтическое украшение их скучной, безотрадней, унылой, будничной жизни. К тому же самая идея этих праздников о рождении Бога Света, торжествующего

над мраком, так хороша.

Б. вдруг близко нагнул ко мне голову и с прояснившимся лицом и взором прошептал:

— Радуюсь, что я не один того же мнения. Я все сомневался в правильности моих мыслей на этот счет, в особенности когда рождественские заботы слишком уж сильно одолевают меня. Но теперь я могу успокоиться. Да, идея Рождества очень хороша, и ради нее следует терпеливо переносить весь приставленный к ней балласт...

Когда мы с Б. распростились и я остался один, мне припомнилось, как я в юные годы посещал одно тайное общество рьяных переустроителей мира. Помню, как на одном из вечерних заседаний этого общества был выработан проект об уничтожении дворянства и короны и учреждении республики. Все это представлялось членам собрания таким же легким делом, как сесть за готовый стол и пообедать. На следующем заседании был произведен сбор денег на совершение переворота, а так как собрание было довольно многолюдное и состояло из лиц не только горячих, но и довольно состоятельных в финансовом отношении (таких бедняков, как я, было немного), то и собралась довольно приличная сумма. Когда же сбор был повторен еще два раза, то набралось уже столько, что казначей общества счел возможным удрать в Америку и оставить всех заговорщиков по переустройству мира с носом.

Мало ли кому может взбрести в пустую голову мысль об

уничтожении того, чего лучше не трогать...

Да и браться за дело, в котором мало смыслишь, вроде, например, дамских покупок, тоже не следует.

## VII

# О времени, потраченном прежде, чем человек решится прыгнуть

Наблюдали ли вы когда-нибудь, как женщина уходит из дома? Когда уходит мужчина, он говорит:

– Ухожу. Скоро вернусь.

– Джордж! Джордж! – кричит ему жена с другого конца дома. – погоди одну минуточку... Мне нужно...

Она слышит падение шляп с полки, сопровождаемое хлопанием выходной двери. Запыхавшись она выбегает в переднюю, где, подбирая и водворяя обратно на место упавшие шляпы, огорченно бормочет:

– Ах, боже мой! Что ж это он?.. Мне бы нужно столько из города...

Она знает, что бесполезно выбегать на улицу и пытаться остановить мужа, потому что он наверняка уже исчез из вида, и чуть не плачет, раздумывая о том, что мужчины всегда так грубо уходят.

Когда же собирается уходить женщина, то делает это не украдкой и не сразу, а так, чтобы все домашние заранее об этом знали. Она предупреждает об этом уже накануне, за обедом, и потом повторяет еще несколько раз вплоть до самого отхода ко сну. Впрочем, в это время, приблизительно

за вечерним чаем, она вдруг заявляет, что лучше пойдет не завтра, а послезавтра; а когда все домашние успеют проникнуться этой новой «новостью», выражает желание пойти все-таки завтра. Она даже распоряжается, чтобы горничная подала ей на ночь в спальню горячей воды для мытья волос, но внезапно отменяет это распоряжение и долго задумчиво смотрит в пустую чашку. Но вот забегают на огонек добрая знакомая, сторающая от нетерпения передать скорее какую-то сплетню. Наболтавшись досыта о чужих делах, хозяйка дома вдруг заявляет и гостье, что намерена завтра утром отправиться в город, приглашает и ее с собой.

– Да ведь завтра среда, – возражает гостья, – а в этот день вы, душечка, всегда берете уроки музыки. Когда же вы успеете?..

– Ах, боже мой! – всплескивает руками хозяйка. – У меня это и из головы вон... и никто из вас не напомнил мне, – укоризненно обращается она к домашним. – Хорошо, что вы, дорогая (это обращение уж к гостье), догадались зайти и напомнить. Без вас я совсем осрамилась бы завтра... Впрочем, вот что, душечка: мы можем отправиться пораньше утром, так что я успею вернуться домой до прихода учительницы музыки... Милая, дорогая (следуют объятия и поцелуи), оставайтесь ночевать у меня. Мы встанем как можно раньше, напьемся чаю и отправимся к самому открытию магазинов. Вы доставите мне такое большое-большое удовольствие, за которое я вечно буду вам благодарна.

После некоторых колебаний гостя на повторенные усиленные просьбы и убеждения хозяйки остается ночевать.

Снова отдается распоряжение о горячей воде. И долго еще после полуночи слышно, как они в спальне плещутся водой и щебечут как сороки.

Утром они поднялись, разумеется, гораздо позднее, чем предполагали; поэтому обе не в духе, чересчур нервно завтракают и каждые пять минут осведомляются одна у другой, готова ли она, причем каждая неизменно отвечает, что ей осталось только надеть шляпу и перчатки.

Небо хмурится, и женщины недоумевают, будет ли дождь или «потом разгуляется». Горничная уверяет, что скорее всего будет дождь, и дамы решают, что в таком случае лучше отложить путешествие до следующего дня; быть может, тогда будет хорошая погода. Но минуту спустя хозяйка находит, что ей во что бы то ни стало нужно сделать покупки именно в этот день, и добавляет по адресу гостя:

– А если вы опасаетесь дождя, милочка, то я, разумеется, не решусь беспокоить вас.

До этого момента гостя была очень склонна отправиться прямо домой, теперь же она готова хоть на стену лезть, чтобы доказать свою готовность к «самопожертвованию».

Нерешительность, однако, продолжается, но уже со стороны хозяйки: она то надевает шляпку, то снимает ее. Эта процедура тянется часа полтора. Весь дом взбудоражен, словно ожидается нечто вроде вражеского нашествия. Бегают, сует-

тятся, переговариваются в сильно повышенном тоне, то и дело подбегают к окнам, смотрят на барометр, посылают горничную на улицу удостовериться, не идет ли уж дождь; но в конце концов все-таки решаются и выходят. Впрочем, минутки через две раздается с подъезда нетерпеливый звонок. Оказывается, одна забыла зонтик, а другая – кошелек.

Кстати, по поводу кошелька. По отношению к этому предмету между мужчиной и женщиной также замечается коренная разница. Мужчина всегда носит кошелек при себе в кармане, и когда должен достать из него деньги, то производит эту операцию совершенно просто и легко, без всяких осложнений. У женщины же это дело требует много времени и ловкости.

В самом деле, посмотрите, сколько мучений бедной женщине с ее кошельком. Вот, например, дама желает купить букет фиалок у цветочницы на улице. В одной руке у нее два свертка, в другой зонтик. Двумя пальцами правой руки, в которой находятся пакеты, она берет букет. Но вот возникает мудреный вопрос: как заплатить за цветы?

Минут пять дама мысленно решает этот вопрос. Она чувствует, что должна заплатить, и хочет это сделать, но долго не может выяснить себе, в чем, собственно, затруднение. Наконец она догадывается, что затруднение заключается в том, что у нее заняты обе руки, а лишней руки, назначенной специально для доставания денег из кармана, нет. Она оглядывается, нет ли поблизости стола или скамьи, куда бы

она могла положить имеющиеся у нее в руках предметы, но на всей улице ничего подобного нет. Делать нечего: приходится бросить пакеты и букет прямо на тротуар. Цветочница ловко подхватывает их и держит. Это дает даме возможность отыскивать карман правой рукой, между тем как левой она размахивает над своей головой открытым зонтиком. Но так как открытый зонтик при данных условиях мешает ей, она пытается его закрыть; это удается ей только после того, как она сшибла им с головы проходящего джентльмена шляпу прямо в канавку и попутно чуть было не выколола глаза цветочнице. Закрыв наконец зонтик, дама прислоняет его к цветочной корзине, и теперь уж серьезно приступает к главному делу обеими освобожденными руками. Крепко схватив себя левой рукой за заднюю часть туловища, она поворачивает голову так, чтобы затылок ее пришелся вперед, а глаза – назад. Продолжая крепко придерживать левой рукой за зад – без чего непременно должна бы потерять равновесие и, пожалуй, также угодить в канаву вслед за джентльменской шляпой, – она правой судорожно шарит в складках платья. Хотя она и ощущает под этой рукой кошелек, но не знает, как извлечь его. Самое удобное было бы расстегнуть юбку и повернуть ее задом наперед, потом опустить руку в карман и достать кошелек. Но эта простая идея не приходит даме в голову (да если бы и пришла, то оказалась бы не совсем удобной на улице). Задняя сторона юбки собрана в три десятка складок, между двумя из которых находится «секрет-



ная» пройма с карманом.

Наконец после огромных усилий кошелек все-таки извлекается на свет божий. Но этим дело еще не кончено: необходимо открыть кошелек. Дама знает, что он открывается нажимом на какую-то пружину, но где и как нужно нажать, она в эту минуту никак не может припомнить. И вот она начинает со всех сторон трясти и мять кошелек. На это еще уходит добрых пять минут, Вдруг кошелек открывается случайно, а быть может, просто потому, что ему надоело быть истязуемым дамскими ручками.

А так как владелица кошелька совсем не ожидала такого коварства с его стороны и держала кошелек головой вниз, то все его содержимое, разумеется, высыпается на тротуар под ноги прохожих, а иногда катится и прямо на мостовую под ноги лошадей, под колеса экипажей, велосипедов и других современных приспособлений для езды. Раздаются охи, ахи, крики, словом, начинается чуть не уличный скандал.

Известно, что женщина всегда держит в первом отделении своего кошелька вперемешку и золото и серебро, а в его «тайных» отделениях прячет почтовые марки, счета и пр. Иначе она не может, потому что она – именно женщина, а не мужчина.

Помню негодование одного старого трамвайного кондуктора. В вагоне помещалось девять дам и двое мужчин. Я сидел у самой двери, где стоял кондуктор, поэтому он и обращался со своими замечаниями прямо ко мне.

– Вот, полюбуйте́сь, сэ́р, сколько ей возни, пока она до-  
станет деньги, – кивнул он мне на одну толстую женщину в  
противоположном углу, достававшую свой кошелек выше-  
описанным образом. – Они все сидят на своих деньгах, слов-  
но надеются высидеть из них новые! – с иронией говорил он.

Женщина долго кряхтела и пыхтела, ворочалась и дерга-  
лась, пока не вытащила буквально из-под себя большой, за-  
саленный и туго набитый кошелек в виде табачного кисета.

– Извольте-ка сидеть на такой штуке целую дорогу! – вор-  
чал кондуктор. – Удивляюсь, как они еще выносят? Я бы  
не мог... Да то ли еще бывает, – разошелся он, видя, что я  
его слушаю. – Поверите ли, сэ́р, я недавно видел, как такая  
же вот лепеха достала из-под себя дверной ключ, жестянку с  
конфетами, коробку с сардинками, несколько пачек шпилек,  
складной нож и огромный, битком набитый кошелек. Не  
понимаю, как устроены эти женщины! Совсем по-другому,  
чем мы. И наказание же с ними! Хоть ангела могут довести  
до бешенства... Что бы ей заранее приготовить свои два пен-  
са за проезд? Ведь она знает, что ей придется платить, и мог-  
ла бы вовремя вынуть из кошелька деньги и держать их в ру-  
ке. Нет, дождется, когда к ней подойдешь с требованием! И  
начинается удовольствие. Сперва шарит у себя по правому  
боку, потом по левому. Затем встает, отряхивается, как со-  
бака, толкает соседей, заезжает им локтями то в лицо, то по  
шляпе... Надо будет предложить управлению, чтобы назна-  
чили сюда сборщицами денег за проезд женщин же: те, по

крайней мере, знают, куда и как надо лезть к пассажирам в карманы, чтобы без дальних рассуждений и проволочек достать у них кошелек...

Оговорюсь. Все это я пишу вовсе не с целью высмеивать женщин. Избави бог! У меня совсем другая цель. Я убежден, а может быть, и ошибаюсь, но сама жизнь привела меня к этому убежденно, что мы, мужчины, грешим излишней осторожностью и серьезностью. Слишком медленно и тяжело проходим мы свой жизненный путь, постоянно заглядывая себе под ноги. Этим мы, пожалуй, избегаем опасности споткнуться о камень и упасть, зато и лишаемся возможности любоваться синевой неба, сиянием солнца, зеленью деревьев, полетом птиц. Те книги, которые твердят нам, что мы должны тратить свои лучшие годы на погоню исключительно за успехом, то есть за положением и деньгами, чтобы в восемьдесят лет, превратившись уже в развалину, мы могли пользоваться плодами своих трудов, такие книги, говорю я, наводят на меня тоску и грусть. Целые дни мы надрываемся, бьемся, терзаемся, чтобы набрать побольше денег и всунуть их в какой-нибудь мыльный пузырь в виде акций или облигаций. Хотелось бы взглянуть на пышно распустившуюся розу, но некогда, и мы откладываем это до завтра. Завтра же окажется, что роза уже завяла. Ну не беда: ведь роза – не капуста, можно прожить и без нее.

Жизнь – это нечто такое, что должно переживать, а не расточать, с чем должно считаться. Жизнь не подчиняется

сухим формулам. Это не шахматная игра, в которой победа достается наиболее сообразительному; ее скорее можно уподобить карточной игре. И действительно, в жизни преуспевает зачастую не тот, кто умен и учен, а просто тот, у которого имеется определенное чутье. Я знал одного очень быстро разбогатевшего подрядчика, который не мог грамотно подписать своего имени и в течение тридцати лет ни одного дня не был трезвым. Следовательно, то, что принято называть успехом, не зависит даже от нравственных качеств. Человек, который столько времени ежедневно допивался к ночи до чертиков, никак не может, по обычной оценке, считаться нравственным, а между тем его «безнравственность» ничуть не мешала ему богатеть и подниматься в гору, как не препятствовала этому и его безграмотность.

Жизнь, в сущности, игра простая, но мы, игроки, имеем о ней неверное понятие. Мы все хотим подвести ее течение под известные правила, как делают те самонадеянные люди, которые садятся за рулетку в Монте-Карло с различными «безошибочными» вычислениями в руках, в полной уверенности, что, следуя этим вычислениям, они непременно сорвут банк. Разумеется, всех их постигает горькое разочарование: не они срывают банк, а зачастую *их* срывает банк.

Гораздо умнее, когда, пускаясь в азартную игру, мы берем пример с тех спокойных опытных игроков, которые с одинаковым равнодушием встречают удачу и неудачу, со спокойной улыбкой кладут в карман выигрыш и с таким же спокой-

ствием оставляют на столе проигрыш.

Быть может, мы для того и привлечены к игорному столу, чтобы научиться добрым качествам дельных игроков: самообладанию, стойкости в неудачах, скромности при успехах, рассудительности, быстроте действий и равнодушию к переменам судьбы. Если мы усвоим себе хотя частичку этих качеств, то время нашего пребывания на земле не будет потерянным. Если же мы, вставая из-за игорного стола жизни, унесем с собой лишь гневное раздражение на предполагаемую несправедливость судьбы и острую обиду за себя, то, значит, мы только понапрасну потеряли время за этим столом.

Не нужно забывать, что к нам каждую минуту может постучаться неумолимый перевозчик и сказать:

– Номер пятьсот миллиардов двадцать восьмой, пожалуйста, ваша лодочка готова.

– Как, уже?! – с ужасом восклицаем мы и начинаем метаться по комнате.

Мы суетливо собираем свои игорные жетоны. Но на что они нам теперь? Ведь по ту сторону Великого Берега они не в ходу. Сообразив это, мы по пути к ожидающей нас лодке бросаем их первому попавшемуся нищему, жаждущему, в свою очередь, занять место за зеленым столом. Пусть его наслаждается, пока не потухнут и в нем неисполнимые надежды...

Держите сухим свой порох и возложите свои упования

на Провидение – гласит девиз мудрости. *Отсыревший* порох никому из нас не может быть полезен, а *сухой* может помочь исполнению планов Провидения относительно нас.

Большую ошибку делаем мы и тогда, когда чертим план жизни, рассматривая участников этой жизни как существ разумных. В этом случае мы обязательно должны ошибаться. Идеалистически настроенные люди мечтают, что жизнь на земле сразу превратится в настоящий рай, если по громадному большинству голосов во всех местах мира одновременно будет реформирован брак, будет решена социальная проблема, будут уничтожены война и бедность, а грех и все человеческие горести будут признаны несуществующими.

Эх, милостивые государыни и милостивые государи, напрасно вы ждете всего этого, даже в более или менее отдаленном будущем! Поверьте, не нужно никаких социальных переворотов и никаких постепенных подготовок к этому народных масс; рай на земле может быть восстановлен уже завтра, при одном лишь условии: *чтобы мы все были одинаково рассудительны.*

Представьте себе мир вполне разумных существ. Тогда и десять заповедей будут не нужны, потому что ни одно действительно разумное существо не может предаваться греху и впадать в грубые заблуждения. В этом мире не было бы безумно богатых людей, потому что какой же разумный человек пожелает есть за двоих, в то время как другой, такой же разумный, умирает с голода? Не было бы споров и разно-

гласий, потому что одинаково разумные люди будут на все смотреть с одинаковой точки зрения. Не будет больше сюжетов для драм и трагедий, не будет сумасбродных страстей и поступков, не будет кратковременных бессмысленных радостей, тяжелых горестей и диких мечтаний. Во всем и повсюду будет один спокойный, уравновешенный разум, не способный ни на какие крайности, ни на какие глупые увлечения.

Но пока что мы остаемся неразумными и нерассудительными. Вот, например, я отлично знаю, что если буду есть такой-то майонез и пить такое-то шампанское, то у меня обязательно заболит печень, однако я ем и пью. Джули – очень милая девушка, умная, трудолюбивая, веселая и, кроме того, имеет пай одного крупного пивоваренного общества. Но почему же Джон женится не на ней, а на Анне, которая, как ему хорошо известно, обладает дурным характером, очень требовательна и не имеет ни гроша за душой? Да просто потому, что в подбородке Анны есть что-то чарующее для Джона, а что именно – он и сам не может объяснить. И хотя Джули гораздо красивее Анны, но Джона тянет больше к Анне. Кончается эта история тем, что Джон женится на Анне, а Джули делается женою Тома. Сначала Том счастливее Джона. Вскоре, однако, картина изменяется. Пивоваренное общество, в котором Джули имела пай, лопается, а сама Джули схватывает какую-то болезнь, которая приковывает ее к постели. В то же время Анна получает от какого-то австралийского дядюшки, которого она сроду не видала и даже не слыхала о

нем, наследство в десять тысяч фунтов. Характер Анны исправляется, а характер Джули портится, и теперь Джон оказывается счастливее Тома.

Мне рассказывали об одном молодом человеке, который очень заботливо выбирал себе жену, проникнувшись той истиной, что в этом деле необходима особенная осмотрительность. Он рисовал себе свою будущую жену носительницей всех прекрасных качеств, которыми должна обладать женщина, и свободною от всех недостатков, за исключением тех, без которых немислима никакая женщина. Он желал иметь в жене не только возлюбленную, но хорошую помощницу и друга. Словом, он искал в жене полное совершенство. И ему показалось, что он нашел в одной приглянувшейся ему девушке это совершенство. Женившись на ней, он открыл, что она действительно была такою, какою представилась ему при первом же знакомстве с нею. Но почему-то он не мог полюбить ее, хотя она вполне стоила любви. И брак его не был счастлив.

А как легка была бы жизнь, если бы мы знали самих себя и могли бы быть уверены, что завтра будем думать и чувствовать точь-в-точь так же, как сегодня. В прекрасный летний день мы влюбляемся в хорошенькую, живую и остроумную девушку, влюбляемся так, что при одном воспоминании о ней готовы лезть на стену. Мечтаем посвятить всю свою жизнь ей. Воображаем, что высшее счастье на земле – это возможность ежедневно чистить башмаки своей милой и це-



ловать край ее платья, и если этот край будет немного испачкан в уличной грязи, то тем нам будет приятнее. Все это мы и высказываем ей, и говорим совершенно искренне, от всей души.

Но проходит прекрасный летний день, а вместе с ним исчезает и наше сверхлюбленное настроение. Наступает суровая холодная зима, и мы ломаем себе голову над разрешением мудреного вопроса, как бы выйти из неловкого положения, в которое мы попали благодаря летним настроениям. Может случиться и так: мы в своем июньском или июльском увлечении поспешили обручиться, и вот при наступлении зимы должна состояться наша свадьба (мне думается, немало осенних или зимних свадеб является именно результатом догоревших летних огней); но месяца через три бедная женщина начинает чахнуть от разбитого сердца, потому что ее мужу надоело не только обтирать, но даже завязывать или развязывать ей башмаки, да и сами ножки ее кажутся ему теперь слишком некрасивыми и неуклюжими, что однажды в минуту раздражения он и высказал ей. Вся вина мужа в том, что он, как и все люди, большой ребенок, который сам не знает, что хочет, и, разыгравшись, толкает других, не обращая на это внимания, но кричит, когда толкнут его самого.

Я знаю одну американку, которая в разговорах со мною часто жаловалась на невозможные грубости своего супруга. Когда чаша ее терпения, по собственному выражению американки, переполнилась, последняя развелась с мужем. Все

знавшие ее, в том числе и я, сердечно поздравляли ее с избавлением от невыносимого супружеского ига. Потом она исчезла с нашего горизонта.

Через год с небольшим как-то раз, совершенно случайно, я встретился с этой дамой на улице. Беседуя с нею, я спросил ее о бывшем муже.

– Он снова женат, – ответила она с какою-то странной улыбкой и тут же прибавила: – И, кажется, счастлив.

– Счастлив! – с горячностью вскричал я. – Как будто кому нужно его счастье? Скорее можно поинтересоваться, счастлива ли с ним...

– Он сильно изменился в добрую сторону, – не дав мне договорить, заметила моя собеседница.

– Этого быть не может! – тоном непоколебимой уверенности возразил я. – Негодяй всегда останется негодяем.

– О, пожалуйста, не называйте его так! – взмолилась она с загоревшимися от волнения щеками и глазами.

Но я все не понимал.

– Почему же мне не говорить правды? – удивлялся я. – Ведь вы сами же не раз называли его так.

– Мало ли что бывает... Я была не права, – смущенно пролепетала она. – Конечно, не совсем прав был и он. Но ведь мы тогда оба были чересчур еще молоды и... сумасбродны. Теперь же мы стали постепеннее и научились на многое смотреть другими глазами...

Замявшись, она потупила голову и несколько времени

шла рядом со мною молча. Молчал и я в ожидании дальнейших откровенностей. И мои ожидания не обманули меня.

– Вам бы лучше самому повидаться с ним, – с каким-то словно виноватым смешком проговорила она, готовясь сесть в вагон трамвая. – Вы узнаете от него лично, доволен ли он теперь... Ведь его вторая жена – все я же... Да-да. Это вас удивляет? Говорю вам: мало ли что бывает на свете... Мы живем на...

Она сообщила свой адрес, но я не расслышал его. Трамвай унес ее, а я долго стоял на одном месте, как прикованный, и, разинув рот, глядел ей вслед.

Мне кажется, что предприимчивый священник мог бы составить себе крупное состояние, если бы воздвиг на Стрэнде, поблизости судебных учреждений, маленькую церковь специально для венчания вторым браком тех же самых людей, которые только что окончили в суде свои счета по первому браку.

Один из моих знакомых уверял меня, что он никогда так не любил свою жену, как в то время, когда она потребовала от него развода и потом, когда выступила против него свидетельницей в одном судебном деле.

– Странные вы существа, господа мужчины! – со смехом говорила однажды в моем присутствии одна очень умная женщина. – Вы сами не знаете, чего хотите и что вам нужно.

Эта дама научилась так смотреть на нас, мужчин, потому что имела несколько случаев близко приглядеться к нам. И я

вполне разделяю ее взгляд, потому что тоже достаточно по-присмотрелся к нашему полу. В особенности терпеть не могу одного из нас. Он положительно выводит меня из себя своей непоследовательностью и неустойчивостью. Говорит одно, а делает другое. Умеет проповедовать как какой-нибудь древний мудрец, а поступает как раз наоборот. Отлично знает, что хорошо, но никогда, верно, не делает этого... Но я лучше не стану говорить о нем. Не стоит. Все равно в один прекрасный или дурной день он сделается тем, чем должен сделаться, и его уложат в маленький хорошенький ящик на тщательно приготовленную подстилку, крепко завинтят крышку этого ящика, потом упрячут в укромное местечко близ одной известной мне церкви. Вообще примут все меры, чтобы он лежал спокойно и не имел бы желаний встать, чтобы подвергаться новым жизненным неудобствам...

Но я знаю и такого мужчину, который на вышеприведенные слова умной женщины возразил:

– Вы напрасно на нас нападаете, сударыня. Положим, это совершенно верно, что мы, мужчины, – да и одни ли мы? – плохо знаем самих себя, то есть, собственно говоря, свой дух. Я первый откровенно сознаюсь, что почти совсем не знаю своего духа, а то, что я о нем знаю, мне не нравится. Но ведь не я сам сотворил свой дух и не я выбрал себе его. Я более недоволен им, чем вы можете себе представить. Эта тайна кажется мне еще более непроницаемой, чем вам. Однако я должен жить с нею до конца и не могу от нее отделаться.

Вам следовало бы пожалеть меня, а не порицать.

Иногда на меня находит такое настроение, когда я от всей души завидую древним пустынноикам, которые с такой прямолинейностью и с такой храбростью отчаяния решали задачу жизни. В это время я погружаюсь в мечты о существовании, свободном от тех тончайших, но крепких нитей, которыми опутан наш дух в этой стране лилипутов. Вижу себя перенесенным в какой-нибудь норвежский медвежий уголок, где никто не оспаривает у меня моего королевства. Я один с шумящим сосновым лесом и с блещущими звездами. Чем я там живу – это для меня не вполне ясно. Но много ли мне нужно? Раз в месяц я могу спуститься в населенное место и приобрести все необходимое. Кроме того, я могу промыслить себе кое-что и удочкой. Со мной будут мои собаки и станут говорить мне все, что думают и чувствуют, – говорить своими полными мысли и красноречивыми глазами. Я буду совершать с ними большие прогулки на ничем не стесненном просторе. Мы сообща промыслим себе и пищу, по примеру прежних пустынноиков, которые превосходно обходились без изысканных ресторанных, клубных и разных званных и незванных обедов и ужинов.

Вечером в обществе моих неизменных четвероногих друзей, с трубкою в зубах, я сидел бы возле пылающего костра и думал бы, думал, пока не додумался бы до истинного знания. Руководимый теми таинственными голосами, которые так ясно раздаются только в пустынях, где нет всезаглушаю-

щего городского шума, я, наверное, понял бы, чем назначен быть человек и в чем сущность и цель жизни...

Да, только тогда я узнал бы, чего хочу и куда мне прыгнуть...

## VIII

# О нашем собственном благородстве

В начале моей писательской карьеры мне часто приходилось встречаться с одним маленьким, подвижным, пылким и увлекающимся англазированным французом, большие глаза которого так и горели ярким пламенем. Он развивал передо мною особенную теорию о будущих судьбах человека. В то время я не придавал этой теории значения, потому что, откровенно говоря, еще не в силах был понять ее; с течением же времени я научился понимать многое, раньше представлявшееся мне темным; понял, между прочим, и теорию этого француза.

Он был не из тех, которые видят рай в отсутствии всяких забот и в ничегонеделании. Его понятие о рае было совершенно своеобразное, не имевшее ничего общего с тем, которое обыкновенно рисуют себе люди...

Кстати, о рае. Когда я был еще ребенком, ничем нельзя было так расстроить меня, как описанием того, что, по мнению некоторых окружавших меня добрых людей, ожидает нас на небесах. Мне твердили, что если я буду хорошим, послушным мальчиком, буду держать себя и свою одежду в чистоте и аккуратности, причесывать голову и не надоедать кому, то я после своей смерти попаду в место, где целые дни только и буду делать, что распевать гимны. Представьте себе

такую награду для здорового, резвого мальчика за то, что он будет хорошим! Дальше мне объяснялось, что там, на небесах, не будет ни завтраков, ни обедов, ни чая, ни ужина, – словом, ничего такого. Одна из моих старых тетушек утешала меня, что, если я буду очень хорошим, то, быть может, там изредка угостят меня манной кашкой. Когда же я спросил, можно ли надеяться получать там, тоже хоть изредка, пряничков, яблочек, орешков, вообще какого-нибудь лакомства, тетушка резко отрицала такую возможность. По ее уверениям, там не будет ни школы, ни уроков, зато не будет и никаких игр и забав; не будет и лестниц с перилами, по которым я мог бы съезжать верхом. Единственным моим занятием, развлечением и удовольствием там будет пение гимнов.

– И я должен буду начинать петь, как только встану поутру? – спрашивал я.

– Там, дружок, не будет ни утра, ни вечера, ни дня, ни ночи... Впрочем, день-то будет, один нескончаемый день, – поучала меня тетушка.

– И весь этот день без конца мы должны будем петь? – допытывался я, чувствуя некоторое содрогание.

– Да, дружок. Ты будешь там так счастлив, что и сам захочешь постоянно пить.

– Неужели я никогда от этого не устану и мне не надоест?

– Нет, там не может быть ни усталости, ни голода, ни охоты ко сну, ничего такого. И тебе там никогда не надоест петь гимны.



– И так там будет всегда?

– Да, дружок, всегда, без конца.

– Без конца, как и день?.. А что значит «без конца», тетя?

Миллион лет?

– Да, целый миллион, и еще миллион, много миллионов.

Говорю тебе: конца там никогда не будет...

Помню, как после таких бесед, лежа ночью в постели, я долго не мог заснуть, представляя себе это ужасное бесконечное райское житье, от которого некуда уйти.

Мы, взрослые, не привыкшие размышлять и живущие готовыми представлениями, напрасно мучим любознательных детей такими объяснениями. Скрытый смысл слов «вечность», «рай», «ад» мы, разумеется, еще меньше можем понять в детстве, чем когда вырастаем и начинаем, будучи одарены пытливым умом, хоть смутно догадываться об истинном значении этих слов; но все-таки терзаемся ими, как страшными пугалами, навязанными нам с детства.

Мой французский приятель был человек настолько деятельный, что представлял себе наше загробное существование не иначе как в виде вихря напряженной и непрерывной деятельности. Он был уверен, что наш дух последовательно переходит не только через все стадии биологического развития на земле, повторяясь в бесчисленных существованиях, но по мере своей, так сказать, высшей подготовки переносится с низших планет на высшие и повсюду участвует в творческих процессах природы.

Он находил, что отдельные духи скорее достигли бы известных степеней совершенства, если бы могли сливаться в одно неразрывное целое с другими, обладающими теми высшими качествами, которых не имеют они сами.

– В самом деле, – говорил он однажды, увлекшись этой мыслью, – представьте себе, какая получилась бы прекрасная композиция, если бы смешать какого-нибудь архигорожанина, да вот хоть бы нашего уважаемого лорд-мэра, с поэтом Суинберном как представителем поэзии и с генералом Бутсом, представляющим собою религиозную восторженность. Превосходно дополняли бы друг друга Бисмарк и Гарибальди, а если бы добавить к ним вытяжку из Ибсена, то получилось бы нечто особенно пикантное для высших сфер. Ирландских политиков хорошо бы смешать с шотландскими богословами, а оксфордских магистров – с одной из современных отечественных писательниц. И так далее.

Говоря без шуток, было бы и в самом деле хорошо, если бы большинство из нас, людей среднего уровня, могли составить, так сказать, духовную амальгаму; тогда, быть может, получились бы более годные продукты, чем теперь, когда каждый из нас в отдельности обыкновенно является обладателем лишь некоторых приятных и полезных свойств.

Прекрасная читательница, разве вам не приходило иногда на ум соображение, что если бы ваш Том в придачу к своим собственным положительным качествам обладал еще теми, какими отличаются Гарри и Дик, то он был бы совершенней-

шим из всех супругов на земле? Но, разумеется, раз вы сознаете, что соединить троих в одно лицо нельзя, то поневоле покоряетесь необходимости довольствоваться таким мужем, какой он есть. И благо вам и ему, если вы будете видеть в нем только его хорошие качества, а отрицательные или просто несовершенные станете благородно игнорировать.

Я знал одного человека, который был женат на истинном воплощении грациозной женственности во всех ее лучших проявлениях. Его жена была прелестная, розовощекая, голубоглазая и светлокудрая Гретхен с чудным, безобиднейшим характером; всегда веселая, когда нужно быть веселой, чтобы не омрачать радости других; всегда приветливая в обществе; всегда сострадательная к достойным сострадания; всегда готовая печалиться чужими печальями; очень восприимчивая к поэзии в природе и в жизни, – она представлялась мне полным совершенством. Но представьте себе: муж ее находил, что лишь в том случае он мог бы признать ее таким совершенством, если бы она при всем этом была и настоящей хозяйкой, то есть дрожала бы над каждой просыпанною крупинкою и поднимала бы бурю из-за каждой разбитой кухаркой тарелки; кроме того, умела бы готовить такие обеды, какие подаются в фешенебельных ресторанах и клубах, а не быть противницей так называемого изысканного стола, предпочитавшей простые, здоровые блюда.

Вспоминается мне, кстати, женский идеал повествовательной литературы, которая положительно невыносима

своей деланной безупречностью. Да избавит нас Господь от подобной жены! Такая жена вся соткана из самых утонченнейших нежностей, и в ней нет места ни одной чисто человеческой черте.

Я знаю многих прекрасных женщин, но среди них не нахожу прототипа современной идеалистически настроенной повести. Вы хороши, милые дамы, но вы не ослепляете глаз своей небесной красотой; вы обладаете живым и острым умом и приятным даром слова; вы можете похвалиться разносторонним знанием во всех областях нашей цивилизации и культуры; вы очаровательны в обществе и, быть может, не менее обаятельны в своей домашней обстановке. Но – простите мою смелость – несмотря на все это, до идеала современной идеалистической повести вам так же далеко, как мне до полного совершенства.

Ни одна из вас не может внушить мне уверенности, что вы – единственная идеальная женщина на свете. У всех вас есть известное своеобразие характера, совсем не соответствующее представлению об ангельском. И слава богу! Вы, женщины, так же бываете нерассудительны, непоследовательны, неосмотрительны; так же имеете человеческие аппетиты и инстинкты; так же несвободны от более или менее крупных недостатков, – словом, вы такие же дети Адама и Евы, как и мы, мужчины. И опять-таки скажу: слава богу, что это так. Неземная женщина была бы совершенно неуместна на земле.

Поглядите на придуманную новеллистами «совершенную» женщину. Разве она имеет что-нибудь общего с настоящей женщиной? Она на своем чистокровном скакуне с замечательной смелостью перелетает через шестифутовые изгороди, причем неподражаемо ловко обертывается в седле, чтобы сказать какую-нибудь насмешливую любезность следовавшему за нею мужчине, который как раз в эту минуту сверзился в придорожную канаву и беспомощно барахтается в грязи с живописно задранными вверх ногами. Она грациозно купается в море чуть не в самый разгар бури; ее изящный купальный костюм из тончайшего батиста и кружев сидит на ней как влитой; с легкостью и бесстрашием чайки она носится по бушующим волнам и, когда ныряет, ни одна прядь ее тщательной прически не растрепливается и не сбивается с места; да и сама вода как-то особенно струится с этой современной сирены, скатывается бесследно, точно со стали.

Когда эта сверхженщина катается в лодке, она безошибочно правит по ветру и не боится самого сильного встречного течения; при этом она никогда не зальет ни себя, ни своих спутников, ни лодки потоками воды, как это бывает у неумелых гребцов. Когда она играет в лаун-теннис, то никогда не сделает ни одного, даже пустячного, промаха и никогда не поставит в неловкое положение своего партнера; стоя на цыпочках, она с изумительной ловкостью забрасывает мяч на высоту шести футов над своей «ангельской» головкой. Когда она находится на ледяном катке, то на своих высоких фран-

кузских каблучках ухитряется описывать угол в сорок пять градусов, причем никогда не упадет сама и никого не собьет с ног. Вы никогда не увидите, чтобы она растянулась на зеркальной поверхности или, неграциозно усевшись на льду, с разъехавшимися в обе стороны ногами, кричала: «Ой-ой! больно! помогите!»

Словом, идеальная молодая девица или дама побивает рекорды во всех видах спорта, далеко оставляя за собой своих кавалеров; перечисление же всех ее других совершенств могло бы наполнить целый отдельный том. Нет в ней только тех качеств, которые могут вызвать истинную любовь.

Нам нужна женщина, которая была бы нашим лучшим дополнением, а не нашим соперником; которая была бы трогательна в своей беспомощности и в своей доверчивости к нашей силе; которая может делать промахи, но с таким застенчиво-смущенным видом, что так и хочется поцеловать ее в разгоревшиеся щечки и шепнуть ей: «Ничего, не бойтесь нашего осуждения или – боже сохрани! – нашей насмешки: своей ошибкой вы только доказываете, что вы женщина, а это-то и хорошо».

Напрасно вы, господа новеллисты, рисуете нам «сверхженщин». Разве вы не понимаете, что они могут только мозолить нам глаза? Учите нас лучше понимать тех женщин, которые существуют в действительности и с которыми мы должны иметь дело. Не заставляйте нас пренебрегать последними ради первых.

В самом деле, не легче ли будет нам, людям обоих полов, уживаться друг с другом, если мы перестанем искать одни идеалы, определение свойств которых зачастую зависит от неверно направленных вкусов?

Дорогая леди, позвольте уверить вас, что вы не имеете никакого основания роптать на свою судьбу. Разомкните ваши хорошенькие, но так судорожно сжатые ручки, оставьте занятый вами пост у меркнувшего окна; ваш Джек немножко засиделся с приятелями, но это еще не значит, что он разлюбил и забыл вас. Поверьте, Джек вполне достоин вас, и лучшего мужа вы не могли бы найти. Вам мерещится романический герой сэра Галахад; но ведь он скачет на своем кровном коне и сражается с врагами в стране, слишком отдаленной от нашей маленькой шумной земли, на которой мы живем, проводя свое время в переливании из пустого в порожнее, во флирте, в заботе о красивых нарядах и в посещении разных зрелищ. Сэр Галахад был холостяком; следовательно, если бы он снова и спустился на нашу землю, то все равно едва ли бы женился на вас, как вы ни хороши и ни милы. Он был человеком, созданным не для семейных радостей. Будьте же довольны своим Джеком и не ищите в нем того, что совсем не подходило бы к современному нероманическому строю нашей жизни. Вглядитесь в него беспристрастными, незатемненными предвзятостью глазами – и вы увидите, что он настолько хороший человек, насколько можно требовать при данных условиях.

Ваш Джек честен и открыт, поэтому избегает рисовки и позы. Он не представляет собою ничего исключительно великого – это верно.

Но, дорогая леди, что подразумеваете вы под словами «исключительно великое»? Ведь такое понятие очень растяжимо, и я не советую вам ни к кому прикладывать этой мерки. Если и есть в Джеке какие-нибудь недостатки, то старайтесь с ними примириться, и благодарите Бога, что в нем нет более худших.

Все мы, люди современности, далеки от того, чтобы быть святыми, и свои лучшие мысли мы охотнее выкладываем на словах или на бумаге, нежели приводим в осязательное действие. Настоящие рыцари с их чистою душою, неустрашимым сердцем, стремлением пожертвовать своею жизнью ради высокой цели здесь в плохом спросе, и они не решаются проявляться в нашем мире, потому что этот мир тотчас же возненавидел бы их, стал бы ожесточенно преследовать и заставил бы убраться в другой – лучший.

Но представим себе, что снова явился бы такой рыцарь без страха и упрека, а вы – именно вы – приглянулись ему настолько, что он решился бы предложить вам руку и сердце, и вы приняли бы эти дары. Что же могло из этого выйти? Ведь настоящие рыцари бессребреники. Надолго ли понравилось бы вам ютиться с ним в двух скромных меблированных комнатках в каком-нибудь захолустье, питаться самой простой пищею и одеваться не по последней моде, а в



самое скромненькое платье и окончить жизнь на голых досках? Лет через сто ему, быть может, воздвигнут памятник и вас помянут с почетом как его жену, разделявшую с ним его лишения и невзгоды. Может ли это серьезно манить вас? Настолько ли вы женщина, чтобы вынести такую самоотверженную жизнь? Если же нет, то, повторяю, благодарите Провидение за дарование вам в мужа одного из нас, обыкновенных смертных, дающего вам возможность жить не хуже других. Исключительному мужчине нужна и исключительная женщина, но только не в том виде, в каком она рисуется в повестях.

По совести говоря, ведь и в нас, обыкновенных мужчинах, есть кое-что хорошее, нужно только уметь это увидеть и оценить. И очень может быть, что, если бы мы были поставлены в другие условия жизни, у многих из нас оказались бы свойства истинных героев; но современный быт не требует героев древности и героев Средних веков, поэтому они и не проявляются. Зато мало ли героев и героинь того самого неказистого пошиба, мимо которых мы проходим с равнодушным пренебрежением. Остановимся на минутку на героинях этого сорта.

Каждый день по нашему двору проходит маленькая, худенькая, обтрепанная женщина средних лет; она не хороша на вид, старообразна, угрюма, подчас даже груба и всегда так грязна, что мы запрещаем своим детям подходить к ней близко, чтобы они не замарались об нее. В один скверный

день мы узнаем подробности, о которых раньше не поинтересовались узнать. Оказывается, что эта неопрятная замарашка зарабатывала в неделю шесть шиллингов, и на эту сумму должна была содержать параличную мать, совершенно неработоспособную, и трех младших сестер и братьев. Она одновременно была женою, хозяйкою, нянькою, матерью и добывальщицею хлеба. Но героиней для повести она, конечно, не была.

А вот тот грубый, неуклюжий, однорукий ветеран, одетый в старый потертый мундир. Во время битвы, в самом жарком огне, он отнял назад у неприятеля изрешеченное пулями знамя своего полка, причем лишился правой руки, за что получил крест Виктории. Но и он не годится для салонной повести. «Что ж, он только исполнил свою солдатскую обязанность», – скажут о нем люди, помешанные на «изяществе», и поспешно отвернутся от такой непредставительной фигуры.

Таких героев много, но они так и называются незаметными, потому что и в самом деле «только исполняли свою обязанность». Стоит ли о них говорить?

В общем, все мы не святые. Те немногие из нас, которые решаются стать лицом к лицу с самими собою и поближе рассмотреть себя, ясно сознают, что они полны недостатков и способны на многое дурное. Не будь бдительности полиции да громоздкого аппарата правосудия, рассчитанных на пресечение и кару преступлений, наши отрицательные свойства, наверное, проявлялись бы гораздо чаще и ярче, чем это слу-

чается до сих пор.

Но, сознавая свою способность к дурному, мы можем утешиться тем, что ведь в нашу природу вложено и доброе начало, так что, в сущности, каждый из нас при известных обстоятельствах может оказаться способным даже на великое. Те мученики, которые так стойко претерпевали самые страшные муки и с улыбкою встречали смерть на кострах, были такие же обыкновенные люди, как нынешние. И они имели свои слабые и даже дурные стороны. Перед мелкими искушениями жизни они могли пасть так же легко, как падаем мы. Многие из них были ворами и разбойниками; большинство вело даже дурную жизнь. Вообще редкий из них в обыденных условиях представлял вершину человечества. Но природное человеческое благородство дремало в них, и вот настал день, когда оно пробудилось, чтобы проявить себя изумленному миру. Не будь этого благоприятного для таких пробуждений часа, один Творец знал бы, что таится на дне их душ!

Во все времена и среди всех народов всегда находились герои в лучшем смысле. Французская аристократия беззаботно прожигала жизнь, когда вдруг очутилась лицом к лицу со страшным террором, и в этот момент все, что было в ней истинно благородного, прорвалось наружу и помогло ей величаво встретить смерть. Как ни слаб характером и как ни легкомыслен был наш Карл I, но и в нем в решительную минуту сказался человек, сильный духом.

Мне иногда доставляет особенное удовольствие слышать или читать о слабостях и о мелочности великих людей.

С удовольствием представляю себе, что Шекспир напиивался подчас как сапожник; особенно нравится мне описание его последней злополучной оргии с его приятелем Беном Джонсоном. Быть может, история эта и придумана или, по крайней мере, преувеличена, но она похожа на правду. Я прихожу в восторг, когда подумаю, что он был браконьером, был известен в своей деревне как самый обыкновенный буян и скандалист и мог быть уличен в малограмотности первым сельским школьным учителем.

Я восхищаюсь тем, что у Кромвеля была на носу бородавка; это мирит меня с недостатками моей собственной физиономии. Нравится мне и то, что он имел обыкновение раскладывать по креслам лишние сласти, чтобы потом полюбоваться, как садились в эти кресла ничего не подозревавшие богато разряженные благородные дамы и, когда вставали, то весь зад их пышных платьев оказывался испорченным.

Очень симпатично мне и тяготение Кромвеля к самым плоским и непристойным шуткам, какими обыкновенно услаждаются обыватели разных грязных трущоб. Радуюсь, когда читаю, как Карлейль швырял в свою жену окорок и делал самого себя посмешищем, приходя в ярость из-за таких пустяков, на которые мало-мальски уравновешенный человек и внимания не обратит.

Мне приятно думать, что даже у Иуды могли быть момен-

ты благородства, когда он охотно пожертвовал бы для своего Учителя жизнью. Быть может, и у него иногда звучали в ушах слова: «Прощаются тебе грехи твои». Непременно и в Иуде должно было быть что-нибудь доброе и благородное: ведь и он был человеком.

Добродетели, как и золото, вкраплены в твердый кварц; немного их, и немало нужно труда на то, чтобы извлечь их. Но природа не жалеет ни времени, ни труда на создание огромных масс бесполезного камня, назначенного служить хранилищем ее сокровищ. Быть может, она и в человеческой душе нагромодила столько дряни с тою целью, чтобы иметь удовольствие запрятать в нее крупинки драгоценного металла, выжимаемые оттуда только давлением особенных условий и обстоятельств жгучею потребностью минуты. Мы удивляемся, почему она так делает, почему не бросает золота и драгоценных камней прямо на поверхность, и удивляемся потому, что не можем проникнуть в ее тайны. Быть может, она недаром покрывает золото и драгоценные камни толщами твердого материала, с трудом вскрываемого; быть может, недаром мелким, не заметным для невнимательного глаза светлым струйкам добродетели назначено с такими затруднениями прокладывать себе путь по бездонному океану грязи.

Да, грубый камень господствует повсюду, но в его недрах таится золото. Мы гадки среди гадких, но в нас есть и много хорошего; нужно только уметь вызвать его.

Писанная история человечества полна жестокостей, предательства, угнетения одних другими. Но разве можно думать, что земля могла бы до сих пор беспрепятственно продолжать свой головокружительный бег вокруг солнца, если бы кроме этого писанного в человечестве не было и кое-чего другого, о чем историки не нашли нужным сообщать нам? Ведь хотел же Господь пощадить Содом, если бы в нем оказался хотя только десяток праведников. Мир всегда спасается своими праведниками, о которых никто не думает. История обыкновенно не замечает их; потому что история не что иное, как листки сенсационных происшествий. Неужели мы будем судить о жизни человечества только по этим листкам? Если да, то нам остается принять храм Гименея за простое лишь преддверие того отделения суда, на котором происходит расторжение браков, и предположить, что весь род людской разделяется на два разряда: жуликов и полицейских, а все благородные мысли – не что иное, как тонкие сети обмана. Не следует доходить до таких крайностей.

История видит одни лишь разрушительные пожары, оставляя без внимания веселые, приветливые огни домашних очагов; она отмечает одно дурное. Для терпеливого же страдания, для героических усилий, для всего доброго и прекрасного, что своим нежным покровом закутываете все безобразие злых, разрушительных сил, как заботливая рука природы зеленью и цветами обивает неказистые развалины, – для этого у истории нет глаз.

Среди всякого рода жестокостей и безумия прошлых дней (впрочем, и наших) всегда должны были находиться добрые, мягкие, сострадательные сердца и руки, которые брали под свое покровительство безвинно страждущих и исцеляли их глубокие раны, нанесенные слепой злобою и недоразумением. После вооруженного мечом грабителя всегда являлся добрый самаритянин. К несчастью, пирамида мирового зла возросла до таких чудовищных размеров, что стала загораживать нам солнце. Но сокровища человеческих добродетелей горят в очах любви и дружбы, звенят в беззаботном, веселом, искреннем смехе радости, черпающей себе пищу из чистых источников природы, пылают в великих мечтах мыслителя. Огни же преследований служат светочами, показывающими небу, на какой героизм может быть способен человек. Из почвы тирании пробиваются ключи самопожертвования и стремления к правде. Жестокость? Что это как не отвратительное удобрение, благодаря которому земля производит чудные цветы нежности и сострадательности? Ненависть и злоба испокон века рычат на земле, но нужные голоса любви, доброты также не умолкают и дают себя слышать, хотя и говорят больше шепотом.

Мы делаем много дурного, но подчас делаем и доброе. Мы требуем к себе справедливости. Люди жертвовали своей жизнью ради спасения друга; большего доказательства любви не может быть. Люди боролись за светлую истину или за то, что ею представлялось их уму; боролись за право и пра-

восудие; совершали благородные подвиги, вели благородный образ жизни; утешали горюющих, поддерживали слабых. Люди в своей слепоте заблуждались, падали, толкая друг друга, но поднимались вновь и стремились к свету. Ради дружины честных, правдивых и стойких людей, ради миллионов терпеливых, добрых и любящих женщин, ради сострадательных и всегда отзывчивых к чужому несчастью, ради, наконец, того добра, которое скрыто в человечестве, помилуй нас, Господи!



## IX

### О материнских чувствах мужчины

Это был только осколок стекла. Судя по его цвету и форме он когда-то, в свои счастливые дни, составлял часть дешевого флакона для духов. Лежа одиноко в траве, блестя и сверкая в лучах яркого утреннего солнца, осколок привлек внимание одного существа.

Это существо нагнуло голову набок и пристально устремило на блестящий предмет свой правый глаз. Потом оно обошло вокруг осколка, чтобы рассмотреть его с другой стороны и левым глазом. И с этой стороны сияющая штучка оказалась такой же обольстительной. Хорошо бы воспользоваться ею.

Дело идет о молодом граче. Уже пожившая на свете и видавшая виды птица сразу оценила бы блестящий осколок по достоинству, но один внутренний инстинкт не подсказывал неопытному молодому сумасброду, что этот предмет окажется очень неудобным в гнезде, а может стать, и подсказывал, да не подействовал, потому что не соответствовал желанию грача. Как бы там ни было, но соблазн был так велик, что пернатый юнец не мог противостоять ему.

Я видел, как черненькая фигурка подскакала поближе к стеклышку, притягиваемая радужным блеском, который был такую же скоропреходящей иллюзией, как и многое в обла-

сти бытия. Грач подхватил стеклышко своим крепким клювом и понесся с ним в родное гнездо. Он был уверен, что его молодая супруга будет в восторге от этого нового украшения их новенького гнездышка. Во всяком случае, он был одушевлен самыми чистыми намерениями. По одному тому, как он топорщил кверху кончик своего хвоста, можно было судить о предприимчивости и энергии грача; не было у него только жизненного опыта.

По дороге в свое жилище грачу пришлось раза два опуститься на землю, чтобы перевернуть стеклышко в клюве. Предмет этот был не особенно удобен для несения в клюве, потому что имел несколько острых углов. Но грач не терял бодрости и в конце концов все-таки благополучно дотащил свою великолепную, по его мнению, находку до гнезда. Дорогой он, видимо, очень опасался, как быкто-нибудь из старых грачей не стал оспаривать у него эту находку.

Наблюдавший эту сцену с вершины дерева пожилой грач крикнул на своем, немного мне знакомом, птичьем жаргоне пролетавшему мимо такому же пожилому грачу:

– Эй, Иссахар! Остановись-ка на минутку!

– В чем дело? – отозвался тот, чуть приостанавливая движение своих крыльев.

– Потешная история! Дурак Завулон нашел кусок стеклышка и несет его своей жене! Вероятно, находит, что это будет роскошное украшение для их гнезда.

– Да не может быть?!

– Честное слово! Загляни-ка сам к нему, и ты увидишь, что я говорю правду... Вот идиот-то, ха-ха-ха!

Второй грач закивал и также разразился хохотом.

Завулон едва ли смутился бы этим диалогом, если бы даже и слышал его; он вывел бы из этой насмешки только заключение, что старые грачи завидуют ему.

Дерево, на котором устроился Завулон, было как раз против моего окна, так что я ясно мог видеть все, что происходит в самом гнезде.

Мне было интересно знать, как отнесется к приобретению мужа молодая грачиха. Когда муж положил стеклышко на край гнезда, жена молча вытянула шею и внимательно оглядела новинку. Потом взглянула на мужа. Ни тот ни другой не произносили ни звука. Наконец грачиха раскрыла клюв и спросила сдержанным, но заметно недовольным тоном:

– Это что еще за штука?

Грач, видимо, был ошеломлен тоном супруги. По своей молодости он был женат в первый раз, поэтому немножко побаивался своей дражайшей половины.

– Не знаю, как это называется, – ответил он, стараясь побороть свое смущение.

– Странно! Не знаешь, а несешь.

– Я не успел спросить старших... Но не все ли равно, как называется эта вещица. Посмотри, какая она хорошенькая, не правда ли?

Желая выставить свою находку в самом выгодном свете,

он потихоньку подвинул ее клювом под сноп солнечных лучей.

– Н-да, очень даже хорошенькая, – странным тоном ответила супруга. – Но для чего ты принес ее? Что нам с нею делать?

Вопросы эти, видимо, смутили молодого грача. По всей вероятности, он начинал понимать, что его находка вовсе не имеет того значения, какое он по своей житейской неопытности придавал ей. Надо было как-нибудь выпутаться из неловкого положения.

– Видишь ли, – с запинкою начал он, – ведь пока в нашем гнезде нет ничего, кроме хвоста и соломы, вот я и подумал...

– Ну, что же ты подумал?

– Что... что такая прекрасная вещица могла бы послужить украшением нашего гнездышка, если приспособить ее как-нибудь на виду, чтобы всем бросалось в глаза.

Больше грачиха не была в состоянии сдержаться.

– Ну уж и муженька послала мне судьба! – вспыхнула она, растопорщив свое периное одеяние, сверкая глазами и раздув шею. – Пропадал все утро и не нашел ничего лучшего, кроме этой блестящей дряни с острыми углами, которую куда ни сунь, везде она будет только мешать! Умен, нечего сказать! Уж не вообразил ли ты, что я буду на этой штуке высиживать яйца? Или что из нее можно будет сделать мягкую и удобную постельку для птенчиков?.. Ты бы еще притащил

пачку иголок! А насчет того, что ты придумал приспособить ее в виде украшения, так чтобы она бросалась в глаза другим... А к чему это нужно? Для того только разве, чтобы над нами смеялись? Ну как ты приспособишь эти острия, чтобы осталась одна красота? Если зарыть ее под хворост, чтобы она не кололась, то она не будет видна, а если будет видна, то мы все то и дело будем колоть о нее ноги... Удивляюсь, как она не изрезала тебе всего рта, пока ты нес ее?.. Ступай, принеси что-нибудь другое, полезное, как делают умные грачи. Если у тебя нет своего ума, так поучись у других, как надо убирать свой дом. А эту гадость... Вот, смотри!

И, перегнувшись вперед, грачиха стремительно толкнула клювом стеклышко, так что оно упало на землю и разбилось о камень на целую кучку мелких осколочков, засверкавших среди травы подобно росинкам.

В общем, как я заметил, молодые грачи всегда набирают слишком много негодного материала, который потом приходится бросать, так что под теми деревьями, на которых они устраивают свои гнезда, всегда накапливаются целые груды всякого хлама. Пока грачи таскают все это к себе, можно подумать, что они собираются соорудить особенно большое гнездо; но так как гнездо устраивается обыкновенного размера, то большая часть набранного с трудом материала сбрасывается назад, на землю.

Представьте себе, что вышло бы, если бы по способу грачей вздумали строиться люди. Нарисуем себе такую карти-

ну. Муж и жена выбирают где-нибудь на окраине подходящее местечко и начинают там собственноручно, без опытных руководителей воздвигать дом. Муж целые дни неутомимо таскает кирпичи, а жена их складывает. Не рассчитав, сколько понадобится кирпичей, муж все тащит и тащит, подбирая каждый кирпич, который ему попадает на глаза, не заботясь о его достоинствах. Наконец однажды вечером, по окончании трудового дня, обзревая результаты своих трудов, муж и жена замечают, что у них набрано строительного материала гораздо больше, чем нужно. С досады тут же, недолго думая, они выбрасывают оставшийся материал прямо на улицу. Сколько беспокойства себе и другим! Сколько жалоб и неприятностей! Наверняка дело дошло бы до полиции и суда.

Так и у грачей. Хотя и у них должен быть руководитель, но он, насколько я мог заметить, никогда не проявляет своей деятельности. Хотя бы раз он явился и задал легкомысленным строителям хорошую головомойку, в особенности когда они начинают беспокоить соседей выбрасыванием лишнего, зря набранного материала. Быть может, они тогда и прониклись бы сознанием своих ошибок и постарались бы исправиться.

Временами, когда мне чересчур уж надоедал вечный галдеж многочисленных грачей, которые поселились на дереве против моего окна, я пытался унять их имевшимися в моем распоряжении способами: бросал в них камнями, которые тут же летали назад на землю, с треском разбивая в мел-

кую пыль валявшиеся под деревом осколки стекла, фаянса, фарфора и т. п. Грачи же только поднимали еще более оглушительный шум, и моя цель не достигалась. Пробовал стрелять по гнездам, но и это не действовало, так как я постоянно делал промахи. Вспорхнет вся стая, испуская раздирающие слух крики, полетает немного вокруг дерева, потом снова опускается на дерево и продолжает свое дело как ни в чем не бывало. После нескольких таких бесплодных попыток с моей стороны пернатые нарушители моего покоя и совсем перестали обращать внимание на мою пальбу и, даже увидев высунувшийся из моего окна револьвер, поднимали нечто вроде веселого хохота. Быть может, они воображали, что я этим желаю доставить им одно только удовольствие.

Судя по своим свойствам, грачиная порода очень близка к человеческой. Что у них свой язык, и даже очень богатый и выразительный, в этом может убедиться каждый, кто повнимательнее будет наблюдать за ними. Насколько содержательны их разговоры – этого я, разумеется, не могу сказать, так как слишком мало понимаю их язык, но ведь и наши салонные разговоры блещут больше многословием, чем умом.

Я знаю одного мизантропа, который очень редко бывает в обществе. Как-то раз я разговорился с ним по этому поводу, и он возразил:

– Что мне там делать? Я знаю с десяток мужчин и женщин, с которыми приятно беседовать, потому что у них есть собственные мысли и имеется столько смелости, чтобы не

бояться их высказывать. Встретаться с этими людьми – для меня большое удовольствие, и оно никогда не может надоесть мне. На что же поэтому мне еще другие люди? Что мне в том «обществе», которому вы все придаете такую цену? Ранее и я бывал в нем, но потом убедился, что у меня нет ничего общего с ним, и стал отставать от него.

Бывало, кто-нибудь из поверхностных знакомых вздумает пригласить меня к себе запросто вечером. Наступает этот вечер. Я устал за день и чувствую желание лечь пораньше спать, чтобы на другой день со свежими силами приняться за работу. Но я обещал быть у того, кто меня пригласил, прибавив, что обязательно будет ждать меня. Не сдержать слова нельзя. Я нехотя одеваюсь понаряднее и отправляюсь на вечерок.

Пока там, в передней, я снимаю верхнее платье, появляется новый гость. Мы уже давно ведем с ним так называемое шапочное знакомство и никаких симпатий друг к другу не чувствуем. Но невежливо пройти мимо знакомого, ничего не сказав ему, и вот я, наверное с самым глупым лицом в мире, заявляю ему, что удивительно приятный вечер. Быть может, вечер вовсе не *приятный*, а скорее крайне *неприятный*, но мой шапочный знакомый находит нужным вежливо согласиться со мной, что вечер действительно очень приятный. Затем я спрашиваю его, будет ли он завтра у Аскотов, хотя мне это совсем неинтересно. Мой собеседник отвечает, что, вероятно, будет, а может быть, и не будет, и, со своей сто-



роны, предлагает мне вопрос, считаю ли я возможным, чтобы такая-то лошадь выиграла на следующих скачках. Эта тема тоже несколько не интересует меня, но я показываю вид, что только о ней и думаю, и пускаюсь в пространные рассуждения о том, чего сам не понимаю, прекрасно зная в то же время, что моя некомпетентность в этом вопросе хорошо известна моему собеседнику и что он не может придавать моему мнению никакого значения.

Наконец мы вступаем в гостиную и оба радуемся, что можем теперь отделаться друг от друга. Встречаю взгляд хозяйки дома. Она выглядит усталой и скучающей. Видно, что и ей было бы гораздо приятнее лежать теперь в теплой постели, чем сидеть разодетой среди гостей и слушать их пустую болтовню. Но, делая над собою сверхчеловеческое усилие, она приветливо улыбается мне, хотя, видя меня всего в первый раз, так как я раньше встречался в других домах только с ее мужем, едва ли знает даже мое имя. Правда, я сказал свое имя докладывавшему о гостях лакею, который, как водится, переврал его. Но и это не важно. В гостиной, зале и прилегающих к ним парадных комнатах переливается около двух с половиной сотен людей, из которых близко знакомых хозяевам, дай бог, пятая часть. Следовательно, одним чужим больше или меньше не составит никакой разницы, лишь бы только он обладал приличным видом и соответствующим костюмом.

Помню, как однажды одна дама настойчиво звала меня к

себе на «вечер». Я встречался с этой дамой в доме ее родственников, но так мало знал ее даже в лицо, что, встретиться с ней на улице, я мог бы пройти мимо нее не поклонившись. Поехал я к ней, но не попал. Хотя она и имела большой дом на Лейчестер-гейт, но, как потом оказалось, извозчик подвез меня к дому напротив, где тоже был званый вечер и где главою дома была тоже дама. Туда я и попал.

Впрочем, никаких неприятных осложнений из-за этой ошибки не вышло. Хозяйка встретила меня радушным возгласом, поблагодарила за любезность и тут же познакомила с каким-то важным колониальным администратором, который, как она успела шепнуть мне, чуть не нарочно приехал к этому вечеру из своей заморской резиденции, чтобы иметь удовольствие познакомиться со мной. Имени его я не разобрал, как и он моего; но это нисколько не помешало нам тотчас же вступить в оживленную беседу об одном из тех безразличных предметов, о которых вообще принято говорить в обществе.

Сначала я не понял, что попал в чужой дом. Хозяйка по одежде и всем другим внешним атрибутам была такая же, как та, которая меня пригласила, а лицо последней, как я уже говорил, было для меня лишь одним из многих дамских лиц, которые приходилось видеть. Только в течение вечера я понял свою ошибку. Но так как она, в сущности, не имела никакого значения, то я и не нашел нужным исправить ее, а спокойно поужинал вместе с другими в этом доме и вообще

проделал все, что делали другие.

В следующий же вечер дама, у которой я накануне был в гостях, увидела меня в другом доме, подошла ко мне и самым сердечным образом вновь поблагодарила меня за то, что я пожертвовал предыдущим вечером ради нее и ее друзей. Она знает, как редко я бываю у людей, не имеющих чести принадлежать к тесному кружку моих ближайших знакомых, поэтому еще больше ценит мою любезность. Кстати, она сообщила мне, что супруга бразильского министра была в восторге от меня и говорила, что никогда не встречала такого умного и просвещенного человека.

Но представим себе, что лакей не переврал моего имени и что хозяйка действительно знает меня, хотя бы только по слухам. Она показывает мне свою очаровательнейшую улыбку и искреннейшим голосом уверяет, что страшно боялась, как бы я не забыл о ее приглашении и как бы ее вечер не лишился своего лучшего украшения. Все остальные гости, по ее дальнейшим словам, хотя тоже очень почтенные люди, но в ее глазах я один перевешиваю все их достоинства.

Я также улыбаюсь и внутренне очень интересуюсь знать, как я выгляжу при этой улыбке. К сожалению, я никогда не мог решиться взглянуть на себя в зеркало в то время, когда улыбаюсь по обязанности. Должно быть, меня смущает то, что я не раз наблюдал лица других людей, вымучивающих из себя такую улыбку. Итак, улыбнувшись, я спешу уверить хозяйку, что ее любезного приглашения я не мог забыть ни

при каких обстоятельствах и что ждал этого вечера с величайшим нетерпением.

Не зная, что еще сказать, я выражаю восхищение удивительно приятным вечером. Хозяйка снова дарит меня улыбкой, но такого сорта, точно хочет показать, что отлично понимает всю глубину моего остроумия, вложенного в эту банальную фразу, и я, видя, что к моей собеседнице подходят другие, поспешно ретируюсь, краснея от стыда за себя. Казаться идиотом, когда действительно родился идиотом, не обидно, но разыгрывать из себя идиота, когда имеешь полное право не чувствовать себя таковым, слишком уж обидно.

Смешиваясь с толпою гостей и отыскивая какой-нибудь укромный уголок, где мог бы спрятаться со своим стыдом, я наталкиваюсь на даму, которой где-то когда-то был представлен. Мы не знаем даже имен друг друга, но так как и она страдает от внутреннего одиночества в этой толпе, то вступает в беседу. Если эта дама обыкновенного уровня, то она непременно спросит меня, бываю ли я в таком-то доме или в таком-то театре. Я отвечаю «нет» или «да», смотря по обстоятельствам или по настроению. Потом молча глядим друг на друга, подыскивая в уме, что бы сказать еще. Наконец она спрашивает, был ли я в такой-то день на вечере у Томпсонов, праздновавших рождение главы дома. Я опять отвечаю, что был или не был, и в свою очередь участливо осведомляюсь, будет ли она в такой-то день у Браунов. Браунов в городе такое множество, что без более подробного определения труд-

но узнать, о каких именно Браунах идет речь. Дама отвечает, что еще не решила этого вопроса, и, видимо, задумывается, каких Браунов я имею в виду. Но спрашивать об этом она не решается. Потом я выражаю желание узнать, посещает ли она цирк Барнума. Она радуется моему ответу, что до сих пор ни разу еще не была в этом цирке, но на днях собирается. Это дает мне возможность высказать свое мнение об этом цирке – мнение, которое можно услышать от каждого, имевшего удовольствие хоть раз побывать там.

Могло случиться и так, что моя новая собеседница – дама бойкого ума и темперамента. Тогда она засыплет меня целым фейерверком ядовито-острых замечаний относительно проходящих мимо нас или сидящих в районе нашего зренья лиц; кстати прихватит и других, не находящихся на этом вечере. Слушая ее, я думаю о том, как похожа эта дама на бутылку уксуса, в которую положено несколько сотен булавок. На мое счастье, минут через десять словесный фейерверк моей собеседницы иссякает и она отходит от меня с милостивым кивком головы.

Если и удастся иногда встретить на таких собраниях человека по себе, то все равно нельзя поговорить с ним по душе: этому мешают и время и место. Вести же с такими людьми обычные пустые разговоры вроде вышеприведенных не повертывается язык.

Однажды в обществе зашел разговор о Теннисоне как о литературном корифее, и один из присутствующих, пред-

ставлявший собою тупицу чистейшей воды, очень долго и тягуче описывал, как ему пришлось на одном обеде сидеть рядом с Теннисоном, который оказался очень плохим собеседником.

– И неудивительно, – с ироничным смехом заключил мизантроп, – с таким соседом, каков был для Теннисона рассказчик, само воплощение остроумия должно было умолкнуть.

Я и сам не понимаю, почему люди так любят устраивать большие и совершенно бесцельные собрания, которые ровно никому ничего не доставляют, кроме всякого рода неудобств; с последними же можно мириться только ради дела, а не безделья.

Помню, как однажды я прокладывал себе путь к одному модному ресторану на Беркли-сквер. В нескольких шагах от меня с таким же трудом протискивалась сквозь толпу дама, вся красная и в поту от усилий добраться до вожаемой цели. За нею следовал мужчина.

Когда они очутились наконец у стола и уселись, дама обратилась к своему спутнику с замечанием:

– Скажи, пожалуйста, для чего мы являемся сюда? Неужели только для того, чтобы брать с боя места за столом с целью пообедать? Но ведь это с гораздо большим удобством мы могли бы сделать дома.

– Мы являемся сюда для того, чтобы иметь право сказать, что были здесь, – не допуская никакого возражения тоном отве-

тил спутник, бывший, по всей видимости, мужем этой дамы.

В другой раз я встретил приятеля А. и пригласил его отобедать у меня в следующий понедельник. Это я делаю обязательно раз в месяц, хотя и сам не знаю для чего, потому что А. человек в высшей степени неинтересный.

– К сожалению, я не могу быть у вас в понедельник, – ответил он мне в этот раз. – Отозван к Б. Очень неприятно. Скука у них страшная. Но ничего не поделаешь – исполнение общественной обязанности.

Немного спустя встречаюсь с мистером Б. С первых же слов он приглашает меня к себе на обед, тоже в понедельник.

– К сожалению, никак не могу, – отвечаю я, – у самого маленький вечерок. По обязанности – ничего не поделаешь.

– Жаль, – говорит Б., делая по возможности сокрушенную физиономию. – Без вас решительно не с кем будет живым словечком перекинуться. Будут, между прочим, и А. с женой. Они оба на один лад и каждый раз наводят смертную скуку.

– Зачем же вы их приглашаете? – спрашиваю я.

– По совести сказать, и сам не знаю, – получил я в ответ.

Но вернемся к нашим грачам. Должно быть, и они большие любители так называемой общественности. Часть их – кажется, холостяки – устроили себе настоящий клуб. Месяц тому назад, когда грачи только что поселились по соседству со мною, я никак не мог понять, в чем дело, и лишь после долгих наблюдений сообразил, что это их клуб.

Этот клуб устроен ими как раз на той части дерева, которая приходится совсем близко к окну моей спальни. Устройство клуба произошло, очевидно, по моей же собственной вине. Дело в том, что месяца два назад одинокий грач, страдавший либо от несварения желудка, либо от несчастливого супружества, выбрал это дерево как спокойное убежище, где он без стеснения мог бы предаваться горьким жалобам. Однажды он разбудил меня среди ночи громкими стонами. Я вскочил с постели, схватил бутылку из-под содовой воды и швырнул ее из открытого окна в дерево. Разумеется, мое импровизированное метательное орудие не попало в цель. Грач остался на месте и продолжал хлопать крыльями и скандальить. Не имея под рукою другого мало-мальски подходящего предмета, который мог бы бросить, я вздумал прогнать грача громкими криками. Но он не обратил ни малейшего внимания и заскандалил пуще прежнего. Я повторил свои грозные крики, сопровождая их отчаянным хлопаньем в ладоши. Проснулась моя собака и принялась яростно лаять. Этим путем сначала были разбужены мои домашние, а потом и все соседи на четверть мили кругом. С трудом успокоив собаку, я пробился около двух часов, чтобы отделаться от беспокойного грача, но добился только того, что самого себя довел до полного истощения сил, а грача так и не угомонил. Зато после этих упражнений я заснул как мертвый.

На следующую ночь грач явился снова. Предусмотрев возможность вторичного появления этого пернатого сканда-



листа, я еще с вечера заготовил несколько кусков кирпичей, которые все по очереди и перешвырял в дерево, но опять-таки без всякого результата. После этого я закрыл окно. Увидев это, грач придвинулся еще ближе и поднял оглушительный гвалт. По всей вероятности, он желал побудить меня продолжать то, что он находил забавной игрой. Но так как мне нечем было больше швыряться, то я и не мог доставить ему нового удовольствия, а чтобы не слышать его назойливых приставаний, заткнул себе уши ватой и зарылся в подушке. Положим, это не помогло мне совсем оглохнуть, но все-таки через несколько времени я уснул и спокойно проспал до утра.

Прошло несколько ночей; грач больше не появлялся. Обрадованный, я подумал, что он отстал от меня с досады, что я в последний раз не поддался на его провокацию. Но я горько ошибся. В один прекрасный вечер я нашел на дереве уже целое собрание грачей, производивших страшнейший шум.

Представляю себе, как у них возникла идея об устройстве клуба именно на этом дереве. Вероятно, весь день шли шумные дебаты о том, какое именно избрать место для устройства, так сказать, зала собраний. Одни предлагали такое-то дерево, другие – иное. Наконец поднял голос секретарь собрания, мой приятель, и сказал:

– По моему мнению, нам лучше всего подойдет вон тот раскидистый тис, который стоит возле самой стены дома. И знаете почему? По ночам в самом верхнем окне этого дома

появляется человек, одетый в... Вообще он напоминает собою те чучела, которые ставятся на огородах и полях для отпугивания воробьев, галок и тому подобных глупых птиц. Этот человек очень забавно швыряется в дерево разными предметами, причем кричит, хлопает теми штуками, которые у людей заменяют наши крылья, приплясывает и орет что-то во все горло, – должно быть, поет какую-нибудь веселую песенку. Вообще это очень интересно и может доставить нам большое удовольствие. Вот поэтому-то я и предлагаю выбрать то дерево для нашего клуба.

Разумеется, собрание пришло в восторг от предвкушения будущих удовольствий, и вопрос был решен.

Однако грачи ошиблись в своих расчетах: ожидаемого ими удовольствия я этому почтенному собранию не доставил из опасения привлечь грачей со всех окрестностей Лондона, к гаддению же той полусотни, которая собиралась в клуб из ближайших окрестностей, я вскоре так привык, что почти не замечал его.

Между грачиными и нашими клубами существует некоторая разница. Например, в наши клубы съезжаются или сходятся и удаляются оттуда сравнительно рано. У грачей же клуб открывается приблизительно часов около двух ночи, и те, которые собираются туда первыми, считаются птицами дурного тона. Только грачиная молодежь всегда раньше вылетает из своих гнезд и стремится поделиться скорее друг с другом своими мыслями и впечатлениями; но с годами она

становится более степенной, встает позже и вообще держит себя гораздо солиднее. Значит, в этом отношении дело у грачей обстоит так же, как и у нас, с тою только разницей, что в нашей среде с постели раньше поднимаются старшие, между тем как молодежь приходится поднимать чуть не силой, потому что она всегда позже ложится.

Очень часто грачиное собрание начинается дракой между парами единокорцев. Но бывает, что охотников драться не находится, и тогда грачи принимаются прямо за пение. Какого сорта это пение – известно каждому. Нам оно кажется очень неприятным, но сами певцы, вероятно, находят его очень мелодичным, иначе они едва ли бы стали с такою энергией оглашать окрестности. Обыкновенно начинает один певец, а хор присоединяется уже после. Но случается и так, что солист обладает голосом, способным заглушить какой угодно хор; тогда хор тут же как бы сконфуженно умолкает. Грачиный правитель, обитающий отдельно от своих подчиненных, никогда в этих собраниях не участвует и вообще ведет совсем особую жизнь. Он встает часов в семь, после того как все грачи успели уже позавтракать и снова собираются отдыхать. Облетая вокруг грачиных колоний и издавая особенный резкий крик, он воображает, что делает дело. Но его никто не слушается, и все им недовольны. Более жалкого правителя я никогда не видел. Даже президенты южноамериканских республик и те гораздо деловитее этого старого, жирного и неуклюжего пернатого главы грачиной вольницы.

Суетня грачей весною на обнаженных еще деревьях невольно наводит на размышления. Чувствуется, как собравшиеся парами грачи увлекаются радужными мечтами о прекрасной будущности.

– Вот снова засияло теплое солнышко, – говорит довольно уже пожилой грач своей новой избраннице. – Земля и деревья снова хотят покрыться пышной зеленою растительностью, и наши сердца снова переполняются любовью. О прелестная дама, как черно ваше изящное одеяние и как глубоко разят ваши чудные глаза! Давайте вместе строить себе уютное гнездышко на самой вершине дерева, чтобы теплый ветерок мог свободно раскачивать дерево и убаюкивать нас. Снаружи наше гнездышко будет казаться холодным, жестким, пожалуй, даже грубым, но внутри оно будет мягким и теплым, и наши будущие зелененькие яички будут покоиться в нем в полной безопасности. В этом гнездышке будете сидеть вы и радостными криками встречать своего мужа, который принесет вам пищу и лакомства. Он будет летать по целым часам, выглядывая, что получше для вас. Сам он не решится потихоньку склевать ни одной личинки, ни одного дождевого червячка, а все принесет вам, и что вы уделите ему потом в награду, тем он и будет доволен. Лишь бы были сыты вы, его радость и счастье. Я – грач уже пожилой, и у меня, как и у других моих сверстников, черная с пурпурным оттенком грудь начала сесть. Но пренебрегать нами не следует, потому что мы лучше молодых, опытнее, муд-

рее. Мы видели, как росли эти деревья, которые теперь дают приют нескольким сотням наших семейств. Мы видели, как валились на землю и умирали старые лесные великаны. Мы много видели оборотов солнца, много пережили бурь, гроз и суровых зим. Но сердца наши остались молодыми по-прежнему, все так же, как в самые молодые годы, мы жаждем любви, нежности, семейной жизни, возможности насладиться видом наших новорожденных птенчиков и слышать их нежные голоса. Природа-мать знает лишь одну заботу – заботу о детях. Мы говорим о любви как о властительнице жизни, но на самом деле любовь – только первая слуга жизни. Наши повести кончаются там, где начинаются повествования природы. Те драмы, за которыми мы спускаем занавес, являются лишь прологами игры природы. Какими смешными должны казаться этой почтенной старушке глупые вопросы и рассуждения ее детей: «Не ошибка ли брак?», «Стоит ли жить?», «В чем преимущества новой женщины против прежней?» и т. п. Быть может, с такой же смешной самомнительностью обсуждают и волны океана вековые вопросы: «Куда нам двинуться, налево или направо?»

Материнство – закон вселенной. Коренная обязанность человека – быть матерью. Мы трудимся ради детей. Мать работает ради них в доме, отец – в общественных учреждениях и на всевозможных поприщах. Нация трудится ради будущих поколений, хотя и эти поколения рано или поздно должны отойти к праотцам, потому что нет существ, живущих

вечно. В самом деле, зачем мы заботимся о будущем? Зачем люди поливают землю своим потом и своей кровью? Зачем бедный Джек-простофиля лелеет в своем тяжелом, неповоротливом мозгу сумасбродные мечты о свободе, равенстве и братстве и для осуществления этих мечтаний дает себя вести на убой? Зачем наш земледелец покидает теплый домашний очаг, чтобы положить свои кости на чужих полях? Какая ему, этой человеческой песчинке, надобность, что Россия угрожает захватить Восток, что Германия может объединиться, что английский флаг готовится развеяться над новыми странами? Все это делается исключительно ради будущих поколений, чтобы хоть им жилось лучше, чтобы хоть им дышалось легче. Патриотизм! Что это как не материнский инстинкт народа?

Представим себе, что Небу угодно будет издать такое постановление, чтобы с такого-то времени не родилось больше ни одного нового человеческого существа, и мир должен погибнуть, когда уйдет в землю последний представитель уже существующих поколений. Тогда на всей земле тотчас же прекратится всякая деятельность. Семена будут гнить в почве, корабли будут разваливаться в гаванях. Неужели кто-нибудь из нас будет продолжать рисовать картины, писать книги или творить музыкальные звуки? Какими глазами будут смотреть друг на друга супруги? Что станет с любящими парочками, когда они узнают, что отныне их любовь будет не чем иным, как запруженным источником?

Как мало мы понимаем это главное основание нашей жизни, дающее человечеству продолжительность и как бы бессмертие. Да, именно бессмертие. Мое *я* никогда не умрет; черты моего лица – как бы они ни были незначительны с эстетической точки зрения – никогда не исчезнут; лишь немного видоизмененные, хотя, в сущности, все одни и те же, они будут повторяться до бесконечности. Мой характер, с его смесью добра и зла, также будет постоянно возрождаться в лице моих детей и детей моих детей. Таким путем я вечен: я в детях, и дети во мне. Дерево дряхлеет и начинает распадаться, и мы убираем его с занимаемого им места, чтобы дать простор новому. Кажется, от старого не осталось и следа, а между тем его соки, его жизнь перешла в десятки новых отростков, которые то там, то тут пробьются из земли.

Эти мужчины и женщины, которые спешат мимо меня, несясь кто куда, – все они матери грядущего мира. Этот алчный собиратель денег, всеми правдами и неправдами умножающий свое богатство, – что он такое? Войдите в его роскошный особняк, и вы увидите его раскачивающим на своих коленях детей, рассказывающим им сказки и обещающим им новые лакомства и игрушки. Ради чего он торгует своей совестью и все свои дни проводит в суетах, хлопотах и беспокойстве? Опять-таки ради того, чтобы эти дети, с которыми он нянчится в свободные минуты, могли обладать всем тем, что он считает для них добром.

Самые наши пороки, как и наши добродетели, имеют сво-

им источником все тот же инстинкт материнства, которое является единственным семенем вселенной. Планеты – лишь дети Солнца; Луна – лишь отпрыск Земли, камень от ее камня, железо от ее железа. Что является великим центром всего живущего, всего одушевленного и неодушевленного, если только действительно существует что-нибудь неодушевленное, и наполняет собою все пространство? По всей вероятности, все та же туманная фигура всеобщего материнства.

Взгляните на эту удрученную заботами мать прелестной молодой девушки, выбивающуюся из сил, чтобы поймать для своей дочки богатого мужа. С одной точки зрения, эта женщина представляется очень неказистой, но взглянем-ка на нее с другой. Как ей должно быть тяжело, когда, еле держась от усталости, изнывающей от жары и духоты, с беспокойными глазами и растекающимися по старому изможденному лицу белилами и румянами, она оживляет собою стену залитого огнями бального зала. Много горьких пилюль пришлось ей проглотить в этот вечер! Она встретила высокомерно-снисходительные взгляды дам, выше ее поставленных на лестнице общественной иерархии, и даже явно была оскорблена одной герцогиней. Но она уже привыкла к этому и улыбается сквозь слезы, стараясь только, чтобы никто не заметил их. Ради чего она вот уж который раз выдерживает эту пытку? Конечно, ради тщеславной мечты видеть свою дочь богатой, разъезжающей в дорогих экипажах, держащей целый штат прислуги, живущей в Парк-Лейн, имеющей мно-



жество бриллиантов, с почетом упоминаемой на страницах газет, дающих описания великосветских затей. Бедной женщине было бы гораздо лучше вести скромную и спокойную жизнь среди своих четырех стен, в кругу действительных друзей; ложиться вовремя спать и не мучиться вопросом, откуда взять денег на новые туалеты себе, а главное, вывозимой в общество дочери. Гораздо лучше было бы для них обеих, если бы мать предоставила дочери выбрать себе по сердцу кого-нибудь из молодых тружеников, так усердно ухаживающих за нею благодаря ее миловидности. Гораздо... Но не будем слишком строго судить эту злополучную женщину, вся вина которой, в сущности, сводится лишь к тому же, хотя и искаженному в своих проявлениях, ложно направленному материнству.

Материнство – это гамма Божьего оркестра, на одном конце которой находятся дикость и жестокость, а на другом – нежность и самопожертвование.

Ястреб набрасывается на курицу, и она вступает с ним в отчаянную борьбу; он ищет пищи для своих детенышей, а она защищает своих, рискуя собственной жизнью.

Паук высасывает муху ради своего потомства. Кошка съедает бедную мышку, для того чтобы запастись молочком для своих котят. Человек делает дурное ради своих детей. Вся дисгармония жизни заканчивается гармоническим аккордом – аккордом ликующего Материнства.

## Х

# О том, что не следует слушаться чужих советов

Шагая однажды зимой по юстонской платформе в ожидании поезда, я заметил человека, проклинавшего на всевозможные лады автомат. Сначала он только молча тряс эту машину, но с такой яростью, что можно было бы ожидать, что в следующую минуту примется разбивать вызывавший его негодование предмет. Невольно заинтересованный, я приблизился. Услышав мои шаги, незнакомец обернулся и спросил меня:

– Это вы недавно тут проходили?

– Где именно тут? – пожелал я узнать, так как в течение пяти минут ходил взад и вперед по всей платформе.

– Да вот тут, на этом самом месте, где мы теперь стоим, – раздраженно пояснил незнакомец. – Раз говорят тут, то это не значит там.

– Может быть, во время ходьбы по этой платформе я и проходил здесь, – отозвался я, стараясь говорить как можно вежливее, чтобы дать незнакомцу понять его грубость.

– Мне, собственно, нужно знать, тот ли вы человек, который минуту тому назад говорил со мной, – продолжал незнакомец.

– Нет, я с вами до этой минуты не имел удовольствия говорить, – отрезал я, приподымая шляпу. – Честь имею... – И шагнул дальше.

– Позвольте, – снова раздался настойчивый голос незнакомца, – уверены ли вы, что не говорили со мною?

– Вполне уверен. Беседу с вами трудно забыть, – сыронизировал я.

– Простите! – совсем другим тоном проговорил незнакомец. – Вы так похожи на того человека, который давеча говорил со мной. Пожалуйста, простите мне мою ошибку.

Тон этот смягчил меня. А так как до прибытия поезда оставалась еще четверть часа, то мне захотелось узнать, что так вывело из себя этого добродушного на вид человека.

– Обознались, это бывает, – примирительно сказал я. – А вам очень нужен тот человек, за которого вы приняли меня?

– Да, очень бы нужен, – продолжал скороговоркой незнакомец, видимо обрадованный, что нашел кому излить бушевавшие в нем чувства. – Видите ли, я сунул сюда, в это вот отверстие, – он указал на автомат, – пенни, чтобы получить коробку спичек. Взамен моего пенни ничего не получилось, и я с досады начал трясти эту штуку и ругаться, как это бывает с нами, мужчинами, в таких случаях. В это время подошел человек вашего роста, с такой же фигурой, и... Да правда ли, что это были не вы?

– Даю вам честное слово, что не я, – поспешил я вновь уверить этого, видимо, скептически настроенного человека. –

Но что же сделал мой двойник по росту и по фигуре?

– Проходя мимо меня, он сказал: «Эти машины очень капризны и требуют особого обращения. Нужно знать, как с ними ладить. А вам что угодно?» – «Мне захотелось курить, – ответил я, – а у меня не осталось ни одной спички. Вот я и хотел...» – «Бывает, что эти машины иногда выходят из равновесия, и тогда нужно сунуть в них еще пенни, чтобы заставить их исполнять свою обязанность, – прервал меня тот человек. – Второй пенни освобождает действующую пружину и выскакивает обратно вместе с желаемым предметом. Таким путем вы ничего не теряете. Случается, что возвращается к вам и первый пенни, и тогда это уж прямая выгода. Я не раз проделывал этот интересный опыт». Последние слова мне не очень понравились, но я все-таки решил воспользоваться указаниями этого опытного в данном деле человека. По своему легковерию я так и сделал. Сунул в пасть этому... чудовищу другую монету, которую впопыхах принял за пенни, а она оказалась двухшиллинговая. Ну и действительно получил кое-что... Вот, неудобно ли взглянуть...

И он показал мне маленький пакетик, заключавший в себе пряник местного производства.

– Два шиллинга и один пенни! – с горечью добавил он, размахивая перед моими глазами пакетиком. – С удовольствием отдал бы эту дрянь за треть стоимости... или, еще лучше, сунул бы ее в глотку тому, кому я обязан этим удовольствием. Не так жаль мне потерянных денег, как обидно,

что я мог оказаться таким олухом и поверить совету этого озорника.

Мой случайный собеседник был не очень разборчив в своих выражениях, и не тяготись я своим одиночеством на скучной платформе, я, наверное, уклонился бы от дальнейших разговоров с ним. Но при данных обстоятельствах нельзя было быть слишком щепетильным. Поэтому я не выразил протеста, когда мой будущий спутник (он ожидал того же поезда, которого ждал я) стал прохаживаться по платформе рядом со мной, продолжая изливаться в жалобах на свою неудачу.

– И дернул же меня черт послушаться совета того негодяя! – негодовал ой. – Ясное дело, что я обратился не к тому автомату, который торгует спичками. Только потом, когда было уже поздно, я обратил внимание на надпись, и в этом, конечно, моя собственная вина. Но не явись тот человек со своим лукавым советом, я, быть может, вовремя разглядел бы свою ошибку... Впрочем, я не в первый уж раз терплю неприятности из-за чужих советов. Был у меня молодой чистокровный уэльский пони, здоровенький и резвый, словом, одна прелесть. Всю зиму он у меня пробыл на хорошем корму, а весной я решил, что пора пустить его в пробную поездку, так, миль в десять, не дальше. Шел мой пончик все время отлично, но когда мы достигли места назначения, он оказался порядочно взмыленным. Около гостиницы, к которой я подъехал, стоял какой-то человек. Посмотрел он

на моего пони да и говорит:

– Славная у вас лошадка, сэр.

– Ничего, так себе, – отвечаю я.

– Только очень еще молода, – продолжает незнакомец. –

Не следует слишком быстро гнать таких молодых. Посмотрите, как вы упарили ее.

– Я и не думал гнать ее, – возражаю я. – Она сама бежала, как ей хотелось. А что она вся в мыле, так это неудивительно: жара такая, что я и сам вспотел не меньше лошади, хотя бежала она, а я только управлял ею, сидя в бричке.

Я поводил немного пони по улице, чтобы он несколько остыл, потом, привязав его у подъезда, задал ему корма, а сам вошел в гостиницу, закусил там, освежился холодной фруктовой водичкой и через час вышел из подъезда. Мой конек уже успел отдохнуть и выглядел довольно весело. Смотрю – тот человек все еще торчит там.

– Когда пойдете назад, то будете подниматься на гору? – спрашивает он меня.

– Разумеется, – отвечаю я. – А как же иначе? Впрочем, быть может, вы знаете средство подниматься на горы, не взбираясь на них? – полюбопытствовал я, раздосадованный на такой глупый вопрос.

– Нет, такого средства я не знаю, – отвечает незнакомец, – но могу дать вам добрый совет. Угостите свою лошадку пинтой эля пред отъездом отсюда, и вы увидите, как она победит.

– Но, – возражаю я, – она у меня трезвенница и кроме воды ничего не пьет. Пьянствовать еще не приучена.

– Это совсем не пьянство, а безвредное возбуждающее средство, – поучает этот навязчивый человек. – Я всю жизнь вожусь с лошадьми и хорошо знаю, что и когда нужно давать им. Послушайтесь моего доброго совета: дайте ей пинту эля, да хорошего, старого, и она одним духом взлетит на любую гору, даже не почувствовав этого. И вам будет приятно, и ей не вредно.

Мне бы нужно было, с позволения сказать, плюнуть этому непрошеному советчику в глаза, да и уехать поскорее. Но вместо этого я взял да и сделал по его указанию. И сам не могу понять, как это так выходит, что мы слушаемся первого встречного, словно это наш лучший, испытанный друг, правдивость которого нам давно известна! Вернулся я в гостиницу, потребовал пинту старого эля, вылил его в деревянную миску и вынес своему пони. Вокруг собралась целая толпа ротозеев и зубоскалов, которые и принялись допекать меня своими остротами.

– Это очень хорошо, сэр, – говорил один, – что вы уже теперь начинаете просвещать своего пони: вылакает он эль да и пойдет куролесить.

– Надо бы потом угостить лошадку и хорошей сигаркой, – острил другой.

– А по-моему, – хихикал третий, – лучше всего дать ей потом чашку горячего кофе с ликером...

Ну и все в таком духе. Между тем мой пони обнюхал незнакомое для него пойло, отвернул было морду, подозрительно косясь на миску, потом еще раз обнюхал и вдруг как примется подхватывать жидкость, так что через минуту и следа от нее не осталось в миске. Передал я пустую посудину обратно одному из слуг гостиницы, обругал насмешников, потом уселся в бричку, хлопнул пони вожжами по гладкой спине, и он понес бричку как перышко! Долго еще доносился до моих ушей насмешливый хохот ротозеев.

На гору мы поднялись быстро и хорошо, но когда очутились на противоположной стороне горы, возбуждающее пойло начало действовать на пони, и он действительно закуролесил... Мне не раз приходилось наблюдать пьяных людей, даже женского пола, но пьяного пони я имел удовольствие видеть в первый раз и не знал, как с ним обращаться, чтобы обуздать его. Обладая четырьмя ногами, он хотя и не падал, зато совсем разучился управлять ими. Начал выделывать такие выкрутасы на дороге, что ехавший за мною велосипедист никак не мог проехать мимо нас: только что хочет воспользоваться местом, очищенным нами, как пони снова на этом месте и преграждает ему путь.

Мне очень хотелось бы выскочить из брички и оставить лошадь на произвол судьбы, но сделать этого не было никакой возможности, не рискуя сломать себе шею.

Так шло всю дорогу вплоть до моей усадьбы, до которой мы достигли довольно скоро, несмотря на то что все время



ехали зигзагами. В полумиле от села, близ которого находится моя усадьба, сначала нам попался навстречу воз с сеном. Человек, лежавший на этом возу, по обыкновению спал, а его лошадь, испугавшись стремительного натиска моей, шаркнула в сторону и вместе с возом угодила в канаву. Вслед за этим мы налетели на какую-то женщину, которую тоже сбили с ног, и она заголосила в унисон с барахтавшимся в канаве под возом человеком, оглашавшим окрестность отборными ругательствами по моему адресу. При самом въезде в село, где, кстати сказать, был базар, мой экипаж врезался в толпу нарядной молодежи, шедшей на прогулку. Что тут было – никакими словами не опишешь! Наконец зарвавшийся пони попадает в тупик и застревает там. Несколько дюжих парней, с полицейским во главе, задерживают его. Здоровенный штраф пришлось мне заплатить за все это удовольствие, да, кроме того, сколько было возни с лошадкой, которая долго хворала после этого. И несмотря на такой, можно сказать, богатый опыт, я все-таки еще не отучился слушаться советов первых встречных, – тоном искреннего сокрушения о своей легковёрности закончил мой собеседник.

Я выразил ему свое сочувствие, тем более что и сам немало страдал благодаря чужим советам. У меня есть приятель из среды торгового и финансового мира. Каждый раз, когда я встречаюсь с этим приятелем, он выражает свое желание о моем обогащении, хотя я никогда не просил его об этом.

– Вот вас-то мне и нужно, – говорит он. – Хотел просить

вас по телефону к себе в контору. Мы устраиваем маленький синдикатик и желали бы, чтобы и вы приняли в нем участие.

Этот мой приятель вечно устраивает разные синдикатики, члены которого, по его уверениям, за каждую сотню фунтов стерлингов, вложенных в это предприятие, получают тысячу. Я высчитал, что если бы участвовал во всех синдикатиках моего приятеля со взносом только по сто фунтов, то в настоящее время был бы уже счастливым обладателем двух миллионов пятисот тысяч фунтов. Но во все эти синдикатики я не вступал, а ограничился участием в одном; вступил в него еще довольно молодым и остался в нем по этот день, но никакого осязательного результата пока не получил. Мой приятель твердо убежден, что не далее как «через какой-нибудь год» мое постоянство принесет мне огромную выгоду. Это непоколебимое убеждение высказывается им мне при каждой встрече, а я бы давно с удовольствием продал свой пай хоть за полцены, да никто не берет его. Каждый раз я с большим трудом отделяюсь от нежных забот моего приятеля-финансиста о моем будущем благосостоянии.

Есть у меня и еще один хороший знакомый, который помещан на разных «целебных» травах. В один прекрасный день он влетел ко мне бурей и с сияющим лицом сунул мне в руку небольшой пакет.

– Что это такое? – спросил я.

– Откройте и посмотрите, – ответил он тоном ярмарочной балаганной знахарки.

Вскрыл пакет, но все-таки ничего не понял, что и высказал.

– Это чай, – объяснил мой гость.

– Чай?.. – недоверчиво протянул я. – А не табачные ли листья? Гораздо больше похоже на них.

– Собственно говоря, это действительно не чай, а нечто вроде чая, – сознался гость. – Это такой превосходный набор целебных трав, что если вы выпьете его хоть одну только чашечку, то больше никогда не захотите никакого другого чая.

Он был прав: когда я выпил одну только чашечку этого превосходного набора «целебных» трав, то не только не хотел больше никакого другого чая, но и вообще ровно ничего не хотел, кроме скорой и, по возможности, безболезненной кончины.

Неделю спустя он снова обрадовал меня своим посещением.

– Помните тот чай, который я недавно принес вам? – спросил он.

– Как не помнить! – воскликнул я. – Вкус его и до сих пор у меня во рту, да и действие...

– Он вам не понравился?

– Да не могу сказать, чтобы понравился... Он чуть было не отправил меня к праотцам... Впрочем, теперь я начинаю понемногу поправляться, – поспешил я прибавить, видя, что мой приятель сделал испуганную физиономию.

– А ведь вы были правы, – медленно проговорил он, гля-

дя в сторону, – это и в самом деле был табак особого рода, присланный мне одним знакомым из Индии.

– Так как же вы могли принять его за чай? – любопытствовал я.

– Да видите ли, вместе с этим табаком мне был прислан и набор трав. Этот набор заменяет туземцам чай и, как уверяет мой знакомый, не только гораздо полезнее настоящего чая, но и приятнее на вкус. Мой знакомый при завертке перепутал эти вещества, и я открыл это только сегодня.

Я слышал, как один старый и опытный законовед говорил молодому человеку, спрашивавшему у него совета по делу:

– По моему глубокому убеждению, вам лучше и не затевать этой тяжбы. Вы наверняка не только проиграете ее, но и все судебные издержки будут возложены на вас. Начинать такое пустячное, но крайне неприятное и невыгодное дело, – то же самое, как если бы, например, кто-нибудь остановил меня на улице и потребовал кошелек вместе с часами и цепочкой, пригрозив, в случае моего отказа, требовать эти вещи судом, – я немедленно отдал бы ему все это и благодарил бы судьбу за то, что так дешево отделался.

И что же? Через несколько месяцев я узнаю, что этот законовед, так хорошо знающий всю пагубность судебных тяжб по мелким делам, сам затеял процесс со своим ближайшим соседом по поводу смерти старого и без того уже еле живого попугая, будто бы приконченного котом этого соседа, и, по недоказанности, проиграл процесс с уплатой больших из-

держек. О таком исходе дела законовед должен был знать наперед, но тем не менее затеял его.

Вообще люди часто учат друг друга не делать чего-нибудь, а сами делают это. Такая пагубная привычка очень похожа на свойственную всем нам страсть ко взаимному недовольству и к разбору чужих недостатков без признания собственных.

Каждый из нас критикует и высмеивает другого и, в свою очередь, подвергается критике и насмешкам других. Мало того, мы осмеливаемся разбирать даже действия Самого Творца. В самих же себя никогда не всматриваемся. Не от *этого* ли у нас все и идет так вкривь и вкось?

# ХІ

## Об исполнении маршей на похоронах марионеток

День наш начался очень неудачно. Взял он меня с собою гулять, да и потерял в толпе. Было бы гораздо лучше, если бы мы переменились ролями, то есть чтобы я брал *его* с собою, а не *он* меня. Без всякого самовосхваления могу вас уверить, что я лучше сумел бы вести его, чем *он* меня. Я гораздо серьезнее *его*, поэтому меньше возбуждаюсь и увлекаюсь. Я не имею привычки останавливаться с каждым встречным и поперечным, чтобы обменяться впечатлениями и забывать при этом, где нахожусь, как всегда делает он. Мое внимание редко отвлекается в сторону. Я очень мало склонен вступать в драку, не имею привычки во время прогулки гоняться за кошками и ради собственной забавы пугать большими прыжками и громким лаем маленьких детей. В это время я весь бываю поглощен одною мыслью о том, куда меня ведут и как бы скорее вернуться домой. Вообще нам обоим было бы гораздо спокойнее, если бы *он* согласился подчиниться моему руководству и слушался бы моих доброжелательных внушений. Но убедить *его* в этой истине мне ни разу не удалось. По-видимому, *он* воображает, что более меня осведомлен относительно того, как держать себя на улице.

Когда *он* теряет меня из вида, то останавливается и начинает громко звать, но тут же, к сожалению, уходит в противоположную сторону, так что когда я возвращаюсь к тому месту, откуда доносился *его* зов, то уже не застаю *его* там, и *его* голос раздается в конце другой улицы. Я уже давно не так прыток на ходу, каким был во дни моей цветущей молодости, и нахожу, что *он* мало считается с этим грустным фактом. Хорош «хозяин», нечего сказать!

Так рассуждал обо мне мой дог, постоянно сопровождавший меня в моих утренних прогулках. Нужно заметить, что с некоторого времени он почему-то стал относиться ко мне не очень почтительно и начал называть меня, хотя и хозяином, но произносил это существительное уже не по-прежнему, а в кавычках; чаще же называл меня просто *он* и постоянно подчеркивал это личное местоимение и даже производное от него притягательное, в каком бы падеже ни употребляли их.

Предпослав это необходимое пояснение, познакомлю моих читателей с этим интересным экземпляром собачьей породы.

Итак, в одно утро мы отправились на обычную прогулку. Мистер Смит (так звали моего дога) несколько раз пропал во время этой прогулки и в Слаун-сквер окончательно исчез из вида. Обыкновенно, когда он убеждается, что потерял меня, то начинает лаять на особый лад; но когда я спешу туда, откуда доносится его лай, то оказывается, что дог успел уже махнуть в противоположную сторону. На этот раз

я, выйдя на Кингс-роуд, увидел его шагах в двухстах от себя. Он стоял, озираясь во все стороны, и лаял во всю силу своих здоровых легких. Увидев бежавшую мимо другую собаку, Мистер Смит бросился к ней, остановил ее условным сигналом, перенюхался с ней и завел следующий диалог:

– Скажи, приятель, не нюхал ли ты моего хозяина, который пропал у меня?

Собаки никогда не говорят «видел», а всегда «нюхал», потому что главное руководящее ими чувство – обоняние.

– Почему я знаю, нюхал ли я его, когда мне неизвестно, как он пахнет? – резонно возражает ему новый приятель.

– Хорошим мылом и яйцами с ветчиной, – поясняет Мистер Смит.

– Ну, по одному этому запаху трудно узнать твоего хозяина – мало ли кто так пахнет...

Здесь собачий диалог прерывается: мой дог увидел меня и вихрем понесся ко мне прямо по мостовой, с удивительной ловкостью шныряя между всякого рода экипажами. Ткнув меня с разбега в живот грязными передними лапами, он принялся выделывать вокруг меня огромные прыжки, что, однако, не помешало ему прочесть мне основательную нотацию за постоянное покидание его, лишь только он на минутку завернет за угол. Я успокаиваю его обещанием не делать этого, и мы несколько времени степенно шагаем: я впереди, а он – за мной, причем он все время размахивает своим огромным хвостом и громко пыхтит, должно быть, с целью доказать,



как он измучился, бегая в поисках меня.

Но вот он заметил одного почтенного ветерана, бегом догонявшего прошедший мимо омнибус. Находя это нарушением своей собачьей привилегии – бегать во всю прыть по улицам – Мистер Смит со всех лап пускается за ветераном, чтобы сделать ему за это внушительный выговор, с яростным лаем бросается ему под ноги. Старик во всю свою длину растягивается на мостовой и принимается выражать свою досаду потоком каких-то экзотических выражений; подбегает полисмен, раздаются свистки, собирается толпа. Я изо всех сил зову своего разбойника, который от восторга исполняет нечто вроде индейской пляски торжества; полисмен замахивается на него своим жезлом, но это только приводит Мистера Смита в еще более возбужденное настроение. Предвидя форменный скандал, я спешу уйти подальше от места происшествия, чтобы не попасть под ответственность за проделки своего предприимчивого спутника, который, как я хорошо знаю по неоднократному опыту, сам сумеет выпутаться из беды.

Возвращаюсь домой. Только что успел раздеться и войти в столовую, как обе половинки двери с шумом распахиваются, и Мистер Смит появляется в них с видом победителя, только что одержавшего блестящую победу над сильным врагом. Полный сознанием своего достоинства, он снова делает мне выговор по поводу нарушенного мною обещания не покидать его и участвовать во всех его подвигах. Но несколько

примирительных слов с моей стороны – и он, грузно шлепнувшись на пол у моих ног, принимается мазать своим широким языком мои панталоны. Желая прекратить эту ненужную чистку моей одежды, я достаю из стоящей передо мною на столе корзины большой бисквит и бросаю ему. Он подхватывает бисквит на лету. Но тут начинается новая история.

Дело в том, что кроме чистокровного англичанина Мистера Смита у меня живет еще ирландец О'Шеннон, который очень редко сопровождал меня в прогулках, предпочитая сидеть дома и оберегать мое имущество от всевозможных покушений со стороны любителей чужой собственности.

Во время раннего завтрака в этот день я бросил бисквит О'Шеннону, но ирландец, рассчитывая, вероятно, получить цыплячью ножку, очень обиделся на такую скудную подачку! Обведя ее издали носом и презрительно фыркнув, он отвернулся в сторону и демонстративно свернулся в самый обиженный клубок. Так бисквит и остался нетронутым на полу и по окончании завтрака был убран прислугой, а О'Шеннон был утешен лакомой косточкой. И вдруг теперь, к моему великому изумлению, он как бешеный сорвался с места, налетел на ничего не подозревавшего Мистера Смита и выхватил у него из пасти бисквит.

Опомнившись от поразившего его изумления (раньше за мирным ирландцем ничего подобного не водилось), Мистер Смит в свою очередь набросился на похитителя; поднялась было настоящая грызня. Не догадайся я вылить на вступив-

ших в распря друзей целый графин воды, дело могло бы закончиться худо. Сконфуженные и пристыженные, хвостатые ратоборцы поспешно юркнули – один под стол, другой под стул, где долго ворочались, фыркали, облизывались и ворчали.

Наконец первым вылез из своего убежища Мистер Смит, схватил валявшийся на полу разломанный на две части бисквит и понес его через открытую дверь в мой кабинет, где в тишине и спокойствии или съел его или же спрятал про запас на одной из нижних книжных полок, как он иногда делает, что иногда приводит меня к самым неожиданным находкам среди моих книг.

О'Шеннон, насколько я мог видеть, порывался было пойти за Мистером Смитом и вторично попытаться отнять у него бисквит, но тут же раздумал, глубоко вздохнул, положил морду между лап и долго взволнованно перебирал языком.

Вдумываясь в странное поведение О'Шеннона, я пришел к заключению, что он вообразил, будто я отдал Мистеру Смигу тот самый бисквит, которым сам же он, О'Шеннон, пренебрег несколько часов тому назад. Очевидно, он находил, что раз ему что-нибудь дано, то он вполне может воспользоваться этим предметом по собственному усмотрению. Овладение же его собственностью кем-либо другим он счел за нарушение прав этой собственности, почему и выступил в их защиту.

Вечером того же дня моя маленькая племянница Дора позвала к себе в гости свою подругу Еву. Взрывы громкого детского смеха заставили меня заглянуть в комнату, где находились дети, и я увидел следующую сцену. Мистер Смит таскал в зубах по всей комнате безголовую и безрукую куклу, из которой сыпались опилки. Голова и руки несчастной жертвы разыгравшегося дога валялись в разных углах. Девочки были в восторге от этого действительно забавного зрелища. В особенности восхищалась Дора. Вся красная, с сияющими глазенками, она хлопала в ладоши и судорожно извивалась от неудержимого хохота.

– Чья это кукла? – спросил я, несколько времени молча любовавшись на эту сцену.

– Евина, – с трудом отвечала сквозь смех Дора.

– Неправда, это твоя! – возразила Ева и в доказательство вытащила из-под себя свою куклу, которая была целехонька.

Переход от сильной радости к не менее сильному горю выразился у маленькой Доры очень драматически. Девочка бросилась на пол, начала колотиться о него головой, руками и ногами, испуская при этом такие душераздирающие крики, что перепугала не только меня и всех наших домашних, но и самого Мистера Смита, который со всех лап, с низко опущенным хвостом, ретировался в мой кабинет, где забился в самый темный угол и долго пролежал там не шевелясь, лишь изредка глубоко вздыхая и все время перебирая языком, как всегда делают собаки, когда они очень взволнованы

горестными или радостными чувствами.

Горе Доры продолжалось дольше, чем я ожидал. Я обещал ей другую куклу. Но казалось, что она не желает ее: погибающая от зубов Мистера Смита кукла была единственная, которую Дора могла любить; никакая другая кукла не может заменить ей ее любимицу, которую она и будет оплакивать до конца своих дней.

Какие странные все дети, в особенности девочки! Как будто не все равно – та ли или другая кукла, лишь бы она была у них. Ведь все куклы обладают одинаковыми розовыми и белыми личиками, одинаковыми светлыми вьющимися волосиками и одинаковыми голубыми глазками. Но нет, они любят непременно только одну куклу, старую, растерзанную, грязную, а на других, новых, нарядных, чистеньких и смотреть не хотят.

Истерзанная Смитом любимая кукла Доры была предана торжественному погребению под тем самым деревом, на котором грачи устроили свой клуб. Один из молодых друзей девочек наигрывал при этой церемонии на скрипке траурный марш. День был прекрасный. Солнце сияло во всю свою мочь, птички задавали оглушительный концерт, легкий теплый ветерок шелестел в вершинах деревьев, а Дора изливалась в слезах...

Ах, маленькая, глупенькая Дора! Охота тебе портить свои ясные глазки потоками слез из-за куклы, которая для того и была создана, чтобы, покрасовавшись несколько времени,

так или иначе погибнуть. Ведь такой уже неумолимый рок для всего существующего, и никакая сила чувства не в состоянии изменить его.

Весь мир наполнен куклами-марионетками, и все они играют свою роль по чужой воле; когда они, отыграв эту роль, стареют, их убирают со сцены, над некоторыми из них, исполнившими наиболее видные, эффектные роли, наигрываются грустные похоронные марши; большинство же убирается молча.

Возьмем тебя, бедная сестрица-марионетка, и рассмотрим твою игру. Ты обитала в маленьком, беленьком, увитом ароматной цветущей зеленью домике. Может быть, в этом домике именно от излишней пышности зеленого убора было и темновато и сыровато, зато так поэтично и уютно. Как ты была мила в своем простом, самодельном наряде; какая была ты всегда веселая и добрая; как благородно терпела ты свою бедность и как терпеливо сносила сыпавшиеся на тебя обиды! Никогда у тебя не мелькало даже мысли об отмщении; никогда ты не желала ни малейшего зла своим обидчикам.

Но, милая марионетка, не было ли у тебя таких минут искушения, когда тебе хотелось бы побыть на месте одной из тех дурных марионеток, которые живут в огромных каменных, роскошно отделанных и убранных домах, одеваются в умопомрачительные наряды, сверкают золотом и драгоценными камнями, блистают в обществе, разъезжают в дорогих экипажах с расшитым галунами лакеем на запятках и

преследуются целым роем красивых и богатых обожателей?

В самом деле, не было ли у тебя таких минут в долгие зимние вечера, когда дневной труд окончен и в крохотном домике все приведено в порядок; когда твой ребенок сладко спит в своей убогой колыбельке и грошова лампочка тускло освещает грубый стол, а ты, сидя перед этим столом и нагнувшись над вязаньем или шитьем какой-нибудь немудреной вещи домашнего обихода, ждешь возвращения своего доброго, любимого тобою, но грубоватого и неуклюжего Дика?

А не приходило ли тебе на ум в то время, когда ты перед отходом ко сну смотрела на себя, полуобнаженную, с распущенными волосами, в кривое зеркальце на убогом комодe, что как была бы ты обольстительна в изящном и пышном наряде из первой парижской мастерской, в бриллиантовом ожерелье на белой атласистой шее и в драгоценных браслетах на полных руках?

И не случилось ли тебе горько позавидовать в продолжение хоть одной мимолетной минуты той порочной, но окруженной всевозможным комфортом женщине, которая обрызгала тебя, когда ты тащила с узлом в руках под проливным дождем, потоком грязи, проносясь мимо тебя в блестящей карете?

Наверное, все это было, но и прошло. Как для всех других марионеток на земле, наступил и для тебя тот час, когда кончались всякие горести и радости, когда ничего больше не

могло тебя взволновать и привести даже в мысленное искушение, потому что тебе ничего уж не было нужно.

А, вот и вы, сударыня! Вы, глядя на которую, ваша бедная сестра, обитательница маленького домика, иногда находила судьбу несправедливой к себе. Но как вы изменились с тех пор, как я видел вас в последний раз! Ваши белила и румяна слиняли, ваши пышные кудри вылезли, все ваше когда-то обольстительно прекрасное и гордое своей красотой лицо превратилось в комок старого, сморщенного и потемневшего пергамента. И неудивительно! Нельзя безнаказанно постоянно выставлять его под жгучий блеск и сияние: это портит живые краски и ткани. И как, вероятно, вам надоели непрерывное скаканье из одной бальной залы или гостиной в другую и торчание в них, постоянная необходимость быть на вытяжке и неимение ни одной минуты здорового покоя от шумной и пустой светской суеты. Теперь же, когда вы более не нужны для исполнения вашей роли, потому что уже устарели, и вас, вместе с нами, старыми, негодными марионетками, презрительно бросили в угол, – вожделенный покой наконец настал для вас, но вы уже не в состоянии радоваться ему, потому что это – покой забвения.

А ты, братец Увеселитель, с бледного лица которого теперь стерт обманчивый грим, доволен ли ты был ролью, которую заставила тебя играть та таинственная повелительница всех людей, которую они называют судьбою и которая своевольно дергает их за скрытые в них пружины? Она пожела-



ла, чтобы ты заставлял людей не плакать, а смеяться. И она права. Бедные люди! Причин к плачу у них так много, что не худо хоть изредка дать им возможность от души посмеяться. Помнишь ты ту древнюю старушку, которая всегда сидела в первом ряду партера? Как ее всегда потрясал смех, когда ты появлялся на подмостках сцены; смеялась до дурноты, до истерики, так что ее приходилось часто выносить на руках из зрительной залы. Я слышал однажды, как она, уходя из театра, говорила своей спутнице: «Понимаете, милая, это мой первый смех с того ужасного дня, когда умерла бедная Сели». И веселые, добрые слезы текли из ее глаз, когда она садилась в экипаж. Разве это не было для тебя лучшей наградой за то, что ты ломался на сцене в избитых кривляниях? Да, твои шутки и трюки были избиты, пошлы, сотни раз уже повторены раньше другими, но разве те шуточки, которыми доводят нас до плача марионетки-злодеи, не так же стары и избиты?

В самом деле, разве все те представления, которые давались нам с самого дня открытия балагана, называемого Жизнью, не были лишь повторениями все одной и той же первой трагедии или комедии? Герой, злодей, циник – разве эти роли новы? Любовные дуэты – разве они не те же самые, что были встарь? Сцены смерти – разве можно назвать их избитыми? Ненависть, злоба, зависть, эти вековечные наши спутники, – разве они стали выступать на сцену только в наше время?

Да, братец Увеселитель, ты был настоящим философом. Ты спасал нас от забвения действительности, когда представление принимало чересчур уж трагический характер. Какими бурными рукоплесканиями встречали мы, зрители, твои слова, когда в ответ на жалобные вопли твоего измученного страданиями партнера на сцене: «О, да когда же кончится эта невыносимая пытка?» – ты сказал ему в утешение: «Скоро, мой друг, теперь уж в исходе девятый час, а занавес упадет в десять». Действительно, ровно в десять занавес опустился, и страдания твоего партнера сделались достоянием прошлого. Ты из-за маски шута показывал нам правду. Когда чванливый лорд Недальновидный, в своей горностаевой мантии и парике, собирался с важностью опуститься на свое седалище, ты незаметно отодвигал кресло, и великолепный лорд шлепался прямо на пол. Мантия с его плеч, а с головы парик сваливались, и он сразу переставал колоть нам глаза своей пышностью, чванством и спесью. Он сидел растянувшись на полу таким маленьким и жалким человечком, с растерянной физиономией и недоумевающе вытаращенными глазами. От всего его прежнего дутого величия не оставалось и следа. И мы еще раз поняли, что только одни шуты – истинные мудрецы.

Да, брат Увеселитель, твоя роль была лучшая, а не худшая, как это тебе казалось. Но ты мечтал о другой, более обстановочной и блестящей роли; ты хотел бы играть героя в борьбе со злодеями. Не раз я видал тебя, когда ты не заме-

чал меня, стоящим в своей уединенной комнате перед зеркалом, размахивающим картонным мечом, принимающим геройские позы и мужественно вызывающим врагов на бой. Твой пестрый шутовской костюм валялся в углу, а вместо него ты красовался в рыцарском наряде. Ты мнил себя главным лицом пьесы, совершающим благородные подвиги, говорящим благородные речи.

Но во что же тогда превратились бы наши представления, если бы каждый из нас мог играть ту роль, которая приходится ему по сердцу? Ведь тогда не было бы на сцене веселья, помогающего нам хоть на время забывать наши печали; тогда наша жизнь была бы сплошным адом...

Находясь наедине с собою, в своей уборной, мы все представляем себя храбрыми и благородными, подчас, пожалуй, и хитренькими, но непременно тоже с высшей целью. Какие великие дела совершаем мы в это время, когда некому смотреть на нас! То мы полководцы, ведущие к победам целые армии, и если мы падаем на поле битвы, то падаем, покрытые неувядаемою славою и оплакиваемые всей неутешной нацией. То мним себя страстными любовными героями, готовыми отдать весь мир за один поцелуй избранницы нашего пылкого сердца. То...

Да мало ли в каких блестящих ролях мним мы себя наедине. И всегда мы видим перед собою полный зрительный зал, дрожащий от рукоплесканий при каждом нашем смелом слове, при каждом красивом жесте. И никогда ни одной

неудачи; всегда полный успех, бесконечные вызовы и груды венков...

Бедные маленькие марионетки! Как серьезно мы смотрим на себя и на свою игру, не сознавая, что в нашей груди нет ничего, кроме механизма, посредством которого мы движемся не по своей, а по чужой воле. И неужели мы никогда не поймем этой простой истины?

Да, мы не что иное, как восковые куклы, снабженные сердцем, или оловянные солдатики, которым дано то, что называется душой. А может быть, Ты, Владыка мировой сцены, смотришь на нас иначе? Может быть, правы те из нас, которые смотрят на себя как на самостоятельные, действительно живые и одушевленные существа? Или и в самом деле только один механизм в нашей груди вызывает в нас движения горя и радости, счастья и страдания? Мы плачем, смеемся, пляшем, в отчаянии и в восторге размахиваем нашими маленькими руками, прижимаем ими друг друга к груди; любим, ненавидим, бежим куда-то, спотыкаемся, падаем, поднимаемся и опять бежим, обгоняя друг друга; боремся, побеждаем или сами побеждаемся. Мы добиваемся то золота, то лаврового венка, смотря по тому, алчны мы или честолюбивы. Неужели все это только Твоя игра? И когда Ты заставляешь нас сходить с этой сцены, то допустишь ли когда-нибудь до другой игры, приспособленной для более благородных ролей? Или мы никогда уж больше не понадобится Тебе, и наш конец здесь – уж конец навсегда?

Огни рампы угасают, пружины, заставлявшие нас исполнять нашу роль, с треском лопаются, и мы беспомощно падаем на подмости мировой сцены. О, сестры и братья-марионетки, только что игравшие рядом с нами, где вы? Почему вокруг вдруг стало так темно и тихо? Зачем нас спешат скорее запрятать в тесный и душный ящик?..

Но чу! Заиграл наш кукольный оркестр... Как быстро удаляются от нас его звуки... Что же он играет? А вот что:



# **Третья книжка праздных мыслей праздного человека**

## **I. Так ли мы интересны, как думаем о себе?**

– Ах, очень приятно!.. Жаркая погода в последнее время... Виноват! Я хотел сказать – холодная... Простите, не вполне расслышал ваше уважаемое имя... А!.. Весьма польщен вашим любезным вниманием, весьма... Да, у нас немножко тесновато, это верно.

Наступает тяжелое безмолвие. Никто из нас не знает, что бы такое еще сказать.

Дело в том, что хозяин дома, куда я приехал по случайному приглашению при встрече на вечере у третьего лица, столкнулся со мной в дверях, сделал умильное лицо и крепко пожал мне руку, не помня даже моего имени, или, вернее, – моего лица, так как мое имя было ему известно уже давно заочно.

– Очень, очень рад видеть вас у себя, – добавляет он, подумав немного. – Наш кружок всегда горел желанием познакомиться с вами поближе... Пожалуйста в гостиную... Люди все свои... Надеюсь, они понравятся вам. Все они с востор-

гом читают ваши прекрасные произведения.

Он ведет меня к даме довольно представительного вида и рекомендует ей в качестве «нашего знаменитого писателя», написавшего то-то и то-то. Обыкновенно мне приписываются такие произведения, в которых я вовсе не грешен.

Дама и я обмениваемся обычными общими фразами. Я вижу, что она ждет от меня чего-нибудь очень умного, оригинального и тонкого, но решительно не знаю, с чего начать с ней беседу, потому что мне неизвестно, кто она: пресвитерианка или мормонка, стоит ли за протекционизм или за свободную торговлю, замужняя или только собирается замуж или же, наконец, уже была замужем, но развелась, и теперь... Да мало ли каких еще может быть осложнений.

Один из моих друзей обладает прекрасной привычкой постоянно сообщать мне хоть краткие биографические сведения насчет того лица, которому собирается меня представить.

– Сейчас представлю вам миссис Джонс, – говорит он, например. – Замечательно умная женщина. Года два назад написала книгу. Забыл только название. Что-то о близнецах. Старайтесь только в разговоре с ней не упоминать о сосисках: ее отец был колбасником, и ей крайне неприятно напоминание об этом. Муж ее довольно крупный биржевик. Имел большую неудачу с бумагами каких-то угольных копей, поэтому избегайте разговора и об этом. Вообще держитесь лучше одной литературы, а главное – упирайте на то, что читали

ее собственную книгу и находите, что это лучшее украшение отечественной литературы. Пройдитесь и насчет платонической дружбы между представителями обоих полов: она любит эту тему. Потом, не смотрите на нее слишком пристально: она немножко косит одним глазом...

Наконец мы достигаем миссис Джонс, и мой приятель рекомендует меня ей как своего лучшего друга, который умирает от желания познакомиться с ней.

– Восторгается вашей действительно замечательной книгой, только не вполне сходится с вами в вопросе о платонической дружбе между мужчиной и женщиной. Но я надеюсь, что вы своим красноречием сумеете переубедить его.

Эта рекомендация и полученные мною вперед сведения о миссис Джонс вывели меня из обычного затруднения людей, не знающих друг друга и поставленных в необходимость вступать в салонный разговор. Я сразу смело пускаюсь в рассуждения о сомнительности платонической дружбы между мужчиной и женщиной и всячески стараюсь избегать упоминания о сосисках и угольных копиях. Благодаря этому миссис Джонс находит меня в высокой степени приятным человеком и старается, чтобы я получил о ней самой самое выгодное мнение. Таким образом все в порядке.

Мне часто приходило в голову, что сношения с незнакомыми людьми были бы упрощены и облегчены, если бы мы ввели обыкновение носить... ну, хоть на спине, изящную карточку с обозначением самых главных сведений о себе:



например, имени и фамилии (написанных крупным и четким шрифтом и с объяснением верного произношения их), лет, во избежание недоразумений в их определении со стороны слишком неопытных и поспешных в своих суждениях людей... Кстати, у меня самого был однажды такой случай. Я попросил у одной немецкой дамы некоторые сведения о франко-прусской войне. Дама посмотрела на меня так, словно я совершил страшное преступление, приняв ее, по крайней мере, за сорокалетнюю, между тем как ей было всего тридцать семь, но она воображала, что выглядит гораздо моложе. Не будь я англичанином, наверное, вышел бы крупный скандал... Но вернемся к информационной карточке. На ней должны быть выставлены также наши религиозные и политические верования, вопросы, которыми мы наиболее интересуемся, наши специальные знания и некоторые подробности о нашем общественном положении, – словом, все то, что нужно знать людям, желающим с нами познакомиться и рискующим без этих сведений нечаянно наступить нам на любимую мозоль.

В самом деле, представьте себе, что такие карточки уже введены. Вы разговорились с только что познакомившимся с вами человеком и вам вздумалось бы поиронизировать насчет... Ну, хоть вопроса о дешевизне рук китайских рабочих; но опасаясь, как бы не вышло нежелательного недоразумения с вашим собеседником, вы спешите украдкой взглянуть ему на спину, где и получаете указания, которые помогут вам

избежать этого недоразумения.

– А, вы вагнерианец! – уверенно восклицаете вы. – Ну, в таком случае мы едва ли сойдемся: я поклонник итальянской музыки.

Или так:

– Ах, как приятно видеть, что вы противник оспопрививания! Я также не сочувствую этому способу страховки людей от... Позвольте пригласить вас к буфету.

Те же, которые любят состязаться в словесных турнирах, легче могли бы находить себе с помощью этих карточек достойных партнеров. На большие собрания можно бы даже назначать своего рода церемониймейстера, который, стоя посередине зала, взывал бы:

– Леди со строгими убеждениями в пользу женского равноправия желает вступить в прения с джентльменом, придерживающимся в этом вопросе взглядов святого Павла! Требуется сильная аргументация!

Года два назад одна американская дама написала мне письмо, которое было для меня очень приятно. Эта дама с полным пониманием разобрала мои произведения и выразила мне свою искреннюю симпатию как писателю, разделяющему ее собственные взгляды на мир и человечество. Между прочим, американка писала, что, будучи незадолго перед тем в Англии, она имела случай познакомиться со мною лично у одних общих знакомых, но не воспользовалась этим случаем, чтобы (как она очень тонко намекнула) не разочаро-

ваться во мне. Я нашел ее опасение вполне основательным, но вместе с тем пожалел, что оно отняло у меня возможность встретиться с такой умной женщиной, представляющей большую редкость в наше время.

В общем автор, знакомящийся с людьми, читавшими – или, по крайней мере, уверяющими, что читали – его произведения, чувствует себя в положении жениха, в первый раз показываемого родственникам его будущей жены. Эти родственники относятся к нему очень любезно и всячески за ним ухаживают. Но, несмотря на это, жених инстинктивно чувствует, что он им не по душе. То же самое бывает с писателями.

Помню, как однажды я совсем еще молодым человеком присутствовал на одном вечере, центром которого был известный американский юморист. Я стоял близ одной дамы, которая говорила своему мужу:

– Совсем ничего не вижу в нем смешного.

– Неужели ты воображаешь, что люди, пишущие смешные вещи, сами должны быть смешными? – возразил муж. – И что, собственно, подразумеваешь ты под смешной наружностью? Огромный красный нос, синяки под глазами и тому подобное?

– Ах, как это ты не понимаешь, что я хочу сказать! – раздраженно воскликнула жена. – Ведь он выглядит совсем *обыкновенным* человеком. Не стоило приезжать и смотреть его.

Всем известна история о том, как одна дама, залучившая

к себе на ужин юмориста, просила его за десертом поскорее рассказать что-нибудь смешное, потому что пора отправлять детей спать.

Как-то раз я пригласил к себе одного приятеля провести у меня время с субботы вечера до понедельника утра. Человек этот отличался большим умением говорить и даже острить. Перед его приходом я сообщил об его даре своим домашним и по неосторожности прибавил, что он иногда смешит до слез своими рассказами. При этом моем сообщении присутствовала одна молодая особа, имевшая обыкновение очень внимательно слушать то, что говорят между собою старшие, и, наоборот, совсем не слушать их речей, когда они обращены непосредственно к ней и идут вразрез с ее личными убеждениями. Гость пришел и, как нарочно, оказался в этот вечер не в духе. После закуски вышеупомянутая молодая особа взобралась ко мне на колени и уселась в довольно приличной позе. Просидев минут с пять молча, она шепотом спросила у меня:

– Дядя, сказал он что-нибудь смешное?

– Что за глупый вопрос! – отрезал я. – Молчи и не мешай мне слушать!.. Ничего смешного он еще не говорил.

Две минуты спустя снова тихий вопрос:

– А то, что он сейчас сказал, смешно?

– Нет, нет!.. Отстань, не мешай!

– Что же он говорит, дядя?

– О пенсиях для стариков. Разве не слышишь?

– Слышу. А разве это не смешно?

– Нет.

– Так почему же он не говорит о смешном?

Тщетно прождав еще с четверть часа, чтобы гость сказал что-нибудь смешное, молодая особа, основательно соскучившись, сползла с моих колен, чем я был очень доволен, и объявила, что идет спать. На следующее утро она, вся сияющая, выбежала ко мне в сад и с торжеством провозгласила своим звонким голосом:

– Дядя, а ведь вчерашний чужой дядя все-таки сказал смешное... много смешного!

– Разве сказал? – спросил я, думая, что накануне нечаянно пропустил мимо ушей самое интересное из разговора моего гостя. – Что же он сказал?

– Не помню, дядя, – призналась молодая особа. – Но только это было так смешно, что я долго хохотала... Может быть, как-нибудь вспомню, тогда скажу тебе, дядя... Я видела это во сне.

Жажда познакомиться со знаменитостью ставит нас иногда в не совсем удобное положение. Добившись счастья быть представленным воображаемой знаменитости, вы говорите, что давно уже мечтали о возможности этого лучшего момента в вашей жизни и со слезами в голосе уверяете, что уже с самых юных лет... Но тут тот, которого вы приняли за знаменитость, перебивает вас заявлением, что он вовсе не то лицо, за которое вы, очевидно, его считаете, а только его дед,

дядя, брат, кузен или вообще что-нибудь вроде этого, смотря по годам данной личности, и вам остается только со смущенным видом сказать: «Простите, я был введен в заблуждение, услышав такое громкое имя».

Я имел племянника, который отличался в велосипедных гонках... Впрочем, по милости Неба, он здравствует и теперь с тою только разницей, что велосипед обменял на мотор... Но во время его увлечения велосипедом меня всегда представляли всем незнакомым в качестве «дяди знаменитого велосипедиста Шорленда».

Зеленая молодежь с завистью глядела на меня и восклицала:

– А, так это вы дядя Шорленда! А чем вы сами занимаетесь, мистер Джером?

Разумеется, мне это было так же лестно, как тому из моих знакомых, который, будучи сам довольно известным врачом, женился на одной еще более известной актрисе и с тех пор стал жить под названием «супруга миссис М.».

Очень тяжело и даже иногда небезопасно бывать на торжественных обедах, где приходится сидеть с кем попало, но где непременно нужно говорить, чтобы не показать вида, что явился ради одной еды. Помню, как я был на одном таком обеде в «Клубе бродяг». Рядом со мной сидела дама, с которой потом, как это часто водится, я больше не встречался. Разговорившись со мной, дама спросила меня, что я думаю о последней книге одной модной в то время писательницы.

Я исполнил желание соседки и откровенно высказал свое не особенно лестное мнение насчет этой книги. Моя соседка вдруг молча отвернулась от меня. После я узнал, что именно она и была автором той книги. Кроме того, оказалось, что дама нарочно пересела ко мне, узнав, что ей было назначено место рядом с другой писательницей, с которой она была «в контрах». Таким образом, бедняжка неожиданно попала, как говорится, из огня да в полымя.

Был со мной еще один случай, поставивший меня в такое неловкое положение, в каком мне никогда не приходилось быть. Дело в том, что однажды мне пришлось сопровождать знакомую молодую вдовушку на музыкальный вечер в одном богатом доме, где я еще не был знаком с хозяевами. Проходя мимо дворецкого, стоявшего на верхней площадке роскошной парадной лестницы, моя спутница сказала ему:

– Доложите: миссис Дэш и...

Дворецкий, человек еще молодой и порывистый, не дослушав, стремительно бросился к двери и громко возгласил:

– Миссис и мистер Дэш!

Эффект получился такой, что мы должны были пробиться весь вечер, чтобы выяснить глупое недоразумение. Этот инцидент долго еще спустя отзывался на нас, давая повод ко всевозможным более или менее остроумным намекам и шуточкам. Конечно, подобные истории могут случиться только в таких собраниях, где половина людей вам совершенно не знакома, а именно на таких собраниях чаще всего приходит-

ся бывать в больших городах.

Но как бы там ни было, а в жизни всякие недоразумения могут быть хоть объяснены, на сцене же это оказывается совершенно невозможным. Действующим там лицам не позволено выяснять ошибки относительно их личности; это непреложный закон. Если, например, на сцене изображается человек, который ожидает... ну, хоть паяльщика для исправления чего-то в ванной, то он непременно обязан принять за этого паяльщика первого вошедшего к нему в гостиную мужчину, какого бы тот ни был вида. Этому мужчине не позволено объяснить, что он вовсе не паяльщик, нисколько не похож на него и только по одному недоразумению его можно принять за паяльщика. Не дав ему и слова выговорить, его тащат в ванную и подвергают всем мытарствам, каким полагается подвергать паяльщиков. Только в самом конце последнего акта пришедшему удастся доказать, что он — только назначенный местный викарий, явившийся было с визитом...

Как-то раз я присутствовал на представлении одной пьесы, которая вызывала гомерический хохот у публики, а меня привела в самое печальное настроение. В конце первого действия этой пьесы появилась миленькая такая старушечка. Мы, зрители, сразу признали в ней почтенную тетушку; лишь одни действующие в комедии лица долго не могли разобрать, с кем имеют дело. Эти лица приняли эту старушку за что-то вроде... цирковой наездницы и заперли ее в гарде-



роб. По всей видимости, гардеробы на сцене только и служат для такой надобности: непременно кого-нибудь в них прячут. Впрочем, «наездницу» в продолжение всего представления несколько раз прятали от посторонних лиц не только в гардероб, но и в громадную бельевую корзину, за оконную драпировку и даже под диван. Всей этой возни отлично можно было бы избежать, если бы только «наездница» догадалась сказать: «Да что вы все тут, белены обелись, что ли? С какой стати вы меня прячете от добрых людей? Неужели я похожа на такую особу, которую стыдно показать другим? Кажется, у меня для этого слишком почтенная наружность, и я удивляюсь вашей близорукости...» Этим бы все дело и кончилось в десять минут, вместо того чтобы растянуться на два с лишним часа. И находят же люди, что это смешно!..

В действительной жизни я знаю только один случай, когда человек молча вынес большую обиду, которой тоже мог бы избежать двумя-тремя вовремя сказанными словами. Этот случай с покойным Корнеем Грэном. Знаменитый артист был приглашен дать представление в одном пригородном поместье. Владелица поместья, дама из так называемых выскочек, оценивавшая людей единственно по количеству числящегося за ними капитала или титула, распорядилась, чтобы артиста тотчас же по его прибытии накормили в людской. Дворецкий, лучше своей хозяйки знавший приличия, осмелился было возразить, что это будет очень неудобно по отношению к такой знаменитости. Но невежественная и на-

пыщенная богачка знать ничего не хотела и настаивала на своем. Грэн спокойно отобедал с «людьми». После обеда он встал и сказал присутствовавшей челяди:

– Спасибо вам, друзья мои, за то, что вы так радушно приняли и угостили меня. Если желаете, я заплачу вам за вашу любезность маленьким представлением, которое, надеюсь, немного развлечет вас.

Разумеется, все были в восторге от такого предложения, и Грэн позабавил их с полчаса, выказав при этом все свое искусство. Он разошелся и продолжал бы еще, если бы не явился слуга, присланный хозяйкой с приглашением артиста в гостиную. Грэн простился с «публикой» и последовал за слугой в гостиную, где застал блестящее общество, приготовившееся смотреть его.

– Мы ждем, мистер Грэн, – небрежно бросила ему хозяйка.

– Чего? – тем же тоном спросил артист.

– Вашего представления.

– Но ведь я был приглашен вами только на *одно* представление и уже дал его, – возразил Грэн.

– Дали?.. Где же? Когда?

– Только что сейчас внизу, в вашей людской.

– Но как же это так! – воскликнула хозяйка, топнув ногой. – Разве я приглашала вас забавлять моих *людей*, а не *гостей*?

– Выходит так. Ведь вы же сами заставили меня обедать

с вашими *людьми*, а я всегда развлекаю только тех, с кем обедаю... Впрочем, если тут вышло недоразумение, то это дело ваше... Честь имею кланяться.

И артист поспешил на вокзал.

Кстати расскажу другой случай, свидетельствующий о находчивости и остроумии Грэна. Однажды летом он вместе с одним из своих товарищей по профессии жил на даче. Грэн занимал нижний этаж, а его товарищ жил в верхнем. Как-то раз рано утром к Грэну зашел сосед, и они, усевшись перед открытым в сад окном, завели интересную беседу, привлекая внимание верхнего жильца. Тот, еще в ночном костюме, любопытствовал узнать, о чем идет внизу разговор, и так неосторожно высунулся из своего окна, что угодил головой прямо в прелестную клумбу с цветами.

– Господи! Это что такое? – вскричал пораженный гость Грэна, с недоумением и страхом глядя на барахтающуюся в клумбе и уморительно дрыгавшую голыми ногами белую фигуру.

– Это мой коллега, – спокойно проговорил Грэн, выглянув в окно. – Позавидуешь ему: только что с постели и уж расположен давать представление.

## II

# Должны ли женщины быть красивыми не только наружно, но и внутренне?

Красивым женщинам предстоит впереди очень трудное время. До сих пор они катались как сыр в масле, а в будущем им угрожает большое огорчение. Дело в том, что в скором времени на свете не останется ни одной дурнушки; все женщины будут одинаковы красивыми и обольстительными, следовательно, все будут равны, и выделяться особыми преимуществами ни одной из них больше не придется.

Я вывел это заключение из некоторых специальных «дамских журналов», в которых описывается, как посредством известной тренировки любая дурнушка в течение каких-нибудь полутора лет превращается в блестящую красавицу. В подтверждение этого одна молодая девушка пишет в одном из таких журналов: «Недавно еще я плакала, когда смотрелась в зеркало, а теперь смеюсь».

Письмо сопровождалось двумя фотографическими снимками с его авторши. Первый снимок действительно представляет крайне плачевное лицо: плоское, почти квадратное, с носом в виде пуговки и с косыми глазами. Второй же изображает такую красавицу, которая смело могла бы конкури-

ровать с описывавшимися в прежних романах «богинями красоты». Напрасно только ей навьючили на голову такую огромную тяжесть в виде целой копны густейших и длиннейших волос: с таким бременем новоявленной красавице, наверно, очень неудобно.

Итак, теперь от самой женщины будет зависеть сделать-ся воплощением чудной грезы поэта, и если она пренебрежет этой чудесной возможностью, то даст повод считать себя лишенной всякой «художественности». Теперь каждая мало-мальски знакомая с классической литературой девица или дама может даже выбрать себе образец из древнего пантеона, подобием которого желает быть. Она может сделаться Юноной, Венерой, Еленой – вообще кем ей лучше понравится. Может даже сделаться, так сказать, компилятивной красавицей, позаимствовав у Венеры, положим, овал лица, у Юноны – нос и т. д. Теперь ничто уж не воспрепятствует ей перепробовать на себе поочередно все модели, как пробуют прически и костюмы. Все это теперь в руках расплодившихся в последнее время профессоров перефасонивания человеческих лиц и фигур. Дело лишь в деньгах.

Какой лоб вы желаете иметь, милостивые государыни, высокий или низкий? Некоторые дамы желают иметь интеллигентный вид, и это теперь, при современной постановке науки, вполне достижимо. Положим, сейчас в моде низкие лбы с греческими носами как наиболее соответствующие духу времени. Зато высокий лоб представляет собой преимущество

оригинальности. Выберите, что вам будет угодно.

А какие глаза? Обыкновенно дамы спрашивают голубой цвет глаз, не слишком яркий, а так, среднего тона – такой, чтобы он шел ко всем нарядам. Но чтобы в глазах непременно были и глубина, и страсть. Но так как этот сорт цвета глаз далеко не всем доступен по своей дороговизне, то имеется и суррогат его, который, однако, можно рекомендовать лишь с некоторой осторожностью, потому что он годен только при искусственном освещении, при дневном же сильно теряет.

Но каждая дама находит для себя доступным то, что ей нравится. Если у нее самой хромают финансы, то разве тот, ради которого она стремится украсить себя всеми прелестями сказочных богинь, не поспешит к ней на выручку, тем более что это ведь будет в его же собственных интересах?

После глаз выступает на очередь вопрос о волосах. «Профессор» подносит рисунки с образчиками волос. Заказчица, быть может, обладает очень живой, подвижной натурой, любит с веселым смехом бегать по лесам преимущественно в дождливую погоду или носиться на бойком скакуне по горам и долам, без шляпы и с развевающимися по ветру роскошными локонами. Если верить популярным повестям, то этим путем было изловлено на матримониальную удочку множество самых ярых противников супружеской жизни. В самом деле, как не поверить в сердечную простоту девицы, которая под дождем так подкупающе звонко хохочет или так безбоязненно подставляет свою прелестную головку под солнеч-

ные лучи. В девице столько выражается поэтической непосредственности, чуждой всякого ломанья и кривлянья, что жизнь с ней должна казаться светлым домашним раем. Ну, цель девицы и достигается.

Брови и ресницы должны, разумеется, согласоваться с цветом волос, но комбинаций множество, начиная с самых оригинальных и кончая самыми обыкновенными. Все на вкус и смотря по средствам. И во всем остальном также богатейший выбор, даже по отношению к росту и комплекции. При этом принимается в расчет не только существующая мода костюмов, но и возможные ближайшие ее изменения. Положим, иногда эти «профессора» ошибаются и дают совсем не то средство, какое нужно клиентке. Так, например, я знаю одну даму, которая желала избавиться от своей толщины и принимала прописанное ей «профессором косметических наук» снадобье. Через полгода она прибавила в весе чуть не вдвое против прежнего, «профессор» же все утешал ее, уверяя, что это только на первых порах идет такой прирост жировых отложений, а потом сразу пойдет на убыль до желаемой степени. Однако, видя, что эта убыль заставляет себя слишком долго ждать, прирост же продолжает совершаться неуклонно, дама бросила обманчивое снадобье и принялась за самый обыкновенный способ лечения от тучности, то есть принялась меньше кушать и лежать, больше двигаться, вообще проявлять большую деятельность, и через несколько месяцев пришла, так сказать, в норму.

Как бы там ни было, но молодой человек, желающий обзавестись семейным очагом, может теперь сделать это следующим образом.

Обратившись к первой попавшейся некрасивой девушке (приличного только поведения), он нарисует ей свой женский идеал, и если она не прочь будет сделаться его женой, то пойдет в косметический магазин к «профессору», где и найдет все что нужно, для того чтобы перефасониться на желаемый женихом лад.

Судя по описаниям, на диком Востоке давно уже практикуется нечто подобное. Желая пополнить свой гарем, восточные богачи рассылают по окрестностям цифры размеров и веса своей любимой жены и намекают при этом, что если найдется дама соответствующих пропорций, то у него есть для нее лишнее помещение. Тогда отцы измеряют своих дочерей и тех из них, которые подойдут под указанные мерки, отправляют по адресу.

Но на просвещенном Западе такие грубые приемы, разумеется, неприменимы, поэтому будут выработаны более деликатные. Очень может статься, что мамыши обзаведутся особого рода записными книжками, в которых будут графы с вопросами по следующему образцу: «Рост невесты?», «Объем талии невесты?», «Какие волосы вы предпочитаете: белокурые, каштановые или черные?» и т. д. Каждый мало-мальски выгодный кандидат на должность мужа будет приглашаться заполнить эти графы; но сам выбор будет зависеть



не столько от него, сколько от невесты. А раз этот кандидат будет записан у многих мамаш, то, конечно, хоть у одной из них да отыщется дочка, которая окажется и для жениха подходящей, и сама найдет его подходящим для себя.

Если какая-нибудь девица влюбится в какого-нибудь молодого человека или просто пожелает выйти за него замуж, то она сумеет незаметно выведать у него, какого именно вида женщина могла бы ему понравиться, и в течение полугода, самое большее в год, она приведет себя именно в такой вид. Если молодой человек за это время не успел еще жениться на другой, она предстанет пред ним во всем блеске его идеала, и он восторженно поведет ее к алтарю. И если у мужа вкус устойчивый, да и преобразование жены прочное, то, пожалуй, они оба будут счастливы.

Само собой понятно и то, что если в будущем не будет дурнушек, то не будет и старых женщин, по общепринятому взгляду, что женщине столько лет, сколько ей кажется на вид. Вероятно, ни одна женщина не будет казаться старше двадцати пяти лет. Кроме того, при этом устранится одна из причин зависти и ненависти женщин друг к другу, а вместе с тем гордость собой и тщеславие.

Но желательно спросить: не окажется ли всеильная наука со временем в состоянии наполнить мир женщинами не только вечно юными и прелестными по наружности, но и прекрасными внутренне?

Прошу моих современниц не обижаться на меня за та-

кой вопрос. Было время, когда во мне крепко сидела уверенность, что все женщины действительно так хороши, милы и добры, какими они кажутся в обществе; но их же собственные журналы и другие писания совершенно разочаровали меня в этом. Когда я вижу теперь прославленную красавицу, то всегда удивляюсь искусству ее «профессора косметики». А что касается внутренних качеств современных женщин, то и на этот счет можно найти очень поучительные странички в указанных литературных произведениях.

Ах, зачем вы сами, *medames*, такой безжалостной к себе и ко мне рукою открыли мне глаза на правду! Не сделайте вы этого, я бы до сих пор с прежней наивностью верил в то, что написано о вас поэтами всех веков и народов; верил бы, что вы – божественные создания, предназначенные услаждать своим видом и своими прекрасными качествами ума и сердца наше тернистое существование. Теперь же я вижу вас такими, какими вы сами обрисовали себя, и больше уж не верю ни одному поэту.

Источник своей наружной красоты женщины видят в косметических снадобьях и усердно расхваливают их своими перьями. Ничего принципиально не имея против этого источника, раз он так нравится женщинам, я оставляю за собой только право желать, чтобы наука открыла средства изменять к лучшему не одну наружность, но и душу женщины.

Будем надеяться, что хоть при наших внуках в газетах и журналах наряду с другими объявлениями и рекламами

будут помещаться и изображения девочки-подростка, которая после приема порции химической смеси, перерождающей дурной характер в хороший или, по крайней мере, подавляющей дурные порывы его, весело играет со своими маленькими сестренками и братишками, слушается старших, вовремя идет спать и засыпает со светлой улыбкой на лице.

Вообще если бы науке удалось совершить такое чудо, когда благодаря ее воздействиям действительно можно бы в корне изменять полную недостатков человеческую натуру, тогда... о, тогда мы смело можем провозгласить ее спасительницей мира. Но пока что мы, мужчины, должны обратить внимание женщин на то, что они всего сильнее могут привязать нас к себе в том случае, если станут более заботиться о своей *душевной* красоте, чем о телесной, так как последняя, в смысле облагораживания всей наружности, всегда может явиться сама собой как естественное последствие первой.

И, быть может, – пожалуй, даже *навверное*, – тогда и сами мы, мужчины, поневоле сделаемся лучше. А это тоже было бы ох как хорошо!

### III

## Жизнь – великая тайна

Если бы это зависело только от одного меня, я нашел бы многое, что нужно исправить в Европе и вокруг нее. Особенно коренных реформ я не стал бы производить: люди так уже сжились со своими основными недостатками и непорядками, что, чего доброго, еще обидятся, если вдруг взять да все это вычеркнуть из их обихода. Поэтому я ограничился бы урезкой только одних неприглядных кончиков и обрывков разных ненужностей, только зря обременяющих и осложняющих и без того тяжелую, запутанную жизнь.

Я уверен, что люди были бы очень рады, если бы кто-нибудь среди них захотел и смог избавить их от этого лишнего, накопившаяся веками груза. Но, сказать по правде, радоваться они стали бы лишь после того, как все дело уж было бы сделано, раньше чем они могли бы понять, что именно намеревается сделать их доброжелатель. Иначе...

Да вот лучше всего заглянем в газетную рубрику, озаглавленную «Брачные предложения». Первое же объявление в этой рубрике гласит примерно так:

«Молодая девушка, считающаяся миловидной (она сама не вполне уверена в этом отношении и, чувствуя, что эта «миловидность» может быть слишком условной, просто выставляет на вид то, что принято

говорить о ней в ее кругу, может быть, просто из одной вежливости), хорошо воспитанная, с добрыми наклонностями, обладающая небольшими средствами, ищет знакомства с джентльменом в брачных целях».

Непосредственно под этим объявлением видим другое в таком, например, роде:

«Джентльмен двадцати восьми лет, высокого роста, недурной наружности, считающийся приятным...»

Ну и так далее, как водится.

Из этих примеров видно, что такие скромные отзывы о себе, чающих брачных уз, могут послужить полезным уроком для нас, обыкновенных смертных. Представим себе, тоже, например, что кто-нибудь вздумал бы спросить меня:

– Скажите, пожалуйста, вы считаете себя приятным человеком?

Наверное, я инстинктивно ответил бы:

– Ну разумеется! Что за странный вопрос?

И если мой собеседник захочет вывести меня из моего самообольщения и возразить, что есть, однако, люди, которые вовсе не находят меня приятным, я могу покраснеть, нахотиться, надуться, как индейский петух, и крикнуть:

– Если существуют такие люди и вы лично знаете их, то кланяйтесь им от меня и скажите, что они дураки и невежи... Называть меня... ме-ня... неприятным!! Хотел бы я видеть тех, кто осмелился высказать мне это в лицо! Я бы им показал, какой я неприятный!

Объявляющие о себе в газетах кандидаты в мужья действительно чрезвычайно скромны в демонстрировании своих хороших качеств. Такие люди, видимо, желают, чтобы эти качества находили в них другие, а сами о себе они говорят только то, что их считают приятными. Далее они сообщают, что обладают независимым состоянием, тяготеют к прелестям мирной домашней жизни и поэтому ищут подходящую подругу для такой жизни. Приданого не требуется, но и не отвергается. Во всяком случае, объявители хлопочут не ради него, для них важен сам брак.

Но не грустно ли, что молодые девушки, обладающие миловидностью (не будем сомневаться в этой миловидности, потому что если бы данная девица вовсе не обладала этим свойством, то, наверное, не решилась бы и намекнуть на него), хорошими наклонностями, хорошо воспитанные и вдобавок имеющие денежные средства, хотя бы и небольшие, вынуждены прибегать к помощи газет, чтобы найти себе мужей? Неужели среди их знакомых нет людей, которые пожелали бы предложить им свою руку? Неужели всем знающим их лично недостаточно того, что они могут предложить? Чего же им нужно? Венеры, нарочно для них вновь возродившейся из пены морской и с многомиллионным приданым? Просто стыдно становится за свой собственный пол, когда читаешь подобные объявления и вдумываешься в то, что, собственно, под ними скрывается!

Но жизнь – великая тайна, и факт налицо: по всей видимо-

сти, действительно славная молодая девушка тщетно ищет себе мужа и тут же рядом молодой человек, может быть, в самом деле приятный, даже во всех отношениях (бывают ведь и такие), взывают ко всем четырем ветрам, чтобы хоть один из них принес ему добрую жену!

А быть может, эта молодая девушка и этот молодой человек не раз уж встречались на улице, сидели рядом в вагоне железной дороги или трамвая, в концерте, в театре, но не чувствовали, что каждый из них олицетворяет в себе именно то, чего они ищут друг в друге. И вот они должны прибегать к газетным объявлениям...

Далее, на одной странице газеты некая миссис объявляет, что ищет женскую прислугу, и не столько для того, чтобы обременять ее работой, сколько с целью оказать ей благодеяние, взяв к себе в дом, а на следующей странице несколько сот женщин всех возрастов и семейных положений, любящих труд до обожания, ищут, где бы они могли применить эту любовь и чувствовать себя полезными. Между тем и сердобольная миссис и образцовые в своем трудолюбии и готовности служить другим женщины годами живут бок о бок в городе и никак не могут сблизиться без посредничества.

Так обстоит у нас, в Европе. Люди живут, как слепые. Мне хотелось бы помочь им, открыть им глаза, дать возможность видеть ясно и отчетливо. Но как это сделать? Как дать им понять, что я горю желанием быть их благодетелем? Они проходят мимо меня по улице и не узнают меня. На мне нет ни-

чего такого, что могло бы дать им хоть слабый намек на то, что я лучше их самих знаю, в чем они нуждаются и как этого достичь.

В сказках мудрец появляется в длинной, вышитой разными каббалистическими фигурами одежде и в высокой конической шапке. Тогда всякий сразу знает, кто он такой. К сожалению, сказочные моды давно уже вышли из употребления, и мудрецы обречены носить одинаковую с простыми смертными одежду. Современный мудрец не носит на себе никаких знаков отличия, а его словам о том, что он действительно одарен мудростью, никто не поверит. Его только засмеют, а то и сделают с ним что-нибудь похуже.

Но будь я признанным мудрецом и доверь мне европейское человечество свои интересы, я бы прежде всего взялся за переустройство карнавального дела. Как известно, карнавалы бывают в Европе ежегодно в феврале. Я еще могу понять, что обитатели Ниццы или каких-нибудь испанских или итальянских городов находят удобным бегать в феврале по улицам в легких маскарадных костюмах, но в наших северных странах считаю это очень рискованным.

Как-то раз я видел карнавал в Антверпене. Холодный дождь хлестал, как из ушата. Ветер дул с такой силой, что пронизывал до мозга костей и сбивал с ног.

Несчастные пьери окоченевшими руками терли свои побагровевшие носы. Какой-то пожилой купидон, поджидавший случая укрыться в вагоне трамвая, отчаянно защищал



большой дождевой зонтик от яростных порывов ветра, стремившегося вырвать у него из рук это спасительное приспособление. Маленький чертенок плакал от холода и вытирал слезы кончиком собственного хвоста. Все подъезды были битком набиты трясущимися от холода масками. Только один джентльмен, наряженный водолазом, спокойно шагал посередине улицы: одному ему было не страшно, потому что его костюм достаточно грел его и вместе с тем был непроницаем для воды, которая лилась с него буквально ручьями. Только этого умного человека во всем Антверпене я и мог признать костюмированным вполне целесообразно.

Февраль – очень плохой месяц для уличных маскарадных балов. В сущности, вовсе нет ничего и веселого в этих маскарадах. Так называемые конфетти, которые публика зачем-то бросает друг в друга, состоят в настоящее время из очень мелких разноцветных бумажных кружочков, которые, попадая в вас целыми тучами, ослепляют вам глаза. Это может возбудить вместо веселости только досаду и способно довести самого ангела до желания задать хорошую трепку тому, кто выдумал такую глупость, а еще более хорошую тем, которые ее поддерживают.

В одном небольшом городке Северной Европы, близ границ Франции, карнавальное удовольствие продолжается три дня и две ночи. За это время все местное население вместе с толпами пришлого люда, стекающегося из окрестностей на двадцать миль вокруг, только и знает, что ест, пьет, орет,

скачет, гримасничает – вообще всячески озорничает и безобразничает, пользуясь свободой маскарадной разнузданности, для которой законы не писаны. После двенадцати часов последней ночи приезжие набиваются как сельди в бочонок в нарочно приспособленные к этому случаю поезда. Заткнув свои проездные билеты за ленту шляпы, они тут же засыпают друг на друге. На каждой станции являются железнодорожные служащие с фонарями, чтобы извлекать из вагонов тех пассажиров, которые имеют билеты до этой станции, но без посторонней помощи не в состоянии выбраться из недр поезда. Обыкновенно во время пути находится шутник, еще сохранивший настолько сознательности, чтобы перемешивать билеты своих спящих спутников, в результате чего получаются такие сцены: пассажиры высаживаются совсем не на тех станциях, куда им нужно, и встречающая их родня получает в свои нежные объятия чужих людей.

Сам я в Антверпене во время карнавала не был, но слышал от других, что там в течение этого праздника беснуются на улицах не менее тридцати тысяч человек. «Веселье» (в кавычках, конечно) происходит такое, что в домах заколачивают толстыми досками окна, а в ресторанах, гостиницах и тому подобных учреждениях убираются зеркала и подается самая дешевая посуда, вознаграждение за сокрушение которой нетрудно прибавить к счетам гостей. Вообще, судя по описаниям очевидцев, я, если бы решил лично проверить их показания, отправился бы на карнавал в этот городок не ина-

че как в доспехах рыцаря времен Генриха VII. Только в таком одеянии я и мог бы чувствовать себя в сравнительной безопасности среди тридцати тысяч беснующихся...

Одна дама со смехом рассказывала мне, как в ее присутствии карнавальщики целый день бросались на улицах апельсинами.

– Однако! Ведь это, наверное, больно? – воскликнул я. – Впрочем, какими бросались? Если мелкими, сочными и бархатистыми, то они особого вреда не могут причинить. А если крупными, твердыми, с толстой и шероховатой кожей, то ими можно и глаз вышибить, и по всему лицу синяков насажать.

– В ходу были *все* сорта, – пояснила дама, – и крупные, и мелкие, и твердые, и мягкие. Они со всех сторон так и сыплются дождем. Когда они падают на мостовую, их подбирают, если не успели истоптать ногами, и опять пускают в ход. Из-за них нередко бывают настоящие драки. Что же касается боли, то если держать голову вниз, то ничего в глаза не попадает. А если ушибут щеку, то стоит только потереть ее летучей солью с коньяком – никакого синяка и не останется. Да потом ведь это бывает только раз в год и, в сущности, очень забавно, – заключила рассказчица.

Почти в каждом городке, где бывают карнавалы, назначаются призы за наиболее оригинальные костюмы. Главный приз местами доходит до двухсот фунтов стерлингов, считая на наши, английские деньги. В получении призов соревнуют-

ся целыми цехами, которые и являются со своими музыкантами.

В дни царя Карнавала особенно веселятся в маленьких городках, вроде Антверпена. В больших же, как, например, в Брюсселе, этот царь почти уже не чествуется. Пройдут по улицам человек двести-триста в костюмах и масках, протискиваясь сквозь толпу обыкновенно одетых обывателей, – вот и все. В Шарльруа, центре бельгийской каменноугольной промышленности, карнавал является главным образом праздником для детей. Город отвел даже особую площадь для устройства детских увеселений в эти дни. Детям эта забава, разумеется, больше всего и подходит.

Когда в эти дни изволит случайно выглянуть солнце, то картина детского маскарада получается довольно эффектная. А как эти маленькие человечки любят костюмироваться и представлять других! Я помню одну маленькую плутовку, лет так десяти, которая великолепнейшим образом разыгрывала роль надменной молодой леди. Быть может, ей послужила образцом для подражания ее старшая сестра. На головке девочки красовался огромный парик из льняных волос, поверх которого ширилась шляпа такого фасона и таких размеров, что могла бы возбудить внимание даже на лондонском дерби; вся ее маленькая фигурка была облечена в модное платье с длинейшим шлейфом, тащившимся по мостовой; на крошечных ручках, в одной из которых девочка ловко держала голубой шелковый зонтик, были белые перчатки.

А с какой важностью держала себя эта крошка! Много видал я важничающих особ прекрасного пола, особенно из разбогачивших выскочек, но такой чванливой важности и такого всеподавляющего презрения к другим, какие проявляла эта маленькая артистка, мне никогда не приходилось видывать. Она казалась прямо воплощением этих свойств. Лебезившие вокруг нее подружки, с которыми она обыкновенно резвилась по целым дням на дворе, не достаивались теперь не только дружеского слова, но даже взгляда: она проплыла мимо них с видом восточной царицы, шествующей среди толпы простых невольниц.

Но эта девочка – балованная дочка богатых родителей, а вот двое бедных как церковные крысы мальчишек, которым не удалось скопить столько грошей, сколько нужно для того, чтобы взять напрокат хоть самые плохонькие костюмы, ловко вышли из затруднения: они добыли две белые блузы, или, вернее, два мешка, которые надеваются уличными метельщиками поверх обыкновенной одежды во время работы. И этого более чем примитивного маскарадного костюма было вполне достаточно, чтобы мальчишки чувствовали себя на седьмом небе, судя по их сияющим физиономиям. Для довершения своего удовольствия они выпросили у знакомого дворника пару метел, которыми с серьезным видом и сметали с мостовой в канаву грязь, причем догадались делать это не среди шествия, а вслед за ним. Позже они не хуже своих богато разряженных сверстников обоего пола участвовали в

общих танцах на площадке.

Видел я и игру в серпантин во время карнавала в бельгийских городах. Серпантин – это длинная полоска цветной бумаги, которую свертывают петлей и стараются накинуть проходящим на голову. Ловятся таким способом обыкновенно молодые девушки из категории тех, которые в объявлениях о желании вступить в супружество именуют себя милыми. И чем ближе принадлежит к этой категории девушка, тем больше у нее на шее серпантинных петель.

Но совершенно случайно мне пришлось встретить в одном пустынном переулке очень невзрачную девицу, очевидно, из разряда мелкой прислуги, которая сама нацепляла на себя эти цветные петли, подобрав их, вероятно, на большой улице. Наверное, она намеревалась похвастаться этими трофеями своим товаркам.

Очень жалею, что я невольно испортил ей это невинное удовольствие. Увидев меня, она с визгом бросилась бежать, срывая с себя бумажки и бросая их себе под ноги, словно опасалась, что я хочу обвинить ее в краже.

В городках пылкого юга карнавал, понятно, отличается особой красочностью, фантастичностью и бесшабашным весельем. Но я там не был, поэтому и описывать тамошних карнаваловских удовольствий не могу. Зато мне довелось видеть карнавал в Мюнхене и вынести оттуда такое впечатление, что едва ли во Франции, Италии и Испании карнавал может быть пестрее и оживленнее, чем в баварской столице.

В этом большом южногерманском городе, прославленном своим пивом и сосисками, карнавал продолжается целых шесть недель и заканчивается двухдневным диким разгулом на улице. За все это время на людей некостюмированных смотрят как на редкость, а отчасти даже и с некоторой подозрительностью. Все местное население, начиная с важной аристократки и до последней судомойки, с «господина профессора» и до последнего мальчика для побегушек, замаскировывается, рядится в причудливые костюмы и танцует без устали с утра до вечера и с вечера до утра, как, по крайней мере, показалось мне. Танцуют буквально всюду: во всех театрах, концертных залах, ресторанах, гостиницах заблаговременно очищается место для танцев. Даже на улицах идут танцы. Вообще в это время Мюнхен становится совсем шальным.

Я говорю *совсем* шальным, потому что *немножко* шальной он всегда. Но шальнее всего, что я видел в этом городе, был один бал. По собственной инициативе я на такой бал ни за что бы не отправился, но меня уговорил проводить его туда один из наших известных ученых, профессор Н., мой хороший знакомый, пожелавший видеть бал собственными глазами. Разумеется, участвовать в танцах ни он, ни я не желали; мы намеревались только засесть в каком-нибудь укромном уголке, откуда можно было бы без особого стеснения поглядеть, как беснуются другие. Поэтому мы и отправились было на бал в своей собственной одежде, но швейцар

не пропустил нас в таком виде в зал, заявив, что бал костюмированный и посетители пропускаются туда только в бальных или маскарадных костюмах.

Было уже половина второго ночи. Где в это время добудешь костюмы? Профессор, любивший настоять на своем и пошутить, спросил швейцара, не сойдет ли за костюм, если он, профессор, подшил длинные полы своего профессорского сюртука и вывернет наизнанку жилет. Но швейцар покачал с серьезным видом головой и заявил, что этого недостаточно для входа в залу костюмированного бала. Я в своих серых панталонах совсем не годился для присутствия на балу даже в качестве простого наблюдателя.

Профессор задумчиво тер себе лоб. Очевидно, такой трудной проблемы ему никогда еще не приходилось решать – проникнуть на костюмированный бал без костюма. На счастье у швейцара, занимавшегося, как оказалось с его слов, для лишнего доходца отдачей напрокат костюмов, осталась в запасе пара хотя и плохоньких, сильно потрепанных, но все же настоящих маскарадных костюмов: одежда китайского мандарина и балахон капуцинского монаха. Таким образом, моему почтенному спутнику все-таки удалось исполнить задуманное. Костюм сановного китайца ему вполне подошел, да и я в монашеской рясе выглядел довольно прилично для данного места и времени.

– Надеюсь, нас здесь никто не узнает? – шепнул мне профессор, когда мы наконец проникли в бальный зал.



Там творилось нечто прямо невообразимое, а потому и неопишное обычным пером. Укротного уголка мы не нашли. Нам пришлось стоять, прижавшись к стене, в тесной толпе отдохнувших танцоров. Через четверть часа у нас началось нечто вроде морской болезни, и мы были вынуждены покинуть зал, что удалось нам с гораздо большим трудом, чем проникнуть в него.

До сих пор не могу понять, что могут находить привлекательного в картине беснования такие серьезные люди, как мой уважаемый спутник? Ведь он заранее понаслышке знал, что это такое, сам опасался, как бы его не узнали под маской, следовательно, понимал, что рискует своей репутацией, если узнают его, – и все-таки шел! Да и меня потащил с собою в качестве лишнего свидетеля.

Да, жизнь – великая тайна...

## IV

# Не слишком ли долго мы лежим в постели?

Свойственную мне в настоящее время привычку рано вставать я много лет тому назад приобрел себе в Париже, и вот по какому случаю.

Как-то раз в одну душную летнюю ночь я никак не мог заснуть. Тщетно проворочавшись до, как это говорится, утренних петухов, я, весь в горячем поту, задыхающийся и точно избитый, заставил себя встать, умыться и одеться. Накинув потом на плечи легкое пальто и нахлобучив на голову соломенную шляпу, я потихоньку спустился вниз по лестнице, отпер тяжелую дубовую парадную дверь гостиницы, где все живое было еще объято глубоким сном, который упорно не давался одному мне, и вышел на улицу.

Я очутился в незнакомом безмолвном городе, окутанном свежими, мягкими, таинственными сумерками. И с тех пор меня постоянно тянуло на улицу в эти странные предрасветные часы. В том же Париже, в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Вене, – словом, в каком бы городе ни приходилось быть мне, везде я пользуюсь теплым временем года, чтобы пойти и окунуться в каменные волны сонного предрасветного города, города туманных далей, напоминающих смутные на-

дежды на лучшее будущее в высших, не известных нам областях; города тихих голосов, нашептывающих нам волшебные сказки; города вновь зарождающегося дня с радужными надеждами при возникновении этого нового дня и горькими разочарованиями при его угасании...

Только в предрассветной мгле город бывает чистым и величавым. Даже тряпичница, роющаяся своими грязными руками в скопищах вчерашнего сора, является как бы преображенной. Медленно переходя от одного двора к другому в едва прикрывающих ее тело лохмотьях, с преждевременно состарившимся лицом, изборожденным горькой нуждой со всеми ее мрачными спутниками, с изможденной, костлявой, сгорбленной фигурой, она вызывает не отвращение, как днем, под лучами безжалостного солнца, а представляет неумолимой, грозной обличительницей людской несправедливости, сладко спящей за теми крепко закрытыми ставнями, мимо которых осторожно пробирается жертва этой несправедливости.

А вот и еще жертва той же несправедливости. По тротуару мелкими шажками семенит молоденькая белошвейка, спешащая на свой ранний дневной труд. Немного спустя она будет лишь составной частью толпы таких же девушек, наполняющих помещения больших мастерских, обменивающихся горькими шутками, поющих грустные песни и хохочущих насильственным смехом. Но здесь она пока еще принадлежит самой себе; здесь она одинаково далека и от душных

стен шумной мастерской с ее пошлостью, и от стен мансарды с ее тоской. Упиваясь утренней свежестью, глядя на розовеющее небо и слушая щебетание отдаленных птичек, прочищающих себе горлышко, чтобы пропеть свой утренний привет поднимающемуся солнцу, лучи которого действуют на них так обаятельно, бедная труженица предается тихим мечтам, хотя и неисполнимым, зато хоть ненадолго умиротворяющим больное сердце. Добравшись до бульвара и присев на скамейку под деревом, она складывает на коленях бледные руки и тихо улыбается. Но вот на башне ближайшей церкви бьет четыре часа, девушка испуганно срывается с места и сломя голову мчится в свою дневную тюрьму...

Иду дальше, захожу в парк. Там попадается мне навстречу молодая парочка; *он* и *она* ходят, взявшись за руки, как дети. Днем у них будет другое выражение сияющих теперь от радости лиц, будут срываться другие слова, чем в настоящую минуту, когда они оба находятся всецело под обаянием умиротворяющего утра.

Вот показывается толстый, заспанный, тяжело дышащий конторщик. Остановившись в тени и уже чувствуя жару, которой на самом деле пока вовсе еще нет, он обтирает лицо платком, обмахивается шляпой и слезящимися глазами смотрит на проносящихся над его лысой головой резвых птичек. Он совершает предписанную ему врачом прогулку, перед тем как засесть в своей давно опостылевшей ему конторе; по всему видно, что хотя ему и трудно было подняться

так рано, зато и в его душу сходит утренний мир.

В одном из парижских парков стоит статуя Афродиты. Совершенно случайно мне пришлось два раза в одну неделю очутиться перед этой статуей ранним же утром. Невольно забывшись, я в оба раза подолгу простаивал в самозабвенном созерцании этой дивной красоты в высшем, художественном смысле. И каждый раз, приходя в себя и повертываясь, чтобы пойти дальше, я видел за собою одного и того же человека, также погруженного в лицезрение этого чудного мраморного изваяния. На вид незнакомец был совершенно неинтересен. Судя по одежде и манере держать себя, он мог быть торговцем, чиновником средней руки, доктором или адвокатом.

Десять лет спустя, в тот же утренний час, я снова нанес визит этой статуе и, к своему великому изумлению, застал там того же самого созерцателя. Я был скрыт от него боскетом, из-за которого его увидел и сразу узнал. Не желая тревожить его своими шагами, я остался за боскетом и стал ожидать ухода незнакомца.

Оглянувшись и не видя никого поблизости, этот поклонник мраморной Афродиты ловко поднялся на высокий постамент и страстно прильнул губами к дивным, но покрытым грязью ногам статуи.

Будь это какой-нибудь длинноволосый студент из Латинского квартала, в такой выходке не было ничего удивительного, но чтобы такой уже почтенный годами, степенный и серьезный на вид человек мог проделывать подобные шту-

ки, как назвал бы это всякий другой на моем месте, — для меня, много видавшего на свете, было большой новостью и загадкой.

Спустившись с пьедестала, незнакомец закурил сигару, взял свой зонт, лежавший на скамейке перед статуей, и не спеша удалился. Тогда я решил, что это, должно быть, какой-нибудь буржуа-мечтатель, который только в этом паломничестве к прекрасному произведению (или хоть воспроизведению) греческой художественной фантазии и находит удовлетворение своему смутному порыву в заоблачную высь, где ему хотелось бы отдохнуть душою от окружавшей его грубой, пошлой действительности. И я невольно посимпатизировал ему еще больше, нежели в первые два раза, когда видел его только *смотрящим* на статую, как смотрел и я.

В одной из горьких ибсеновских комедий молодые влюбленные в самый расцвет своей юности и любви решили расстаться, чтобы никогда больше не искать сближения друг с другом, пока они будут во плоти. Таким образом, каждый навсегда сохранит с своим сердце неискаженный временем, богоподобный, сияющий молодостью и красотой образ другого. А чтобы эта идея не могла казаться нелепой, тот же автор показал нам в других своих произведениях людей, женившихся по страстной любви. В одном из этих произведений говорится, что пятнадцать лет тому назад *она* была прелестнейшею в мире девушкой, у ног которой вздыхало не одно мужское сердце, а *он* описывается жизнерадостным сту-

дентом, пламеневшим любовью ко всему высокому и благородному. После пояснительных разговоров других действующих лиц на сцену выступает именно эта супружеская пара, о которой шла речь.

И что же мы видим? Или, вернее, что могли мы ожидать увидеть, принимая в расчет, что над описанной четой пронеслись пятнадцать лет борьбы с неумолимой действительностью? Мы видим огромную перемену, произведенную этими пятнадцатью годами. *Он* – тощий, сухой, желчный и привередливый ипохондрик, думающий только о том, как бы прокормить и поставить на ноги одиннадцать человек детей. *Она* – измученная, истерзанная, еле двигающаяся жертва своего чересчур плодовитого материнства и своего несносного брюзги-мужа...

Да, я люблю магические предутренние сумерки, таким нежным флером окутывающие грубую жизненную действительность, которая, кстати сказать, могла бы быть совсем иной, если бы люди, строящие эту жизнь, были... повдумчивее.

Но одно утро не могло скрасить и в моих тоскующих о неземной красоте глазах неприглядную действительность. Это было возле Брюсселя. Гуляя по проселочной дороге, я встретил собаку, тащившую тележку, доверху нагруженную хворостом. Собака была до такой степени худа, что все ее кости были наружу.

Вначале я был возмущен этим зрелищем, думая, что вижу

результат бесчеловечной жестокости хозяина этой несчастной собаки. Но потом я разглядел точь-в-точь такую же изморенную голодом ветхую старушку, которая, согнувшись в три погибели, подталкивала сзади тележку.

С сердцем, обливающимся кровью от глубокой жалости, я повернул назад, чтобы порасспросить старушку о причинах ее ужасающей бедности. Оказалось, она живет близ Ватерлоо и каждое утро, в три часа, отправляется со своей собакой в большой лес собирать хворост, который при помощи собаки и тащит за девять миль в Брюссель. Иногда ей удается добыть за этот труд два франка. В этот счастливый день и она, и ее внучок, который остался у нее на руках, и ее верная собака бывают сыты, но это случается очень редко. Я спросил ее: разве она не могла бы найти себе более выгодное занятие в качестве хоть няньки в непритязательном семействе? Она ответила, что могла бы, если бы она была одна. Но кто же возьмет ее, когда у нее самой ребенок на руках, а девать его некуда? Потом и собаку ей было жаль, не бросать же этого верного друга?

Такова настоящая жизнь, созданная духовно слепыми людьми для самих себя и для своих четвероногих друзей...

Прекрасная нежная леди, узнающая, что пора вставать, так как наступило уже утро (*ваше* утро, совсем не совпадающее с общим) только потому, что горничная приходит доложить вам об этом и поднимает тяжелую оконную драпировку, – как хорошо вы делаете, что никогда не выходите из



вашего роскошного жилища во время встречи уходящей ночи с приходящим днем, поэтому не можете сталкиваться с женщинами, подобными той, которую я только что описал. Осмеливаюсь шепнуть вам, что рядом с *такими* женщинами самая красота ваша могла бы померкнуть.

Удивительно, как всегда во все времена и во всех странах, было и есть великое тяготение к церкви всех торгующих. Христос изгнал их из храма, но они все-таки до сего дня постоянно ютятся если не в самом храме, то вокруг него. Интересное зрелище представляет в ясное солнечное утро вид величественного седого собора, подножие которого окружено живой гирляндой пестро одетых старых и молодых женщин, девушек и подростков с корзинами, наполненными разноцветными овощами и плодами. Это очень живописно и очень характерно.

В Брюсселе главный рынок расположен на Большой площади, где есть здания, пережившие много веков, следовательно, еще больше поколений торговцев и покупателей, из года в год, изо дня в день, начиная с половины пятого утра, бурлящим морем переливающихся под их почтенными стенами. Разумеется, тут же и собор. Сюда, на этот рынок, со всех окраин города стекаются жены и дочери бедняков, для которых одна десятая часть пенни разницы в цене имеет огромное значение; являются и содержатели многочисленных местных пансионатов, которые тоже ищут, как бы хоть немножко сэкономить на провизии. Но о них надо сказать

поподробнее.

В Брюсселе есть дома, где вас накормят, напоят, дадут вам помещение с отоплением и освещением, уложат вас мягко спать, вычистят вам платье, обувь, вообще всячески будут за вами ухаживать – за два франка в сутки... Впрочем, для вас, дорогая леди, такие учреждения совершенно неподходящи, и я ошибся, обратившись к вам. Простите великодушно! В таких пансионах имеют потребность только вдовы с крохотными пенсиями, учительницы и гувернантки, дающие уроки по сорок сантимов в час, и подобного рода мелочь, еле-еле натягивающая франков сто в месяц для поддержания своего более чем скромного существования. Поэтому можно себе представить, какая нужна изворотливость со стороны содержательниц пансионов, чтобы, получая со своих жильцов за все про все только по два франка в сутки, держать все в порядке и существовать самим. И бегут эти удрученные заботами «мамамы» рано утречком со своими сумками и корзинами на главный рынок, иногда очень далеко отстоящий от их жилищ, лишь бы выгадать несколько су на провизии, хотя мелкие рынки часто бывают у них под боком, но на них немного дороже, чем на главном, где такая огромная конкуренция.

На рынках всегда можно увидеть массу собак, впряженных в тележки и терпеливо сидящих целыми часами на одном месте, непоеных и некормленных. У большинства этих бедных четвероногих друзей человека очень жалкий вид, до-

казывающий, что им живется так, что, пожалуй, лучше бы и вовсе не являться на свет. Все они до такой степени подавлены, что, если кто-нибудь бросит им кусок, они даже и хвостом не вильнут в знак признательности, а только с жадностью проглотят этот кусок и смотрят, не дадут ли еще. Впрочем, у многих из них и хозяева не в лучшем положении, и нужда, часто несправедливая и незаслуженная, сделала и их сердца деревянными, недоступными никаким живым чувствам.

На этих торговых площадях происходит нечто вроде вавилонского столпотворения. Например, покупательница ищет цветную капусту... К счастью, цветная капуста не обладает никакими чувствами, иначе она непременно разразилась бы слезами, видя, какими глазами на нее смотрят. И действительно, вид у этой знаменитой брюссельской капусты такой, что трудно и смотреть на нее благосклонным взором. И покупательница, вовсе не желая брать такую позорную пародию на цветную капусту, из простого любопытства осведомляется о ее цене.

Собственница капусты требует шесть су за кочешок. Покупательница раздражается ироническим смехом. Шесть су за то, что не стоит и одного! Это уж чересчур забавно! Усиливаясь затаить горькую обиду, торговка начинает расписывать мерещащиеся ей достоинства своей капусты. Она старается уверить покупательницу, что лучше этой капусты и быть не может, и что если бы все торговали только такой

капустой, то многое в мире было бы иначе. Болтливая, как все торговки, почтенная обладательница капусты кстати дает биографический очерк своего овоща, начиная с возможно отдаленных времен возникновения еще предков данных ко-чешков. В конце концов она растроганным голосом заявляет, что ей даже жаль расставаться с ее прелестными огородными питомцами, но мало ли каких тяжелых жертв требует общественная польза.

Если покупательница из мирных, то она просто-напросто скажет, что сейчас раздумала брать цветную капусту, кивнет головой и отправится дальше, в другой ряд. Если же она из сварливых – а такие очень часто и попадаются на рынках, – то самым беспощадным образом начнет разоблачать недостатки капусты, и дело обыкновенно кончается крупной ссорой, иногда даже и скандалом. Но всего чаще торговка уступает два су, в особенности когда рынок начинает пустеть, а именно к этому времени и собираются те покупательницы, которые поневоле должны довольствоваться низкосортными продуктами, лишь бы они мало-мальски оправдывали присвоенное им название и не подлежали выбрасыванию прямо в помойку.

## V

# Следует ли людям увлекаться спортом?

Что мы, англичане, придаем чересчур большое значение спорту – об этом нечего и говорить, или, вернее, наговорено уже так много, что это превратилось, так сказать, в общее место. Теперь остается только ожидать, что на днях кто-нибудь из наших новеллистов-реформаторов напишет книгу, в которой докажет как дважды два четыре, что результаты неумеренного увлечения всякого рода спортом являются крайне плачевными: пренебрежение своими обязанностями, разорение, домашние неурядицы и, в конце концов, разжижение мозгов, и без того не особенно крепких у большинства спортсменов, а затем и прогрессивное слабоумие.

Я знаю одну молодую парочку, отправившуюся в Шотландию провести там медовый месяц. Новобрачная, очевидно, и понятая не имела о том, что ее избранник – записной игрок в *гольф*, иначе, наверное, ни за что не поехала бы с ним в Шотландию. Он скрыл от жены свое пристрастие к этому спорту и говорил лишь о том, что в шотландских горах всего тише, спокойнее и здоровее и что хорошо бы объехать их все, останавливаясь ненадолго в разных местечках.

На второй день пребывания в первом горном городке мо-

лодой муж уходил гулять один, а за обедом, мечтательно глядя в окно на синюю дымку дали, заявил жене, что ему очень понравилось в этом месте и что он желает остаться здесь еще на сутки. Жена ничего не имела против этого, так кай ей, в сущности, было совершенно безразлично, где бы ни быть, лишь бы только с мужем. На следующее утро муж тотчас же после завтрака ушел, объявив, что скоро вернется. Но вернулся он только к обеду, уставшийно очень оживленный, и только тут бедная молодая женушка узнала, что он ходит в горы играть в свою любимую игру. Оказалось, что он случайно встретился с компанией таких же любителей этого спорта, каким был сам, и присоединился к ним. Окончилось это тем, что супружеское счастье молодой четы сразу расстроилось, благодаря тому что муж более любил свой спорт, чем самим же им выбранную жену. И таких примеров, наверное, можно насчитать много.

Известен также анекдот об одном пасторе, который ради игры в мяч порой пропускал службу, и когда кто-то из знакомых сказал ему, что одновременное служение и церкви и спорту неуместно, нужно что-либо одно, призадумался, потом выразил полное согласие с мнением своего собеседника и дал слово, что на днях сделает свой выбор. Встретившись через неделю с тем же человеком, пастор радостно заявил ему, что он теперь свободный человек, потому что отдался всецело одному делу, и чувствует себя превосходно.

– Вот и прекрасно! – одобрил тот, и, видя, что пастор

несет плетеную сумку, наполненную чем-то круглым, полюбопытствовал: – Что это у вас? Неужели яблоки? Кажется, они еще не спели...

– Это мои мячи. Иду состязаться...

– Мячи?.. Состязаться?.. – недоумевал знакомый. – Да ведь вы только что сказали, что...

– Ах, боже мой? Неужели вы подумали, что я бросил *это*? – в свою очередь перебил его пастор. – Нет, милейший, я отрекся только от своей церковной должности, чтобы иметь возможность посвятить спорту все время.

Да, мы, англичане, смотрим на спорт не как на забаву и развлечение, а как на очень серьезное дело, ради которого можно и даже должно жертвовать всеми остальными. По нашему примеру эпидемией спорта заразились и другие страны. Если послушать людей, то окажется, что благодаря поданному нами примеру, оздоровление населения во всей Европе идет гигантскими шагами. На германских и швейцарских курортах можно видеть невероятных размеров толстяка, с большим трудом поворачивавшего свою тучную фигуру, и с глухим от ожирения голосом, задыхаясь на каждом слове, повествующего о том, что он жертва *избытка* здоровья, полученного им благодаря физическим упражнениям на наш, английский образец. Люди, находящиеся в последней степени чахотки, хриплым шепотом сообщают, как они всего несколько лет тому назад отличались на гимнастических съездах, до каких удивительных размеров у них была расши-

рена грудь и как развивались легкие, да вот вдруг пристала глупая простуда и... Тут их прерывают одноногие, одноруки или еще чем-либо искалеченные спортсмены, похваляющиеся, что они пострадали в велосипедных, моторных, автомобильных и т. п. гонках на призы, и что, если бы не простая случайность, они были бы теперь богатыми и известными людьми. И все они, за редкими исключениями, были в высших учебных заведениях, где пользовались развивающими тело, а через него дух благотворными физическими упражнениями и привыкли к тому или другому благородному спорту.

Жалкие люди! Они не научились ничему, кроме чтения спортивных журналов, книги существуют не для них. Они считают всякую чистую мысль за лишнее обременение мозга и, опасаясь переутомить его, довели этот орган до полного отупения. Искусство их не интересует, если оно не имеет соприкосновения с избранным спортом. Природа служит им лишь напоминанием о том, чего они больше не могут делать; снежные горы – о том, что они когда-то были выдающимися лыжниками; вид волнующейся изумрудной травы на лугах заставляет их досадовать по поводу утерянной ими способности к игре в мяч; река возбуждает в них воспоминание о том счастливом времени, когда они были искусными пловцами, пока не схватили ревматизм в самой тяжелой форме; порхающие по деревьям птички заставляют их тосковать о ружье. И все в таком духе.



Как-то раз во Франции я присутствовал на партии *лаун-тенниса* и был поражен небрежностью игроков. Запустить деревянный шар на один или два ярда за черту плаца – для них ничего не значит. Бывает, что попадают и в окна соседних домов или в прохожих и нередко сбивают их с ног. Так случилось при мне с одним почтенным джентльменом, имевшим несчастье остановиться возле самого места игры, чтобы завязать распутившийся шнурок одного ботинка. Шар угодил ему прямо в спину и заставил его растянуться на земле, – конечно, больше от неожиданности, чем от силы удара. Участники игры и зрители разразились неудержимым хохотом.

Когда же игроки хватят кого-нибудь из партнеров по голове тяжелым шаром и ушибленный ответит им тем же, то обыкновенно начинается настоящий поединок на шарах, к счастью, впрочем, кончающийся примирением противников.

Континентальное небо так прекрасно своей сияющей голубизной, так привлекательно, что неудивительно желание большинства континентальных игроков, даже приезжих с наших островов, направить шар прямо в небесную высь. Во время моего пребывания в Швейцарии там в английском клубе был молодой англичанин, отличавшийся необыкновенным искусством в игре лаун-теннис. Он никогда не пропускал мимо ни одного чужого шара. Но главное искусство этого игрока состояло в том, что его собственный шар непре-

менно взлетал футов на сто в воздух, с тем чтобы потом спуститься на «двор» своего партнера. Последний, подняв голову, внимательно следил, как шар, превратившийся в едва заметную точку, постепенно возрастал, приближаясь к земле. Прохожие, думая, что наблюдатель следит за полетом воздушного шара или какой-нибудь необыкновенной птицы, останавливались, тоже задирали головы вверх и спрашивали, в чем дело. Игроки махали им рукой, чтобы они молчали, точно боялись, что если они сами заговорят, то шар возьмет да и унесется куда-нибудь в другую сторону. Случалось, что собственник шара позволял ему спуститься до расстояния нескольких футов от земли, перехватывая его ловким ударом и вновь посылал к облакам – и так до нескольких раз. Все это, конечно, было не по правилам, но нарушение правил прощалось игроку за его искусство.

Своих партнеров он часто доводил до полного отчаяния, потому что он не давал им выиграть ни одной партии и этим лишал их возможности пообедать в клубе. Требования третейского суда были бесполезны: никто не решался судить этого непобедимого игрока.

Но все ли назначение человека в игре? Нет ли у него более серьезных задач? Никто не говорит, чтобы совсем забросить спорт: он имеет и свои хорошие стороны, если заниматься им вовремя и умеренно; но жертвовать ему своими обязанностями и посвящать исключительно ему все свои помыслы и силы – это уж значит пересыпать через край... Пом-

ню один случай. Вечер был ясный, теплый и благоухающий. Клубное здание с его резным фасадом и блестящими окнами кокетливо выглядывало из-за густой зелени. На коротко подстриженной изумрудной лужайке шла оживленная игра в лаун-теннис. Многочисленные участники обоего пола, все в безукоризненных белых костюмах, оживленно суетились, весело смеялись и шутили. Вообще все было очень красиво и жизнерадостно.

С одной стороны нарядная лужайка примыкала к большому лесу, а с другой – к ряду маленьких ферм, населенных работающим людом. И вот вдруг из леса вышло маленькое шествие. Впереди шли две женщины, одна уже пожилая, другая совсем еще молодая, таща на толстых веревках, перекинутых на плечи, тяжелую борону, а за ними плелся пожилой старик с большим лукошком в руках. По-видимому, эти люди, из которых женщины заменяли недостающую в хозяйстве лошадь, возвращались со своего только что обработанного ими клочка земли, расположенного где-нибудь за лесом.

Залюбовавшись изящными нарядами и красивыми личиками множества изящных дам, обступивших лужайку в качестве зрительниц игры – не говоря уж о самих играющих, – женщины-лошади остановились перед проволочной решеткой, отделявшей дорогу от клубного сада. Молодая женщина отирала передником пот с загорелого лица, пожилая поспешно подправляла свои растрепавшиеся седые волосы под головной платок, повязанный узлом на затылке, а старик

усиливался выпрямить свою сторбленную спину. Простояли они не более двух-трех минут перед картиной, которая должна была казаться им живой страницей волшебной сказки, но все глядели просто, спокойно, бесстрастно и молча.

Молодая женщина была очень хороша, несмотря на свою грубую и неуклюжую одежду, а старушка прямо поражала благородством очертаний своего тонкого, худощавого лица с большими, ясными и спокойными глазами под красивыми, еще темными бровями. Старик тоже носил следы былой красоты, и вся его изможденная бесконечно долгим упорным трудом фигура дышала тем достоинством, которым отличаются все чистые душой и сердцем люди, независимо от своего сословия.

Потом, по одному слову, тихо сказанному стариком, женщины снова согнулись и повлекли дальше тяжелую борону. И мне невольно припомнилось изречение, кажется, Анатоля Франса, сказавшего, что общество основано на терпении трудящихся масс...

## VI

# Следует ли слушаться добрых советов?

Я очень скуп на советы в делах, в которых не могу быть авторитетным за неимением личной опытности в них. Много лет тому назад я написал статейку о *бэби*. Эта статейка вовсе не претендовала не только на руководство, как обращаться с *бэби*, и на безошибочность изложенных в ней взглядов на новоявленных будущих людей, но она была написана в таком игривом тоне, что я имел право считать ее хоть не скучной. Получив ее оттиск, я поспешил показать его одной знакомой даме, обладательнице двух *бэби* самого обыкновенного сорта, хотя и казавшихся матери какими-то особенными существами. Ввиду того, что она постоянно делала слишком уж много «бума» со своими ангелочками, я находил, что ей будет бесполезно прочесть мою статью. Открыв сборник, в котором была помещена статья, я сунул книжку в руку этой дамы и сказал:

– Прочтите это не спеша, повнимательнее, ничем посторонним не отвлекаясь. Когда попадетсЯ что-нибудь в этих строках, относительно чего вы желали бы иметь разъяснения, то запишите это себе на память до следующей нашей встречи или напишите мне по почте. Если же найдете, что я

не высказал тут чего-нибудь существенного, также сообщите мне. Быть может, вы разойдетесь со мной во мнениях по некоторым пунктам затронутой мною темы – прошу не утаивать от меня и этого. Я не обижусь, а постараюсь только переубедить вас в пользу своего воззрения и надеюсь, что это мне удастся...

– Да о чем тут говорится? – не дослушав меня, спросила дама и прибавила: – У меня нет карандаша для записывания того, о чем вы просите. Не пачкаться же чернилами при чтении книги!

– Эта статейка трактует о бэби, – пояснил я и предложил ей займы свой карандаш.

Замечание относительно карандаша обогатило меня новым опытом: я узнал, что никогда не следует давать женщине займы карандаш, который вы желали бы получить обратно. Она ни за что не возвратит его и отговорится от этого тремя утверждениями: она будет уверять, что уже возвратила вам карандаш и вы положили его к себе в карман, где он и находится, а если *не* находится, то *должен* находиться; потом скажет, что вы и не думали давать ей карандаша; третьим аргументом будет восклицание, что она желала бы, чтобы люди не навязывали своих карандашей, с тем чтобы требовать их назад как раз в такое время, когда она занята совсем другим делом.

Но у нас дело до этого пока еще не дошло. Моя добрая знакомая взяла карандаш, повертела его в руках, потом спроси-

ла, не может ли она делать свои заметки на полях журнальной книжки, и когда я ответил, что можно, если хватит места, бросила мне:

– Что же вы можете сказать о бэби?

– А вот прочтите и увидите, – ответил я.

Она небрежно перелистывала страницы и заметила:

– Немного же вы написали о таком важном и обширном предмете.

– Зато существенно, – возразил я.

– Да оно, пожалуй, и лучше, что не длинно... Хорошо, я прочту, – снисходительно промолвила она, кивнув.

Не желая мешать ей своим присутствием, я вышел в сад. Я желал, чтобы она могла вполне проникнуться моей статьей. Временами я потихоньку подходил к открытому окну и украдкой заглядывал в него. Не видно было, чтобы чтица делала много заметок. Зато она сильно покачивала головой, произносила «та!», фыркала в нос и с какой-то особенной возбужденностью переворачивала страницы. Я вошел к ней, когда заметил, что она дочитала до конца.

– Ну, как вы находите? – спросил я, садясь против нее.

– Это серьезно или шутка? – в свою очередь спросила она.

– Я потому придал этому вопросу юмористическое освещение... – начал было я.

Но она не дала мне закончить и резко проговорила:

– А, так это написано с целью рассмешить? Но я вовсе не нахожу тут ничего смешного. Если вы хотите, чтобы вашу

статью приняли всерьез, то в ней серьезно только то, что вы – не мать, поэтому не можете быть верным судьей в вопросе о детях.

С врожденным чутьем истинного критика эта дама сразу же отыскала мое больное место, чтобы как можно чувствительнее уязвить меня. Всякое другое замечание я бы мог опровергнуть, но это, сделанное моей первой читательницей, было неопровержимо и с тех пор сделало меня более осторожным при суждении всего того, что совершается, так сказать, вне граней моего собственного житейского опыта.

Так, например, каждый год в Валентинов день мне хотелось бы многое сказать моим милым друзьям, птичкам, начиная с того, что февраль – не слишком ли ранний месяц для их появления у нас, на суровом севере? Но я молчу, потому что опасаюсь, как бы и они не ответили мне:

– Ну что ты смыслишь в нашей жизни? Ведь ты не птица.

Да, знаю, что я не птица. Но именно поэтому-то птицам и следовало бы выслушать меня со вниманием. Стоя в стороне, я лучше их могу увидеть и обсуждать их собственные ошибки, потому что не связан их птичьими условностями. Но... птица ведь женского рода, а женский род везде и во всем одинаков, в какой бы форме он не проявлялся: в виде хорошенькой малиновки или красивой дамы. Они признают в своих делах одних себя...

В самом деле, разве у птиц все в порядке? Ведь если бы я был птицей и вздумал вдвоем с женой строить себе жилище,



то разве выбрал бы для этого февраль, то есть такое время, когда дует холодный, пронзительный и порывистый ветер, способный вырывать из рук строительный материал и даже сбрасывать нас самих на землю?

Вот в апреле и мае – совсем другое дело. В эти месяцы все-таки довольно часто светит солнце, воздух мягок и душист. В такое время я, снеся на стройку к жене часть набранного материала, спокойно мог бы присесть около жены и отдохнуть, не опасаясь, что все наши труды будут снесены куда-нибудь в сторону. Посидели бы мы рядышком, закусили бы чем бог послал, потом прочирикали бы вдвоем какую-нибудь веселую песенку, а затем с радостным сердцем опять за работу. И наша стройка была бы только одним удовольствием и приятным развлечением.

Самые благоразумные из перелетных мелких птиц, по моему, – это ласточки. Они никогда не появляются раньше июня, и очень умно делают.

Я как-то провел лето в тирольских горах в тихом мирном селеньице, где, кстати сказать, я чувствовал себя лучше, чем где-либо. И вот там, в этом отдаленном от всякого шума местечке, мне пришлось непосредственно наблюдать, как ласточки строят свои гнезда.

В первое же утро по прибытии я после кофе вышел из огромных, темных и прохладных сеней образцово устроенного крестьянского двора на ослепительно сиявшее солнце. Сам не зная зачем, должно быть, совершенно машинально

я затворил за собой массивную выходную дверь, которая до этого стояла широко открытой. Пока я, стоя перед этой дверью, на зеленой улице, закуривал трубку, к двери прилетела ласточка, потом закружилась вокруг меня и, наконец, усе-лась на траве в нескольких шагах от двери. Птичка несла в клюве кусок строительного материала, который должен был представлять для нее большую тяжесть. Опустив свою но-шу рядом с собой на землю, ласточка прошебетала что-то, чего я, разумеется, тогда не понял (потом я научился и ла-сточкиному языку). Мне казалось, что ее слова обращены ко мне, потому что она смотрела мне прямо в глаза. Но так как я ничего не понял, то преспокойно остался на своем месте и принялся наблюдать, что будет дальше. Слегка нахохлив-шись, птичка снова сказала мне что-то. Судя по ее виду и тону я догадался, что она чем-то недовольна мною, за что-то в претензии на меня, но все-таки не знал, что должен сде-лать, чтобы доставить ей удовольствие. В это время из окна высунулся домохозяин и сказал мне:

– Знаете что? Тут в сенях пара ласточек строит свое гнез-до. Эта парочка появляется уже третье лето и устраивается своим домиком у нас в сенях. Смотрите, не примите гнездо за что-нибудь вроде приспособления для вешания шляп.

Тут только я понял, о чем щебетала мне ласточка. Оче-видно, она говорила мне:

– Ну зачем ты, большой двуногий дурак с дымящейся штукой в клюве, затворил дверь и не пускаешь меня к моей

стройке?

– Виноват! – поспешил ответить я, получив ключ к уразумению слов ласточки и совершенно забывая, что она – только птичка, – Я сделал это совершенно нечаянно. Мне и в голову не приходило, чтобы вы могли выбрать себе странное место для стройки.

Я повернулся и отворил настежь дверь. Ласточка мгновенно подхватила свою ношу и юркнула с ней мимо меня в сени. Я последовал за ней.

Эта ласточка была мужского пола. У птиц, как известно, существует такой обычай: муж только собирает и приносит на место строительный материал, а стройкой занимается жена.

Вторая ласточка, сидевшая в полуустроенном гнезде, встретила своего мужа довольно неласково, очевидно, укоряя его за долгое отсутствие. И мне ясно слышалось, как бедный муж старательно оправдывался, и, вероятно, так:

– Да разве я виноват? Я свое дело знаю и по своей воле никогда зря не опоздаю. Виноват вон тот большой болван, который дымит из клюва, как из печки. Затворил пред моим носом дверь, я и не мог влететь. Думал, с ума сойду. Ты тут дожидаясь меня, а я должен был столько времени просидеть перед самым входом, упрашивая это двуногое чудовище впустить меня. Нет, милая, ты меня не брани и ни в чем дурном не подозревай. Я нисколько не виноват... Смотри, какой славный материал я принес тебе. Распределяй его как

знаешь, а я полечу за новым. Наблюдай только, чтобы опять не закрыли двери. Кричи хорошенько, когда заметишь...

– Хорошо, хорошо, закричу, если опять устроят нам такую ловушку. Сначала я не поняла, в чем дело, а теперь понимаю. Ну, отправляйся с богом. Принеси побольше этой славной глины. Надо сделать наш домик попрочнее, а то мало ли что бывает: начнут наши будущие маленькие ворочаться, а он вдруг возьмет да и развалится. Лети же скорей!

Мужу, видно, хотелось подольше побыть возле женки. Он медлил сняться с места и любовно наблюдал, как она ловко возилась с принесенной глиной и еще с чем-то, чего я тут не разглядел. Он даже помог ей, конечно по-своему, распределить материал, и она этому не сопротивлялась. Обыкновенно птицы при постройке часто заводят между собой споры: муж находит, что лучше так, а жена придерживается противоположных взглядов, и выходят одни неприятности. У ласточек же обходится мирно, за исключением легких недоразумений вроде вышеописанного, но все же без особых осложнений.

Однако когда муж, нежно поцеловав свою подругу, улетел за новым материалом, она поспешила переделать по-своему его работу, щебеча про себя нечто вроде того, что, мол, «мужья любят совать свои носы куда не следует. Ну и пусть тешатся, нетрудно ведь поправить дело после них».

С тех пор я каждое лето с интересом слежу за ласточками. Ласточки устраиваются под карнизом того окна, перед

которым помещается мой письменный стол. Я им очень рад. Они такие милые щебетуны. Долго еще после солнечного заката, когда другие птицы уже мирно спят, ласточки нежно щебечут. Мне все кажется, что они рассказывают друг другу занятные истории, быть может, и веселенькие, судя по тому, что нет-нет да и раздастся переливчатый смех. Я в восторге, что они так близко ко мне. Думается, что в один прекрасный, теплый и тихий вечер, когда я стану более сведущим в птичьем языке, то услышу от них много интересного и, пожалуй, даже поучительного.

Вступления их к рассказам я уж понимаю. Они обыкновенно начинаются так: «Однажды...» или «Давно, очень давно, в далекой, далекой стране...» Остальное придет понемногу, как всякое знание, получаемое нами собственным наблюдением.

Наш ласточкин поселок состоит из семи гнезд. Два гнезда, подобно виллам на собственной земле, находятся отдельно, а остальные пять связаны между собою чем-то вроде легких переходов. Мне обидно и больно сознавать, что того и гляди появятся нахальные воробьи и оттягут себе этот поселок. Воробьи – твари хитрые, нечестные и жестокие. Дождутся, когда ласточки устроят поудобнее себе жилища, потом нагрянут целой толпой и с чисто дьявольским хохотом прогонят несчастных ласточек из их собственных гнезд и поселятся в них с таким видом, точно ласточки устраивали гнезда для них, а не для себя.

– Ну ничего, – говорит немного спустя ласточка-муж своей огорченной жене, опомнившись от неожиданного сюрприза, – пусть их владеют нашими гнездышками. Должно быть, они сами не могут устраивать их, а ведь и им нужно иметь теплое местечко для своих маленьких. Мы же с тобой не боимся работы. Давай примемся за нее.

И действительно, простосердечные, терпеливые и трудолюбивые ласточки тут же принялись за устройство себе нового гнездышка.

Однажды я в течение целых двух недель имел удовольствие наблюдать, как чета ласточек устраивала себе под моим окном гнездышко. Я по целым часам любовался веселой и дружной возней трудолюбивых птичек и с удовольствием слушал их щебетанье, так успокоительно действующее на утомленную житейской бестолочью душу.

Но вот мне пришлось на несколько дней уехать по делам в Лондон. Когда я вернулся, ласточек уже не было, и в их гнездышке сидели воробьи. Я чуть не расплакался от жалости к моим милым друзьям и с досады на их наглых насильников.

Стою, смотрю и придумываю, как бы прогнать этих нахальных обидчиков и вернуть законных владельцев гнездышка, которые были для меня гораздо приятнее. А воробья победоносно смотрит на меня из захваченного ею чужого гнезда, насмешливо кивает мне головой и точно говорит:

– Что, недурно мы тут устроились? Гнездышко хоть куда.

Лучше и желать не надо.

В это время ее супруг прилетает домой с голубым пером в зубах, которым он, видимо, очень гордится. Я тотчас же узнал это перо: оно было из той метелочки, составленной из разноцветных перьев, которою горничные имеют обыкновение разбивать наши фарфоровые безделушки, делая вид, что обметают с них пыль. В другое время я был бы очень рад, если бы воробей овладел хоть всей метелкою с ее деревянной ручкой включительно, но в этот момент вид моего пера в клюве воробья был лишним оскорблением моих лучших чувств. Воробья тоже была вне себя от радости и гордости, когда муж положил к ее ногам свою находку. Такого прекрасного и редкого украшения, наверное, не было ни в одном воробьином жилище. Воробья, по-видимому, была дама со вкусом и умела ценить такие изящные вещицы.

Пока воробьиная чета в радостном возбуждении обменивалась своими впечатлениями относительно красивой находки, я думал про себя: «Хоть мир и трещит по всем швам от безнаказанно совершаемых в нем несправедливостей, но *эту* несправедливость я ни за что не оставлю неотомщенной. Надо только будет достать достаточно длинную лестницу».

Такая лестница нашлась. Господа воробьи были в отсутствии, когда я явился к ним с визитом: по всей вероятности, они, разлакомившись находкой голубого пера, отправились на поиски новых украшений в этом роде. Я влез по лестнице и разнес все гнездо на мелкие части, которые под моими

руками разлетелись во все стороны и попадали на землю в виде пыли и соломы. Голубое перо унеслось куда-то на задний двор.

Только что я успел сойти с лестницы и убрать ее, как вернулась госпожа воробиха. Она несла комочек темно-красной ваты, которая, по мнению этой госпожи, должна была произвести вместе с нежно голубым пером особенный эффект. Увидев вместо своего жилища пустое место, она так растерялась, что выронила из клюва вату и беспомощно опустилась в водосточную трубу. Минутку спустя возвратился и господин воробей с обрывком ярко-желтой прозрачной бумаги, из какой делают цветы и ламповые абажуры.

– Ты чего тут расселась? – спросил он жену, прыгая по крыше, через которую перелетел.

– Ах! – плаксиво пищит жена, взволнованно хлопая крыльями. – Я улетала только на минутку, чтобы поднять одну хорошенькую вещичку, которую выбросили из окна, и вдруг...

– Ну, расскажешь дома. Нечего тут жариться на таком пекле, – нетерпеливо перебивает супруг. – Пойдем...

– Да дай же досказать! – сердито восклицает супруга. – Куда же мы пойдем? Ведь от нашего дома и следа не осталось...

– Как следа не осталось?

В полном недоумении господин воробей смотрит в ту сторону, где находилось гнездо, нахохливается и, обернувшись



к жене, гневно кричит:

– Да что же это такое?! Неужели я не могу ни на минутку отлучиться по делам, чтобы ты не набедокурила чего-нибудь? Чистое наказание с такой женой!.. Что ты сделала без меня?

– Говорю тебе, я только летала за...

– А наплевать, куда ты летала! Ты толком скажи, куда делся наш дом?

Желтая бумажка давно уже была унесена ветром вслед за голубым пером и красной ватой. Но огорошенные супруги и думать перестали об этих пустяках: они были хороши только как украшение, жилища же заменить не могли.

Долго просидели господа воробьи в водосточной трубе. Увидев, что дело серьезное и жена действительно не виновата, супруг подсел к своей подруге, и они оба в полном согласии принялись обсуждать создавшееся критическое положение. По движению их хвостов и крылышек и по тону голосов заметно было, как они взволнованы. Наверное, они, между прочим, советовались о том, как бы овладеть другим гнездом, прогнав оттуда ласточек, но, очевидно, решили оставить этот план: ласточки уже успели обзавестись деточками и ради интересов своего потомства способны сделаться очень воинственными, так что с ними теперь лучше и не связываться.

– Не будь моей тучности, я бы сейчас же приступил к собственной стройке, – после некоторого раздумья заметил гос-

подин воробей.

– А может быть, тебе от работы стало бы легче, – подхватила жена. – Я слышала от других, что очень полезно...

– Мало ли кто какие глупости говорит! – поспешил возразить муж. – Всех и слушать?

– Конечно, лучше сидеть так вот, как мы сидим сейчас, и ждать, что кто-нибудь выстроит нам гнездо, – иронизировала жена. – Хорошего мне судьба послала муженька, нечего сказать! Готов оставить жену без крова. Умирай от жары или захлебывайся тут в воде, когда пойдет дождь... У-у-у, противный, глаза мои не глядели бы на тебя!

– Эх, ты, семейная жизнь! – вздыхает супруг, глядя вслед упорхнувшей в гневе супруге.

Ничего, они помирятся и к ночи найдут себе новый приют в каком-нибудь покинутом прошлогоднем гнезде.

## VI

# Должны ли авторы писать как можно короче?

Недавно я увидел на стене газетного киоска объявление, что в такой-то газете ежедневно идет рассказ одного знаменитого писателя. Тут же я спросил последний номер этой газеты и, взглянув на фельетон, был очень разочарован, когда увидел, что в этом номере находится продолжение, а начало было уже неделю тому назад. Однако разочарование мое длилось недолго: умница-редактор догадался дать в выноске краткое изложение содержания первых шести глав, так что я без лишнего труда узнал все, что было нужно для уразумения имевшегося у меня в руках продолжения. Тогда этот прием был еще новостью, а теперь он практикуется почти во всех газетах.

«Автор, — говорилось в выноске, — вводит нас в блестящую гостиную леди Мэри ее роскошного особняка на Парк-стрит. У нее собралось избранное общество. Ведутся живые и остроумные речи...»

Я знаю эти «живые и остроумные речи». Если бы мне не посчастливилось напасть сразу на седьмую главу фельетона, то пришлось пережевывать эти речи с самого начала, чтобы добраться до дальнейшего. Теперь же от этого избавился, а

*суть* рассказа мне любезно сообщена заботливым и предусмотрительным редактором, так что я ничего не потерял, напротив, выиграл время и избежал лишней скуки. Не сомневаюсь, что в тех речах я мог найти кое-что новое, то есть сказанное, быть может, *по-новому*, но едва ли новое по *смыслу*.

Одна моя беловолосая знакомая никогда ничему не удивляется, что бы ни случилось, и всегда говорит:

– Это уже бывало... Вот, например, хотя бы этот случай, о котором так много пишется в газетах в эти дни, – тоже не новость. Точь-в-точь такой же случай произошел с год тому назад, только не в Лондоне, а в Брайтоне, да имена были другие.

Да, мы не переживаем новых историй, поэтому и не можем написать их. Случилось нечто в Брайтоне, а мы через год оповестим, что это случилось в Лондоне. Если в первом случае имя героя было, положим, Робинсон, то мы переделаем его в Джонса и выйдет нечто новое и даже оригинальное для тех, кто не читал брайтонской истории с Робинсоном.

«Ведутся живые и остроумные речи», – объясняет мне редактор в своем примечании. Спасибо ему, мне этого вполне довольно. Обыкновенно в наши дни на сцену, представляемую страницами книги или столбцами газет, выводится герцогиня, которая говорит вольные вещи. Вначале эта герцогиня сильно меня смущала, но с течением времени я пригляделся к ней и попривык к ее вольностям. Я знаю теперь, что в тот момент, когда она попадет в тиски безжалостной судьбы,

все ее вольности улетучатся как дым, и на их место выступят самые серьезные чувства, мысли и рассуждения. Очевидно, когда она услышит или прочтет какую-нибудь мудрую сентенцию, то записывает ее и потом соображает, на сколько ладов можно вывернуть эту сентенцию наизнанку. С первого взгляда это может показаться делом, требующим большого ума, а в действительности – очень простая штука. Возьмем, например, следующее мудрое изречение: *«Будь добродетелен, и ты будешь счастлив»*. Сначала герцогиня формулирует это изречение так: *«Будь добродетелен, и ты будешь несчастлив»*. «Нет, – говорит она самой себе, перечитав написанное, – это слишком уж просто. Не лучше ли сказать так: *«Будь добродетелен, и если не ты сам, то будет счастлив твой друг»*? Это, пожалуй, и лучше, но недостаточно пикантно. Не попробовать ли так: *«Будь счастлив, и люди будут думать, что ты добродетелен»*? Вот теперь вполне хорошо. Выскажу это на завтрашнем пикнике».

Нужно отдать справедливость этой леди: она не боится труда, и будь она немножко посведущее в житейских делах, пожалуй, могла бы и пользу приносить.

Не обходятся избранные общества и без старого лорда, который рассказывает различные анекдоты, до такой степени неприличные, что можно только удивляться, как его принимают в избранном обществе. Кроме того, там присутствуют очень вульгарная девица и пастор, который отводит ее в сторону и говорит ей сдобренную выхваченными у чужих авто-

ров эпиграммами высокопарную ерунду, от которой вянут уши.

Вообще эти пресловутые «живые и остроумные» речи бывают всегда составлены из смеси лорда Честерфилда с Оливером Венделем Холмсом, Гейне с Вольтером, пресловутой мадам Сталь с многооплакиваемым лордом Байроном, а не из чего-либо другого, нового, оригинального.

Дальше в помянутой редакторской заметке говорится:

«У леди Мэри в первый раз знакомится с лондонским обществом молодая американка, мисс Урсула Уорт, девушка в полном смысле слове *выдающаяся*».

Вот образчик сокращения труда автора до минимума: девушка молодая и выдающаяся. Последнее определение подчеркнуто, и этим все сказано, так что слово «молодая», пожалуй, даже лишнее: девушки-героини повестей обыкновенно предполагаются молодыми. Положим, автору могло взбрести на ум изобразить для разнообразия и старую деву, и редактор поступил очень умно, не пожалев в своем пояснении лишнего слова во избежание недоразумений.

Девушка эта – американка. Английская беллетристика знает только *одну* молодую американскую девушку, и столько уже раз изображала нам ее, что мы наизусть заучили все ее «оригинальные» речи и ошеломляюще смелые действия. Она всегда одета в свободное платье из мягкой, лежащейся красивыми складками ткани, по крайней мере, когда сидит одна у себя перед камином и предается сладким мечтам.

Автор представляет ее нам как «в полном смысле слова выдающуюся». Для нас этого вполне достаточно. Больших подробностей и не требуется. И если бы сам автор дал подробности о внешнем и внутреннем облике своей героини, то сделал бы это напрасно.

В прежнее время писатель во всю жизнь писал не более полудюжины повестей, так что ему достаточно было шести типов, чтобы его героини не походили одна на другую, и он мог рисовать их во весь рост, со всеми мельчайшими особенностями. Нынче же, когда каждому мало-мальски выдающемуся писателю приходится стряпать столько же в один год, у него уже нет времени останавливаться на мелочах и он поневоле должен ограничиваться одними набросками своих фигур. Да к тому же нынче женщины стали так походить одна на другую, что трудно и разнообразить описание их.

Десятка два-три лет тому назад писали так:

«Вообразите себе, любезный читатель, прелестную, обольстительную молодую девушку ростом пять футов и три дюйма. Ее золотистые волосы были того особенного оттенка...»

Тут следует указание, как дознаться на опыте этого оттенка. Читателю предлагается налить известного сорта вина в известного цвета стакан и рассматривать его при известного рода освещении или встать в пять часов мартовского утра и пойти в лес, чтобы получить ясное понятие о цвете волос героини. Если же читатель – человек ленивый или небреж-

ный, то он поверит автору и так, не давая себе труда проверить его. Поэтому, полагаю, большинство читателей и верит писателю на слово.

Глаза героини всегда были глубоки и ясны. Глубокими им необходимо было быть, чтобы мы могли запрятать в них все, что нам некуда больше девать: солнечное сияние и тень, горести и радости, неожиданные возможности, небывалые движения, страстные стремления и порывы и мало ли что еще!

Ее нос можете сами изобразить себе, приняв во внимание уже указанные данные.

Лоб всегда низок и широк... Не понимаю, почему прежние писатели постоянно давали своим героиням *низкие* лбы? Быть может, потому, что до сих пор умные героини не были в спросе? Впрочем, позволительно сомневаться, в большом ли спросе они и теперь. Мне кажется, женщина-куколка долго еще будет идеалом мужчины да и самой себя.

Подбородок почти всегда пикантно заостренный и с намеком на ямочку посередине.

Цвет лица постоянно придавался героиням такой, что вы могли получить наглядное представление о нем только при помощи известной коллекции цветов и плодов. В некоторые времена года трудно было раздобыть такую коллекцию, и добросовестные читатели, любящие отдавать себе во всем ясный отчет, должны были находиться в большом затруднении. Впрочем, может быть, специально для них выделява-



лись и так тщательно охранялись под стеклянными колпаками от пыли восковые цветы и плоды, которые прежде можно было встретить в каждом доме.

Теперь, повторяю, не то. Теперь писатели довольствуются наброском портрета своих героев несколькими широкими мазками, и читатели нисколько не в претензии на них за это. Один из моих коллег по перу, хорошо знающий свое дело, описывает своих героев в самых туманных выражениях, не сообщая даже, высок герой или нет, носит бороду или бреется, умен или глуп. Мой коллега находит вполне достаточным сказать, что его герой – красавец, а в каком именно роде – это пусть каждая читательница представляет себе по своему личному вкусу. Благодаря такому приему со стороны автора читательница непременно сразу заинтересуется героем и с жадностью будет следить за его действиями.

А своих героинь мой коллега описывает так, что каждый читатель может найти в них то, что ему больше всего нравится в женщине. Поэтому читатели также очень довольны им, и его книги раскупаются нарасхват огромными количествами. Читательницы говорят о нем, что он рисует мужчин, как живых, но, видимо, плохо знает женщин; а читатели, наоборот, находят, что он дает чудных женщин, тогда так мужчины выходят у него неестественными.

Вот и попробуйте разобраться, кто более прав.

В числе моих знакомых есть еще один писатель, о котором женщины отзываются с величайшим восторгом, говоря, что

никто так хорошо не понял их, не заглянул так глубоко в их душу и не воспроизвел так верно их чувств и мыслей.

Заинтересовавшись этим единодушным отзывом читателей моего знакомого, я внимательно прочитал все его произведения и заметил, что все его героини действительно прелестные создания, скомбинированные из ума леди Уортли Монтегю и знания Джорджа Эллиота. Добрых женщин между ними я не нашел, зато все они умны и обольстительны. Автор в самом деле отлично понял женщин настолько, чтобы угодить им.

Но вернемся к содержанию пропущенных мною фельетонов.

По отчету редактора, вторая глава переносит нас в Йоркшир, где обитает Бэзил Лонглит, «типичный молодой англичанин», только что получивший высшее образование и вернувшийся к своей матери-вдове и двум незамужним сестрам. «Семейство прекрасное...»

Сколько опять спасено труда автора и читателя! «Типичный молодой англичанин». В этих немногих словах сказано все, что обыкновенно растягивается писателями на несколько страниц. Прочитав эти слова, я совершенно ясно вижу перед собою этого типичного молодого англичанина, лоснящегося от усердного употребления мыла и воды; вижу его светлые голубые глаза, его белокурые вьющиеся волосы, на которые ему так досадно, зачем они вьются, но которые так нравятся женщинам; вижу его ясную открытую улыбку. Он

только что получил высшее образование – этим сказано, что он первоклассный игрок в крикет, первоклассный гребец, первоклассный пловец, словом, первоклассный спортсмен во всех видах. Это свидетельствует, что он не должен страдать излишним развитием мозгов, но именно это, наверное, и послужит в его пользу в глазах героини, которая, как можно предположить, обладает умом за двоих.

«Прекрасное семейство». Следовательно, сестры типичного молодого англичанина представляют собою двух не менее типичных молодых англичанок, едущих верхом, стреляющих из ружей, умеющих стряпать кушанья, шить себе платья и белье, обладающих здравым смыслом и любящих хорошую веселую шутку.

«Третья глава заключает в себе картину крикетной партии».

Кратко и ясно. Благодарю вас, господин редактор!

В четвертой главе снова появляется Урсула Уорт (а я уж начал было беспокоиться о ней). Она гостит у «весьма полезной» леди Мэри, которая переехала в свое йоркширское поместье. Урсула встречается с Бэзиллом во время утренней верховой прогулки...

Большое преимущество иметь американскую героиню: она подобно британскому флоту всюду бывает и все делает.

В пятой главе Урсула и Бэзил снова встречаются во время пикника.

Очень рад, что я избежал описания и этого пикника вме-

сте с партией в крикет.

Отчет о шестой главе поподробнее, потому что в этой главе затронут главный интерес повести. Возвращаясь поздно вечером домой через пустынное место возле болот, Бэзил видит Урсулу, оживленно разговаривающую с каким-то подозрительным на вид незнакомцем...

Девушка не видит и не слышит Бэзила, приближающегося сзади нее по мягкой почве, поглощающей шум шагов.

– Я должна завтра вновь увидеть вас, – говорит Урсула незнакомцу. – Приходите в половине десятого к воротам старого аббатства.

Бэзил, разумеется, заинтересовывается: что это за человек, которому Урсула назначает поздние вечерние свидания в пустынных местах?

Теперь я дошел до седьмой главы, уже подробной, и мог бы приняться за нее, но вместо этого перевертываю страницу и пробегаю передовую. «Почему же так?» – спросит, быть может, недоумевающий читатель. Да просто потому, что я уж вошел во вкус коротеньких редакторских отчетов о содержании предыдущих глав. С какой же стати тратить мне время на прочтение целых трех с половиной столбцов, когда я знаю, что завтра утром редактор передаст их суть всего в каких-нибудь двадцати строках? Он пояснит, какие были отношения между блестящей светской американкой и подозрительным незнакомцем; ведь именно это и интересно для читателя, остальное же – только лишний балласт, напрасно

отнимающей дорогое время.

Но здесь у меня, как у человека, тоже причастного к греху писательства, возникает опасение, как бы публика во всей своей массе не прониклась теми же взглядами на удобство сжатых редакторских отчетов и не потребовала, чтобы все литературные произведения были подносимы ей в таком же экстрактном виде. В самом деле, вместо того чтобы обремененному делами человеку тратить несколько вечеров на прочтение какой-нибудь книги, не лучше ли попросить издателя изложить ее содержание в двух-трех сотнях строк? Да и сам издатель сообразит, что ему нет никакого расчета бросать деньги на то, чтобы один написал шестьдесят тысяч слов, а другой, прочитав это, передал все в шестистах. И дело, пожалуй, дойдет до того, что мы будем вынуждены писать повести в размере двадцатистрочных глав.

Представляю себе рассказ будущего, сведенный к следующей краткой формуле: «Маленький мальчик. Пара коньков. Сломанный конь. Небесные врата», – словом, нечто вроде простого наименования глав рассказа.

В прежнее время автор, взявшийся написать детскую трагедию для рождественского номера журнала, непременно употребил бы на нее пять тысяч слов. Лично я начал бы эту трагедию издавека, чтобы дать читателю возможность вполне познакомиться с моим маленьким героем. Это был бы мальчик хороший, искусный во всех детских играх. Жил бы он у меня в очень крохотном, но очень живописном котте-

дже. Этот коттедж был бы описан мною по крайней мере на двух страницах. Мальчика я нарисовал бы во весь рост и сделал бы его таким прозрачным, чтобы ясно можно было видеть все его детские мысли и чувства, все его детские желания и стремления. Описал бы также в подробностях его мягкосердечного, но сурового на вид отца, угнетенного непосильным трудом и безысходными заботами о завтрашнем дне, и нежную, любвеобильную мать. Описал бы таинственное лесное озеро, на берегу которого мечтательно настроенный мальчик любил сидеть в вечерних сумерках, прислушиваясь к голосам невидимых существ, куда-то звавших его и обещавших ему неземное счастье.

Таким путем читатель понемногу привыкает к герою, научается любить его и исподволь подготавливается к неизбежной катастрофе.

А что же станет с нами, писателями, когда нас обяжут сконцентрировать такие рассказы в десяти словах? Ведь в настоящее время нам платят за *размеры* наших произведений, начиная с полукроны за тысячу строк и доходя до нескольких фунтов стерлингов, как, например, получают мои коллеги, Конан Дойл и Киплинг. Чем же мы будем жить, когда весь наш заработок сведется к нескольким шиллингам за «штуку»?

Мне могут возразить, что читателям нет никакого дела до того, будем ли мы в состоянии существовать при таких условиях или нет. Но таким возражением мы, разумеется, удо-

влетвориться не можем, потому что чувствуем за собой такое же право на существование, как и все другие люди.

Вероятно, наши будущие повести станут печататься на листках, которые будут продаваться по одному пенни за дюжину. Некоторые могут еще зарабатывать и при такой цене десять-двенадцать шиллингов в неделю, а мы, остальные?..

Есть от чего прийти в уныние нам, писателям!

## VIII

# Как следует обращаться с новобранцами

Вздумалось мне как-то прожить зиму в Брюсселе, в надежде, что мирно и приятно проведу время и освежу свой ум в этом большом и веселом городе. Так, вероятно, и было бы, если бы не бельгийская армия, которая преследовала меня на каждом шагу и положительно не давала мне покоя.

По моим личным опытам, я должен признать, что бельгийская армия – образцовая. Очевидно, она в полной мере руководствуется принципами Наполеона, говорившего, что никогда не следует отставать от своего врага, никогда ни на минуту давать ему повода думать, что он избавился от вас. Не знаю, как стала бы поступать бельгийская армия с другим врагом, но что касается лично меня, то план ее кампании против вашего покорнейшего слуги был составлен и выполнен с таким искусством, что я мог только изумляться.

Я положительно не имел возможности ускользнуть от преследования бельгийской армии. Я выбирал самые отдаленные и тихие улицы, где, как мне казалось, бельгийской армии совсем и делать было нечего; ходил по ним в разное время – рано утром, после обеда, поздно вечером, – но повсюду и во всякий час встречал бельгийскую армию. Бывали моменты



бурной радости, когда я воображал, что армия потеряла мой след. Не видя и не слыша ее поблизости, я со вздохом облегчения говорил себе: «Ну, слава богу! Наконец-то я освободился хоть на несколько минут от этого кошмара!»

Но – увы! – не успевал я дойти до следующего угла, как уже убеждался, что доблестная бельгийская армия не давалась в обман, преследуя меня и здесь.

Заслышав барабанную трескотню, я в ужасе поворачивал назад, вскакивал в первый попавшийся вагон трамвая и несся на другой конец города. Думая, что теперь, уж наверное, избавился от своего упорного преследователя, я выходил из вагона и с наслаждением проминал отеки от долгого сидения ноги.

Миновал благополучно одну улицу, вступаю в другую – и опять слышу вблизи невыносимую барабанную музыку. Нанимаю кэб и еду домой – армия провожает меня до самого подъезда. Полный досады и отчаяния, чувствуя себя побежденным и униженным, я вихрем мчусь в свою комнату и с лихорадочной торопливостью запираю дверь. В это время победоносная бельгийская армия, гордая тем, что смирила кичливую гордость заносчивого англичанина, с торжеством направляется на отдых в свои бараки.

Пожалуй, я бы и примирился с преследованием бельгийской армией моей особы, если бы эта армия производила свои преследования под звуки оркестра. Я люблю военные оркестры и готов подолгу их слушать. Но у бельгийской ар-

мии, очевидно, нет обычая передвигаться по улицам под звуки оркестра. Она ходит под одни барабаны, да и то плохонькие, вроде игрушечных, какими я сам пользовался в детстве, причем, кстати сказать, так надоедал взрослым, что они отбирали у меня барабан, угрожая, что сломают его над моей головой, если я, как это случалось, раздобуду новый и не буду давать им покоя своей трескотней.

Да и барабанщики-то у бельгийской армии несколько не лучше, чем был я в качестве такого музыканта. Я уверен, что, находишь в рядах идущей за ними армией их родственники, барабанщики никогда не решились бы так небрежно колотить палками по барабану. Они не соблюдают даже такта, а выбивают дробь как попало.

В первое время, когда еще издали слышалась эта безобразная трескотня, я так и думал, что это забавляются ребята. По простоте душевной я представлял себе, что восьмилетнему мальчугану поручили забавлять четырехлетнюю сестренку. Вот он и водит эту сестренку по улицам, забавляя и ее и себя барабанным боем. Но каково же было мое изумление, когда я убеждался, что этот шум производится не ребятами, а храброй бельгийской армией!

Вдумавшись в это странное явление, я пришел к заключению, что путем такого барабанного воздействия армия, вероятно, приучается ко всем ужасам войны. Это внушило мне такой страх перед бельгийской армией, что я сделался, как говорится, ниже травы и тише воды, дабы не раздражать та-

ких доблестных воинов, и даже поспешил покинуть прекрасную бельгийскую столицу, не пробыв в ней и недели.

Кстати, о военных упражнениях. Живя одно время близ гайд-парковских казарм, в Лондоне, я имел много случаев наблюдать, как производятся эти упражнения, вернее сказать, обучение новобранцев сержантом. Картина интересная.

Сержант обыкновенно представляет собой человека очень рослого, привыкшего выступать с величавостью очень занятого собой индейского петуха и обладающего таким своеобразным голосом, что нужно иметь особенно тонкий слух, чтобы отличить его выкрикивания от лая собаки. Говорят, новобранцы довольно быстро привыкают понимать своего учителя, что свидетельствует о их высоких умственных способностях, в которых совершенно напрасно принято сомневаться. Впрочем, по личному опыту я этого утверждать не могу, а только повторяю слышанное от более компетентных людей.

У меня в то время была великолепная охотничья собака, из тех, которые отыскивают и приносят убитую дичь, и мы с нею иногда развлекались зрелищем солдатского учения на плацу перед казармами. По собачьему обыкновению, и мой Колумб выражал свои восторги отрывистыми «гав-гав-гав!», и это делу нисколько не мешало. Но в одно ветреное утро вышло небольшое недоразумение. Сержант только что командовал, чтобы его рота шла на приступ, и она было пошла,

но вдруг, к его полному недоумению, повернула к нему тыл и бросилась по направлению к водяному рву, ограждавшему плац с двух сторон. Хорошо еще, что он успел вовремя крикнуть «стой!», иначе рота в своем служебном усердии непременно ринулась бы в воду. Услышав новую команду, рота замерла на месте.

– Какой дьявол приказал вам повертывать назад? – гремел сержант, весь красный от негодования. – Марш на прежнее место!

Рота, видимо, была сбита с толку, но молча исполнила и эту команду. Минуту спустя, случилось то же самое: рота ни с того ни с сего снова бросилась ко рву. С сержантом стало твориться что-то такое, что возбуждало во мне опасение, как бы его не хватил удар. Я уж готов был бежать за медицинской помощью, но, видя, что доблестный воин оправился, остался на месте. В то же время я начал понимать, что виной всего этого – мой Колумб с его отрывистым лаем, который благодаря направлению ветра показался новобранцам исходящим от их командира. Когда дело наконец выяснилось, возмущенный сержант обратился ко мне и строго сказал:

– Пожалуйста, сэр, уведите свою собаку. Я не могу учить своих людей: ваша собака все время отвлекает их в сторону.

Я увел Колумба, но после еще несколько раз брал его с собой на смотр (впрочем, он сам всегда увязывался со мною), и ни разу не обходилось без того, чтобы он не передразнил сержанта и не ввел в заблуждение и под выговор солдат. Ка-

жется, он проделывал эту забаву вполне сознательно, и она, очевидно, очень нравилась ему. Иногда, увидев идущую впереди нас парочку, солдата с кумой, Колумб вдруг из-за моего прикрытая возьмет и гавкнет на них и потом прыгает от радости, когда испуганный солдат бросает руку своей спутницы, повертывается на каблуках, вытягивается, опускает руки по швам и с выкатившимися от почтительности глазами смотрит, где его сержант и чего от него требует.

В конце концов военное ведомство обвинило меня в том, что я нарочно научил свою собаку передразнивать голос и манеру команды такого-то сержанта. Но это была неправда: я собаку не учил и нисколько не был виноват в том, что у нее оказался одинаковый голос с уважаемым сержантом. Я так и ответил военному ведомству, причем советовал внушить сержантам, чтобы они лучше старались как следует говорить на *своем* языке, чем заявлять претензии на то, что собаки так хорошо говорить на *своем*. Но ведомство не пожелало проникнуться этой истиной, и я решил, что лучше нам с Колумбом переселиться в другое место, где нет людей с голосами, похожими на его лай. Так мы и сделали.

Лет двадцать тому назад, когда Лондон переживал смутный период, законопослушные граждане приглашались записываться в специальные констебли. Я тогда был еще молод, и жажда беспокойной деятельности одолевала меня больше, чем теперь, поэтому в одно воскресное утро очутился в компании нескольких сот других благонадежных граж-

дан на учебном плацу олбенских казарм.

По-видимому, власти придерживались того мнения, что мы будем в состоянии защищать свои жилища и своих близких только в том случае, если выучимся по команде выкатывать глаза в ту или иную сторону и ходить на особый манер. Ввиду этого к нам был назначен сержант, который должен был дать нам надлежащую муштровку. Он вышел к нам из лагерного шинка, обтирая губы и гримасничая на ходу. Но по мере его приближения к нашему фронту он все больше и больше подтягивался. Большинство из нас были люди из порядочного общества и с хорошим достатком, а потому прилично одетые. Сержант обвел нас пытливым взглядом и понял, что с нами надо быть поосторожнее в выражениях и тоне. Но одновременно с этим сознанием от него почти ничего не осталось как от сержанта: он утратил напыщенный вид, лицо его приняло естественное человеческое выражение, и вообще он сделался похожим на нас. Подойдя к нам вплотную, он вежливо проговорил:

– С добрым утром, джентльмены!

– С добрым утром, господин сержант! – ответили мы хором.

Наступила пауза. Сержант в нерешительности переступал с ноги на ногу. Мы ждали. Наконец он с подкупающей улыбкой сказал:

– Не желаете ли вы, джентльмены, построиться в правильные ряды?

Мы ничего не имели против такого предложения и построились по указанию сержанта рядами. Он окинул нас профессиональным оком и изрек:

– Прошу номер третий с правого фланга первого ряда податься немного вперед.

Указанный номер послушно подался вперед, насколько было нужно.

– Номер второй с левой стороны второго ряда, прошу вас податься немного назад.

– Не могу, господин сержант. Будьте довольны тем, что я хоть так стою, – отозвался тот номер.

Сержант подошел к нему и улыбнулся еще приветливее.

– А! – воскликнул он. – Маленький излишек комплекции... Ну это ничего. Я попрошу весь ряд раздвинуться еще немного, тогда выступающие из него лишние округления отдельных лиц будут не так заметны.

В таком духе и шло все наше учение.

– Теперь, джентльмены, не устроить ли нам маленькую прогулочку быстрым шагом?.. Вот так, благодарю вас!.. Очень жаль беспокоить вас, джентльмены, но ведь может понадобиться и бежать... конечно, вперед, а не назад, и вам не лишним будет усвоить наиболее рациональные приемы и правила, чтобы соблюдать известный порядок... если вам это не очень затруднительно, я попросил бы вас прибавить немного шагу... Так... Достаточно... Отлично! Только бы поменьше нарушать правильность линии. Это, знае-

те ли, джентльмены, придает движению большую стройность и производит особенно внушительное впечатление... А насчет правильного дыхания скажу, что это дело практики. Несколько таких пробегов, и вы сами по себе научитесь правильно дышать...

Отчего бы и при учении новобранцев не обходиться такими же вежливыми, а еще лучше ласковыми приемами? Думаю, что от этого дело не пострадало бы. Представим себе, что сержант обращался бы к новобранцам со словами вроде, например, следующих:

– Ну, вы, молодые барашки! Готовы, что ли? Тише, тише, не очень суетитесь, успеете! Не к чему превращать в пытку то, что должно составлять для нас удовольствие... Выстроились? Ну вот и отлично! Принимая во внимание, что вы еще новички, нельзя лучшего и спрашивать с вас... Только рядовой Белбой что-то уж слишком тычется коленями. Белбой, у вас от природы так выпирают вперед колени или вы при некотором усилии могли бы подтянуть их, чтобы не иметь вида марионетки, у которой ослабли пружины?.. Ну вот, теперь лучше, благодарю вас за старание... Я знаю, что все эти мелочи кажутся не стоящими внимания, но на самом деле они имеют большое значение в том деле, к которому вы готовитесь, поэтому... Рядовой Монморанси, разве вы недовольны своими сапогами, что так упорно их разглядываете?.. Нет? Так, прошу прощения. Я вывел такое заключение из того, что вы уж несколько минут стоите, нагнув голову и упер-



шись взглядом в свои ноги, как будто они не в порядке... Может быть, вы страдаете несварением желудка, товарищ? Не дать ли вам стаканчик виски?.. Нет? И желудок у вас в исправности?.. Очень рад, слава богу! Но что же тогда с вами? Скажите откровенно. Зачем скрываться? Стыдиться нечего. Мало ли что может приключиться с человеком! Скажите же, в чем дело? Чего вам недостает или что у вас лишнее?

Ободрив таким образом свою роту и приведя ее в должный порядок, сержант с чистой совестью может приступить к самому учению.

– Ружье на плечо!.. Хорошо, молодцы, очень хорошо для начала!.. Но, конечно, позволю себе сказать, далеко до совершенства. Этот прием требует особенной тщательности... Вот, например, рядовой Томпсон. Позволю себе поставить вам, Томпсон, на вид, что если вы будете держать ружье на плече под прямым углом, то этим сильно беспокоите находящегося за вами товарища, да и самому вам это доставит известные неудобства. Поэтому я бы просил вас лучше держать ружье принятым повсюду в войсках способом. Ведь это в ваших же интересах, Томпсон... Позволю себе также заметить рядовому Сент-Леонарду, что мы собрались здесь вовсе не для того, чтобы упражняться в балансировании мушкетом на вытянутой ладони руки. Не смею отрицать, что рядовой Сент-Леонард производит это упражнение с большой ловкостью, но тем не менее в военном деле это не годится... Вообще я просил бы господ новобранцев запомнить, что правила,

которыми руководствуются в нашем деле, выработаны очень тщательно и предусмотрительно, так что не требуют от нас личных трудов для их переделки и поправок. Согласен, что это может показаться скучным по своей однообразности, но зато оно целесообразнее...

Если бы господа сержанты и вообще командующие какой-либо военной частью говорили со своими подчиненными в *этом* роде, то плацы для учения солдат стали бы источниками радости и довольства многих тысяч людей. Слово «офицер» было бы тогда разнозначащим слову «джентльмен». Представляю это мое воззрение на рассмотрение и одобрение военного ведомства; может быть, оно одобрит его и найдет возможным применить на практике.

## IX

# Должны ли рассказы быть правдивы?

Жила-была когда-то очаровательная молодая девушка, обладавшая тонким вкусом. Эту девушку однажды спросили ее родители, кто из множества ухаживавших за ней молодых людей больше всех ей нравится. К такому щекотливому вопросу родителей вынудило то, что годы шли, а вместе с ними увеличивались и лета девушки; это угрожало ей остаться старой девой, чего ее родители не хотели допустить.

Девушка откровенно ответила, что сама не знает, который из женихов нравится ей больше всех, она всех их находила одинаково милыми и никак не могла решиться дать одному из них предпочтение перед другими. Она охотно прибегла бы к жребию, но чувствовала, что такой способ выбора жениха может показаться предосудительным.

Я нахожусь в одинаковом положении с этой девушкой каждый раз, когда мне приходится сказать, какого автора и какое из его произведений я предпочитаю всем другим. Подобного рода вопросы могут поставить в тупик кого угодно. Это все равно что спросить вас, какое блюдо вы предпочитаете всем остальным. Иной раз к завтраку желаешь пару яиц, а в другой – почувствуешь аппетит к кусочку семги. Сегодня

потянет на омара, завтра же одна мысль об омаре может вызвать тошноту. Бывает, что вдруг вздумается сесть на диету из молока, хлеба и рисового пудинга. Вообще, если бы меня вздумали спросить, почему я подчас предпочитаю супу мороженое, а икре – бифштекс, я бы сильно затруднился с ответом.

Могут существовать и читатели, любящие садиться на известную литературную диету, но я к их числу не принадлежу. У меня в литературном отношении очень обширный и прихотливый аппетит, для удовлетворения которого нужен самый разнообразный подбор авторов.

Иногда я бываю в таком настроении, что гармонировать с моим душевным состоянием может разве только дикая суровость произведений Эмили Джейн Бронте. Таинственный сумрак ее «Везерингских высот» действует на меня подобно пасмурному бурному осеннему дню, наводящему нас на размышление о борьбе света с мраком. Быть может, часть очарования этой книги следует приписать тому, что книга написана очень молодой девушкой. Спрашиваешь себя: что могла бы дать эта девушка, если бы она прожила дольше и жизненный опыт расширил бы ее духовный горизонт? Или, быть может, судьба именно с целью сохранения славы молодой писательницы так рано и выхватила перо из ее руки? Ее сжатая сила не подходила ли больше к запутанным йоркширским тропинкам, чем к открытым и обработанным полям других местностей?

Между Эмилией Бронте и Оливией Шрейнер мало общего, но имя первой всегда приводит мне на память и имя второй. Оливия Шрейнер также была молодой девушкой с сильным мужским талантом. Хотя она и осталась в живых, но я сомневаюсь, напишет ли она еще такую книгу, как написала первую. Ее «История одной африканской фермы» не из тех, которые повторяются.

Я отлично помню, с каким негодованием была принята эта «История» со стороны миссис Грэнди и ее тогда еще многочисленной, а теперь, к счастью, сильно уменьшившейся школы. Миссис Грэнди кричала, что эту книгу следует держать как можно дальше от рук молодых женщин и мужчин. Однако именно эти руки жадно и разбирали книгу и крепко держали ее. Странный взгляд у тех литераторов, которые воображают, что литература должна быть только отголоском общественных условностей!

Бывают времена, когда я люблю скакать по страницам мировой истории на палочке сэра Вальтера Скотта, но бывают и такие, когда мне приятно побеседовать с мудрой Джордж Эллиот, когда она, сидя со мной на своей садовой террасе, с которой такой чудный вид на расстилающийся внизу Ломшир, своим глубоким грудным голосом открывает мне тайны сердец, скрытых под бархатом и кружевами.

Кто может не любить умнейшего и милейшего Теккерея, несмотря на портящий его легкий оттенок фатовства? Сколько было патетического в его ужасе против фатовства,

жертвой которого он сделался сам. Не было ли это невольным протестом против собственного, не осознанного им недостатка? Все его героини и герои брались из благородной среды, чтобы они могли составить подходящую компанию таким же благородным читательницам и читателям, для которых он писал. Для него ливрея часто отождествлялась с человеком, носившим ее. Для него даже Джемс де ла Плюш был человек лучшего образца, потому что носил шелковые чулки дальше которых взгляд автора не проникал.

Теккерей жил и умер в области клубов. Мысль его была сжата между Темпл-Бар и Парк-Лейн. Зато все, что было хорошего на этом тесном пространстве, он показал нам, и за одно уж это достоин глубокого уважения. Нарисованные им портреты великодушных джентльменов и деликатных леди никогда не забудутся нами.

«Том Джонс», «Перегрин Пикль» и «Тристрам Шенди» – книги, которые следует читать каждому, если только он умеет читать со вниманием. Эти книги учат нас, что если литература хочет быть полезной жизненной силой, то она должна освещать нам *все* стороны жизни и показывать, что мы напрасно мним о себе, будто мы – совершенства, ведущие безупречный образ жизни, а встречающиеся между нами злодеи выдуманы авторами.

Только с этой точки зрения и следовало бы рассматривать литературу тем, которые ее создают, и тем, которые ею пользуются. Конечно, если видеть в литературе лишь сред-

ство для забавы, то ей лучше быть как можно дальше от настоящей жизни. Взгляд на себя в верно отражающее зеркало невольно наводит нас на размышления, а раз мы начали размышлять о себе, то наше самодовольство должно улетучиться.

Для чего должна служить литература: для того, чтобы заставлять нас вдумываться в задачу нашего существования, или для того, чтобы сводить нас с пыльной большой дороги жизни на зеленые лужайки волшебной мечты? Если для последнего, то пусть литературные герои и героини остаются такими, какие они суть, но уж без претензии быть *настоящими* людьми. Пусть Анджелина останется навсегда непорочной, а Эдвин – непоколебимо ей верным; пусть в последней главе торжествует добродетель, и мы закроем книгу в полной уверенности, что брак Анджелины и Эдвина решает все неразрешимые загадки великого Сфинкса...

Очень милы те рассказы, в которых принц неизменно рисуется прекрасным, как ангел, и храбрым, как лев, принцесса всегда является очаровательнейшей и добрейшей из всех принцесс в мире, дурные люди намалеваны такими черными красками, что узнаются с первого взгляда без малейшей ошибки, добрые волшебницы по самой своей природе могущественнее злых, темные тропинки ведут к феерическим замкам, дракон постоянно побеждается, а любящие сердца, соединившиеся после преодоления всех препятствий, могут рассчитывать на вечное безоблачное счастье. Одно только

нехорошо: такие рассказы не дают нам верных понятий о суровой действительности, а ведь только с ней и приходится иметь дело в реальной жизни.

Положим, временами не мешает и отдохнуть душой в волшебном мире грез, чтобы затем с новыми силами продолжать тяжелый путь среди житейских невзгод, но погружение в этот мир всецело не может довести нас до добра.

Чтобы приносить нам пользу, литература должна изображать нас не такими, какими мы желаем казаться, а такими, какими мы являемся в действительности. Ведь человек, по определению некоторых глубокомысленных мыслителей, не что иное, как животное, стремящееся в небо, но своими темными инстинктами прикованное к земле. Должна ли литература льстить этому двойственному существу, стыдящемуся своей отрицательной стороны, или быть его правдивым зеркалом?

Неудобно говорить о живущих при нас писателях, за исключением разве тех, которые так давно присутствуют между нами, что мы невольно забываем, что они еще не принадлежат прошлому. И вот я спрашиваю: была ли справедлива к несомненному гению Уиды наша узкоглядная критика, которая видит повсюду одни мелкие ошибки, не замечая величия совершенств? Действительно, у Уиды много промахов. Она заставляет своих часовых играть на посту, ее лошади обязательно выигрывают на трехгодичных дерби, ее дурные женщины швыряют грушами по гинее за штуку из окон го-



станицы «Звезда ордена Подвязки» прямо в Темзу, находящуюся на расстоянии трехсот пятидесяти шагов, она... Но к чему перечислять все эти мелкие недостатки? Мало ли книг без всяких несообразностей, а стоит ли их читать? В книгах же Уиды столько правды, силы, страстности убеждений и негодования, что будь у нее хоть в каждой строке какая-нибудь ошибка, это все-таки не должно умалять ее истинных достоинств, которыми редкий из писателей может похвалиться. Но, повторяю, наша критика слишком близорука, чтобы охватить целое во всей его стройной гармонии, она преникнет глазом к какой-нибудь крохотной шероховатости или трещинке на великолепном произведении искусства и по этим случайным недостаткам произносит свой якобы беспристрастный суд.

А верно ли были оценены критиками литературные качества Марка Твена отдельно от его юмора? «Гек Финн» был бы признан великим произведением, если бы не был проникнут смехом. Среди индейских и других диких племен человек, лишившийся здравого смысла, почитается за существо высшего порядка. Среди же англосаксонских читателей особым успехом пользуется только тот писатель, который лишен юмористической жилки, об этом свидетельствует пример нескольких современных писателей.

Все перечисленные мною авторы – мои любимцы. Но такие разнообразные вкусы нынче не в моде. Говорят, что тот, кто любит Шекспира, не может любить Ибсена, что тот, кто

одобряет Вагнера, не должен одобрять и Бетховена, что, признавая достоинства Доре, нельзя верно понимать Уистлера. Да мало ли что еще говорят!..

Нет, я не могу сказать, какое беллетристическое произведение нравится мне больше других. Посмотреть разве, за какую книгу я охотнее хватаюсь в те полчаса перед обедом, когда, не в обиду будь сказано мистеру Смайлсу, никакая работа уже не идет на ум!

Окинув взглядом свои книжные полки, нахожу, что всего растрепаннее выглядит «Давид Копперфильд». Беру эту книгу, перевертываю ее ушатые страницы, читаю знакомые оглавления и словно переживаю свою собственную жизнь, потому что почти с каждой страницей у меня связано столько грустных или радостных воспоминаний. Как ярко запечатлелся в моей памяти тот день, когда я впервые прочитал о сватовстве Давида! Смерть Доры я всегда старался обойти в своих воспоминаниях. Картина, рисующая бедную миссис Копперфильд стоящей в воротах с ребенком на руках, навсегда связана в моем уме с криком другого ребенка, много лет тому назад звучавшим в моих ушах. Несколько недель спустя после того события, которое сопровождалось этим криком, я нашел «Давида Копперфильда» на стуле в углу, куда тогда впопыхах бросил его; книга лежали, развернутой на странице с описанием Доры в воротах.

Дорогие мои друзья, сколько раз я ускользал в вашу приятную компанию от своих тяжелых невзгод! Пегготи, доб-

рая душа, как были всегда благотворны для меня ваши добрые глаза! Наш общий друг Чарлз Диккенс не мог вынести ни малейшего пятнышка на тех, кого он любил, но вас он обрисовал в верных красках. Я знаю вас хорошо с вашим многообъемлющим сердцем, вашим живым темпераментом, вашими чистыми, человеческими помыслами. Вы сами никогда не догадывались, чего вы стоили и насколько стал лучше мир благодаря таким, как вы. Вы всегда думали о себе как о самой обыденной женщине, годной только на то, чтобы делать пирожное и штопать чулки, и если бы человек – не какой-нибудь молокосос, у которого глаза раскрыты еще только вполовину, а человеку уже настолько прозревший, чтобы разглядеть духовную красоту, скрытую в некоторых простых лицах, – опустился перед вами на колени и поцеловал вашу красную, грубую руку, вы были бы поражены насмерть. Но этот человек был бы умником, потому что он понимал, чем именно должна дорожить в жизни и за что именно следует благодарить Бога, создавшего такую красоту во многих формах.

Мистер Уилкинс Микобер и вы, превосходнейшая из верных жен, миссис Эмма Микобер, обнажаю голову и перед вами! Сколько раз спасала меня ваша глубокая рассудительность, когда и я, подобно вам, страдая под гнетом временных денежных затруднений; когда, так сказать, солнце моего благосостояния опускалось за темный горизонт мира; когда и меня затискивало в тесный угол. В таких случаях я каждый

раз спрашивал себя, что стали бы делать на моем месте Микоберы, и тут же сам себе находил ответ, что они закусили бы куском баранины, наскоро приготовленной проворными руками Эммы, запили бы эту простую закуску стаканчиком пунша, состряпанного сияющим Уилкинсом, и в данную минуту забыли бы все свои тревоги. Потом я обшариваю свои карманы, нахожу в них завалившуюся мелочь, иду в ближайший дешевенький ресторан, заказывав себе что-нибудь, соответствующее моему изменившемуся положению, подкрепляю свои силы и с новыми надеждами продолжаю борьбу с жизнью. А завтра солнце моего благосостояния опять начинает выглядывать из-за мрачного горизонта и подмигивает мне своим огненным глазом, точно желая сказать: «Ну чего ты приуныл? Ведь я только на минутку завернуло за угол».

Как радостен был бы свет, если бы в нем было побольше таких, всегда веселых, всем довольных, умеющих ко всему применяться людей, как мистер и миссис Микоберы! И как приятно мне думать, что все ваши горести, друзья мои, могут быть потоплены в такой безобидной влаге, как пунш! Пейте на здоровье, мои дорогие, пейте! Останется и на долю ваших близнецов. Дай бог, чтобы такие чистосердечные люди, как вы, всегда могли легко перепрыгивать через камни, которыми усеян жизненный путь, чтобы всегда вовремя кто-нибудь или что-нибудь являлось к вам на выручку и чтобы вашу простую лысую голову, мистер Микобер, всегда омывал только приятно освежающий весенний дождичек!

А вы, прелестная Дора? Позвольте мне признаться вам, что я люблю вас, хотя некоторые люди и находят вас сумасбродной. Оставайтесь же сумасбродной, милая Дора: ведь вы созданы мудрой матерью-природой с целью показать нам, что женская слабость и беспомощность являются талисманом, вызывающим в мужском сердце дремлющие в нем силы и нежность, и не горюйте над недоваренной бараниной и не так поданными устрицами. Для этих надобностей существуют повара, ваше же дело – только учить нас, мужчин, доброте и милосердию. Склоните же свою кудрявую головку на мою грудь, милое дитя. От таких, как вы, мы научаемся мудрости. Только мнимо умные люди смеются над вами. Эти люди вырывают из садов ослепительно белые лилии и душистые розы, чтобы на их место посадить капусту, которая приносит им материальную пользу и которую они за это уважают. Но люди, живущие не одним брюхом, готовы пожертвовать целым огородом ради одной клумбы с бесполезными, кратко живущими, зато дающими высшее наслаждение цветами.

Галантный Тредл с мощным сердцем и плохо приглаженными волосами, милая Софи, прекраснейшая из девушек, Бетси Тротвуд с благородными манерами и чисто женственным сердцем, – все вы приходили ко мне в мои маленькие убогие комнатки, внося в них свет и красоту. В мои темные часы мне улыбались ваши добрые лица и утешали меня ваши нежные голоса.

Маленькие Эмили и Агнесса, может быть, у меня испор-

ченный вкус, но по отношению к вам я не могу разделять восторгов моего друга Диккенса. Добрые женщины Диккенса слишком уж хороши, чтобы быть близкими обыкновенному человеческому сердцу. Эсфирь Sommerson, Флоранс Домби, крошка Нелли – вы слишком безупречны, чтобы вас можно было любить; вы сверхчеловечны, а это не годится для нашей земли.

Женщины Вальтер Скотта также слишком, так сказать, декоративны. Этот писатель, в сущности, изобразил нам только одну живую героиню – Кэтрин Сетон. Остальные его женщины являются лишь призами, которыми вознаграждают героев за их подвиги.

Что Диккенс мог нарисовать вполне реальную женщину, это доказывается его Беллой Уилфер и Эстеллой в «Больших надеждах». Но живые, настоящие женщины никогда не были популярны в литературе. Читатели предпочитают женщину выдуманную, а читательницы обижаются на правдиво обрисованную героиню.

С художественной точки зрения самым лучшим произведением Диккенса является, бесспорно, «Давид Копперфильд». В этом произведении не так много тяжелого юмора и витиеватой патетичности, как в остальных.

Одна из картин Лича изображает заснувшего в канаве извозчика.

– Бедный, ему дурно! – восклицает в толпе зрителей одна милосердная дама, всплескивая руками.

– Дурно? – возражает негодующий мужской голос. – Во все нет, у него просто излишек того, чего недостает мне.

Диккенс страдал недостатком того, чего у других бывает обыкновенно в излишестве, то есть критики. Его труды встречали слишком мало сопротивления, чтобы заставить его напрячь все свои богатые силы. Красноречие его часто опускается до балаганной напыщенности. Едва можно поверить, чтобы писатель, так хватавший через край сентиментальностью в сценах смерти Пола Домби и крошки Нелли, был тот же художник, который такой мастерской кистью нарисовал смерть Сиднея Картона и Баркиса. Сцена смерти последнего, по моему мнению, одна из самых блестящих страниц в английской литературе. В этой сцене нет сильных чувств и движений. Баркис – самый обыкновенный старик, до страсти любивший бокс, и вот он умирает. Его простушка-жена и старый лодочник, стоящие возле него; спокойно ожидают его конца. Здесь ничто не бьет на эффект. Чувствуется только, что приближается все возвеличивающая смерть, и под прикосновением ее холодной руки старый глупый Баркис приобретает особенное достоинство, какого он никогда не имел и не мог иметь в жизни.

В лицах Урии Хипа и миссис Хэммидж Диккенс изобразил скорее типы, нежели характеры; в лицах же Пекснифа, Подснепа, Долли Верден, мистера Бэмбла, миссис Гэмп, Марка Тэпла, Тюрвидропа и миссис Джеллиби он дал нам не характеры, а олицетворение человеческих характеристик.

В умении затронуть человеческое сердце вымыслом наравне с Диккенсом стоит только Шекспир. Действительно, если выкинуть у Диккенса все его ошибки, он окажется одним из величайших писателей новых времен. Положим, наши маленькие критики говорят, что таких людей, каких описывает Диккенс, никогда не было на свете. Но ведь в действительности не существовало ни Прометея, этого типа одухотворенного человека, ни Ниобеи, этой матери матерей; и именно потому они и ценны, как созданные писателями гораздо выше обыкновенных по таланту.

Стирфорс, которым Диккенс, по-видимому, очень гордился, никогда не возбуждал моей симпатии. Этот молодой человек чересчур уж мелодраматичен. Самое худшее, чего можно было бы пожелать ему, – это быть женатым на Розе Дартл и жить вместе с ее матерью. Посмотрели бы мы, что бы тогда случилось с его привлекательностью.

Большинство лиц, нарисованных Диккенсом, представляется типами доброты, скрытой в человеческой природе во всей ее совокупности.

Особенность Диккенса в том и состояла, что он приписывал *одному* человеку столько добрых свойств, сколько в действительности может находиться в целой полусотне порядочных людей.

В итоге «Давид Копперфильд» – рассказ из простой жизни, просто и написанный; только такие рассказы и живут вечно. Эксцентричность слога, всевозможные выверты и т. п.



кунштюки могут нравиться только современной критике, которая любит искусственность. «Давид Копперфильд» – книга, полная грусти, и именно этим она и дорога нам в настоящие грустные дни.

Человечество приближается к старости, и мы, частички этого человечества, стали любить грусть как друга, меньше других покидавшего нас. Во дни молодой силы мы были веселы и, подобно гребцам Улисса, с одинаковой радостью встречали и солнечное сияние, и грозу. В те дни по нашим жилам бурно переливалась ярко-красная кровь, мы смеялись, и наши речи звучали силой и надеждой. Теперь же мы ослабли, опустились, стали зябки, любим посидеть перед огнем и среди огненных языков улавливать свои мечты. И нам, старикам, могут нравиться только грустные истории, гармонирующие с теми, которые нам пришлось переживать самим.

Поэтому все рассказы из нашей жизни, и длинные и короткие, должны быть, на мой взгляд, прежде всего строго правдивы.

## Х

# Как быть счастливым, довольствуясь тем, что есть

Всем, страдающим ипохондрией, меланхолией, мизантропией, сплином и т. п. неприятными недугами, я от души советовал бы побывать хоть разок в Голландии, этой маленькой по пространству стране.

Многие уверены, что все счастье людей в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше жить в ней. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином на том основании, что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, нежели Франция. А каким жалким по этой теории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту европейской и азиатской России! Американцы считаются счастливыми будто бы только потому, что их владения занимают пространство, равное пространству целой Луны. Одно сознание этого должно утешать каждого американского гражданина, и он поневоле чувствует себя вполне счастливым.

Согласно этой аргументации самыми счастливыми из всех смертных существ должны быть рыбы, так как вода, по уверению географов, занимает на земном шаре пространства

чуть не в три раза больше, нежели суша. Но, быть может, и моря разделены особыми способами, нам неизвестными, и сардинка, водящаяся, например, у британских берегов, очень недовольна тем, что сардинка норвежская обитает в более широком морском просторе. Может статься, именно по этой причине наша сардинка в последнее время и начала пропадать, вероятно, переместившись к берегам Норвегии.

Счастливые жители Лондона в холодные туманные дни могут согреваться размышлениями о том, что в Британской империи никогда не заходит солнце. Сам лондонец видит солнце очень редко, но это не мешает ему считать себя одним из собственников солнца, так как он знает, что оно начинается и заканчивает его коротенький день все в той же Британской империи, составляя, так сказать, ее специальную принадлежность. Если жители других стран чувствуют себя как бы ближе к солнцу и теплее, то это объясняется только их невежеством; знай они, что, в сущности, солнце лишь *кажется* им близким, тогда как на самом деле оно от них очень далеко и всецело принадлежит англичанам, то и им было бы холодно.

Знаю, что мои взгляды в этом отношении считаются еретическими, но я не могу от них отделаться. В моей голове никак не укладывается мысль, чтобы только одна *величина* была главным счастьем в мире. Когда я решаюсь высказывать свое мнение на этот счет у себя на родине, то меня называют младоангличанином. Вначале это меня несколько сму-

щало, но с течением времени я с этим освоился, потому что пришел к заключению, что то же самое было бы со мной и во всех остальных странах. В Америке меня записали бы в младоамериканцы, в Турции – в младотурки и т. д.

Но я ведь хотел поговорить о Голландии, самое непродолжительное пребывание в которой может послужить отличной помощью в империалистических вожделениях.

Прежде всего в Голландии нет нищих. По вышеприведенной теории, голландцы должны быть очень несчастливы, зная, какое крохотное пространство они занимают, но, насколько можно судить по первому взгляду, голландский крестьянин, курящий свою огромную трубку, чувствует себя насколько не хуже, чем уайтчепельский трущобник или фланер парижских бульваров.

Говорят, как-то раз в одном из маленьких прибрежных городков Голландии появился было нищий. Поглядеть на такое чудо стеклось все местное население и, потолковав, в конце концов решило, что он нищенствует по религиозному обету. Когда его, однако, порасспросили, то оказалось, что он португальский выходец и обречен на голодную смерть, если никто ему не поможет. Его от души пожалели и тут же пристроили в доках на работу с платою по десять шиллингов в день, считая на английские деньги, что по нашим понятиям составляет очень высокое вознаграждение за такой простой труд. Португальцу удалось выпросить у подрядчика плату за три дня вперед, и он тут же исчез из пределов Голландии.

В Голландии очень легко найти работу, была бы лишь охота. Простой голландский фермер живет в шестикомнатном кирпичном доме, построенном обыкновенно на *собственной* земле. Питается он хорошо, но мясо ест только раз в день, считая злоупотребление им вредным и довольствуясь, главным образом, яйцами, сыром, молоком и пивом. По праздникам его жена и дочери щеголяют в золотых и серебряных украшениях на сумму от пятидесяти фунтов стерлингов и более. В его доме столько дорогого фарфора и разных редкостей, что ими можно наполнить любой маленький музей. Мне говорили, что голландские женщины более состоятельных кругов, так называемые «фру», по большим праздникам и семейным торжествам до такой степени бывают обременены драгоценностями, что походят на ходячий ювелирный магазин. Такое благосостояние объясняется отчасти тем, что в Голландии не принято следить за модой, а все носят свои прежние национальные костюмы и украшения.

Когда голландская женщина делает себе одежду, то заготавливает ее впрок из самого лучшего и прочного материала, потому что эта одежда должна служить не одной ей, но ее дочери и внучке. Одна из моих знакомых соотечественниц вздумала было однажды сделать себе настоящий голландский национальный костюм для маскарада, но должна была отказаться от этого намерения вследствие крайней дороговизны. Без обязательных украшений это обошлось бы ей, по крайней мере, в пятьдесят фунтов стерлингов. Между тем в

такую цену в Голландии носят по праздникам одежду даже простые сельские девушки. На некоторых из них красуются массивные серебряные и даже золотые кокошники, которые служат отличными зеркалами для ухаживающих за девицами франтов, желающих удостовериться хорошо ли сидит на них самих шляпа и так ли лежат у них на лбу кудри, как полагается по традиции.

В остальных европейских странах национальные костюмы почти совсем отошли в область предания, уступив место беспрерывно меняющимся безобразным модам. Страна же Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка и Теньера остается неизменно верной заветам старины и художественному вкусу. Живописные открытки с голландскими пейзажами несколько не преувеличивают. Представляемые там мужчины в широчайших панталонах до колен, в ярких цветных рубашках, в длинных чулках, в деревянных башмаках и с большой трубкой во рту, а женщины в пышных пестроцветных юбках, роскошно вышитых корсажах, белоснежных рубашечках из тончайшего полотна, сверкающих золотыми и серебряными украшениями, – действительно существуют; в праздничные дни вы можете встретить их целыми сотнями пар, степенно идущими под руку и ведущими степенные разговоры.

В холодное время все носят длинные и широкие накидки из цветной шерсти ручного производства. Дети одеты подобно старшим с одним лишь отличием – хорошеньким, обязательно тоже цветным передничком. Они похожи на кукол

и вполне достойны любви по своей всегдашней веселости, приветливости и полной беспритязательности. Голландский ребенок постоянно всем доволен, не смотрит исподлобья, не косится, не злится, не капризничает – вообще ничем не доставляет огорчения своим родителям и всем его окружающим; в этом отношении он в настоящее грустное время является чуть ли не единственным во всей Европе, как и его родина – единственной по своим прекрасным свойствам страной.

Голландский поселянин живет окруженный каналами и сообщается с противоположным берегом посредством подъемных мостов. Несмотря на это, никогда не слышно, чтобы его дети утопали, свалившись в воду, да у матерей никогда не заметно простого опасения этой возможности – до такой степени в крови каждого голландца лежит степенность и самообуздание. Этими качествами вас может поразить едва умеющий ходить голландский ребенок; он никогда зря не заплачет и не закричит. Таких же без всякой причины вечно орущих, дергающихся, судорожно извивающихся и брыкающихся ребят, какие услаждают жизнь других народов, в Голландии, как меня уверяли, совсем нет. Вот это-то я и называю счастьем.

Представляю себе мать другой национальности, хоть, например, английскую, обреченную воспитывать свое потомство в доме, также окруженном каналами. У этой бедной женщины не было бы ни минуты покоя до тех пор, пока ее

дети не были бы благополучно уложены на ночь в постель. Жизнь ее была бы поистине каторжной. Несчастливая женщина все время терзалась бы страшным ожиданием, что тот или другой из ее детей угодил в воду и утонул. В Голландии женщины относятся к этому иначе. Одна голландская мать, которую я спросил, неужели совсем не случается, чтобы ребенок упал в воду, спокойно ответила, что хоть и редко, но случается. На мои дальнейшие расспросы, как же в таких случаях поступают родители, я услышал такой же спокойный ответ, что попавшего в воду малыша спешат вытащить и потом отшлепают, чтобы в другой раз был осторожнее, – и дело с концом.

В Голландии постоянно дует ветер, несущийся с моря. С шумом и воем пробегает он по низким плотинам, с пронзительным свистом несется по печальным, бесплодным, легко вздымающимся по его воле дюнам, мчится в глубь страны, надеясь там всласть натешиться и поиграть в разрушение. Но голландец только посмеивается и весело говорит: «А, приятель, пожаловал! В добрый час! Милости просим! Благодарим за неоставление нас своей милостью!» И, дождавшись, когда буйный ветер перескочит за линии плотин и дюн, схватывает его за шиворот и не выпускает до тех пор, пока тот не сделает всего, что нужно заботливому и предусмотрительному голландцу.

Он заставит его повертеть десять тысяч мельниц, накачать в запас неисчислимое количество воды, напилить лесу,



осветить города, привести в движение ткацкие станки, помочь наковать железа, провести по каналам большие, грузные, медленно движущиеся барки и в заключение поиграть с детьми в садах и на лугах. Отпущенный наконец обратно на волю, ветер тихо несется назад через море, усталый и обесиленный, провожаемый новым тихим смехом непрерывно дымящего из своей трубки голландца.

Когда вы следуете по некоторым из голландских каналов, то вам все время слышится тихий шепот, шелест и шорох, как на нивах, густо покрытых уже готовыми к жатве спелыми колосьями. Этот своеобразный шум, так приятно нежащий ваш слух, производится движением множества мельничных крыльев. Медленно двигаясь по тихой воде в неуклюжей, но крепкой и надежной лодке, вы под шум мельниц грезите о давно прошедших в остальной Европе идиллических временах, которые каким-то волшебством словно воскресают перед вами.

В Голландии все удивительно чисто и уютно. Вы не увидите там ни одной посуды, которая не могла бы служить зеркалом, – до такой степени они вычищена и отполирована. Большие медные кастрюли, висящие для просушки под навесом сараев, блещут и сверкают на солнце как золотые, – жаром горят, по образному выражению местных крестьянок. Не будь там стульев, вы в любом сельском доме могли бы садиться прямо на красный кирпичный пол, на котором нет ни соринки, ни пылинки, не говоря уж о грязи. Перед каж-

дым порогом стоит ряд деревянных башмаков, и горе тому голландцу, который вздумал бы перешагнуть через порог не в одних чулках.

Голландские башмаки, или сабо, представляют ту особенность, что они каждую весну перекрашиваются заново. В некоторых областях для них в обычае яркий желтый цвет, в других – красный, в третьих – снежно-белый, как символ невинности и чистоты. Сабо прекрасного пола бывают украшены звездочкой на том месте, где приходится большой палец, или мелким узором вокруг краев башмака. Ходить в этой обуви – штука довольно затруднительная для непривычных, а уж бегать в них и совсем не рекомендую. Я однажды попробовал, но тут же споткнулся, упал и пребольно ушибся, угодив носом в уличную тумбу. Оказывается, что когда у кого-нибудь из голландцев является потребность бежать (чаще всего это бывает у ребятишек), то он снимает с себя башмаки и несет их в руках или же бросает где попало, лишь бы не под ноги другим; потом находит их там, куда бросил, потому что в этой счастливой стране, в особенности в провинции, воров нет.

Голландские дороги, прямые, выпуклые и крепко вымощенные, издали представляются идеально удобными для велосипедной езды; но это только иллюзия. Мне пришлось встретиться возле Гарвика с двумя знакомыми соотечественниками, известными артистами по части велосипедной езды. Они только что прибыли в Голландию и намеревались иско-

лесить ее вдоль и поперек на привезенных с собой мотоциклах. По уговору мы с ними встретились снова через несколько дней. Но, боже мой, что с ними случилось! Я едва мог узнать их, и когда наконец узнал, то пришел в ужас. От них остались одни тени. Они не могли ни стоять, ни сидеть спокойно, дрожали с головы до ног, как в сильнейшей лихорадке, и не могли внятно произнести ни слова, потому что зубы у них выбивали настоящую барабанную дробь. Где-то что-то я смог понять из их отрывистых глухих восклицаний: дороги оказались вымощенными одним крупным круглым булыжником, на этих-то вот кругляшах злосчастные велосипедисты и разбили себе все кости, сделав на своих самокатах всего несколько миль от одного города до другого.

Если вы желаете прокатиться по голландской провинции, то вам нужно уметь хоть немного объясняться на местном языке или же на немецком. Голландский язык кажется мне (я говорю не как знаток, а как простой наблюдатель) испорченным немецким. Что же касается собственно до *моего* немецкого языка, то я с ним в Голландии был более у места, чем в самой Германии. Англосаксу лучше и не пытаться выговаривать голландское *z* – непременно потерпит поражение. На меня произношение голландцами этой буквы произвело такое впечатление, точно они держат ее где-то в недрах своего желудка, откуда с трудом и извергают в случаях надобности.

Но предупреждаю, что желающим пожить в Голландии подольше следует запастись деньгами. Говорят, дорога

жизнь в Англии, но, по-моему, она еще дороже в Голландии. Уверяют, будто в Голландии дешевы сигары; это, пожалуй, верно, зато тамошние дешевые сигары в один день так вам опротивеют, что вы запаха их не будете в состоянии выносить и не захотите вновь курить, пока совсем не забудете их ужасного вкуса. Я знаю одного человека, который сберег несколько сотен фунтов стерлингов благодаря тому, что, попробовав голландских сигар, он потом несколько лет и слышать не мог о курении.

Наблюдая за производством построек в Голландии, вы убеждаетесь, что все жилища там действительно держатся на сваях, хотя многие не верили этому, когда слышали или читали об этом. При закладке любого дома вы можете видеть, как рабочие на глубине десяти-двенадцати футов ниже уровня улицы, находясь по колена в воде, вгоняют толстые сваи в совершенно мягкую, всю пропитанную влагой почву. Многие из домов более или менее давней постройки наклоняются под таким резким углом, что прямо страшно проходить мимо них: того и гляди, рухнут вам на голову. Я сделался бы так же нервозен, как истеричная женщина, если бы мне пришлось жить в верхнем этаже одного из этих домов, но голландец с невозмутимой флегматичностью курит свою трубку, высунувшись из окна нависшего над улицей второго яруса почтенного по годам и виду дома.

В Голландии принято пускать поезда или на двадцать минут раньше, или настолько же позднее, чем показано в рас-

писании. Объясняется это тем, что станционные часы или уходят вперед, или отстают. Сами голландцы никак не могут освоиться с такой странностью, а уж об иностранцах и говорить нечего.

Взглянешь на часы и из опасения опоздать на поезд спешишь проститься с хозяином, а он удерживает:

– Помилуйте, чего вы торопитесь? Успеете. Посидите еще.

– Но ведь поезд идет отсюда ровно в десять, до вокзала целая миля, а на часах уж половина десятого, – возражаете вы, с трудом сдерживая свое нетерпение.

– Ну, долго ли проехать милю. А поезд отходит только двадцать минут одиннадцатого по нашим часам, – утешает вас радушный голландец и предлагает вам еще чашку кофе со сдобным печеньем.

Вы верите и продолжаете сидеть. Проходит несколько минут. Хозяин вдруг сделался рассеян и напряженно морщит лоб, потом восклицает:

– Ах, простите, я перепутал... сейчас только вспомнил: ведь сегодня поезд отходит в десять без двадцати минут...

Жена или еще кто-нибудь из присутствующих начинает доказывать, что глава дома ошибся *теперь*, а в первый раз сказал верно: именно сегодня поезд и отходит в двадцать минут одиннадцатого.

Тот ли, другой ли правы, но вы, во всяком случае, попадете на станцию не вовремя: или за двадцать минут до отхода

поезда, или двадцать минут спустя после его ухода.

Голландские платформы всегда гудят низкими, спокойными голосами женщин, доказывающими своим мужьям или сыновьям, что следовало бы отправиться из дому на полчаса раньше, или что не надо было так спешить. Мужчины пыхтят и молчат.

Я слышал, что в этой благословенной во всех других отношениях стране не раз поднимался вопрос о согласовании железнодорожных часов с местными обывательскими, но этот вопрос постоянно заминался, вероятно, на том простом основании, что если сделать это, то ровно ничего не останется для того, чтобы заставить голландца хоть немного подосадовать и напомнить ему о терниях бытия...

# XI

## Следует ли нам говорить, что мы думаем, или думать, что говорим?

Один из моих друзей уверяет, что самой характеристической чертой нашего времени является склонность лгать, и приводит доказательства. Докладывает, например, прислуга, что приехали мистер и миссис Б.

– Ах, черт бы их подрал! – восклицает хозяин.

– Тише! – шепчет хозяйка. – Сусанна, затворите же дверь. Сколько раз я вам говорила, что не следует оставлять двери открытыми за собою. Неужели не можете запомнить этого?

Хозяин на цыпочках прокрадывается к себе наверх, в кабинет, и запирается там. Хозяйка охорашивается перед зеркалом и переживает, когда будет в состоянии настолько овладеть собой, чтобы не выказать обуревавших ее чувств, и только тогда спешит в гостиную.

Поцеловавшись с гостьей и пожав руку гостю, хозяйка с приветливой улыбкой щебечет о том, как она обрадована посещением дорогих гостей, и осведомляется, отчего они одни, без деточек. Почему перестал показываться молодой мистер Б.? Чем он в последнее время так занят, что забывает любящих его друзей? В конце концов придется рассердиться на него. А прелестная Флосси? Что? Слишком еще молода,

чтобы часто ходить в гости? Зато она такая миленькая и так хорошо себя держит... Ах как жаль, что они остались дома! Это сильно омрачает удовольствие.

Визитеры, надеявшиеся, что хозяйки не окажется дома, и явившиеся только потому, что по этикету необходимо бывать у своих добрых знакомых или друзей никак не менее четырех раз в сезон, в свою очередь рассыпаются в уверениях о том, что чуть не умерли от тоски, не выдавшись столько времени, да все никак не могли выбраться.

– Ну а нынче мы уж с утра решили, что непременно попадем к вам, что бы ни задерживало нас, – поет миссис Б., делая умильные глазки и стараясь придать своему резкому голосу как можно больше сердечности. – Я как только сегодня поутру раскрыла глаза, так сейчас и говорю мужу: «Джон, милый, как хочешь, а я во что бы то ни стало должна повидать мою дорогую миссис В., иначе с ума сойду от скуки по ней!..»

В дальнейшем гости сообщают, что к ним звонил по телефону адъютант принца Уэльского и сообщил, что его высочество желал бы приехать к ним вечером; но они сумели найти предлог, чтобы отделаться на этот раз от принца, лишь бы наконец повидаться с дорогими друзьями. И неужели бесценный мистер В. уехал надолго и как раз в *этот* день?.. Ах как жаль! Ах эти ужасные дела, лишаящие людей самых лучших удовольствий!..

Хозяйка тревожно прислушивается к доносящемуся свер-



ху легкому шуму, бормочет что-то о противных кошках, которые лазают повсюду и от которых только и жди всяких проказ, потом изливается в выражениях сожалений о своем бедном Джиме, которому по возвращении из экстренной деловой поездки предстоит огорчение узнать, что он был лишен самого большого своего удовольствия – видеть... Ну и так далее все в таком вымученном, нудном духе.

Такие сцены повторяются повсюду каждый день, и все по одной и той же неизменной программе. Общество проникнуто той ложью, будто бы *все* люди одинаково привлекательны, будто мы в восторге видеть каждого другого, будто бы каждый другой также в восторге видеть нас, будто бы и все другие и мы сами в отчаянии, когда после свидания приходится расставаться.

Что в самом деле может быть нам приятнее: спокойно сидеть у себя в кабинете или бежать в гостиную слушать, как там надрывается мисс Г.? Конечно, первое. Но в силу общественных условностей, или, точнее, в силу общественной лжи мы бросаем, быть может, даже задушевную – без кавычек – беседу с искренним приятелем и опрометью несемся в гостиную, где начинает петь мисс Г. Она вовсе не была расположена петь именно в этот раз и в этом доме, но хозяйка упростила ее, и девица, немного поломавшись, садится к роялю и насилует свой и без того немелодичный голос, который от этого звучит еще хуже. Может быть, она никогда не решилась бы демонстрировать свой голос, если бы ее не уверили

другие – тоже из лживой любезности, – будто он у нее замечательно звучный и приятный, способный доставить особенное наслаждение людям с музыкальным вкусом. И вот мисс Г. вывизгивает что-то невообразимое, а мы с глупейшим видом сидим вокруг нее, притворяемся, что находимся в упоении от ее мастерского исполнения и со скрытым бешенством ожидаем окончания этой взаимной пытки. Когда же она наконец оканчивается, мы, устроив гром рукоплесканий, огорченно восклицаем:

– Неужели уже кончено? Быть не может! Помнится, там был еще один куплет, и вы утаили его, чтобы обидеть нас. Смилуйтесь, не сокращайте нам и без того короткого удовольствия слушать ваш дивный голос.

Певица уверяет, что никаких куплетов она не утаивала и песня воспроизведена ею полностью. Но если господам слушателям уж так желательно, то она готова пропеть еще одну вещичку, хотя и не чувствует себя в ударе.

И вот начинается новое всеобщее самобичевание.

Вина наших хозяев всегда объявляются нами самыми лучшими, какие нам когда-либо приходилось пробовать. Но от второго стакана мы отказываемся – злодей доктор строжайше воспретил нам пить более одного стакана. А сигары наших хозяев?.. О, нам и в голову не приходило, что есть такие чудные сигары! Как, выкурить вторую? Ах нет! Излишнее курение нам также воспрещено все тем же безжалостным и неумолимым доктором. Но если любезнейшие хозяева уж

так настаивают, то, быть может, они разрешат взять вторую сигару в карман, чтобы мы потом могли насладиться ею дома? А кофе, который собственноручно сварила нам хозяйка! Не будет ли она так добра сообщить нам секрет приготовления такого превосходного кофе? А их бэби! Мы немеем от восторга! Мы знаем обыкновенных бэби, и, сказать откровенно, никогда не находили в них особенной прелести и всегда удивлялись, чего это так с ними носятся! Но их бэби – это... это, действительно, нечто сверхземное, божественное! Так и хочется спросить, откуда милые хозяева раздобылись таким чудом. Если суждено нам самим иметь бэби, то мы желали бы именно такого и благословляли бы судьбу. Декламация же пятилетней хозяйской дочки известной шутки под заглавием «Визит к дантисту» заставляете нас обалдеть от приятного изумления. Такой небывалый сценический талант в пятилетнем ребенке! О, это, несомненно, будущая мировая знаменитость, которой суждено создать совсем новую школу сценического искусства...

Каждая невеста признается нами очаровательной и ее подвенечный наряд – восхитительным (описание этого рода нарядов вы можете прочесть в любом местном листке). Каждая свадьба почитается радостным общественным событием. Держа в руке наполненный «искрометным шампанским» бокал, мы в радужных красках рисуем картину счастья, ожидающего данную парочку. Да и как не быть счастливой этой парочке, когда новобрачная – дочь образцовой матери.

ри, а новобрачный составляет украшение местного молодого мужского общества? (Насмешливое хихиканье плохо воспитанных девиц и фырканье в нос некоторых юнцов, занимающих нижний конец пиршественного стола, покрываются гулом одобрения степенной части компании, и оратор опускается на свое место в сознании добросовестно исполненной общественной обязанности.)

Мы вносим ложь даже в самую религию. Находясь в церкви, мы в известные промежутки фарисейски поднимаем свой преисполненный гордости взор вверх и притворно-покорным голосом стараемся уверить Всевышнего в своем ничтожестве и в своей полнейшей гнусности. (Как будто Он Сам не знает этого!) Мы делаем это с гордостью, потому что воображаем, будто это требуется от нас, и чем больше мы будем самобичевать себя в этом месте, тем выше будем подниматься в глазах наших ближних.

Мы показываем вид, что считаем каждую женщину доброй, как ангел, а каждого мужчину – честным, как сама честность, и когда факты с неопровержимой ясностью свидетельствуют совсем противоположное, мы притворяемся, что никак не можем поверить этим фактам и что нам это чересчур больно. Или же, смотря по обстоятельствам, с подчеркнутым презрением и негодованием отвертываемся от уличенных и даем им понять, что, будучи сами вполне совершенными, мы не можем иметь ничего общего с такими вырожденками человечества.

Нашему горю по умершей богатой тетушке, которой мы прямые наследники, нет границ, и мы носим по ней глубокий траур. Одно может хоть отчасти смягчить наше отчаяние – это мысль о том, что бесценная, незабвенная тетушка отошла в лучший мир... Кстати, об этом лучшем мире. Предполагается, что каждый, ушедший из *этого* мира, обязательно попадает в какой-то другой, несравненно лучший. Стоя вокруг открытой могилы, мы об этом говорим друг другу, а духовенство так убеждено в этой «истине», что выработало по этому случаю особые формулы.

Еще когда я был подростком, меня поражал тот общепризнанный факт, будто бы все умершие идут прямо на небо. При мысли о той массе умерших, которая когда-либо жила на земле, мне представлялось, что небо должно быть уже чересчур переполнено. Идя дальше в своих мыслях, я невольно жалел дьявола, который должен страшно скучать в своем аду, так как никто никогда не считается подлежащим отправке туда. Няня, которой я решился высказать свое сожаление к старому несчастному дьяволу, всеми ненавидимому и избегаемому, обругала меня, пригрозила пожаловаться на меня моим родителям и в конце концов обнадежила, что если я буду продолжать вести такие безбожные рассуждения, то дьявол непременно когда-нибудь овладеет мною и потащит к себе. Вот тогда я и узнаю, каково жариться там у него в неугасимом пекле. Тогдашнее настроение моего ума было таково, что я положительно обрадовался открывшейся

мне перспективе попасть в компаньоны к бедному дьяволу и доставить ему некоторое утешение своей особой. Наверное, думалось мне, он так будет тронут моей симпатией к нему и готовностью к самопожертвованию ради его удовольствия, что, в свою очередь, пожалеет меня и не станет мучить.

Каждый публичный оратор прославляется нами как самый «красноречивый и увлекательный». Марсианин, читающий наши газеты (наверное, у марсиан есть способы читать и на таком дальнем расстоянии, на какое Марс отстоит от нашей планеты), должен был убежден, что каждый член нашего парламента является великодушным, простосердечным и любвеобильным святым, обладающим обыкновенными человеческими свойствами в такой лишь степени, чтобы не давать ангелам унести себя на небо в любую минуту.

Чем выше кто-нибудь поднимается по общественной лестнице, тем шире круги тех, которые находят нужным выражать по отношению к нему обязательные чувства. Однажды у нас в Англии опасно заболел один высокопоставленный и очень добрый человек; газеты тотчас же протрубили, что вся нация погружена в скорбь. Люди, обедавшие в ресторанах и узнавшие там печальную новость, роняли голову на стол и плакали навзрыд. Встречаясь на улицах, совсем почти чужие друг другу люди останавливались, чтобы обменяться слезами. Так, по крайней мере, писалось. Я в то время находился в отсутствии в Англии, но собирался вернуться, получив же это известие, призадумался. Взглянув на себя в зер-

кало, я был шокирован своим видом, потому что выглядел так, точно на моей родине все благополучно. Я почувствовал, что если возвращусь домой с таким безучастным видом, то могу только увеличить горе нации. И как я ни старался, но не был в состоянии устроить нужное огорченное лицо. Обругав самого себя бесчувственнейшим в мире себялюбцем, я решил отложить свое возвращение до более благоприятного времени. Дело в том, что мне в той стране, где гостил (то есть в Америке) сильно повезло с одной из пьес, и я был в самом радужном настроении, так что готов был петь и плясать.

Однако, как нарочно, у меня так сложились обстоятельства, что я против воли был вынужден отправиться к родным пенатам. Я ожидал, что горе, постигшее мою родину, сделает таможенных чиновников настолько равнодушными к своим служебным обязанностям, что они пропустят без всякого внимания захваченный мною из-за моря ящик превосходных сигар. Однако я ошибся в расчете: дуврская таможня, как и всегда, стояла на высоте своей задачи. Ревизовав мой багаж, чиновник потребовал с меня пошлину с таким видом, точно в стране все было в обычном порядке, и даже довольно весело усмехнулся, когда заметил мою разочарованную мину. Тут же, рядом, одна девочка хохотала во все горло по поводу того, что ее мамаша уронила на пол свой раскрытый ридикюль и из него посыпался целый дождь мелких блестящих предметов, которые также оказались подлежащими оплате пошлиной. Но с детей что спрашивать? Разве они понимают

что-нибудь серьезное?

Более всего меня поразило, когда я увидел в трамвае человека, читавшего юмористический листок. Положим, этот человек был настолько сдержан, что смеялся мало и тихо, но разве подавленные национальным горем граждане имеют право читать юмористические листки, да еще в публичном, так сказать, месте?

Вообще не пробыл я и часа в Лондоне, как должен был прийти к заключению, что большинство англичан действительно отличается сверхчеловеческим самообладанием, чему я раньше не верил, хотя сам имею честь принадлежать к английской нации. Судя по прочитанным мною накануне газетам, вся страна рисковала потонуть в собственных слезах, а пока, в ожидании дальнейшего, из конца в конец извивалась в судорогах безмерной скорби. Но в этот день страна, по-видимому, сказала себе: «Не следует ничего доводить до крайности. Мы целых две недели плакали день и ночь, но горю не помогли, поэтому не лучше ли снова войти в обычную колею жизни, как нам это ни горько и ни тяжело?» И, как я заметил, с этого дня английские граждане даже принялись есть по-прежнему.

Друг, о котором я упомянул в начале этой главы, пожалуй, и прав.



## ХII

# Из какого материала созданы американские мужья

Я очень рад, что не значусь в списке американских мужей. На первый взгляд такое заявление может показаться косвенным упреком американским женам, но это ошибочно, дело совсем не в том.

Мы, европейцы, имеем полную возможность судить об американских женах. В самой Америке мы много слышим о них, читаем о них интересные истории и можем любоваться на их портреты, воспроизводимые на страницах иллюстрированных изданий тамошней повременной печати, но не видим их, так сказать, вблизи. Здесь же, в Европе, мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, беседуем и даже иногда полегоньку флиртуем. А главное, мы воочию убеждаемся, что американские жены прелестны, очаровательны, вообще вполне достойные особы. Вот почему я и сказал, что рад не значиться в списке их мужей. Я убежден, что если бы американские мужья знали, как хороши их жены, то наверняка бросили бы все свои дела на родине и поспешили сюда, к нам, или, вернее, к своим лучшим половинам, живущим не у себя, на родине, а у нас, в Европе.

Я говорю это не шутя и сейчас приведу доказательства.

Несколько лет назад, когда я только что начал колесить по Европе, мне казалось, что Америка должна быть такой страной, где мужчины обязательно мрут в самые цветущие годы и где на каждом шагу встречаются неутешные вдовы, поэтому вся обширная Страна свободы должна быть крайне грустной. Судил я так потому, что в одном только переулке в Дрездене я насчитал четырнадцать американских матерей, имевших, все сообща, двадцать девять человек детей, и среди этих матерей и детей – ни одного мужа и отца. Я рисовал себе в своем воображении четырнадцать одиноких могил, разбросанных по Соединенным Штатам; четырнадцать надмогильных памятников, сделанных из самого прочного материала и покрытых высеченными на них перечнями добродетелей, украшавших при жизни четырнадцать умерших и погребенных мужей.

«Странно! – думалось мне. – Эти американские мужья должны быть особенно слабой разновидностью человеческой породы, и нужно удивляться, откуда их матери достали таких крепких детей. Большинство этих мужей женятся на красавицах, которые дарят их двумя-тремя крепышами, затем мужья спешат уйти из здешнего мира, точно с рождением второго или третьего ребенка их собственная жизненная сила совершенно истощается. Неужели нет никаких способов, посредством которых можно было бы подкрепить их слабые силы? Мало тонических средств... Я подразумеваю не те тонические снадобья, после употребления кото-

рых подагрическим старцам приходит непреодолимое желание приобрести детский обруч для катания или веревочку для прыганья через нее, – нет, я имею в виду те чудодейственные эликсиры, о которых постоянно пишут, что если, например, хоть капля такого эликсира попадет на кусок ветчины, то этот кусок тотчас же снова превращается в свинью и начинает хрюкать от удовольствия».

Я сильно опечалился, когда далее представил себе, как американские вдовы переполняют океанские пароходы, чтобы скрыть свое горе в чужих странах, где ничто не растревляло бы их свежих сердечных ран. Разумеется, одна мысль о своей родине сделалась для этих несчастных, обездоленных женщин невыносимо тяжелой. Почва, по которой некогда ступала *его* нога! Стены, некогда освещавшаяся *его* улыбкою! Словом, там *все* должно было напоминать о *нем* и не давать покоя измученному сердцу. И вот они, эти бедные вдовы, ищущие забвения былого утраченного счастья, забирают своих осиротевших детей и спешат в Париж, Флоренцию или Вену, чтобы хоть там облегчить свою скорбь...

Кроме того, я был поражен благородным самообладанием, с которым американские вдовушки скрывали свои душевные страдания от посторонних глаз. Молодые вдовы других национальностей целыми неделями ходят в виде олицетворения печали, и никто никогда не может подметить на их лицах даже подобия улыбки. Вдовы же американские, четырнадцать счетом, лично мне знакомые, потому что я жил

бок о бок с ними, храбро старались быть веселыми, хотя им, наверное, это было очень нелегко. Какой пример для каждой европейской вдовы! Я иногда проводил в обществе тех четырнадцати вдовушек целые дни, начиная с утренней прогулки, переходя затем к полднику, чаю, обеду и вечеринке с танцами, и ни разу не мог подметить ни у одной из них ничего такого, что свидетельствовало бы о мучительных чувствах и мыслях, таившихся внутри них.

Я переносил свои взоры от матерей к детям и опять должен был удивляться. Глядя на спокойные и веселые розовые личики американских сироток, я начинал понимать секрет успеха Америки. Разумеется, как не перевернуть весь мир вверх тормашками, когда имеешь таких выдержанных, чисто по-спартански тренированных граждан! Наши британские дети с ума сходят по какой-нибудь потерянной шестипенсовой монете, а эти маленькие американцы и американочки потеряли отца, и то несколько не кажутся огорченными. Такое обуздание чувств граничит уже с геройством.

Как-то раз я необдуманно осведомился у одной из американских девочек о здоровье ее отца и в тот же момент, опомнившись, готов был откусить себе язык. Ведь у бедняжки не было уже отца, и я нечаянно коснулся больного места этого юного существа! Но девочка не залилась слезами, как можно было ожидать, судя по рассказам из детской жизни, а совершенно спокойно ответила мне:

– Благодарю вас, сэр. Папа чувствует себя отлично.

– О да! – горячо подхватил я, сам чуть не плача от умиления. – Я уверен, что ваш папа *чувствует* себя так хорошо, как заслужил этого, и что когда-нибудь вы вновь с ним увидите.

– Конечно, увижусь, – подхватила девочка, и мне показалось, что личико ее осветилось лучом радости. – Мама говорит, что ей надоело быть тут одной, без папы, и она думает вернуться со мной к нему.

Глубоко потрясенный, я поспешил отвернуться от девочки, чтобы не показать ей своей слабости, которая должна была быть постыдной в ее глазах. Бедная вдова! Как она тосковала о муже! Как она стремилась скорее соединиться с ним в том, последнем жилище! И даже своего ребенка... Я не мог додумать этой грустной мысли и как сумасшедший бросился бежать от великого в своей трогательной наивности ребенка.

Мне особенно было жаль одну из американских вдовушек, миловидную миссис А. Она приехала на чужбину недавно, последней из всех четырнадцати, и горе ее поэтому должно было быть совсем свежим. И никто из многочисленных посетителей, ежедневно пользовавшихся ее гостеприимством, никогда, насколько мне было известно, не утешал ее, не высказывал сожаления о ее горькой участи. Это казалось мне прямо жестоким и бесчеловечным. Говорят, переполненное скорбью, печалью и отчаянием сердце, не находящее исхода своим мучительным чувствам, не выносит и разрывается. Этого я не мог допустить, не попробовав хоть немного

облегчить тяжелое горе неутешной вдовы. Улучив момент, я подсел к ней и участливо спросил:

– Вы давно уже здесь, в Дрездене?

– Около пяти лет, – ответила она.

Пять *лет!* а я думал – пять *месяцев*. Но это не уменьшило моей симпатии и моего сочувствия к несчастной.

– И все это время вы тут одни? – продолжал я тоном, вызывающим на откровенность.

– О нет, вовсе не одна! – возразила она с резнувшею меня по сердцу покорностью. – Ведь со мною мои дети. Кроме того, меня не оставляют и добрые друзья, которых, слава богу, набралось немало за эти пять лет, и время благодаря им проходит у меня незаметно. Потом здесь есть и опера, и симфонические концерты, и танцевальные вечера по подписке, и картинная галерея, и прочее... Нет, было бы грешно, если бы я стала жаловаться на одиночество, – заключила она.

– Гм... Все это прекрасно, – согласился я, – но разве вам не тягостно отсутствие вашего супруга?

Сам не знаю, как я мог решиться так прямо поставить этот вопрос. Я хотел как-нибудь иначе заставить свою собеседницу открыть мне свою душу, чтобы ей было легче, но не сумел. По милovidному лицу американки пробежало облачко, и она отрывисто проговорила:

– Пожалуйста, не говорите о муже: слишком грустно для меня вспоминать о нем.

Но я, точно сорвавшийся с привязи молодой резвый конь,

уже не мог остановиться. Закусив удила, я понесся дальше и так же неожиданно для себя выпалил второй решительный вопрос:

– Отчего он, бедный, умер у вас?

Миссис А. окинула меня таким взглядом, которого я никогда не забуду.

– Мой муж... умер?! – крикнула она звенящим голосом. – Кто вам сказал это?

– Простите... я действительно думал... не знал... – совсем растерявшись, бормотал я, не зная, куда деваться от смущения.

– А может быть, тут потихоньку от меня идут такие разговоры? – продолжала миссис А. – Может статься, кто-нибудь из наших даже получил известие... Скажите прямо, – молящим тоном обратилась она ко мне.

– Никто не говорил, – уверял я. – Но я полагал...

– Так это ваше собственное умозаключение? Ошиблись, друг мой, сильно ошиблись! Насколько мне до сих пор известно, мой муж здоровствует и благоденствует.

Я сказал, что мне очень жаль – не то, конечно, что ее муж здоровствует и благоденствует, а то, что я, по своей искренней симпатии к ней, нечаянно задел такой щекотливый предмет.

– Какой щекотливый предмет? – спросила моя собеседница.

– Да вашего супруга, – пояснил я.

– Господи, да почему же он у вас попал в щекотливые

предметы? – недоумевала она, опять начиная волноваться и подозрительно глядя на меня.

– Да ведь, судя по всему, вы с ним не сошлись характерами, и наверное... не по своей вине, – старался я выпутаться из создавшегося неловкого положения.

– Ну и это вы совсем напрасно заключили, мой друг, – отрезала она. – Если вы не хотите серьезно поссориться со мной, то никогда не смейте думать что-нибудь дурное о моем муже. Он очень хороший человек и ровно ничем не провинился передо мной.

– Почему же вы в таком случае развелись с ним? – не утерпел я, чтобы не задать этого третьего, еще более щекотливого вопроса.

Я до такой степени был сбит с толку этой семейной загадкой, что никак не мог спокойно решить ее, не роняя при этом своего достоинства. Бывают же такие глупые положения!

Нисколько времени миссис А. сидела молча, очевидно, соображая, как ей поступить: выбрать и прогнать меня, или разыграть жестоко обиженную и расплакаться, или, наконец, принять все в шутку и рассмеяться. Она решилась на последнее и, громко захохотав, вскричала:

– Час от часу не легче! Теперь вот уж и о разводе зафантазировали... Не понимаю, что с вами сегодня сделалось, какая муха вас укусила, что вы понесли такую околесицу? Успокойтесь, мы с мужем и не думали разводиться... да, наверное, никогда и не подумаем.



– Очень рад, – ответил я, стараясь скрыть свое смущение и придавая себе вид самого отчаянного сорвиголовы.

Раз вляпавшись в такой конфуз, я хотел, по крайней мере, извлечь что-нибудь интересное, добравшись до дна этой сильно заинтриговывавшей меня тайны.

– Но в чем же тогда у вас дело, если ваш муж не умер и вы с ним не разведены? Где же он? – с храбростью отчаяния лез я напролом.

– Конечно, у себя дома. Где же ему еще быть? – ответила американка.

– Где же это у себя?

– Да, разумеется, у нас на родине, в Америке...

– А что же он там делает? – не унимался я, оглядывая богатую и уютную обстановку гостиной, в которой сидел, и невольно мысленно высчитывая, сколько должна стоить одна она в обширной квартире, занимаемой предполагаемою вдовушкой. Если и у ее мужа такая же обстановка, а может быть, и еще лучше, сколько же тогда стоит ему удовольствие жить на два дома!

– Почему я знаю, что он там теперь делает? – уже совершенно просто ответила миссис А., как бы против своей воли поддаваясь моей упорной настойчивости. – Что люди обыкновенно делают дома, то, наверное, делает и мой муж.

– А почему же вы живете здесь, а не с ним? Простите, меня это так интересует, что я никак не могу...

Она не дала мне договорить и, снова рассмеявшись, по-

спешила пояснить:

– Очень просто: чтобы поразвлечься в чужой стране... Муж любит доставлять мне удовольствие... Притом я воспитываю здесь наших детей.

– Но ведь все ваши дети находятся в закрытых учебных заведениях, тогда как сами вы пользуетесь полной свободой, – начал я уж и морализировать. – Разве в Америке нельзя поместить детей в такие заведения? Потом, когда вы в последний раз видели своего мужа?

– Кажется, в прошлое Рождество... Ах нет, нынешней зимой я была в Берлине, а с мужем мы виделись именно здесь... Значит он приезжал сюда позапрошлой зимой, на Рождество...

– Гм... Странно!.. Вы говорите, что ваш муж – лучший из людей, а между тем даже забываете, когда виделись с ним в последний раз. Почему же вы так редко видите с ним? Ведь это...

– Как это вам не надоест предлагать вопросы, один... наивнее другого? – снова прервала меня миссис А., несколько, впрочем, уже не сердившаяся. – Как же мы можем часто видеться, когда он в Америке, а я – в Германии? Может быть, он приедет летом, если позволят дела... Да к чему, собственно, нужно вам знать все это?

– Сначала я завел этот разговор с вами из простого дружеского сострадания, – сознался я. – Но так как он пошел по совсем неожиданному пути, то я захотел дойти до конца.

Это очень естественно... Скажите мне вот что еще: неужели у вас, американок, считается в порядке вещей, чтобы жена развлекалась на чужбине, а муж надрывался у себя на родине каторжным трудом добывания денег для житья его семьи на два дома?

– Разумеется, раз делается так, – совершенно резонно ответила миссис А.

– Ну, в таком случае я должен сказать, что американские мужья какие-то совсем особенные, – резюмировал я свою мысль. – Должно быть, они созданы из каменного материала, и вы, их жены, испытываете степень прочности своих мужей. Но ведь это игра очень опасная: когда-нибудь, если постоянно бросать его обо что попало, и самый прочный материал может разбиться. Едва ли это будет приятно для его владелицы. То есть, говоря проще, настанет день, когда ваши мужья поймут, что своей крайней снисходительностью они так избаловали вас, что заглушили в вас всякое здоровое чувство. Ну какой может быть у вашего мужа дом в Америке, когда его жена и дети находятся по ту сторону Атлантического океана? Хорош дом, где возвращающегося после трудового дня хозяина встречает только жуткая пустота и мертвая тишина, нарушаемая лишь его собственными шагами!..

Много еще я наговорил на эту тему, разошедшись так, как редко бывает со мной. Миссис А. все смеялась и говорила, что я милый молодой сумасброд, воображающий, что весь свет должен смотреть сквозь его строгие английские

очки. Тем не менее мы расстались прежними друзьями, и я еще не раз после того виделся с нею.

Прожив зиму в Дрездене, я вернулся на родину и сначала переписывался с миссис А., но потом наша переписка прекратилась, и я теперь не знаю, все ли еще в Германии эта американская «вдовушка» или нашла наконец нужным пожить хоть немного и у себя дома.

Вообще же американских жен, живущих без мужей, говорят, рассеяно по Европе и теперь не меньше, чем во время моего пребывания в Дрездене.

## ХІІІ

### **Знают ли молодые люди все, что следует им знать?**

Говорят, американские профессора университетов, рассеянных по Соединенным Штатам, жалуются на отсутствие идеалов у своих слушателей. Могу утешить этих почтенных служителей науки уверением, что на то же самое жалуются их коллеги и у нас, в Европе. Знаю, что это утешение плохое, но, по-моему, лучше иметь что-нибудь хоть плохое, чем совсем ничего.

В самом деле, еще не так давно я имел случай познакомиться с двумя гейдельбергскими профессорами, и они оба в один голос изливали свою скорбь по поводу отсутствия идеалов у нынешней молодежи. Но мне думается, что тут существует маленькое недоразумение. Я не могу представить себе, чтобы современная молодежь совершенно была лишена всяких идеалов; вернее всего, суть дела в том, что идеалы молодежи не сходятся с идеалами профессоров, успевших выработать себе другие, более возвышенные, в течение своей более продолжительной, а потому и более богатой знаниями и опытом жизни.

В общем я вполне сочувствую господам профессорам, потому что сам когда-то находился в их положении. Я отчет-

ливо помню тот день, в который мне стукнуло ровно двенадцать лет, то есть день моего, так сказать, *полу*совершеннолетия. Помню, какую бурную радость доставила мне в этот день мысль о том, что теперь моим родителям придется брать для меня уж *полные* билеты на проезд, в цирк, театр – словом, повсюду; следовательно, хоть в этом отношении я мог считать себя *наравне* со взрослыми.

Вечером пожаловала к нам в гости одна наша дальняя родственница и привела с собой своих трех отпрысков: шестилетнюю девочку, потом *нечто* златокудрое, но поменьше, украшенное кружевным воротником и очень притязательное, рекомендованное нам «мальчиком», и *нечто* еще, совсем маленькое, принадлежавшее неизвестно к какому полу. Эти три сокровища и были переданы на мое попечение.

– Ты теперь уже большой, – сказала мне мать, – смотри за этими крошками, чтобы им было весело, и береги их. Можешь пойти с ними гулять, но, разумеется, недалеко и не к пруду. Понимаешь? Старайся показать, что с этих пор ты будешь умный и на тебя можно будет надеяться.

Мелюзге было внушено их собственной матерью, чтобы они слушались меня во всем, чтобы не пачкались, не рвали своей одежды и не баловались. Лишь только все эти наставления окончились, мы поспешили воспользоваться позволением гулять.

Хотя я и сам был еще невелик, но уже лишился способности входить в интересы малолетних, в особенности тех, ко-

торые были вдвое и вчетверо моложе меня. Между мною и доверенной мне мелюзгой была та же разница в мировоззрениях, какая существует между двадцатилетними студентами и сорокалетними профессорами.

В то время я увлекался пиратами, поэтому и сам пожелал быть пиратом. Мать велела избегать пруда, но я не придавал значения этому предостережению: не впервые было мне вступать в ближайшее соприкосновение с этим прудом, и всегда обходилось вполне благополучно, так чего же стесняться теперь, когда мне пошел уже *тринадцатый* год и сам закон признал меня – хотя и в билетном отношении – равноправным со взрослыми?

Возле пруда, к которому я стремглав и пустился, предоставляя своим спутникам ковылять за мною как им будет угодно, находился разный строительный материал, между прочим и доски. День был праздничный, рабочих не было, следовательно, нам никто не мог помешать. Мой план состоял в следующем: соорудить плот, посадить на него всю маленькую компанию и выплыть на середину пруда, потом напасть на нее, отнять у девочки монету, которая была у нее в кармане и которую она мне показывала; после этого предоставить плот с его живым грузом на волю судьбы, а самому вплавь перебраться на берег. Эта картина рисовалась моему воображению в самых упоительных красках. Сначала и мои спутники не имели ничего против такой игры; даже самый маленький, пол которого мне все еще был неизвестен, выра-

зил свое одобрение чем-то похожим не то на смех, не то на рев. Но когда мы подошли к пруду и заглянули в его темные воды, в которых что-то шевелилось и плескалось, то вся мелюзга с испуганным криком отбежала назад и слышать не хотела об игре в пираты.

Тогда я предложил поиграть в краснокожих. Мои спутники должны были улечься на мешках с известью, оставленных посреди начатой постройки, а я змеей подползу к ним по густой траве и подожгу стройку, потом буду прыгать и скакать вокруг пожарища, размахивать над головой томагавком и испускать торжествующее крики, глядя на тщетные усилия бледнолицых выбраться из своего горящего жилища.

Но и это не вышло. Девочка только глядела на меня широко раскрыт тыми от ужаса глазами и мотала головой, *ничто* в кружевном воротничке, заорало благим матом, а крохотная *неопределенность* даже сделала было попытку убежать к маме, но тут же растянулась, споткнувшись о пару тесин, и завизжала как поросенок. Девочка бросилась поднимать и успокаивать упавшего и заявила мне довольно серьезным тоном, что если я буду так пугать ее и ее маленьких братьев, то она никогда больше не пойдет со мной играть и пожалуется нашим папам и мамам. Последняя перспектива вовсе не улыбалась мне, поэтому я довольно искусно для моих лет скрыл свою досаду и предложил девочке и ее братцам самим выдумать игру. Одно только несколько утешило меня в этих неудачах, что в лице самого младшего из членов нашей ком-



пании я имею дело также с мальчиком.

Девочка решила, что будут играть в папу, маму и деточек, но только где-нибудь в другом месте, а не возле этого противного пруда и этих противных досок, кирпичей и прочей гадости, потому что здесь можно упасть, запачкаться, разорвать одежду и вообще подвергнуться всевозможным опасностям. Предложенная игра мне была совсем не по вкусу – я давно уже перерос такие детские игры, но она нравилась моим маленьким компаньонам, которые категорически отказались играть во что-нибудь более возвышенное, и я волей-неволей должен был уступить им. Положим, малышам было внушено, чтобы они слушались меня как старшего, однако, поразмыслив немного, я пришел к заключению, что едва ли похвалили бы меня, если бы я насильно заставил их делать то, что, чего доброго, могло окончиться для них не совсем приятно, и снизошел до их слабости, согласившись играть папу. И мы всей гурьбой перебрались в наш сад, где я вскоре вошел в новую роль, и вечер окончился у нас, к общему удовольствию, довольно весело, а главное, вполне благополучно.

Повторяю, что, вспоминая этот день, я вполне могу войти в положение профессора, который может найти известные точки соприкосновения со своими молодыми слушателями только в том случае, если решится опуститься немного до *их* степени понимания, до *их* идеалов. В шесть лет я тоже всякой другой игре предпочитал игру в папу, маму и деточек, а в

двенадцать я находил ее ужасно глупой, потому что увлекся другими идеалами и мог именно только снисходить к тем, которые еще не доросли до них.

Восемь лет спустя мне было поручено проводить в Швейцарию одного из моих многочисленных кузенов, бойкого двенадцатилетнего мальчугана, и сдать его там в пансион. Сопутничество этого юного родственничка испортило мне все удовольствие моей первой континентальной поездки. Париж он нашел в высшей степени гадким местом, а про парижанок сказал, что они даже одеваться не умеют, напяливая такие узкие платья, что походят на лошадей со спутанными ногами. Великолепных германок, ростом и лицом походивших на Юнон, он обозвал откормленными двуногими коровами. И все в таком духе. Я был очень рад, когда наконец сдал этого юнца, которого про себя охарактеризовал безнадежным варваром, с рук на руки директору одного из женевских пансионеров.

Требовать от подростка, чтобы он любил учиться и понимал прелести высшей культуры, – то же самое, что ожидать от него, чтобы он отдавал предпочтение старому кларету перед вишневой настойкой, подслащенной сахаром. Ценить по достоинству блага высшей культуры дано не всякому.

В сущности, я, разумеется, согласен с господами профессорами. Я также нахожу, что знания, развивающие наблюдательность и ведущие к размышлениям, служат самым лучшим багажом для путника по земной юдоли, и желал бы сам

иметь его побольше. Быть в состоянии наслаждаться красотою хорошей картины – несравненно выше, чем обладать только средствами купить ее.

Я готов вперед согласиться со всеми доказательствами, которые могут быть приведены господами профессорами в пользу идеализма. Но ведь мне теперь уж не четырнадцать лет. Тогда и я находил, что все профессора мелят ерунду. Я знал в то время одного старого, худого и сморщенного, как копченая селедка, очкастого профессора, жившего в нашем соседстве, и, несмотря на свои знания, он не был моим идеалом. Он говорил мне, что на каком-то древнегреческом языке, о котором тогда я не имел никакого понятия, написаны вещи, долженствующие привести меня в восторг. Но я совсем не интересовался написанными на неизвестных мне языках вещами, когда не перечитал еще всего капитана Марриэтта, Вальтер Скотта и многих других авторов, писавших на моем родном языке. Чем, например, мог прельстить меня Аристофан, высмеивавший в своих комедиях политические учреждения своей страны, переставшей существовать чуть не две тысячи лет тому назад, когда у меня под боком были комедии современных писателей и театры, где разыгрывались эти комедии?

Однако, желая доставить хорошему знакомому моих родителей некоторое удовольствие, я достал себе переводы греческих классиков и нашел, что они лучше, чем я думал. Особенно понравился мне старикашка Гомер, несмотря на

то, что он, по-моему, слишком уж все размазывает. Заинтересовался я и римским Овидием, который показался мне не хуже нашего «Робинзона». И вот при следующей встрече с профессором я не без гордости сообщил ему, что читаю греческого Гомера и римского Овидия.

– Но как же ты, дружок, можешь читать их, когда не знаешь ни по-гречески, ни по-латыни? – изумился старик.

– Но ведь они переведены на наш язык. Я узнал о переводе их от других, потому что вы никогда мне не говорили об этом, – ответил я.

Профессор разразился длиннейшей речью, в которой старался доказать мне, что читать что-нибудь в оригинале или в переводе – две вещи совершенно разные, потому что в каждом языке есть такие тонкости, которых и самый талантливый переводчик не всегда в состоянии передать. Для того чтобы уразуметь эти тонкости, необходимо знать в совершенстве тот язык, на котором они написаны. В утешение мне профессор добавил, что точное знание обоих древних языков достигается затратой каких-нибудь семи-восьми лет, каковая затрата ничего не значит для того, перед кем еще целая жизнь. Все это было, разумеется, очень верно и убедительно, но тем не менее не вызвало во мне тех чувств, каких, очевидно, ожидал профессор. Я попросту нашел, что тратить семь-восемь лет только на то, чтобы потом иметь возможность ознакомиться со всеми тонкостями Гомера и Овидия, не стоит труда. Но, повторяю, я тогда был четырнадца-

тилетним мальчиком; потом и я научился понимать, что самая лучшая копия не стоит оригинала.

Господа профессора находят, что молодежь слишком материальна и лишена высших идеалов. Это верно. Во времена своей молодости я также не желал быть идеалистом, вынужденным ютиться чуть не на задворках какого-то темного переулка, где жил этот почтенный любитель классической литературы и несомненный идеалист, ни во что считавший жертву семи-восьми лучших молодых лет ради возможности читать в подлиннике Гомера и Овидия. Нет, я мечтал тогда жить в красивом доме, на одной из самых блестящих улиц, иметь верховую лошадь, носить дорогое платье, есть и пить что и сколько мне будет угодно, жениться на первой красавице в мире, видеть свое имя восхваляемым в газетах и быть предметом зависти для других. Таковы были мои тогдашние идеалы.

Скорбите об этом и жалуйтесь на это сколько хотите, господа профессора, но пока человеческая натура останется такой, какой она была и есть до сих пор, молодежь не будет знать других идеалов. Знаю, что эти идеалы изменные, чисто материальные, но что же делать? Может быть, так и нужно, может быть, мир не двигался бы вперед, если бы молодежь была настроена на ваш образец. Благодаря тому, что юнцы мечтают о богатстве и славе, они так страстно и бросаются в борьбу за эти блага. Ради только мечты об осуществлении своих грез о блестящем будущем они строят города,

проводят рельсовые пути, добывают золото из недр земли, делают великие открытия и изобретения. Но и для них наступает день, когда они сознают, что погоня за богатством и славой – очень глупая игра, что старание сделаться миллионером еще более скучное занятие, чем уже быть им. Так. Но пока настает этот день, мировая работа уже делается.

Господа американские профессора (их-то жалобами я главным образом и руководствовался, начав настоящее рассуждение) опасаются, что артистическое развитие Америки далеко не на должной высоте. Я опасуюсь, что оно и во всех других странах, по крайней мере в большинстве их, стоит ниже, чем было бы желательно. Но не надо забывать, что даже афиняне писали свои драмы между кулачным боем и состязанием в быстроте бега. Трагедии Софокла и Еврипида давались в виде лишь, так сказать, приправы к атлетическим и боксерским представлениям. Америка же еще очень молода и пока находится в стадии приобретательной горячки; сделается постарше, тогда и она вступит в стадию созерцания. Мне кажется, она близка к этому, и американцы, того и гляди, скажут своей старой мамаше Европе что-нибудь вроде следующего: «Ну, дорогая мамочка, можешь быть вполне довольна нами: мы недаром уходили от тебя за море; мы там все время трудились в поте лица и заработали столько, что теперь нам с тобой, дорогая мамочка, нечего бояться умереть с голода. Теперь и мы можем побаловать себя искусствами, которые ты всегда так любила, но которыми нам до

сих пор совсем не было времени интересоваться. Если мы, быть может, ничего не поймем в них сами, то поверим тебе на слово и охотно заплатим столько, сколько ты назначишь, за все, что пожелаешь продать нам».

Кстати сказать, старушка Европа и теперь уж имеет выгодную покупательницу в лице своей дочки Америки. Несколько времени тому назад мне пришлось разговориться в одном клубе с известным комиссионером по продаже картин, и я спросил его:

– Чьи теперь картины будут у вас в ходу?

– Хоппнера, – ответил он, подмигнув мне левым глазом, точно намекал на какую-нибудь особенно пикантную тайну.

– Хоппнера? – повторил я, припоминая это имя. – Хоппнер?... Не слышал о таком художнике. Это совсем что-то новое для меня.

– Да и для других тоже, но это ничего не значит, – с тем же подмигиваньем подхватил комиссионер. – Через какой-нибудь год это имя, как говорится, намозолит вам всем глаза. Имена всех тех художников, которыми сейчас пестрят газеты и журналы, начали уж приедаться, пора заменить их новенькими. Хе-хе-хе! – засмеялся он, потирая руки и любуясь моими усилиями понять смысл его слов.

В конце концов я все-таки понял этот смысл и сказал:

– Значит, вы дешево приобрели произведения этого неизвестного художника и надеетесь с большим барышом сплавить их за океан?

Он снова подмигнул, хихикнул и, хлопнув меня по плечу, весело проговорил:

– Радуюсь вашей догадливости! Но, – продолжал он другим тоном, – суть не в том, чтобы дешево купить и дорого продать. Это было бы уж чересчур просто. Нет, дело ведется гораздо тоньше. Вот, положим, наметил я в будущие знаменитости Хоппнера, которого открыл совершенно случайно. Вещички его, впрочем, недурны и стоят поощрения. Купил я их несколько штук. Завтра найду какого-нибудь писаку, который еще не оперился и которому все равно, что ни писать, лишь бы получить за это мзду. Ну вот он и состряпает мне хвалебную статейку картинам Хоппнера. На другой день разыщу еще такого же писаку, который в пух и прах разругает Хоппнера и его хвалителя. Разгорится полемика, которая мне уже ровно ничего не будет стоить, потому что редакции, заинтересованные этим спором, сами будут раскошелиться – одни в пользу хвалителей Хоппнера, другие – в пользу его хулителей. И не успеем мы оглянуться, как вся печать затрубит о небывалом таланте Хоппнера и начнет уже копаться в его частной жизни, биографию ему придумывать. Да и я не останусь в накладе: то, что купил, скажем, за сто фунтов, на аукционе пойдет за тысячу, а там, глядишь, презренный металл так и посыплется, как листья с деревьев осенью, за намалеванные Хоппнером холсты. Явится американский миллионер, привлеченный шумом, созданным вокруг имени, о существовании которого несколько месяцев тому на-



зад никто и не знал, и будет ожидать как великой милости, чтобы художник пустил его в свою мастерскую и, предварительно вдоволь поломавшись перед ним, продал ему хоть какую-нибудь дрянь на вес золота.

– Вы навели меня на прекрасную мысль, – заметил я, когда мой разоткровенничавшийся собеседник закончил свои излияния и вторично потрепал меня по плечу. – Завтра же отыщу этого будущего великого маэстро и куплю у него...

– Хе-хе-хе! – разразился комиссионер, держа себя за жирные бока. – Опоздали, сэр, опоздали! Я выдаю свои тайны только тогда, когда они уж безвредны и весь мир может их знать... Впрочем, нет, – спохватился он, – прошу вас понимать меня не в слишком прямом смысле. То, что я намерен предпринять относительно делания славы своему новому протезе, конечно, лучше должно остаться между нами, иначе вы испортите мне все дело, а этого вы, как благородный человек, конечно, не захотите сделать. Что же касается покупки у Хоппнера картин – дело кончено. Что было у него, теперь находится уже у меня, а что он напишет еще – тоже может считаться моим. Таковы наши условия.

Имени комиссионера я не назвал, имя художника заменил другим, поэтому может считаться, что я ничьей тайны не выдал.

## XIV

### Кое-что о музыке и об искусстве

Покойный Вагнер стоял на том, что большая опера (он называл ее музыкальной драмой) включает в себе все, а потому и делает излишними все остальные искусства. Что опера заключает в себе музыку всех родов – этого я не стану оспаривать. Случается, что мои музыкальные претензии далеко не удовлетворяются произведениями Вагнера, и наверняка возбудили бы его сильное негодование, если бы только он мог знать о них; случается это тогда, когда я при всем своем желании не в состоянии внимательно следить за раздающимися одновременно *три* отдельными мелодиями.

– Слышите? – восторженно шепчет мне мой сосед-вагнерианец. – Корнет-а-пистон воспроизводит мотив Брунгильды.

Я молча киваю головой, хотя мне, в моем подавленном настроении, кажется, что с этим духовым инструментом что-то неладно.

– А вот вторые скрипки развивают тему о Вотане, – продолжает с блаженной улыбкой сосед.

Я опять безмолвно киваю головою, отмечая про себя в своем уме, что скрипачи развивают только удивительную силу и от напряжения обливаются потом.

– Как великолепно аккомпанируют медные духовые ин-

струменты певцам! – восхищается неугомонный вагнерианец, закатывая глаза к небу, в то время как я готов вскочить, вырвать у трубачей их медные инструменты и подальше забросить их, так как они, по моему мнению, только *заглушают* голоса певцов.

Бывают, однако, и у меня такие минуты, когда я вполне искренне разделяю восторг вагнерианцев. Ведь и я не совсем чужд повышенным настроениями порывам. Между нами, обыкновенными людьми, и представителями высшего сорта людей существует такая же разница, как между орлом и обыкновенным петухом. Я принадлежу к числу петухов. У меня тоже есть крылья, и мне иногда является непреодолимое желание вознестись от тяжелой земли с ее удушающей атмосферой в ясную высь чистого искусства. Расправив крылья, я тяжело поднимаюсь вверх, но – увы! – дальше вершины забора не могу подняться. Просидев на этой выси несколько минут, я начинаю скучать и поспешно спускаюсь обратно к своим товарищам.

Мои понятия об искусстве сильно страдают, когда я слушаю вагнеровскую оперу в качестве петуха, не порывающегося состязаться с орлом. Что, в самом деле, хорошего в такой, например, картине? Посредине сцены стоит одинокая, покинутая женщина, старающаяся дать о себе знать миру. Она должна так стоять и усиленно драть горло ради добывания средств к жизни. Быть может, у нее есть старая, разбитая, не способная больше к труду мать или несколько мень-

ших братьев и сестер. И вот бедняжка выбивается из сил, чтобы дать *себя* услышать миру, а сто сорок человек, снабженных звучными инструментами, прекрасно организованных и в большинстве хорошо откормленных, соединяют *свои* силы для того, чтобы заглушить голос этой несчастной женщины. Я *вижу* ее то открывающей, то закрывающей рот и постепенно все более и более краснеющей от натуги. Я *понимаю*, что она поет и, быть может, поет отлично, но мне хотелось бы *слышать* ее. И я услышал бы, какие чувства изливает миру эта бедная женщина, если бы мне не мешали эти сто сорок человек, явно сговорившихся против нее. Наконец она в порыве отчаяния напрягает весь свой дух в последнем усилии, и на одно мгновение ее голос ясно долетает до моего слуха, победоносно прорвавшись сквозь трескотню барабанов, грохотание труб и треньканье струн. Она победила своих врагов, музыкантов, но слишком дорогой ценой, потому что тут же лишается чувств и падает на пол.

Из-за кулис тотчас выскакивают люди и уносят ее...

Подчас мне бывало очень трудно усидеть спокойно при таком неравном состязании: одна женщина против ста сорока прекрасно вооруженных мужчин! Во мне все кипело и бурлило от негодования. Я так и рвался перескочить через барьер, отделявший меня от оркестра, выхватить из рук ближайшего трубача инструмент, хлопнуть этим орудием по голове предводителя музыкальной банды и свалить его с занимаемого им высокого сидалища.

– Ах вы, разбойники! – хотелось бы мне крикнуть этой компании. – Неужели вам не стыдно выступать в числе ста сорока человек против одной несчастной, всеми покинутой женщины? Неужели вы не можете помолчать хоть несколько минут, чтобы дать ей высказаться?

Одна из моих знакомых говорила мне, что когда она слушает вагнеровскую оперу, то ей кажется, будто одному певцу аккомпанируют четыре оркестра, из которых каждый играет свое, отдельное.

Повторяю: бывает, когда и я увлекаюсь Вагнером и нахожу известного рода удовольствие в треске, грохоте и вихре его разнохарактерных, перепутывающихся и взаимно оспаривающих друг друга мелодий. Но большей частью меня тянет слышать какую-нибудь одну определенную мелодию, которой не мешали бы другие. Я не оспариваю той истины, что в музыке Вагнера есть мелодии на *все* вкусы, но, к сожалению, они так смешаны, что их слишком трудно отделить одну от другой.

Вагнер уверяет, что большая опера дает и *действие*; он воображает, что пение и лицедейство можно соединять вместе, но он сильно ошибается. Я видел артистов, следующих системе этого знаменитого композитора, и нашел, что в качестве певцов они не оставляли желать ничего лучшего, а что касается их лицедейства, то оно никогда не могло удовлетворить меня. Как никому другому, так и самому Вагнеру, не удалось отделаться от сценических условностей. Ко-

гда сценически влюбленный встречает свою возлюбленную, он отводит ее в угол, потом поворачивается к ней спиной и, приблизившись к рампе, начинает пояснять зрителям, как он обожает избранницу своего сердца и как счастлив, удостоверившись в ее взаимности. Потом он снова подходит к ней, и они, почирикав о чем-то, прячутся за кулисы. Впрочем, это еще куда ни шло, хотя и слишком уж это топорная игра в любовь, но каково должно быть певцу, когда ему приходится выделывать звучные трели в то время, когда у него на шее виснет женщина, или когда он одновременно должен и своего соперника убивать, гоняясь за ним по пятам, и свои враждебные чувства к нему изливать перед публикой?

В самом деле, представьте себе, что вы оперный певец. Думая о том, как бы почище пустить высшую ноту, вы едва ли можете делать естественные движения в сцене фехтования или убийства. Если вы изображаете тяжело раненого в битве и должны пропеть перед смертью длинную балладу, то навряд ли можете вести себя так, как в действительности повел бы себя человек, знающий, что ему остается всего несколько минут жизни. Вернее всего, что в этих случаях никому нет охоты петь. И любящая его женщина не станет принуждать его к этому, а будет заботиться лишь о том, чтобы он лежал спокойно, пока она станет оказывать ему необходимую помощь или прощальную ласку.

Представьте себе далее, что к вам в комнату врывается возбужденная толпа, жаждущая вашей крови. Неужели вы

найдете естественным стоять в это время перед рампой с распростертыми руками и в бесконечных фиоритурах повествовать о причинах ненависти к вам этой толпы, вместо того чтобы стараться не пускать своих врагов в комнату, забаррикадивав чем попало дверь?

В представлениях драматического или иного характера все эти подробности в точности взвешиваются и принимаются в расчет, между тем как в опере все подчиняется одной музыкальной необходимости. Я видел молодых восторженных оперных певцов, воображающих, что они могут петь и играть в одно и то же время. Опытный артист спокойно занимает середину сцены и бережет свои ресурсы. Изображает ли он человека, негодующего на то, что кто-то убил его мать, или ликующего по поводу того, что ему предстоит отправляться в поход против врагов своего отечества, — он в том и другом случае держит себя одинаково, предоставляя композитору объяснять публике, что ей непонятно в сюжете оперы.

Кроме того, господин Вагнер убежден, что сценические декорации внушат оперному завсегдатаю полное пренебрежение к картинным галереям. Например, такая декорация: замок на утесе, доступный разве лишь при помощи воздушного шара, в каждом окне которого (то есть замка, а не шара) минуту спустя после солнечного заката вдруг вспыхивают огоньки, между тем как из туч прорывается луна и бешеным бегом мчится по небу; бурное море, внезапно отверза-

ющеся, чтобы поглотить скользящий по нему корабль; покрытые снегом вершины гор, по которым так эффектно проносится тень героя; величавый древний дворец, по опустевшим залам которого уныло воет ветер, и т. п. Если мы, помимо наслаждения музыкой, каждый вечер можем видеть такие картины за небольшую входную плату, то на что нам, по мнению господина Вагнера, произведения великих мастеров, так дорого оплачиваемые?

Но самой смелой мечтой Вагнера было, кажется, удовлетворить своею группировкой хористов спрос публики на первоклассную скульптуру. Не думаю, однако, чтобы большая публика вообще предъявляла спрос на такую скульптуру. Будь я заговорщиком или преследуй какие-нибудь иные тайные цели, я непременно созывал бы своих единомышленников на совещание именно в скульптурном отделении местного музея, потому что не знаю другого места, где можно бы быть так хорошо гарантированным от чужих глаз и ушей. Лишь небольшая горсточка избранных любителей интересуется скульптурой, а она едва ли удовольствуется созерцанием живых картин, представляемых вагнеровскими оперными певцами.

И если бы даже оперный тенор вполне соответствовал нашему понятию об Аполлоне, а сопрано была действительно такой сильфидой, какой описывает ее либретто, я все-таки стал бы сильно сомневаться, чтобы *тонкий знаток* ради их созерцания отказался от любого барельефа с древнегрече-



ских мраморных зданий.

В хоре мне нравится только одно – полное однообразие костюмов.

В нем целая толпа сельских обывателей и обывательниц одета совершенно одинаково, чего в действительной жизни не встречается; в этой жизни все рассчитано, главным образом, на то, чтобы возбуждать зависть и соперничество. Какая-нибудь сельская красавица вдруг появляется в голубом наряде и, возбудив зависть подруг, покоряет все свободные мужские сердца; через неделю выступает другая красавица в зеленом и этим устраняет первую. Красавицы же оперные, по-видимому, в этом вопросе придерживаются особого мнения. Быть может, по этому поводу у них бывают специальные митинги, приблизительно в таком роде:

– Думаю, всем собравшимся будет приятно узнать, что венчание нашего дорогого графа будет происходить в среду, в одиннадцать часов утра, – начинает председательница, открыв собрание. – Вся деревня сойдется к половине двенадцатого, чтобы встретить новобрачных по выходе из церкви и принести им поздравления. Замужние женщины явятся в сопровождении своих мужей, а незамужние же пусть выберут себе в спутники кого-нибудь из своих ближайших родных. К счастью, в нашей деревне число представителей обоих полов уравновешено, так что никакого недостатка в соответствующей паре не предвидится. Дети составят отдельную группу, которую мы постараемся сделать как можно живо-

писнее. Решено, что место встречи должно быть по возможности поближе к пивной, так как наш дорогой граф, по всей вероятности, не поскупится на угощение. Но об этом я сообщаю вам так, мимоходом. Главное же дело для нас – вопрос об одежде. Все женщины и девушки должны быть в коротких, до колена, ярко-красных юбках, отделанных гирляндами цветов, сверху – шелковое болеро цвета мальвы, с широким вырезом вокруг ворота и с рукавами, чулки – телесного цвета, башмаки – из золотистого атласа, на шее – жемчужное ожерелье, а в волосах – простенькая изумрудная пряжечка. Слава богу, что все мы в состоянии иметь это, и если только не изменится погода и не случится чего-нибудь непредвиденного, то мы представим очень приятное зрелище для дорогого графа и его молодой супруги...

Нет, господин Вагнер, поверьте мне: одной вашей музыкальной драмой вам не заменить *всех* искусств. Как умному и дельному композитору вам лучше бы позаботиться о том, чтобы слушатели ваших музыкальных драм хоть на время забывали о существовании других видов искусства.

## XV

# Должно ли быть таким тяжелым бремя белого человека?

Прелестную прогулку представляет собой в ясное летнее утро переход от Гааги до так называемого Домика в лесу, построенного для принцессы Амалии, вдовы штатгальтера Фредерика-Генриха, под управлением которого Голландия окончательно освободилась из-под гнета своих врагов и вступила в обетованную страну свободы.

Оставив тихие улицы Гааги и окаймленные деревьями каналы с еле ползущими по ним баржами, вы проходите прекрасным парком. Там вас со всех сторон обступают лани и олени и смотрят вам прямо в лицо своими чудными, мягкими и умными глазами; они чувствуют себя обиженными, если окажется, что вы не принесли с собой какого-нибудь угощения для них, хоть в виде кусочка сахара. Эти милые четвероногие вовсе не алчны, но им дорого внимание к ним; отсутствие этого внимания глубоко оскорбляет их.

– А мы-то было подумали, что это джентльмен! – словно говорят их глаза, которыми они провожают вас до тех пор, пока вы не скроетесь из виду.

Их укоризненные взгляды, наверное, поразят вас так, что вы на обратном пути обязательно захватите с собой ка-

кое-нибудь лакомство для этих обитателей заповедного парка. Последний незаметно переходит в лес, и вы долго идете извивающимися тропинками, пока не достигнете обведенного рвом вычурного сада, в середине которого помещается не менее вычурный старомодный загородный дом, кажущийся неприхотливым голландцам настоящим сказочным дворцом.

Сторож, старый отставной солдат, встречает вас с низким поклоном и ведет к своей жене, представительной беловолосой особе, миловидной, чистенькой и приветливой, вдобавок немного знакомой чуть не со всеми европейскими языками...

Эта интересная особа ведет вас в Китайскую палату, залитую солнцем, проникающим сквозь открытые окна и обливающим своим ослепительным светом оригинальных золотых драконов, рельефно выступающих на фоне лакированной панели, и нежные шелковые вышивки, с громадным терпением сделанные давно уже истлевшими искусными руками. Стены увешаны нарисованными на рисовой бумаге сценами из китайской жизни.

Как смешны эти фигуры, эти карикатуры на человечество! Трудно представить себе более комичные фигуры, чем фигуры этих китайцев, созданных быть шутами цивилизации. Лучше их ничего не подходит для наших фарсов и комических опер. Единственный в мире народ, просуществовавший несколько тысячелетий и не успевший расцвести, уже отцветает.

Но действительно ли этот народ дошел до своего последнего издыхания или его старческий маразм только кажущийся, и не сегодня завтра этот многоголовый желтый младенец воспрянет к новой жизни? Действительно ли он так слаб и комичен, каким сам изображает себя? Вдруг это лишь хитрость с его стороны, чтобы усыпить бдительность европейцев? Мы воображаем, что он вот-вот испустит дух и настало время делить его труп на части, а он возьмет да и встряхнется, вытянется перед нами в свой настоящий рост, покажет свое истинное лицо, и мы вместо жалкой и немощной карикатуры увидим грозного великана?

Вспомните басню о дровосеке и медведе. Как бы она не оправдалась в данном случае. Неожиданно наткнувшись в лесу на лежащего зверя, дровосек страшно испугался, но, приглядевшись и убедившись, что медведь не шевелится, человек осторожно подкрался к нему и осторожно ткнул его ногой в бок, готовый при первом же движении зверя броситься бежать. Однако медведь продолжал оставаться неподвижным, и дровосек решил, что он мертвый. А так как медвежатина – вещь очень вкусная, а медвежья шкура прекрасно греет зимой, то дровосек достал свой нож и хотел было приступить к снятию этой шкуры... Но медведь оказался живым...

Может статься, и китайскую шкуру слишком рано начали сдирать и этим только разбудили спящего? Этот вопрос, наверное, выяснится в самом непродолжительном времени.

Из Китайской палаты моя почтенная спутница повела нас в Японскую. Имела ли прелестная принцесса Амалия предчувствие будущего, когда она устроила рядом эти две палаты – собственно, просто комнаты – и соединила их дверью?

Японские фигуры еще причудливее китайских, но не так комичны.

Чудовищно уродливые борцы, полные терпения лица богов с непроницаемым взглядом – что значат они? Что хотел выразить художник, несколько столетий назад рисовавший эти фигуры, сидя на корточках при входе в свой бумажный домик? Не скрыт ли в них какой-нибудь особенный глубокий смысл, до сих пор еще ускользающий от нашего понимания?

Но главной достопримечательностью Домика в лесу является оранжевая гостиная, получающая свет из стеклянного купола, высящегося на расстоянии пятидесяти футов над вашей головой. Стены этой гостиной сплошь покрыты картинами аллегорического содержания, прославляющего добродетели, просвещение и прогресс. Как раз в этой гостиной происходили заседания Конгресса мира, так блестяще закончившего прошлое столетие.

А через несколько месяцев после этого конгресса, на котором великие мира сего так серьезно обсуждали необходимость уничтожения войны, Европа задумала поделить между собою старый Китай, и христианским солдатам внушалась мысль о необходимости резать китайцев как баранов во имя привития восточным язычникам-варварам христиан-

ской цивилизации. Вслед за тем принялись за несчастных буров. Вообще со стороны Европы посыпался ряд всевозможных экспедиций и миссий, имевших якобы целью приобщение к прогрессу азиатов, африканцев и прочих дикарей...

Конечно, в Европе, того и гляди, образуется излишек прогресса – так надо же нам показать свое благородство и бросить хоть частичку этого блага своим обездоленным цветным братьям. В самом деле, этот прогресс дошел у нас до того, что даже воры, грабители и убийцы стали необычайно изящными, деликатными и... благочестивыми. Я несколько не удивлюсь, если мне завтра же придется прочесть в газете, что такой-то, совершившей какое-нибудь экстраординарное убийство с грабежом, перед началом своего дела усердно помолился об успехе, а после его совершения отправил своей жене телеграмму с извещением о том, что его предприятие благодаря благословиению свыше увенчалось полной удачей...

Но шутки в сторону. До восстановления всемирного братства (впрочем, до того блаженного времени много еще воды утечет) народы всегда будут воевать между собой, а какие-нибудь пустячные вопросы внешней политики будут при громе труб и всяческом шуме обсуждаться третьей стороной.

Несколько времени тому назад мне пришлось беседовать с бывшим секретарем одного известного финансиста, и он, между прочим, рассказ зал мне случай, когда из-за одного

соглашения вышел спор. Решительное слово в этом споре оставалось за тем финансистом. Наскоро просмотрев представленные ему документы и протоколы заседаний собравшегося по этому поводу совета и сделав несколько беглых вычислений, он сказал:

– Ну, это дело не стоит потраченного на него времени и труда, потому что в результате сводится в какой-то несчастной тысяче фунтов стерлингов. По-моему, нам выгоднее уступить в этом вопросе... Иногда бывает необходима и честность.

В вопросах о полосе мертвых песков или о гряде бесплодных утесов мы еще можем великодушничать и быть честными; если же нас начнут манить золотая россыпи и плодоносные пастбища, то отчего же не позабыть о великодушии и не поиграть в войну...

Действительно, мне кажется, что скоро война будет представлять именно только *игру*, конец которой окажется одинаково удовлетворительным для обеих сторон. Представим себе такую картину. Какой-нибудь прославленный полководец, мотающийся со своим войском где-нибудь на другом конце земного шара, по телеграфу поздравит свое правительство с тем, что враг, против которого он был послан, при встрече с ним не выказал ни малейшей склонности предупредить его, полководца, отступление (точнее – бегство). И вся страна придет в радостное возбуждение.

– Даже и не пытались остановить его! – с сияющими ли-



цами будут говорить друг другу восторженные сограждане победоносного полководца. – Он одним своим видом навел на тех жалких трусов такого страха, что они не отважились преследовать героя. Говорят, на всем пути своего отступления он не видел и следа врагов. Вот это настоящий военный гений!

Неприятель же этого гения, в свою очередь, поспешит поздравить и свое правительство с тем, что враги поспешили удрать во все лопатки, лишь только увидели своих неприятелей еще издали. Таким образом окажутся довольны обе стороны, потому что каждая будет считать себя победительницей.

При условии дальнейшего прогресса может случиться и так. Полководец протелеграфирует своему правительству, что он очень счастлив донести следующее: «Неприятель, преодолев все препятствия, перешел через границу и беглым маршем движется прямо к столице. Но тем не менее он (полководец) надеется остановить его и разбить наголову...» Или что-нибудь еще в таком же духе. И правительство будет радоваться.

А если наивные профаны в военном деле станут недоумевать, что же тут радостного, если неприятель прорвался через границу и подступает к столице, то знатоки снисходительно объяснят им, в чем тут загвоздка. Самое-де важное в войне – как можно дальше отвлечь врага от его *базы*. Полководец, кажущийся побежденным, вовсе не побеж-

ден, он только искусно *притворяется* побежденным с целью обмануть неприятеля и потом напасть на него с тыла. Следовательно, выходит, что, собственно, он гонит перед собой неприятеля в свою собственную страну, как бы забрав его в полном составе в плен.

Если память мне не изменяет, существует игра под названием «киски в углу». Много прошло времени с тех пор, как я сам играл в эту игру, и, быть может, я неверно привожу ее название. Игра эта состоит том, что вы указываете на сидящего посреди круга в кресле и кричите: «Кис! Кис!» Редкий удержится, чтобы не вскочить с кресла, когда его начнут так дразнить, и тогда противник спешит занять его место, а ему самому предоставляется деваться куда угодно. По-военному такая игра называется «отвлечением неприятеля от его базы».

Если неприятель даст себя сманить со своей базы, не догадавшись о вашем коварном замысле, он может очутиться в вашей столице, так и не разобрав, в чем дело. Этим игра и закончилась бы. Вы бы поняли, чего именно он добивался, и если его желания находятся в границах благоразумия, вы исполняете их. Он с торжеством отправится назад восвояси, а вы можете ликовать при воспоминании о том, как ловко вам удалось отвлечь его от его базы.

Вообще в войне будущего везде будет проявляться *высший прогресс цивилизации и гуманности*. Джентльмен, которому будет поручена оборона крепости, любезно встре-

тит другого джентльмена, взявшего и разрушившего эту крепость, крепко пожмет ему среди развалин руку и сердечно воскликнет:

– Наконец-то вы пожаловали! Что же вы так долго медлили? Мы едва могли дождаться вас.

Потом этот же джентльмен пошлет своему начальству донесение с поздравлением по случаю избавления от крепости, а вместе с тем и от всех сопряженных с такими сооружениями забот и расходов.

Если неприятель заберет в плен половину вашего войска или – еще лучше – все целиком, то начальство будет радоваться, что свалилась с плеч забота о продовольствии войска. Точно так же оно с удовольствием будет смотреть, когда потащат в неприятельский лагерь отнятые пушки.

– Слава богу, что я избавился от этих громоздких чудовищ! – со вздохом облегчения произнесет начальник, в ведении которого находились эти орудия. – Пусть-ка теперь милейший такой-то (имярек) попробует протащить их по здешним убийственным дорогам! Пусть наслаждается. Я не завистлив...

Война хотя и страшное, но вместе с тем и очень смешное средство для улаживания различных международных недоразумений, и все, что может сделать это средство еще смешнее, должно с радостью приветствоваться. Новая манера военных писать свои донесения скоро всех заставит хохотать над войной.

Настоящее тревожное положение на Востоке никогда не разгорелось бы, если бы не восторженная готовность европейцев нести на себе тяготы других народов. То, что мы называем «желтой опасностью», основывается единственно на нашей боязни, как бы желтолицые не вздумали в конце концов попросить нас, чтобы мы сложили со своих плеч *их* ношу. Ведь может случиться, что они когда-нибудь да разглядят, что мы несем *их* имущество, и пожелают *сами* нести его.

Один лондонский полисмен недавно рассказал мне историю, вполне подходящую к данному вопросу. Как-то раз рано утром этот полисмен услышал в пустынном переулке близ Ковент-Гардена отчаянный крик: «Держите вора! Держите вора!» Пустившись со всех ног к тому месту, откуда несся крик, полисмен подоспел как раз вовремя, чтобы схватить за ворот здорового парня, отнявшего у мальчика из зеленой корзины с овощами. Мальчик плакал и кричал, что этот большой злодей отнял у него корзину, и ему, мальчику, теперь достанется от хозяина. Но каково было недоумение полисмена, когда вор вдруг обернулся и спокойно проговорил:

– Как тебе не стыдно так лгать и беспокоить людей?! Ведь я взял у тебя тяжелую корзину только с тем, чтобы помочь тебе нести ее. Тебя же пожалел, а ты вместо благодарности срамишь меня. На тебе, коли ты такой глупый, твою корзину и тащи ее сам.

Ну что тут оставалось сделать полисмену, как не извиниться перед заведомым воров, сумевшим разыграть из се-

бя благодетеля? Полисмен так и сделал и потом долго конфузился при воспоминании об этом инциденте. Один из моих знакомых (из тех, которые усердно извиняются перед фонарным столбом, нечаянно наткнувшись на него) видит на Востоке зарю нового восходящего дня в истории человечества. «Желтая опасность» представляется для него золотой надеждой. Он видит в Китае великана, после долгой тяжелой дремоты просыпающегося и расправляющего свои мощные члены. Он очень плохой патриот, и хотя называет себя европейцем, но, не краснея, сознается, что ему лучше хотелось бы видеть миллионы азиатов, поднимающихся из-под развалин своих древних цивилизаций, чтобы принять деятельное участие в строительстве будущего человечества, нежели смотреть, как половина населения земного шара систематически держится в узах невежества ради удовольствия и выгоды другой половины.

Этот чудак заходит так далеко в своих рассуждениях, что позволяет себе упрекать гордящихся своей культурой европейцев в том, что они не усвоили и половины того, чему могли бы научиться в течение прожитых ими тысячелетий.

По его мнению, мы совершенно напрасно кичимся своими современными идеалами и... Впрочем, мало ли о чем еще бредит этот странный маньяк! Всего не перескажешь. Что же касается его убеждений по отношению именно к желтой расе, то ему интересно не то, что она может *воспринять* от тесного соприкосновения с Европой, а, наоборот, то, что может

*дать ей.*

Он говорит, что наблюдает зарождение новой силы, нового, еще не ведомого Европе влияния, что смешные карикатуры на человечество, как мы называем дальневосточных людей, таят за своими желтыми масками такие идеи и формулы, которые заставят побледнеть от стыда и бессильной ярости европейских мудрецов.

Так или иначе, но поневоле скажешь: да, нелегко бремя белого человека, которое он навьючивает на себя.

## XVI

# Почему Фауст не женился на Маргарите

«Отчего некоторые люди так боятся супружества?» – спрашиваю я себя почти каждый раз, когда читаю произведения первоклассной литературы. Задавался я этим вопросом и на днях, присутствуя на представлении «Фауста».

Я никак не мог дать себе отчета, почему Фауст не женился на Гретхен. Положим, я сам ни за что не женился бы на ней, но не во мне дело. Фауст не мог видеть в Гретхен ничего такого, что могло бы ему помешать взять ее себе в жены. Он и она были созданы друг для друга. Несмотря на это, ни ему, ни ей, очевидно, и в голову не приходило справить потихоньку свадьбу, потом отправиться на недельку, скажем, хоть в Швейцарию, а по возвращении из свадебного путешествия поселиться близ Нюрнберга на хорошенькой, уютной, скрытой в зелени вилле.

При вилле мог быть фруктовый садик. Маргарита могла бы держать кур и корову. Такие женщины, как она, не получившие «блестящего» образования, не избалованные и приученные к труду, непременно должны иметь что-нибудь такое, с чем они могли бы постоянно возиться. Со временем, с прибавлением семьи, могла бы быть нанята в помощницы

хозяйки знающая, дельная и всегда исправная женщина.

Сам же Фауст мог бы снова засесть за свои фолианты и склянки. Это было бы для него истинным счастьем, потому что избавило бы его от дальнейших злоключений. Ведь нельзя же себе представить, чтобы человек высшего полета да еще его зрелых лет мог найти всю цель своей жизни в том, чтобы неотступно вертеться вокруг женской юбки! Таких примеров, насколько мне известно, еще не бывало да и не следует быть.

Валентин, этот милый молодой человек со своими приятными идеями, мог бы проводить у них свои свободные часы и над стаканом хорошего пива и с трубкой в зубах толковать с Фаустом о текущих событиях. Он качал бы на коленях маленьких ребятишек, а старшему сыночку своих друзей рассказывал бы о военных подвигах и учил бы его стрельбе. Очень может быть, что Фауст с помощью практического приятеля в конце концов изобрел бы что-нибудь полезное вроде новой пушки.

Может статься, и Зибель женился бы и, поселившись по соседству с семейством Фауста, посмеивался бы с Маргаритой в отсутствии своей супруги о своем прежнем безумии. Иногда приходила бы из Нюрнберга и мать Маргариты полюбоваться на счастье дочери. Вообще все было бы в полном порядке.

Почему, в самом деле, Фауст и Маргарита не захотели сочетаться законным браком и обзавестись своим домиком?



Неужели только потому, чтобы не восстановить против себя старика Мефистофеля, который мог увидеть в этом со стороны своей жертвы желание обмануть его? Может быть, Фауст про себя и думал нечто вроде следующего:

«Я с радостью женился бы на этой девушке, но это будет неловко по отношению к Мефистофелю, приложившему столько стараний, чтобы устроить для меня то, что мне было нужно. Не могу же я состязаться в неблагодарности с обыкновенными людьми? Это было бы уж слишком пошло для меня».

Если у Фауста действительно явилась такая мысль и отвлекла его от женитьбы, то дело становится понятным, и Фауст получает новый оттенок благородства, хотя отчасти и донкихотского.

Я уверен, что если бы Фауст взглянул на дело со свободной, так сказать, точки зрения, то есть без излишней нравственной щепетильности по отношению к своему «благодетелю», а имея в виду лишь интересы девушки и свои собственные, то поступил бы более практично, и дело отлично уладилось бы. В его дни желающим отделаться от дьявола стоило только показать ему эфес меча – и искуситель в ужасе и без оглядки удирал в свое мрачное логовище, а Фауст и Маргарита как-нибудь рано утречком могли бы проскользнуть в ближайшую церковь и устроить так, чтобы паперть до конца церемонии была ограждена рукояткой меча. Для этой надобности они могли нанять любого мальчика.

– Видишь, вон там, под деревьями, прячется господин в красном? – сказал бы мальчику Фауст. – Ну так вот, этот самый красный господин имеет какое-то дело к нам, между тем как мы не желаем с ним знаться. Наверняка он захочет ворваться в церковь. Как только он подойдет поближе к паперти, ты сейчас и покажи ему эту рукоятку. Не надо ни колоть, ни рубить его. Покажи рукоятку и качни головой – он и поймет.

Интересно было бы взглянуть на выражение физиономии Мефистофеля в тот момент, когда Фауст стал бы представлять его своей жене.

– Позволь, дорогая, представить тебе одного из моих добрых друзей. Может быть, ты припомнишь, что раз уже видела его в ту ночь... знаешь, у твоей тетушки?

Разумеется, как я уже заметил, Фаусту пришлось бы немножко поссориться с этим другом, но окончиться чем-либо серьезным это не могло.

По всей вероятности, Мефистофель как личность умная после первых минут досады сам бы посмеялся выкинутой Фаустом ловкой штуке. Очень может статься, что он изредка даже приходил бы навестить Фауста и его семью.

Разумеется, его появление вначале вызвало бы некоторый переполох. Детей поспешили бы отправить спать, и душевное настроение супругов было бы довольно напряженное. Но старый бес знает, чем покорять сердца. Он принялся бы рассказывать историйки, которые заставили бы Маргариту по-

краснеть, а Фауста – ослабиться. Понемногу к нему при-  
выкли бы и даже стали бы приглашать его к обеду. Даже де-  
ти перестали бы его пугаться, освоившись с его странным  
видом и манерами. Потом, разве нежное женское влияние и  
простодушная болтовня детей не могли бы в течение време-  
ни смягчить его душу и сердце и вызвать в нем коренную пе-  
ремену к лучшему? Разве таких чудес не бывало? Быть мо-  
жет, в итоге получилось бы полное превращение злой силы  
в добрую?

Выше я сказал, что сам никогда не женился бы на Маргарите. Она – не мой идеал. Одно уж то, как она обманула свою мать, навсегда оттолкнуло бы меня от нее. А потом ее тетка! Настоящая хорошая девушка ни за что не стала бы дружить с такой женщиной. Кроме того, Маргарита и с Зибелем поступила нехорошо. Ясно, что она обошла этого милого юношу. А история с ящиком, наполненным драгоценностями? Зачем она увлеклась им? Не может быть, чтобы она, каждый день ходившая к фонтану болтать со своими подругами и другими более опытными женщинами, оставалась в неведении насчет того, что если кто-нибудь из мужчин оставляет на пороге жилища девушки подарок стоимостью приблизительно в двадцать тысяч фунтов стерлингов на наши деньги, то, значит, надеется получить взамен нечто еще более ценное. Да уж простой здравый инстинкт хорошей девушки подсказал бы ей, что не следует брать рокового ящика.

Не верю я в такую наивность, которая не ведает, что тво-

рит. Спросите любого лондонского судью, что он думает о воровке, уверяющей, что *нашла* бриллиантовую брошь.

– Помилуйте, сэр, неужели я позволила бы себе такое дело! – тоном полнейшей искренности восклицает она перед судьей. – Разве я способна даже только подумать... взять чужое? Никогда! Я вошла в магазин... там никого не было. Увидела я на выставке этот футлярчик и подумала, не забыт ли он кем. Пока я рассматривала эту хорошенькую вещичку, ко мне вдруг подходит этот вот господин и говорит: «Арестую вас». – «За что?» – удивляюсь я. «За воровство», – отвечает он. Горькое это для меня, честной девушки, слово, и я себя не помнила от огорчения...

Но вернемся к Маргарите. Будь она действительно такая идеально чистая по своему душевному складу, какой ее изображают и воспевают, неужели она поступила бы так? Никогда. Узнав от Фауста, что драгоценности – его подарок, она тут же швырнула бы ему их обратно в лицо.

– Благодарю вас, – сказала бы она, дрожа от негодования. – Потрудитесь немедленно оставить этот сад вместе с вашими блестящими финтифлюшками и никогда больше не возвращаться в него. Я не такая, как вы, может быть, вообразили.

Между тем Маргарита охотно оставляет у себя бриллианты и под ручку с молодым человеком прогуливается при лунном свете. А когда ей наконец приходит в ее наивную голову, что они довольно находилась по полутемному саду, она

прощается, уходит в дом и запирает за собой дверь, но вслед за тем открывает настежь окно и начинает петь.

Быть может, я лишен чувства поэзии, зато не лишен чувства справедливости. Когда другие девушки поступают так, им дают очень нелестные названия. Почему же прославляется Маргарита? Что она за исключение?

Дальше, она убивает свою мать и объясняет это «случайностью», которая, однако, остается недоказанной. Потом она убивает своего младенца. Это, положим, еще можно оправдать, так как она в то время должна была находиться в очень растрепанных чувствах. Но, в общем, я положительно не вижу оснований к тому, чтобы Маргарита была похищена ангелами прямо на небо. Думаю, что в Нюрнберге наряду с ней были женщины, гораздо более достойные этой великой чести.

Что же заставляло нас так долго видеть в Маргарите тип чистоты и невинности? Вероятно, это объясняется тем, что Гёте описывал свою Маргариту в то время, когда принято было смотреть на женщину как на носительницу всех добрых начал. Все ее дурные поступки ставили в счет мужчине, под влиянием которого она находилась. Поговорка «Ищите женщину» – более позднего происхождения. В дни Гете всегда слышалось: «Ищите мужчину». Виной всего злого считался мужчина или дьявол в мужском образе, но отнюдь не женщина.

Взгляд этот удержался и до наших дней. Недавно мне при-

шлось прочесть интересную повесть одной американской писательницы. Эта повесть особенно типична для известного рода идей. Жизнь героини повести, мисс Спархок, течет неправильно, и молодая девушка старается выяснить себе причину этого. После ряда размышлений она приходит к выводу, что причина ее неправильно сложившейся жизни кроется в цивилизации нашего времени. Кроме цивилизации виновными в неудачах мисс Спархок оказываются американская природа, демократичность и мужчина. Героиня выходит замуж за совершенно не подходящего ей человека и в дальнейшем течении повести повторяет эту ошибку. В конце же повести нам дается понять, что героиня собирается замуж в третий раз и, кажется, наконец за такого уж человека, в выборе которого не будет раскаиваться.

Я был бы более удовлетворен, если бы мог услышать, что скажет мисс Спархок полгода спустя после своего третьего брака. Но вперед уверен, что если бы она опять разочаровалась, то все-таки обвинила бы в этом кого угодно, только не саму себя. Она – женщина, поэтому не может быть ни в чем виновна – это основной тон всей повести.

Мне хотелось бы сказать героине:

– Вы правы, уважаемая мисс Спархок, в вашей жизни действительно что-то неладно. Но вы напрасно обвиняете в этом своих соотечественников. Если они и виноваты против вас, то не вам упрекать их в этом. Да и цивилизация наших дней – даже специально ваша, американская – тут ни при чем. На

ней и так много лежит грехов, зачем же напрасно обременять ее еще одним? По-моему, если ваша жизнь испорчена, то главная часть вины падает на вас лично. Можете сколько вам угодно сердиться на меня за такое мнение, но, будучи человеком прежде всего справедливым, я изменить его не могу. Вы выходите замуж за человека, который подействовал только на вашу чувственную сторону, и потом, по простивши манившей вас к нему вспышки, вы разглядываете, что он как человек – полное ничтожество и осыпаете его за это упреками. Где же были раньше ваши глаза и ваше здравое суждение? К тому же вы сами вовсе не имеете ничего особенного ни в своих мыслях, ни в своем поведении, и если вы умеете привлекать к себе мужчин, играя лишь на самых дурных их струнах, то нечего вам и ужасаться полученными результатами. Я знаю, что в Америке, как и повсюду на свете, есть много дурных мужчин, но наряду с ними немало и хороших. Если и ваш третий муж окажется принадлежащим к первому сорту, то спросите сами себя, чем именно вы привлекаете к себе лишь таких мужчин. В первый раз еще могло выйти случайное стечение обстоятельств или, вернее, оказалась действительная ошибка с вашей стороны, но во второй и в третий? Воля ваша, в этом замечается что-то роковое, неизбежное для вас. Разберитесь-ка хоть теперь в самой себе, но только с полным беспристрастием, и выбросите из себя то, что служит у вас приманкой одних дурных людей. Перестаньте воображать себя средоточием мира, поймите, что

юбка вовсе не обуславливает порядочности. И тогда, почистившись, вы, быть может, поймете то, чего не могли понять раньше...

– Ах, боже мой! – вероятно, воскликнете вы, с нетерпением дослушав мои внушения и с негодованием воздев очи и руки к потолку или к небу, смотря по тому, где вы в данный момент находитесь, среди четырех стен или на открытом воздухе. – Наговорить таких дерзостей в лицо женщине?! Куда же девалось рыцарство?

Рыцарство основывалось на том предположении, что женщина *достойна* поклонения не в силу одного своего существования, но и за проявляемое ею благородство мышления и поступков. Современная же женщина требует, чтобы ей поклонялись только за то, что она не мужчина. Это большая ошибка.

Мы любим видеть в литературе действительную, живую героиню со всеми ее достоинствами и недостатками (даже, скорее, с последними). Прежняя героиня, изображавшаяся невинным ангелом в белой одежде, была скучна по своей наивности и, так сказать, излишней прозрачности. Мы всегда наперед знали, *что* и *как* она сделает во всех случаях своей жизни. Нет, нам нравится героиня с сильными страстями и душевными движениями, героиня, которая в любой момент может огоршить нас чем-нибудь совсем неожиданным, даже чудовищным. Но в то же время нам хотелось бы, чтобы она в конце концов опомнилась, взгляделась в себя, поняла



свои заблуждения и чистосердечно созналась:

– Да, как я ни мудрила, а мне все-таки скверно живется на свете. Я винила в этом свет, но теперь вижу, что виновата во всем сама. Нужно самой быть хорошей, чтобы иметь право требовать хорошего и от других.

И за это чистосердечное сознание мы, мужчины, стали бы не только интересоваться ею, но и уважать ее.

## XVII

# Как миссис Уилкинс разрешила вопрос о прислуге

Встречаюсь на одном вечере со своей доброй знакомой миссис Уилкинс, любительницей общественных вопросов, в особенности тех, которые непосредственно касаются существенных интересов каждого, и говорю ей:

– Слава Богу, наконец-то американскому дамскому союзу удалось разрешить большой вопрос о женской прислуге, то есть о правах и обязанностях нанимателей и нанимающихся.

– Неужели? – обрадовалась миссис Уилкинс. – Приятно слышать. Недаром говорят, что американский народ – самый умный на свете. Во всем умеет хорошо разбираться... Надо бы и нам заняться этим вопросом. Ведь у нас хозяева и прислуга стоят друг против друга, как два враждебных полчища, только о том и думающих, чем бы насолить друг другу. Это выходит нечто уж прямо неестественное.

– Мне думается, это оттого, что до сих пор прислуга все попадала не на свое место, – заметил я. – Американский дамский союз и задался целью ставить на надлежащие места надлежащих людей. Вы этому, конечно, сочувствуете, миссис Уилкинс?

– На что бы лучше, если только возможно устроить это.

Неужели американки нашли такую возможность?

– Должно быть, нашли, судя по той статье, которую я прочел. Тон статьи очень уверенный.

– Гм! – задумчиво произнесла моя собеседница, отличающаяся порядочной долей скептицизма. – Это было бы настоящим чудом. Я нахожу, что тогда лишь прислуга будет на своем месте, когда она в корень переделается. Разве американки настолько умны, что могут совершить такое чудо? Сомневаюсь, не боги же они... Боюсь, как бы им в этом деле не пришлось разочароваться...

– Так вы не верите в благополучное разрешение этого вопроса? – продолжал я.

– Рада бы верить, да не верится, – проговорила миссис Уилкинс, качая головой. – Ведь, в сущности, виновата не одна прислуга, часть вины падает и на хозяек, которые не умеют держаться разумных границ своего положения. Обыкновенная хозяйка требует, чтобы прислуга была не живым человеком, а каменным истуканом, лишенным всяких чувств и всяких естественных потребностей. Да и то она будет жаловаться, отчего этот истукан не может быть одновременно и в кухне, и в комнатах, и на рынке, и еще где-нибудь и не делает зараз двадцать дел.

Говоря по совести, идеальной прислуге совсем нет места на земле. Я знаю одну девушку по имени Эмма... Да вы, может быть, видали ее у меня? Она племянница моей старой Анны и иногда приходит ее навещать, причем постоянно по-

могает ей убирать комнаты, подавать, к столу, вообще старается быть чем-нибудь полезной. Не будь Анны, я обеими руками ухватилась бы за Эмму. Но не гнать же мне бедную старуху, которая служила еще моей покойной матери и все свои недочеты в деле покрывает верностью, честностью и преданностью? Да и сама Эмма никогда не согласится, чтобы из-за нее обидели тетку... Ну так вот, эта самая Эмма по смерти своего дряхлого отца, за которым шесть месяцев ходила как за ребенком (он был параличный, и кроме дочери у него никого не было, так как жена умерла раньше), нуждалась в месте. Болезнь и похороны отца поглотили все, что у них было. Эмма даже заложила свою лучшую одежду и осталась чуть не в отрепьях. Труда она никакого не боится и все, что нужно в небольшом хозяйстве, отлично умеет делать. Словом, она из тех немногих девушек, каких теперь и днем с огнем не найдешь.

Вы знаете, нынешняя прислуга требует, чтобы один день в неделю она могла пользоваться хозяйской гостиной с роялем и приглашать к себе на вечеринку кого ей угодно. Положим, лично мне такая еще не попадалась; но разговоров о ней я слышала много, да и в юмористических листках читала... Но вернемся к Эмме. Отправилась она в рекомендательную контору откуда ее послали к одной даме в Клептон.

– А вы можете рано вставать? – спрашивает ее нанимательница. – Я люблю, чтобы прислуга всегда вставала вовремя и с веселым лицом приступала к своей работе.

– Я могу вставать, когда мне прикажут, а кислиться вообще не в моем характере, – отвечает Эмма.

– Очень важно вставать пораньше, – продолжает нанимательница. – Это придает бодрости. Мой муж и младшие дети всегда завтракают в половине восьмого, а я и моя старшая дочь завтракаем в постели в восемь часов.

– Слушаю, сударыня, – говорит Эмма. – Этот порядок нетрудно запомнить.

– И, пожалуйста, чтобы не было никаких неудовольствий и рассуждений, когда вас позовут в то время, когда вы этого не ожидаете.

– Хорошо, сударыня, но лишь бы с меня потом не взыскивали, если я не успела вовремя сделать дело, от которого меня оторвали, может быть, из-за пустяков.

– А! Вы все-таки рассуждаете? – резко выговорила нанимательница. – Этого-то я и не терплю. Прислуга никогда ни в каких случаях не должна рассуждать, она обязана только беспрекословно исполнять то, что ей прикажут... Ну, может быть, я вас отучу от этой нехорошей привычки; Теперь мне хотелось бы знать, как вы относитесь к детям. Любите ли вы детей? Многие их терпеть не могут.

– Моя любовь к детям зависит от них самих, сударыня, – отвечает Эмма. – Я видала детей, которые так милы, что все сердце захватывают, но видала и таких, которые могут отравить всю жизнь.

– Ах, таких детей нет и быть не может! – возражает на-

нимательница; поджимая губы. – Все дети – настоящее ангельчики. В них нет никакого зла, они безгрешны и чисты. Я люблю только такую прислугу, которая постоянно ласкова и заботлива ко всем детям.

– А сколько у вас детей, сударыня?

– Четверо. Но вам придется иметь дело главным образом только с двумя младшими. Разумеется, прежде всего от вас требуется, чтобы вы подавали детям хорошие примеры. Это так важно... Вы, конечно, христианка?

– Да, сударыня.

– Я отпускаю прислугу два раза в месяц по воскресным вечерам, но люблю, чтобы она посещала церковь.

– В ее свободные вечера или в другие? – спросила Эмма.

– Ну конечно, в свободные. Куда же прислуге еще ходить, как не в церковь?

– У меня, например, есть родные, которых я желала бы навещать, – заявила Эмма.

– Религию надо ставить выше родственных привязанностей, – поучительно заметила нанимательница. – Я ни за что не стала бы держать у себя в доме прислугу, предпочитающую шляться по гостям, вместо того чтобы ходить в церковь... Кстати, вы девушка и у вас нет жениха?

– Да, я девушка и никаких женихов у меня нет, – ответила Эмма.

– Это хорошо, – подхватила нанимательница. – Терпеть не могу девушек, имеющих женихов, настоящих или только так

называемых. Это отвлекает от дела. Потом, если мы с вами сойдемся в остальных условиях, то предупреждаю, чтобы вы одевались всегда как можно скромнее... Собственно говоря, я нахожу, что жакет и шляпа, которые сейчас на вас надеты, выглядят слишком нарядными.

– Это единственное, что у меня сохранилось, и если вам угодно, чтобы я приобрела что-нибудь еще скромнее, то мне, в случае, если вы пожелаете меня взять, придется просить у вас жалованье за месяц вперед, – отрезала Эмма.

Она сразу поняла, что ей у этой особы не жить, но хотела дать нанимательнице высказаться до конца. Кончилось, разумеется, тем, что нанимательница, испугавшись необходимости дать вперед денег, поспешила объявить Эмме, что находит ее слишком ненадежной, чтобы доверить ей своих маленьких детей, и они расстались... Ну, скажите на милость, можно ли жить у такой требовательной особы? – заключила миссис Уилкинс.

– По-моему, тоже нет, – согласился я. – Однако живут и у таких. Интересно бы только узнать, какого именно сорта прислуга уживается у таких господ.

– Разумеется, или самая терпеливая, которая потом за свое мученичество должна попасть прямо в рай, или же такие озорницы, которым доставляет удовольствие по целым дням переругиваться с хозяйкой и ничего не значит переходить от одной к другой. Им это даже весело: постоянное оживление и разнообразие.

– А чем же объяснить тот общеизвестный факт, что в гостиницах прислуга живет подолгу, причем всегда исправна и довольна? – полюбопытствовал я, заинтересовавшись беседой с этой умной, много выдавшей женщиной, которая была нисколько не хуже американок, вызывавших ее восхищение.

– О, это совсем другое дело! – воскликнула она. – В гостиницах женщина великолепно дисциплинирована и знает, что чуть что – ее или чувствительно оштрафуют, или совсем выгонят; кроме того, так расславят, что ее никто больше не возьмет. Потом, в гостиницах прислуге дается правильный отдых, так как там существует смена. Прислуга знает, что в такой-то час она безусловно свободна, и это поддерживает ее. Своим свободным временем она может распоряжаться как хочет. Ко всему этому она получает от постояльцев хороший доход, дающий ей возможность отложить на черный день. Вообще в гостиницах прислуга чувствует себя человеком, а не игрушкой привередливой хозяйки, которая не дает покоя ни днем ни ночью. Очень естественно, что такие хозяйки – а их, к сожалению, большинство – окончательно портят прислугу и заставляют ее смотреть на всех нас как на своих злейших врагов, которых также не грех помучить.

– Да, – подхватил я, – все это так. Но скажите, пожалуйста, как урегулировать рабочее время для прислуги в хозяйствах, где держится одна женщина на все и про все? Там, где их две или три, конечно, можно установить очередь, как в гостиницах, где имеется смена. Но нельзя же вам, имеющей



одну прислугу, давать ей полдня отдыха и эти полдня работать за нее самой, содержа ее и платя ей жалованье за весь день? Что же касается того, куда ходит прислуга в свои свободные часы, как она одевается – лишь бы опрятно – и посещает ли церковь, то все это должно быть предоставлено на ее собственное усмотрение, если она вообще дельная и достойна доверия.

– Ну конечно! – подхватила миссис Уилкинс. – Мы не должны стеснять живущего у нас человека в его личных склонностях, раз они не приносят нам вреда. Это понимает каждая мало-мальски рассудительная хозяйка... Если же таких мало, то в этом виновато общее плохое воспитание. Но это вопрос другой и, пожалуй, даже самый важный. Разбираться в нем мы сейчас не будем: слишком далеко это завело бы нас. А насчет урегулирования рабочего времени для прислуги могу сказать, что если бы хозяйки, имеющие в распоряжении только одного человека, разные мелочи делали сами, вместо того чтобы все валить на прислугу, да и своих детей приучали бы быть аккуратнее и не доставлять прислуге лишней возни, то прислуга успевала бы вовремя переделать все, что непосредственно входит в круг ее обязанностей, и даже имела бы время отдохнуть. Потом, не следует будить ее по ночам из-за первой глупой прихоти, не заставлять долго сидеть по вечерам, а стараться самим ложиться спать по возможности раньше, вставать хотя и позже прислуги, но не слишком; во всяком случае, не валяться до полудня

и не завтракать в постели. Словом, в доме необходим строго установленный и соблюдаемый самими хозяевами порядок. Не следует допускать, чтобы хозяйка по целым дням сидела сложа руки; она и сама должна что-нибудь делать и приучать к делу детей. Нельзя требовать от других, даже от служащих, чтобы они работали за пятерых, а самим ничего не делать и в то же время проповедовать, что труд – самое почетное и прекрасное занятие.

Слова миссис Уилкинс напомнили мне об одном знакомом семействе, состоявшем из отца, матери и пяти здоровых, хорошо откормленных и донельзя избалованных дочек. В этом семействе, не обладавшем большими средствами, держали двух прислуг, или, вернее, оно вечно нуждалось в двух прислугах, постоянно увольняя их из-за малейшего пустяка и заменяя новыми; или же, наоборот, те сами уходили также по самому пустому поводу. И хозяева поэтому вечно жаловались на то, что мир гибнет, так как в нем уж не осталось ни одной порядочной прислуги, Приглядевшись поближе к этому семейству, я пришел к заключению, что оно могло бы и совсем обойтись без постоянной прислуги, если бы все его члены были более дельными людьми.

Дело в том, что работал за всех только отец, добывая с большим трудом средства к жизни, а матушка постоянно возилась с наймом и увольнением прислуги и жаловалась на свою несчастную судьбу.

Старшая дочь училась живописи и более ни к чему не ка-

залась способной. Успехи ее в этом благородном искусстве были очень неважны; это она и сама замечала, но воображала, что если будет постоянно толковать о своем призвании к живописи и ни о чем больше не думать, то в конце концов все-таки сделается знаменитой художницей.

Вторая дочь с утра до вечера пилила на скрипке, и притом с таким искусством, что мало-помалу отогнала от дома всех хороших знакомых.

Третья возомнила себя будущей сценической знаменитостью и по целым дням выкрикивала разные патетические монологи и реплики, что также немало способствовало разгону друзей дома.

Четвертая писала чувствительные стишки и искренне удивлялась, почему их нигде не принимают и никто не возторгается ими.

Пятая, будучи еще подростком, только и делала, что ломала игрушки и требовала новых; кроме того, разбивала и портила в доме все что попадалось ей под руку. Ввиду этого родители решили, что у нее особенное призвание к механике.

Вообще это семейство считало себя скопищем гениев, призванных удивить мир, но пока оно удивляло только своих знакомых, и то не так, как воображало. А если бы мать и все ее пять дочек занялись своим прямым делом, то есть правильным ведением хозяйства, то с помощью одной приходящей поденщицы отлично могли бы устроить свою жизнь

и чувствовали бы себя вполне довольными, да и отцу не пришлось бы так надрываться...

## XVIII

### Почему мы не любим иностранцев

Да просто, по-моему, потому, что они ведут себя у нас, в Англии, не так, как мы, англичане, ведем себя в их стране.

Как-то раз, находясь в Брюсселе, я был очевидцем такого случая. Один англичанин проник в трамвай не с надлежащей стороны, потому что иначе не успел бы вскочить в него. Нужно было видеть изумление кондуктора, когда он заметил сидящего в вагоне пассажира, которого раньше там не было.

Хотя кондуктор и догадался, как это произошло, но, очевидно с целью проверить свою догадку, попросил пассажира объяснить, каким путем тот проник в вагон. Пассажир откровенно признался, что проскользнул в вагон не с указанной стороны. Тогда кондуктор попросил его удалиться, раз он вошел в вагон незаконным путем, так как он, кондуктор, не может допустить, чтобы при нем безнаказанно нарушались священные для него правила.

Но пассажир оказался из упрямых и не пожелал подчиниться кондукторскому приговору. Пришлось остановить вагон. На сцену явилась жандармерия во главе с очень важного вида офицером. Офицер, видимо, не верил показанию кондуктора, и если бы пассажир сказал, что вошел надлежащим ходом, то жандарм непременно поверил бы именно ему. Этот же англичанин скорее мог допустить, что кондук-

тор был поражен временной слепотой, чем счесть кого-нибудь способным дерзновенно нарушить то, что считается законом.

Будь я на месте злополучного пассажира, я бы солгал, и делу был бы конец. Но он был человек упорный или слишком прямой и держался правды. Выслушав его объяснение и ошеломленный такой небывальщиной в его практике, офицер подтвердил требование кондуктора, чтобы пассажир оставил вагон и дожидался следующего.

Ввиду продолжительности инцидента прибежали жандармы и из других прилегающих участков линии, так что вокруг нас вскоре собралась настоящая армия. Пассажир понял, что всякое сопротивление будет бесполезно, и заявил, что готов выйти из вагона. Он встал и направился было к законному выходу; но этого тоже не могло допустить брюссельское начальство и потребовало, чтобы преступник, вошедший не в законную дверь, в нее же и вышел. Пассажир повиновался и этому распоряжению и таким образом очутился на параллельной линии, по которой то и дело сновали трамваи, так что он легко мог угодить под один из них. В то же время кондуктор, стоя посредине вагона, произнес целую проповедь на тему незаконности и опасности садиться в вагон или выходить из него не в надлежащие двери.

А вот и еще несколько случаев. В Германии существует прекрасное постановление (хорошо бы ввести его и у нас в Англии да и в других странах) не бросать ничего на улицах.

Один мой знакомый английский военный рассказал мне об инциденте, случившемся с ним по этому поводу в Дрездене.

Будучи совершенно незнаком с вышесказанным постановлением, мой соотечественник, получив лично на почте длинное и довольно неприятное письмо, прочел его на улице, потом разорвал на мелкие клочки, которые тут же на улице и разбросал, как всегда делал у себя на родине с неприятными или ненужными письмами. Но его тотчас же остановил полицейский чин и вежливо дал ему понять, что он нарушил закон. Офицер извинился в незнании этого закона, поблагодарил за указание и обещал запомнить его. Полицейский выразил уверенность, что обещание господина офицера гарантирует его от нарушения закона в будущем, но так как и настоящее имеет свои права, то он, полицейский, должен просить господина офицера собственноручно собрать с мостовой разбросанные им клочки. Можно себе представить положение офицера!

Нужно сказать, что офицер был высшего ранга, то есть генерал, хотя и в отставке, но очень представительный и при случае способный подавлять окружающих своим внушительным видом. Хотя и со смешком, но довольно серьезным тоном он заявил полицейскому, что не видит ни малейшего удовольствия в том, чтобы ему, генералу такому-то, носящему мундир его величества короля Великобританского и императора Индийского, ползать на четвереньках по одной из многолюднейших дрезденских улиц и собирать клочки бу-

маги.

Полицейский не отрицал, что положение его превосходительства действительно не совсем приятное, и предложил генералу другой выход: пройти с ним, полицейским, в сопровождении все возрастающей толпы уличных зевак до ближайшего суда, находившегося от этого места милях этак приблизительно в трех. При этом полицейский добавил, что так как уже четыре часа пополудни, то судья, наверное, уже ушел, и дело генерала не может быть разобрано сегодня. Но, разумеется, его превосходительству предоставят в суде самое комфортабельное помещение и позволят пользоваться всевозможными льготами, а на следующее же утро по внесении по приговору судьи штрафа в полсотни марок генерал будет освобожден.

Чтобы избежать и этого удовольствия, превосходительный преступник предложил было нанять кого-нибудь, кто подобрал бы бумажки, но полицейский нашел, что это не могло бы удовлетворить поруганный закон, и не согласился на такую комбинацию.

– Обдумывая создавшееся положение, – продолжал генерал, – я взвешивал все возможные способы выпутаться из него. Между прочим у меня мелькнула и такая мысль: сбить с ног полицейского и в суматохе ускользнуть, но я не решился на это – мог выйти крупный скандал, а потому в конце концов пришел к выводу, что самое благоразумное и удобное будет исполнить первое предложение полицейского, что я и



сделал. Однако на практике это оказалось несравненно тяжелее, нежели в теории. Целых десять минут мне пришлось собирать с грязных камней мостовой уже затоптанные бумажные клочки, которых было с полсотни, и проделать это под перекрестным огнем самых откровенных шуток и замечаний, хихиканья и грубого хохота огромной толпы, обступившей меня тесным кольцом. Как я жалел, что раньше не знал прекрасного немецкого постановления, воспрещающего бросать на улице даже бумагу! Я вполне согласен, что постановление это вполне разумное, но отчего бы не предупредить о нем приезжающих хоть в виде объявлений, помещенных на самых видных местах вокзалов, гостиниц и прочих учреждений.

Как-то раз я провожал в немецкую оперу одну знакомую американку. В немецких театрах обязательно снятие дамских шляп (что, кстати сказать, также не мешало бы ввести у нас в Англии). Но американки привыкли пренебрегать исполнением законов, постановлений, правил – словом, всего, что выработано мужчинами. Поэтому моя спутница заявила швейцару, что намерена оставить шляпу на себе. Швейцар, со своей стороны, заявил, что он этого не допустит, так как приставлен, между прочим, чтобы следить и за этим. Между американкой и немцем произошло, так сказать, столкновение. Чтобы остаться в стороне, я отправился приобретать программу вечера.

Американка настойчиво объявила швейцару, что он мо-

жет говорить что хочет, но это нисколько не помешает и ей делать что она хочет. По всему было видно, что швейцар не из словоохотливых, и настойчивость американки не развязала ему языка. Он даже и не пытался более возразить, а стоял неподвижно в самой середине прохода. Проход был шириной не менее четырех футов, но швейцар своей массивной фигурой почти загромождал его.

Когда я вернулся с программой, моя спутница стояла перед швейцаром со шляпой в руках и закалывала в нее две огромные шпильки. Делала она это с таким ожесточением, точно вонзала шпильки не в нагромождение кружев и газа, а в живое, трепещущее сердце швейцара. Я думал, что она наконец сдалась перед неумолимостью немецкого театрального чина, но оказалось, что описанное действие было действительно только символическим актом ее мести этому «варвару». Увидев меня, эта заморская леди снова надела свою шляпу и возбужденно крикнула мне, что не нуждается в моей опере и предоставляет мне наслаждаться ею одному. С этими словами она демонстративно направилась к выходу. Из вежливости я, конечно, должен был последовать за ней и проводить ее обратно до гостиницы.

По-видимому, континентальные державы в совершенстве вымуштровали своих граждан. Послушание – первый закон континента, даже для высокопоставленных особ. Я готов поверить рассказу о том испанском короле, который чуть было не утонул, потому что чин, на обязанности которого ле-

жало спасти попавшего в воду короля, только что умер, а назначить ему заместителя еще не успели; другие же лица не имели права прикасаться к священной особе властителя Испании.

Если вы на Континенте сядете во второклассный вагон железной дороги, имея билет на первоклассный, то подлежите за это строжайшему взысканию. А какая кара постигает тех безумных смельчаков, которые дерзнут сесть в вагон первого класса, имея по своему билету право на второй, – не знаю, может быть, за это полагается смертная казнь.

Один из моих знакомых вляпался было в такую грустную историю на одной из немецких железных дорог. Ничего бы не произошло, если бы только мой знакомый не был чересчур честен. Он принадлежал к числу тех чудаков, которые гордятся своей честностью. Мне кажется, что она находят в этой добродетели высшее удовольствие.

Этот джентльмен ехал во втором классе по одной из горных линий. Во время выхода на одной из промежуточных станций он встретил знакомую даму, и она пригласила его пересесть к ней в первый класс. Достигнув места своего назначения, джентльмен заявил коллектору о своей пересадке и, с кошельком в руках, спросил, сколько ему следует уплатить разницы за проезд оттуда-то в первом классе вместо второго. Но пассажира тотчас же пригласили в отдельное помещение станционного здания и, заперев двери, принялись снимать с него форменный допрос, который тут же запрото-

колировали, потом прочли ему вслух, заставили подписаться под этим протоколом; после всего этого пригласили полицейского чина.

Полицейский, в свою очередь, допрашивал преступника с четверть часа. Встрече с дамой не поверили. Кто такая эта дама? Джентльмен не мог этого сказать, потому что знакомство его с нею было случайное, то есть такое, при котором одна сторона знает другую по фамилии и положению, а другая знает ее лишь в лицо. Стали искать эту даму по всей станции, но не нашли ее. Джентльмен высказал догадку (впоследствии и оправдавшуюся), что дама, соскучившись дожидаться его на платформе, отправилась в горы одна.

Как нарочно, всего за два-три дня пред тем в одном из горных селений той местности был совершен террористический акт, и станционная администрация только и бредила о бомбах. Благодаря этому мой знакомый и подвергся такому долгому и строгому допросу. Хотели было уже приступить к обыску его, но, к счастью, в это время на сцену явился один из проводников, только что вернувшийся с гор с партией туристов. Увидев стесненное положение иностранца, он пожалел его и ловким оборотом речи сумел внушить ему, чтобы он заявил, что ошибся классами, так как и в первом и во втором красная обивка, хотя и разных сортов. Когда же он понял свою ошибку, то и решил заявить о ней, но, пораженный тем, как сурово отнеслись к его честному заявлению, забыл сказать о главном, то есть что сел по ошибке не в тот

вагон. Обступавшие пассажира чины вздохнули свободно и, посоветовавшись между собой вполголоса, уничтожили протокол. Инцидент казался исчерпанным, если бы нелегкая не дернула кондуктора забеспокоиться относительно спутницы пассажира: она ехала с ним в вагоне первого класса и, может быть, также с билетом второго. И вот только что допетая песнь началась снова. Но тут опять вступился проводник. Попросив пассажира описать приметы дамы, он заставил чересчур придирчивого кондуктора вспомнить, что он получил от дамы билет в надлежащем по этому билету вагоне, и мой обливавшийся холодным потом знакомый наконец был отпущен на волю.

Добропорядочны не только иностранные мужчины, женщины и дети, но даже их собаки отличаются хорошими качествами. Если вы имеете удовольствие иметь при себе английскую собаку, то вам немало придется тратить времени и крови на отвлечение ее от драк, на споры с собственниками других собак, на объяснения с пожилыми дамами, уверяющими, что ваша собака обижает их кошек, на уверения обиженных поведением вашей собаки прохожих, что она вовсе не ваша и вы сами видите ее в первый раз и т. д.

С иностранной же собакой ваша жизнь протекает вполне мирно и спокойно. Когда иностранная собака видит, как дерутся английские, у нее на глазах выступают слезы, и она спешит позвать полицейского, чтобы тот их разнял. Нечаянно столкнувшись нос к носу с какой-нибудь кошкой-моты-

гой и видя ее испуг, иноземная собака тотчас же отбегает в сторону и дает кошке спокойно пройти, и все в таком духе. Иностранных собак одевают в курточки с кармашком для носового платка, лапки их обувают в сапожки, на которые, смотря по надобности, надевают и калошки. Этим собачек пока еще не наряжают в шляпы, но когда додумаются и до этого, то каждая собачка, наверное, будет вежливо снимать свою шляпу пред каждой встречной кошечкой.

Однажды утром в одном из итальянских городов я наткнулся на уличный инцидент в форме настоящей суматохи. Причиной этой суматохи был фокстерьер, принадлежавший одной очень молодой даме, как выяснилось уже потом, когда все дело благополучно окончилось. Собственница собаки именно в это время и явилась на место происшествия, вся красная и запыхавшаяся от усиленного бега и волнения. Она бежала целых полчаса, отыскивая свою пропавшую собаку и зовя ее на все лады.

Узнав, что случилось, дама расплакалась и не знала, как ей быть. Видя ее растерянность, я поспешил ей на помощь. С большим трудом сквозь ее всхлипывания и слезы мне удалось понять, кто она и где живет. Я занес все эти сведения в свою записную книжку, а потом по уполномочию дамы вступил в переговоры со всеми лицами, заявившими претензии к фокстерьеру, чтобы умиротворить их.

Фокстерьер, собственно говоря, вовсе не имел в мыслях причинить кому-нибудь неудобства. Он просто гонялся за

воробьем, который, по-видимому, не понравился ему или же, наоборот, чересчур понравился. Собака непременно пожелала заключить с ним знакомство, а быть может, и тесную дружбу. Как известно, самое большое удовольствие для воробья – быть преследуемым собакой. Дав ей приблизиться к себе почти вплотную, юркая птичка вспархивает у нее под самым носом, пролетит небольшое расстояние и снова опускается на землю, всем своим видом как бы приглашая собаку продолжать интересную игру.

Так было и в этот раз, и вернее всего, что, когда фокстерьеру надоело бы быть обманутым, он, махнув хвостом на коварного воробья, пустился бы назад к своей госпоже, голос которой отлично слышал издали. Но тут вмешалась дворняжка, вдруг выскочившая из-под ворот и бросившаяся на фокстерьера. Тот недолго думая схватил ее за шиворот и швырнул в канавку, причем сам чуть не попал под колеса мотора, который перекувыркнулся вместе со своим сидком. Толстая женщина, желавшая спасти свою любимую дворняжку, также упала, столкнутая мотором, и увлекла за собой мальчика, торговавшего гипсовыми фигурками.

Чего-чего я не видывал и не слыхивал на свете, но мне никогда не приходилось слышать таких шума и крика, какие поднял маленький торговец гипсовыми фигурками, оказавшийся, как водится, чистокровным итальянцем новейшего пошиба, и мне стоило немало труда удовлетворить крикуна за разбитый товар и заставить замолчать.

Что же касается мотора и его седока, то, к их счастью, оказалось, что они нисколько не пострадали. Седок, снова усевшись на своего стального коня, хотел было уже пуститься в дальнейший путь, но случилось так, что мотор при повороте наехал на тележку с молоком; тележка перевернулась набок, находившиеся в ней кувшины разбились, и по улице потекла молочная река. Вообще переполох вышел большой.

В Англии публика жестоко расправилась бы с невольным виновником всей этой кутерьмы. Итальянцы же, среди которых стряслась эта история, должно быть, видели в фокстерьере лишь орудие Всевышнего, нашедшего нужным через него покарать их за грехи. Один лишь полицейский хотел было схватить собаку за ошейник, чтобы, несмотря на жалобные протесты его плачущей госпожи, задать ему хорошую трепку за дурное поведение на улице или, как это называется у полиции, за нарушение общественного порядка и тишины. Пес вертелся вокруг полицейского вьюном, неистово лаял на него и взрывал задними лапами песок на мостовой. Это так напугало одну молодую няньку, которая толкала перед собой колясочку с нарядным ребенком, что она хотела повернуть колясочку назад, но сделала это так неудачно, что та опрокинулась и полетела в одну сторону, а ее нарядный седок – в другую. Как нарочно, толчком колясочки сбило с ног и меня, так что я очутился сидя на тротуаре и имея по одну сторону распростертого и орущего во всю мочь ребенка, а по другую – валявшуюся вверх тормашками колясочку.



В таком оригинальном положении я и начал читать фокстерьеру нотации. Забыв, что я в чужой стране, я читал свою нотации на английском языке, медленно, толково и внятно. Фокстерьер, стоя от меня в нескольких шагах, слушал мою вдохновенную обличительную речь с такой восторженной радостью, подобной которой мне ни раньше, ни позже не приходилось наблюдать ни у одного живого существа. Казалось, он упивается моими словами как чистейшею райской музыкой.

«Где это я раньше слышал такую славную песню? – видно, спрашивал он сам себя, глядя на меня восхищенными глазами и склоняя голову то на один бок, то на другой. – Уж не в молодости ли своей я слышал ее там, на родной стороне, откуда меня увезли сюда?»

Понемногу, шаг за шагом, он приблизился ко мне и, тщательно обнюхивая меня со всех сторон, усиленно замахал хвостом. На глазах у него были слезы. Наконец он принялся облизывать мои пыльные штиблеты и поглядел на меня так, словно хотел сказать: «Будь добр, повтори, пожалуйста, все, что ты сейчас напел мне. Ведь ты напевал на моем незабвенном, родном, английском языке, который я не смел уж и надеяться услышать здесь, на чужбине, где мне так скучно и грустно».

Его собственница сообщила мне потом, когда я по окончании своей проповеди поднялся на ноги, что она получила своего фокстерьера в подарок от одной родственницы, побы-

вавшей в Англии и вывезшей его оттуда щенком. Это объяснило мне все.

Иностранная собака никогда не наделала бы такого, потому что рождается вполне добропорядочной, то же самое можно сказать и об иностранцах.

Вот за это-то, должно быть, мы и не любим их.